



Глеб Горбовский

ЗВОНОК
НА
РАССВЕТЕ

ЗВОНОК
НА РАССВЕТЕ

Глеб Горбовский



ПОСЫЛКИ · СОВРЕМЕННОСТИ

Глеб Горбовский

ЗВОНУК НА РАССВЕТЕ

ПОВЕСТИ

«Современник»
Москва
1985

Рецензент
А. БОЛОВ

Горбовский Г. Я.

Гб7 Звонок на рассвете: Повести. — М.: Современник,
1985. — 448 с. — (Новинки «Современника»).

В пер.: 2. р.

В новую книгу лауреата Государственной премии РСФСР Глеба Горбовского вошли повести «Забытое слово», «Звонок на рассвете», «Снег небесный», «Вокзал» и «Мираж на Васильевском острове». Автор рассказывает о чистоте души, величии и доброте наших современников, чье детство и юность были опалены огнем Великой Отечественной войны.

Г 4702010200—160
М106(03) — 85 30—85

ББК84Р7
Р2

СНЕГ НЕБЕСНЫЙ

То не ветер ветку клонит,
Не дубравушка шумит...

Из песни

1

Предрассветная тишина. Кажется, слышно, как туман обтекает деревья. Валуев лежит в постели. На дворе в бочку с водой падают редкие капли с крыши. Валуев считает капли.

Он уже привык к тому, что спит безрадостно. Без облегчения. Два-три часа за ночь. И паспорт ему снится не впервые. Но сегодня приснился по-особенному. Огромный, как дверь. И что удивительно: паспорт этот, повисев над головой дяди Саши, стремительно стал уменьшаться в размерах. Не удаляться, а именно — убывать. Сказалась ли тут прочитанная в молодости «Шагреновая кожа», или еще какие видения повлияли — как знать. Паспорт уменьшался, и дядя Саша понимал, что, когда «документ» полностью исчезнет, исчезнет и он, Валуев.

Над заболоченным лесом нехотя поднималось октябрьское солнце. Травы доживали последние мгновения, а тощее стадо все еще копошилось в складках пастбища.

Деревня успела напустить дыма. Ветра здесь, в лесном окружении, не было, а потому избяные дымы шатались по деревне, как беспризорные существа. Гнилицкая церквушка со сшибленным крестом, чудом уцелевшая в месиве трех веков, первая приняла на себя лучи солнца. Стайка любопытных дурашливых сорок с хохотом проверяла небогатые деревенские помойки.

Бывший городской житель Валуев А. А. лежал со своей старенькой супругой на громадной металлической кровати. Лежал лицом к бревенчатой стене и не спал. Занимал Валуев безхозную баньку, выделенную ему гнилицким правлением. Шел второй послевоенный год, а дядя Саша все еще боялся, что его могут неожиданно разбудить и поставить к стенке. Обязательно рано утром, спр...

Дядя Саша не получал пенсию как инвалид войны: у него были целы и руки, и ноги. И все-таки, при тщательном рассмотрении, был он покалеченным. Изнутри. А подобная инвалидность не только не оплачивается, но и не всегда подлежит сочувствию. И все же Валуев на войне получил увечье, а именно — испуг души.

Почтовый работник дремотного райцентра Валуев был опрокинут военной машиной и, как старая городская шляпа, гоним по деревенским пыльным дорогам. Эвакуироваться не успел. Призыву не подлежал: накопился возраст. Уйти в партизаны не догадался...

В начале оккупации новые власти беспартийного дядю Сашу определили волостным головой в один из отдаленных сельсоветов.

Однажды, а точнее — на пятый день вступления в должность, находился дядя Саша на печке своей конторы, когда пришли партизаны и сорвали с него полушубок, заменявший одеяло. Часа в три ночи пришли. Во мраке. Тогда выпал первый, всегда неожиданный, черно-белый, ночной снег. Дядю Сашу вывели на этот снег в одних кальсонах и уже как бы хотели расстрелять, но передумали. Случайно, а может, и нет, Валуева узнал один из партизан.

— И не стыдно у немцев работать, товарищ Валуев? Отвечай, «голова», жить хочешь? Говори давай, почмейстер... Недосуг нам тебя перевоспитывать.

— Безвредный я, братцы! Сами видите. А вас, товарищ Коршунов, прошу: снизойдите! У меня племянники из Ленинграда живут. Им кушать надо. Жена у меня Фрося — хромой инвалид. Уйди я с вами в лес — кокнут их непременно! — И, пока Коршунов задумчиво молчал, добавил искренне: — Так что буду служить вам заочно. Верой и правдой. Способствовать буду.

— Говоришь, способствовать? Ты что же, наивный такой или прикидываешься со страху? Почему в изменники пошел?!

— Это в какие ж изменники? Назначили под дулом! Как владеющего грамотой. Да я тут и пальцем не пошевелил... В должности своей!.. Знал, что рано или поздно навесите! Что свидимся мы в болотах этих.

— Ишь, почмейстер! И впрямь грамотный... — словно выстрелил короткой улыбкой Коршунов, бывший исполкомовский работник, так кстати признавший Валуева.

Дяде Саше было позволено вернуться в избу, натянуть

галифе и рубаху. А затем при копилке поговорили с ним партизаны по душам. Разрешили остаться Валуеву на его новой должности, взяли с него кое-какие обязательства и ушли, сухо попрощавшись, в свои непроходимые дебри.

Вторично сорвали с него одеяло немцы. Они вдруг получили от кого-то маленькую мятую записочку, в которой сообщалось, что Валуев есть замаскированный работник НКВД. Ни больше, ни меньше. Кому нужно было писать такое, дядя Саша так и не узнает при жизни. А тогда его спасла опять-таки нешумная, но прочная почтовая популярность: Валуева могла опознать половина городка. И опознали... Но лиха он хватил предостаточно. Бока ему намажи крепко. И даже возле стенки во дворе комендатуры пришлось постоять. Так что холодок смерти, подышавшей над ним разок-другой на первых порах войны, остался в надтреснутой душе Валуева навсегда. И хотя одеяла с бессонного дяди Саши слетали затем, как ветхие листья с дерева, привыкнуть к этому действу Валуев не мог.

Особенно паскудно совершали над ним обряд сдергивания полицейские лагеря, куда он попал со всей мужской половиной населения городка. Тогда в городке случилась шумная диверсия: уничтожено было до двухсот вражеских офицеров. Кого-то в городке расстреляли, кого-то — совсем дряхлых и малых — отпустили, а всю остальную, более плотную массу схваченных раскидали по конц- и трудлагерям. Замели тогда под общую метлу и оказавшегося в городе дядю Сашу.

Сытенские молодые полицейские, разбавлявшие свою каинову скуку помимо самогона всяческими подлостями, сдергивали с дяди Саши одеяло, потому что им нравилось наблюдать, как он стремительно подскакивал с дощатых нар. Их веселили его подскакивания с непременно ушиблением головы о верхний ряд нар. Они угрюмо реготали, отгороженные от Валуева светом карманных фонариков, а дядя Саша, блелей, чем его грязные кальсоны, пронзительно вскрикнув, вперед ногами на своем хиллом заднем месте выдвигался по скрипучим доскам к выходу, готовый принять смерть в ту же минуту.

В лагере, правда, куда в суматохе и неразберихе определили за связь с оккупантами, с дяди Саши одеяло не сдергивали. Однако судили его и дали ему, как полагается. А через несколько месяцев неожиданно выпустили. Оказывается, из партизанских краев поступила бумага за многими подписями, где торжественно сообщалось и под-

тверждалось, что Валуев — человек, в принципе, свой, партизанский, не единожды выручавший отряды информацией и материальной поддержкой.

Дядю Сашу отпустили домой.

Городской домик Валуевых в войну погорел. Дяде Саше предложили заведовать сельской почтой. И поселился он с Фросей километрах в двадцати от города, в большой деревне Гнилицы.

Как лицу материально ответственному выдан ему был пистолет системы Коровина. И шестимесячный паспорт. Временного образца. С него как бы и началось. То есть — все дяди Сашины неприятности послевоенные. С этого документа.

Понятно, что в Гнилицах документов у дяди Саши никто не спрашивал. Но ведь могли спросить. В любое время. Времена были трудные, война отошла еще недалеко. Что он старостой был — помнили. И потому носил он в себе эту паспортную блажь тайно от всех, как неприличную хворь. Про себя Валуев считал, что и выпустили его ошибочно. По недоразумению, с кем-то перепутав.

Вот и жил дядя Саша настороженной, дерганой жизнью. И потому стоило тетке Фросе едва прикоснуться к валуевскому одеялу, как тот мгновенно, словно болванчик, подсказывал, бледнел и, наконец уяснив, в чем дело, начинал долго безадресно и безудержно материться.

Шесть месяцев жизни, зажатые в двух гербовых листочках, истекли, как праздник. Для продления срока действия документов необходимо было явиться куда следует.

В течение года Валуев совершил пять безрезультатных походов в город. До базарных ворот, где, обретя поллитровку, для смелости выпивал и молча, злой и несчастный, возвращался в Гнилицы.

При постоянном душевном беспокойстве, в семье Валуевых царил согласие. Жили они скромно. Имелась у них приличная банька, на три четверти занятая громоздкой кроватью. Под кроватью жил Катыш. Низкорослая помесь таксы с дворняжкой. Умная криволапая собачка.

До крыши теперешнего дома не рукой — носом можно дотянуться. И все-таки это было хозяйство. Под стрехой, обросшая бархатистым зеленым мошком, стояла гигантская бочка, доверху налитая чистейшей дождевой водичей. Большая бочка. Почти такая же, как банька.

Каждое утро Валуев опускал в бочку руки по локоть, шевелил искаженными глубиной пальцами. Освежив гла-

за, проводил мокрыми ладонями по волосам. Каждое утро Валуев сворачивал сигарку. Из самосада, который все лето пестовал, поливая жидким навозом. Зубы он прокурил еще до войны. Телом был тощ, лицом — носат. Умственные способности имел средние. Глаза детски-добрые, голубые.

Каждое утро Валуев заговаривал со своей собачкой. В скважине, которую оставила для другой мебели кровать, гнезвился печальный столик. На нем по утрам кипел самовар и лежала горькая овсяная лепешка. Дядя Саша с отвращением, как нечто живое, раздирал лепешку. Нехотя кусал. К голоду можно привыкнуть. К невкусной пище — никогда.

Каждое утро тактичный Катыш отворачивался от стола мордой к порогу и делал вид, что занят ловлей мух.

Помимо кровати, самовара и Катыша имелся у Валуевых предмет не менее симпатичный, а именно — аквариум. Стоял он на табуретке возле единственного окна. Аквариум был не ахти какой. Самоделка. В деревянные угольники, заполненные цементом, поставлены были четыре стекла — вот и вся конструкция. Плавала в аквариуме одна лишь серенькая рыбка гуппи. Время от времени Валуев запускал туда пойманного на удочку пескарика или плотвичку. Из жалости к одинокой рыбке запускал. Но все новоселы почему-то стремительно погибали. И только гуппи укоренилась. Дядя Саша подолгу наблюдал за нею, разглядывая отшельницу сквозь мутное стекло сосуда. И тогда казалось Валуеву, что и он в своем аквариуме, одинокий и пугливый, настороженно шевелит плавниками, и стоит только подохнуть задумчивой рыбке, как тут же обязательно умрет и он... и слава богу...

Жена Валуева, тетка Фрося, была хромой женщиной, про которых в народе говорят: «Рупь сорок...» Хромоту заполучила невольно. В крещенские морозы. Еще глупой девчонкой. Во время деревенских гаданий. Когда прямо с ноги бросали за ворота обувку. А потом — босые — носились по сугробам в поисках валенка или башмачка. Стала правая ножка сохнуть. Обуял ее ревматизм. И вот уж сколько помнит Валуев, всегда, постоянно в их доме пахло всевозможными растирками. Была тетка Фрося на десять лет старше мужа. Мальчиком дядя Саша влюбился на рынке в деревенскую красавицу, приехавшую продавать лен. Повздыхал возле саней, повыведал, откуда де-вушка... И стал ждать следующего приезда. И так лет де-

сать наблюдал. Пока не подрос. И женился дядя Саша на тридцатилетней чернавке, и жил влюбленно.

Валуев бросил в стакан с кипятком белую таблетку сахара. Поджелтил «чай» заваренной ромашкой. Громко сёрбая, пил воду. Лепешку он спрятал за широкий самовар. Экономил. Знал, Фрося потом отыщет. И про себя улыбнется. А вслух накричит на Валуева.

— Капризничаешь! Или с животом что?

— Ладно! Собирала б котомку... Иду я.

— Куда идешь-то?

— В органы, понятно...

— В какие такие органы?

— Милиции! Или оглохла?! Документы выправлять... Тетеря ошипанная.

Выходя из баньки покурить, дядя Саша, как всегда, зацепил головой низкую притолоку. Хотел расстроиться. Но, внимательно оглядев покрытое копотью бревешко, заговорил без матерных слов.

— Вот, любой тебя укусить может... — вернулся с порога в комнату. — А был бы паспорт... Теперь вот пойду.

— Иди, Саша. Люди только с виду злые. Потому как — на работе. Делом заняты. А ты покалякай вежливо. Глядишь, и отойдет. А то начнешь бычиться. Кому такое приятно? И про Кешу-сыночка расспроси. Начальству видней: вдруг да и жив мальчишко?

Покурив, дядя Саша вернулся в баньку. Получил от Фроси розовую тряпочку с деньгами на штраф. Прошел прямо к аквариуму. Благо не далеко было идти. На столе добыл одну-единственную хлебную крошку. Тщательно растер ее над зелеными зарослями водоемчика. Мгновенно, как мышка из норы, выскочила откуда-то невзрачная рыбешка, похватила, пожевала хлебную пыльцу и вновь исчезла, спряталась.

— Так-то вот, рыбочка. Счастливо оставаться. А мы с Катышкой — за документами. Отдыхай, плавай. Корму тебе на базаре купим. Вкусного. Рыбьего. А ты, Фрось, наблюдай за рыбкой. Яичка ей отщипни, когда сваришь...

2

Дорога огибала болотные пятачки, переплетенные хлипким березничком и терпким багульником. Основной, крепкотелый лес обступал колею чуть позже, километрах в пяти от Гнилиц. До большака оставалось часа полтора ходу.

Серьезный Катыш трусил бок о бок с хозяйскими сапогами, не решаясь даже на короткие броски в сторону от дороги. Он как бы сознавал, что путь предстоит немалый, и тщательно экономил свои песьи силы.

На крыльце, за мгновение перед уходом Валуева, тетка Фрося обняла мужа неловко. Ноги ее подогнулись. Колени глухо стукнули о доски:

— Сынка бы... Старые мы. Поищи Кешу. Мертвым его не видели. Небось живет на краю. Где и почты нету.

Иннокентий исчез в сорок третьем. Ему и семнадцати не было, когда в городке совершилась знаменитая диверсия. Кешу схватили тем же утром, что и дядю Сашу. Только отца — по дороге к дому, а сына — в самом доме. В лагерь они попали разные. Старшего Валуева вскоре освободили: как-никак — староста... Но сына ему вызволить не удалось. Разузнав, где находится Кеша, Валуев довольно часто бегал к нему в лагерь за тридцать километров. Носил харч и белье. Последний раз видел Иннокентия при следующих обстоятельствах. Лагерников вели зыбкой, червеобразной колонной от станции, где они разгружали вагоны. Вели на обед, в зону. Высокого Иннокентия, даже здесь, в лагере, носившего на щеках неожиданные, словно чужие, румянцы, дядя Саша разглядел метров с пятидесяти. Рассказывая об этом дне, Валуев по обыкновению возбуждался. Чесал нос. Сплювывал под ноги. Глаза его наливались слезами.

— Бутылку самогона караульному сунул. Тот ее — под ремень, на пузо. И возле проходной будки постоять мне позволение сделал... Другую бутылку — конвойному. Чтобы штыком не кольнул. Когда харч передавать придется. Пакет всегда Фрося увязывала. А в этот раз самому пришлось. Веревочка ненадежная бумажная. Да и сверток несуразный вышел. Кругляшом, тыковкой... Ну, поравнялся Иннокентий-то со мной — я и метнул! Как мячик — с расстояния. А бабы вдоль колючки завидуют мне. Им подходить ближе нельзя. У них самогону нету. Принял сынок передачу. И, не останавливаясь, за ворота прошел. Вместе с колонной лагерников. Я кричу: «Сынок, морковку жуй! Витамины, мол... Тяжелого, значит, не поднимай...» А сынок и не оглянулся. Только рукой махнул за спину... Видать, застеснялся меня. Или еще какая причина? А я ему про галоши... «Галоши, мол, натяни! Сапоги сгноишь...» Гляжу, на крыльцо немецкого домика начальник выскочил. Как воробей взъерошенный... в голубом

мундире. Видать, прежде летчиком был, а затем — спланный по ранению. Заикастый. Волчком вертится: не иначе — по нужде приспичило.

А лагерь ихний из разного сброду людей составлен был. Конечно, не лагерь смерти. И даже — не военнопленных лагерь. Хотя и пленные тут маскировались. И уголовники темные. И те, которые в саботаже обвинялись, то есть на работу не ходили. И просто бродяги закоренелые...

Выскочил ихний тот начальничек в голубом, увидел колонну людей и давай командовать: «Ш-ш-шире ш-ш-шаг! Ш-ш-ши-пана! Айн-цвай! Айн-цвай!» Взялся за пуговицу на ширинке и уже хотел было отвернуться в другую сторону крыльца. А тут Иннокентий возьми да и вырони передачу! Выпал сверток и покатился. В направлении приступка. Голубой бывший летчик и увидь! Упер в бока ручищи и квакает: «Гиб мих дизе пакет! Ш-ш-ши-пана! Ш-ш-шнелъ! Фузболъ м-ма-х-хен!» Кеша мой напугался, сверток выудил. Стоит, улыбается, дурачок... А начальник кровью налился, орет свое: футбол, значит, ему давай... Так и танцует от нетерпения. Подбросил Иннокентий передачу. В направлении начальства. Приказ есть приказ. Немец, дурак, ударил влет. Да сразу и взвыл от боли! И заскакал на одной ноге. По крылечку. А сверток в середину колонны шмякнулся. Иннокентий хихикать начал. От растерянности. Лагерники хоть и под конвоем, а будто кино смотрят: глазищи пораскрывали. Немец с крыльца блохой! На сынка наскочил и давай драться... Паскуда. «Чего, — кричит, — пакет?! К-камень п-пакет? Б-б-бомба п-пакет?!» И ну хлещет сынка по ушам. Уж я за оградой — так и умер. Стою, не шелохнусь — наблюдаю. Жду, хуже б не было. А малец мой, нужно сказать, побои легко выдержал. На ногах стоял твердо, лица не отводил. Не привык еще к истязаниям.

Откуль ни возьмись полицай, похожий на китайца, с дзумя, как у бобра, зубами передними, пакет из толпы забрал и еще больше осклабился, резцы свои желтые выпятил. Офицер приказывает: вскрыть пакет! Зубатый охранник бумагу штыком изорвал. Портянки розовые полезли наружу. Из довоенной Фросиной байки. Пара талosh выпала. И килограмма два моркови мытой. А под конец уже, когда бумагу встряхнули, на землю кусок хозяйственного мыла вылетел... Эрзац, конечно... Пополам с глиной мыльце. Заграничное... Полицай узкоглазый в мыло своим штыком ткнул. Размахнулся, хотел на помойку товар

забросить. А Кеша мой — не тут-то было! Хвать того холуйчика за локоть. Видать, от боли да унижения не сдержался. Злбно так и говорит: «Не трожьте! Не ваше!»

Косоглазого сразу будто себака покусала бешеная. Как завопит! Да штыком своим — в грудь Иннокентию. Правда, замах у него не получился. Может, кончиком и уколол. И то вряд ли. Охранник кулачишко поднял. А тесак отбросил. Только кулачишко-то у него против Кешино, как сморчок возле боровика: желтенький, морщенный... Иннокентий плечо подставил. А затем — снизу, с поклона — как вывернет малому тому — по зубам! И в клубок сцепились. Пылью мажутся... А немец доволен. Еще выше прыгает. И разнять дерущихся не позволяет: «К-к-карашо! — кричит. — Б-б-б-бокс! Б-бокс д-давай, махен!» И в боксерскую стойку сам становится. Азиата по плечу похлопал, Иннокентия ногой пнул. Вставайте, значит! И — чтобы на кулачках драться. Сынок-то мой первого замаха как вмажет кривоногому... По зубам, благо они длинные и видно их хорошо. Зашипел, заплевался малец. Опять они в пыль оба упали. Гляжу, полицай кусок кирпичины вывернул тайком и за спину прячет. Я как заору: «Сынок, берегись, убьет!» Кеша тут вроде как услышал меня, отвлекся... А косоглазый и шарнул ему по затылку. Подумал и еще раз приложился. Тут, слышу, офицер выругался. И на сынака показывает: «Лазарет! Би-бистро!» И в дом ушел. А Иннокентия лагерники подхватили — унесли. Многие улыбаются: как же, в кои веки полицай по зубам получил... Плакал я за оградой, кричал, пока не прогнали. С тех пор и не слышать про сыночка: что с ним? Убили, ранили? Или в заключение заточили? Раза три еще сходил я к тому лагерю, да все без пользы. А затем и лагерь переехал куда-то. Прихожу: бараков нет. Одна большая белая помойка на территории. Да еще дорожки песочные. И — чистота...

Шагая теперь по дороге к городу, Валуев отчетливо представил, что сынок его Кеша, убитый, лежит в земле. А земля — большая. И никогда, даже при помощи современной техники, никогда ему не отыскать той могилы. В тревоге дядя Саша остановился. Дорогу теперь обступал лес. Катыш вопросительно оттопырил ухо и, как бы невзначай, замолотил хвостом по голенищам сапог хозяина.

Запоздавшие с отлетом скворцы облепили усыпанную шишками поляну меж двух сосен. Птицы суетились, видимо сговариваясь, но уже не свистели по-летнему, с хули-

ганским потягом, а издавали все вместе какое-то, почти кошащее, мурлыканье...

Дядя Саша обратил внимание на скворцов. Улыбнулся одними глазами. Ощутил себя живым среди живых. И, наклонясь к Катышу, погладил его по спине. Катыш, не мигая, преданно смотрел на Валуева. Затем сорвался, заторопился вперед по тропе. Вскоре он опять остановился, как бы спрашивая: ну, что ты стоишь, большой человек? Двигайся давай! И Валуев, по-лошадиному тряхнув головой, трогается дальше. На нем, по уши нахлобученная, покачивается тяжелая коричневая кепка с большим козырьком-«аэродромом». На узких плечах, как на вешалке, висит длиннополое черное пальто дореволюционного драпа с бархатным узеньким воротничком, сшитое вскоре после свадьбы. За плечами брезентовая котомка, содержимое которой, стянутое ляпочным узлом, не превышает размера среднего мужского кулака.

Дорога, вильнув хвостом, выкатилась на чудесный еще зеленый лужок, в центре которого, заросший осокой, таился ручей. Настоянный за лето на всевозможных травах, прогонял он сквозь полуголый лес свой золотисто-коричневый прохладный чаек. Рядом с убогим мостиком в четыре бревна дядя Саша обнаружил двухколесную телегу, по-местному — «беду». Представляла она собой две огромные оглобли, соединенные деревянной же осью, на которой вращались дико стенавших два деревянных колеса.

Худой старый конь жадно вгрызался в еще сочный, заливной дерн. Чуть в стороне, там, где трава была погуще и поцелей, стоял низкорослый широкоплечий мужик в ватнике и сплюсненной пограничной фуражке с ярким зеленым верхом. На руку мужика была намотана веревка. На веревке крепилась белоногая, с кудрявым безрогим лбом телка.

— Здравствуй, Лукьян! Никак скотину пасешь?

— Рад видеть Александра Александровича! Сейчас мигом запрягу, и садитесь, если в город. Вдвоем хорошо... А я вот... телку кормил.

— Далеко ты ее, Григорьич, на кормежку вывозишь.

— Если бы на кормежку... На мясо я ее вывожу. На колбасу да студень. Дурочку... Вот едем, глядим — лужок мокрый. Пусть, думаю, пожует напоследок.

Лукьян Григорьевич потянул отсыревшую веревку. Телка голову от травы подняла. Внимательно посмотрела на хозяина. Тогда Лукьян сам пошел к ней, и сразу объясни-

лась шустрая подвижность его головы и тугая скованность туловища: у Лукьяна Светлицына не было ноги. Заменяла ее деревяшка, похожая на большую перевернутую бутылку.

Светлицын подтащил телку, поддел неустойчивый, щенячий зад животного плечом, и скотинка мигом очутилась на телеге. Коричнево-синие глаза ее были настолько безгрешны, что казались незрячими.

— Скотина, понимаешь... А резать жалко, — виновато бормотал Лукьян, приманиваясь возле правой оглобли. По левую сторону, растребушив солому, Светлицын усадил Валуева. Гнедой, кожа да кости, мерин стоял, уткнувшись мордой в траву. Вот он сглотнул и, как бы опомнившись, с треском откусил влажную прядь травы. Тогда Лукьян ткнул в его заднюю ногу кнутовищем. Лошадь продолжала стоять. — Вот свинью, к примеру, ничуть не жалко, ежели на убой. Неприятное животное. А злую — так и совсем легко убить. Свинью... А телка — тихая. Ну, Боец! Поехали давай! Оторвись, пошли! Нн-нно! Дерет, дерет траву, а все без толку. Одно брюхо с костей свисает.

Мерин Боец, чуть ли не с буденновских времен носивший свою лихую кличку, поднял голову. Прислушался. Поднатужившись, враз выхватил из ручейной низины рогаемый экипаж. Катый даже пасть от неожиданности захлопнул: надо же, лошадь-то живая, оказывается. Взяла и поехала. И собачка весело кинулась вослед шатко-валкой колеснице.

— По почтовой надобности в город-то? По казенным делам?

— По казенным. Хотя и не по почтовым. Хреновые у меня дела, Григорьич. Паспорту срок вышел. А тут еще — от сынка ни звука нету. Баба надеется все...

— И правильно делает. В наше время каких только чудес не бывает. В Заболотье вон на Евсифея Голубева сперва похоронка пришла, потом — без вести. А он дома сидит, тоже без ноги, как я. И сам за те похоронки расписывается... А паспорту срок — так это тьфу! — по сравнению...

— А ты бедовый, Григорьич. Ты небось и в лагерях не терялся. При любой погоде — сухой...

— Побэги я из плена делал. Три больших и десяток маленьких. Все бегал и бегал... Условия не подходили.

Валуев начал было сворачивать сигарку, но вежливо вспомнил о Светлицыне, протянул ему кيسет с самосадом.

Подумал: «Хороший мужик Лукьян, а — дубье. Кажись, сгни и воды прошел, а не только нога, но и башка — деревянная...» Принимая от Лукьяна кисет, рассматривал голубые, несерьезные глаза Светлицына. «Да-а... Бодрячок. И с чего бы? Детей пятеро... Правда, жёнка — бойбаба. Рыбиной бьется, а семью соблюдает. Хлебушек — по воскресеньям. В будни — одна картошка с паром... Лукьяну, видать, и ногу-то не столько отстрелило, сколько черви потом сточили: терпеливый. И все улыбается, чурбан недоколотый!»

Тем временем лес кончился. Проселок подобрался к мощеной столбовой дороге и растворился в ней, как ручей в солидной реке. Впереди угадывалось большое село с ветряком и водонапорной башенкой, изуродованной осколками в войну и напоминающей теперь ржавый дуршлаг. Слева от дороги тянулось грязное холодное поле, на котором копошилось несколько старух и школьников, перекапывавших землю в поисках неубранной картофельной мелочи. Правее, по краям льняного засева, мокли на осенних дождях жалкие снопики-долгунца. Желая переменить прерванный разговор, дядя Саша напомнил притихшему Лукьяну об их прошлогодней беседе, когда, встретившись по весне на молодых зеленях, недавний горожанин Валуев пытался узнать у Светлицына наименования местных злаков. И как Лукьян тогда, показывая клюшкой на озимую рожь, приговаривал: «Значитца, туточки произрастает перловка, по-вашему городскому — сага или ядрица. А за тем увалом — гектар манки да гектар сечки. Ну, и геркулёсы, само собой», — махал он в сторону изумрудных овов.

— Помнишь, Григорьич, как ты мне про перловку да манку заливал? А я и уши развесил поначалу...

— Как не помнить, Александрович. Наивный вы человек оказались. И веселый: всему поверили. Ежели б я тогда про лапшу за выгоном не сказал...

— А теперь ты мне, Григорьич, такую вещь объясни. У тебя на огороде много чего осталось? В земле? В смысле — овоща?

— Пусто! Хоть с миноискателем... Мои скворцы такую ревизию навели, любо-дорого...

— А здесь, гляди, ковыряются, — кивнул Валуев в сторону картофельника. — Почему?

— Колхозная, опчая здесь... И ширина ей — не чета огородной.

— Ты прямо отычай, не ерзай. Свои ты убрал до последней штучки. А колхозную, стало быть, как придется? Она ведь тоже своя, наша...

— Наша-то наша, только — много ее. Не управиться.

— Ври больше. Охота на нее не та. Так и скажи. Частник ты, Лукьян Светлицын, собственник.

— Нет, зачем же... Колхозник я. А частник — это когда с бабой на печке сплю.

Лукьян Григорьевич весело огрел хворостиной толстую оглоблю. Боец дернулся, и тут вышел казус. Неожиданно лошадь полностью распряглась. Враз вылетела из креплений дуга, рассупонился хомут, а тяжелая оглобля, все еще связанная с хомутом, поднажав, стащила ярмо через поперую голову Бойца.

Тем и славился гнилицкий Лукьян, что ничего не умел делать основательно, в законченном виде. Лошади у него распрягались, гвозди под молотком в узелок завязывались, борозда на огороде вьюном вилась. И все прежние Светлицыны этим отличались. Настойчивые и упорные были до ожесточения. Однако что бы ни сделали — получалось неприглядно. Валенки катали на одну ногу, колодцы рыли глубочайшие, а воды в них не оказывалось. Печки втапливали тоже самолично. И дым из помещения ведрами выносили — тоже без посторонней помощи. Отец Лукьяна возле крепкой еще избушки начал строить новый дом. А когда захворал, жена шабашников пригласила на доделку. Походили шабашники хороводом вокруг несуразного сруба, поматерились всласть, а на другое утро — дай бог ноги! — сбежали прочь. И стоит изба недоделанная, огромная, раздражающая взгляд, но уж — как говорится — своя в доску! И живут Светлицыны в ней, так как старенькая избушка в войну погорела. И пули, и бомбы, и вся геенна огненная фронтовой полосы обошли стороной кособрую уродину, будто побрезговали ею.

И сейчас, на дороге, Светлицын решительно отстранил Валуева от упряжи.

— Сидите, Александрович... Я мигом. У меня тут секреты разные. В сбруе. Вдвоем и вовсе запутаемся.

Вторично распряглись в центре большого села — перед входом в чайную, где решили пообедать.

Чайная — рубленый пятистенок, пропахший многолетними щами-кашами, — делилась изнутри на «залу» и отгороженный раздаточным барьером «цех». Сейчас тут было свободно: одни столы да табуретки. Светлицын с дя-

дей Сашей прошли в глубь заведения и сели за столик, под который забрался Катыш. Озираясь, стали громко припихиваться, стараясь угадать, что нынче в меню.

Из-за перегородки к посетителям выбежала могучая тетка в красном переднике. Казалось, она кого-то догоняла. Или от кого-то спасалась.

— Щи! Гуляш! Кофий! — будто камни на стол бросала, стоя над дядей Сашей. Из-под стола Катыш зарычал, обороняясь.

— Щец... — пролепетал дерзко Валуев.

— Двое? Трое?! — кричала официантка.

— Почему же трое? — поинтересовался Лукьян Светлицын.

— А собачка? Она у вас что — мышей ловит?

— Давайте и собачке! — заторопился Валуев. — Гуляем! И по гуляшу.

— А кофий? — строго спросила женщина.

— Может, у вас чаек найдется?

— Оно, может, и чай, только у нас это кофием называется.

Официантка, скрипя половицами, на большой скорости унеслась к раздаче, бросив за барьер непонятное слово — «Трещей!».

— Огонь-баба! — улыбнулся Лукьян.

— Да-а. Страшная женщина... — то ли подтвердил, то ли опроверг сказанное Светлицыным дядя Саша. И добавил потом: — А кулаки у нее какие... Видел?

— Огонь... А выпить вот не предложила, — вспомнил зачем-то Лукьян.

— И правильно сделала. Не к теще на пироги. В органы иду. Дыхнешь там, и вместо паспорта — поминай как звали, — потер переносицу Валуев.

За окнами закусочной, твякнув сигналом, остановился крытый брезентом, плосконосый «виллис». Из боковых отверстий его кабины высунулись две ноги: одна, в хромовом сапоге, — направо, другая, в кирзовом, — налево. Из машины выбрались шофер в засаленной телогрейке и солидный румяно-рыхлый дядя в кожаном пальто. Оба, не оглядываясь, устремились на запах щей.

Проезжий скрипел новой, необкатанной кожей. В нетерпении потирал руки. Уселся он в пустом углу «залы», подальше от гнилицких мужчин. Официантка гоголем взмыла в ту сторону, и вскоре вокруг кожаного типа закипела, запенилась работа. Селедка с картошкой, ветчина с

горонжом, мясо тушеное — все это так и мелькало в руках могучей женщины, так и вращалось вокруг лысой головы клиента и его кудлатого молодого шофера, сбросившего засаленную телогрейку прямо на пол у входа. Пузатый, железобетонного фаянса чайник выполнял функцию графина. Розовый товарищ нацедил в граненые стаканы коричневого «горного дубняка», дунул в сторону с таким видом, будто в прорубь шагнуть собрался. Медленно выпил.

Любознательный, но весьма тактичный Катыш, привлеченный мясным духом с чужого стола, нерешительно продвинулся в том направлении. Вот он шумно потянул воздух носом.

Шофер, призывного возраста паренек, заметил собачку и, выудив из своей тарелки горячую косточку, жизнерадостно протянул ее Катышу. Это не понравилось начальству. Дядя взбрыкнул под столом ногой.

— Кыш, оглоед криволапый!

Шофер виновато посмотрел на отбежавшую собачку. Молча уткнулся в клубящиеся пары щей.

А дядя Саша, слышав капризный тенорок, тотчас узнал в проезжем бывшего начальника городской почты Польшаева, своего довоенного шефа, к которому теперь, после войны, имел кое-какие претензии.

3

Польшаев сидел спиной к Валуеву. За войну он оплешивел и раздвинулся вширь. И не узнал бы его дядя Саша никогда, не заругайся тот на собачку своим характерным бабьим голосом. Валуева так и повело, даже за Лукьяна Григорьевича ухватился и щеи тому из ложки разбрызгал — такая для него неожиданность получилась этот Польшаев...

— Глядите, кого принесло... Григорьич, смотри, харя какая!

— Нормальная... — прошептал Лукьян, — круглая. Знакомый, что ли? — кланяясь тарелке, поинтересовался Светлицын. — Солидный мужчина.

— Нет, обрати внимание, какой он задумчивый! Важный какой. Водку из чайника сосет... Эй, мамочка! И нам бутылку откупори. Мы хоть и не в коже, а выпьем тоже. Говоришь, солидный мужчина? Гад он солидный, Григорьич... Из-за него я в оккупацию попал.

— Да что вы говорите? — вытаращил глаза Лукьян.

— А то и говорю...

И в памяти Валуева отчетливо вдруг вспыхнул тот нескладица нарядный, солнечный день. День бегства из перепуганного пальбой и пожарами городка...

— Мы во дворе почты эвакуацией занимались. У Полысаева в кассе денежки казенные, марки... Корреспонденцию невостребованную тоже полагалось с собой забирать. А тягла у нас — полуторка имелась да махонькая такая лошадка. Игрушечная. Карлик, одним словом... Полысаев бегом распоряжается, кого куда. Сейф с кассой — в полуторку. Семейство свое с обстановкой и узлами туда же. А меня с корреспонденцией в повозку. На карличке, значит... А со мной племянники, Фрося с вещичками. И неплохо бы на лошадке. Потому как у машины гайка отлетит, и чеши затылок. Спокойнее на лошадке... Одна беда — скорость низкая. Не успеть на лошадке. Немцы уже вокруг городка пляшут. Одна незанятая дорога осталась... На восток, ко Дну, к узловой станции. «Слышь, Полысаев, — говорю я своему шефу, — увези моих на полуторке. Будь человеком». А нужно сказать, что другие сотрудники почты, в основном женского полу, ехать куда-либо отказались. Да и куда им от дома, от огорода? На печке-то у себя не только голодать — помирать легче. А мы с Фросей эвакуироваться решили. В беженцы, значит... В основном — из-за племянников. Думали, успеем их в Ленинград к родителям доставить. А где там... Полысаев слюной забрызгал, грудью жмет. «Указание, — кричит, — получил? За казенное оружие системы Коровина расписался?! И катись, пока немцы на колбасу тебя не перемололи». Прошу еще ласковей. «Возьми, говорю, только племянников да бабу. Вещички брошу. Хрен с ними. А сам лично поеду на подножке. Стоя». Отпихнул он меня... В кабину заскочил. Шофера локтем в бок: гони! Даванули они по педалям — отбросило меня от полуторки. А когда из ворот выезжали, кто-то из полысаевской родни платочком помахал. Наше, мол, вам! Тю-тю... У меня чуть ли из глаз не закапало. На булыжник. Посмотрел я на свой ковчег. Лошадка не больше собаки. Мешки спочтой. Племянники... Фрося с пожитками. Такой ворох получился! А делать нечего — поехали. Я лошадку за губы взял, повел. А Полысаев, гад, едва от города отъехал, все почтовое — в канаву, и поминай как звали. Своими глазами удостоверился. В его вероломстве. Помнится, на другой уже день, когда

нас, почитай, все обогнали и вся механизация на восток схлынула, остановили нас какие-то непонятные танкисты. Спокойные. В наглаженном обмундировании. Тут же на дороге и машина ихняя. Что твой дом. И один вроде как в моторе копошится. Подходит к нашему возу их самый старший. Со шпалами. Интеллигентный лицом. Взял меня за ногу — да как дернет с воза! «А ну, слазь!» И в богородицу! Правда, с акцентом. Вроде как латыш разговаривает. «Коммунист? Бежишь?! А ну, почта, сдавай, — кричит, — оружие!» Я по карманам себя захопал, дурачком прикидываюсь. Фрося с возу поясняет, что будто бы я ненормальный, убогий. А когда майор меня за глотку взял, скинула Фрося кобуру. Вспомнил я, что не действует моя «коровина», — и улыбнулся. Неисправный был пистолетик. Для виду только. И говорю танкисту: «Нельзя ли расписочку? На конфискацию? Спросят с меня...» — «Ты есть дурак, — отвечает. — Душевнобольной. А с дурака не спросят». Ну, объехали мы танк, а в километре от него — гляжу, в канаве сейф стоит. Незапертый. Порожний, конечно. У меня от сейфа третий ключ: один у Польшаева, второй у кассирши, а третий у меня. Ну, подхожу к сейфу, бумаги, какие возле разбросаны, запикиваю в него и запираю. На три оборота. Далеко мы тогда не уехали, конечно... А Польшаев без сейфа и очень просто мог ускакать до тылов. А мы лошадку повернули, корреспонденцию рядом с сейфом сложили — и восвоиса... В оккупированную местность. Но польсаевскую хватку запомнил я навсегда. И вот, на тебе, сидит, жрет, собаку ногой пинает.

Официантка принесла водку. В бутылке. Дядя Саша насупился.

— Кому так в чайнике... А нам...

— А вам-то от кого маскироваться? — вспыхнула женщина. — Человек на службе, начальство... А вам-то какого беся?

Выпили. Лукьян Григорьевич указал пальцем на Польшаева:

— Говорите, плохой человек?

— Плохой. В беде меня бросил. От машины, как собаку, ногой оттолкнул. А ты чего, Лукьяша, или поскандальить с ним хочешь? Не вздумай. Такое не тронь, оно и вонять не будет. Понял?

— Понял. Только мне за вас обидно. Неужели так ничего ему и не скажете? Ну, хоть поздоровайтесь. Может, узнает и стыдно ему сделается?

— Товарищу Полысаеву! — поднял дядя Саша стакан над головой.

Человек в кожаном пальто перестал жевать. Вскочил на ноги. Дрожащими руками взял чайник, стал из него две порции выпивки нацеживать. На круглом, выпуклом лице востепенулась улыбка. Затем Полысаев поднял стаканы и понес их торжественно через «залу».

Катыш, задрав край черной губы, обнажил белый клык и нехотя, но молча двинулся задом глубже под стол.

— Сан Санычу! Ай да встреча! Расскажи кому — не поверят. Живой-невредимый. Молодца, ай, молодца! А я думал, тебя уж на суперфосфат... То есть — на удобрение. Выходит, не время еще. Молодца... А ну, грохнем за встречу! — протянул Полысаев дяде Саше стакан.

Дядя Саша хотел заругаться на Полысаева и не смог. Рука его поганенько вспотела, предательски огрузла, потянувшись за подносимым стаканом.

— Рад видеть... Живым-здоровым. Значит, эвакуировались?

— Едва проскочил! На глазах, можно сказать, врага утек. Три снаряда по мне выпустили, супруге ножку покалечило, — частил тонкоголосо, будто мяукал, Полысаев. — А свояченицу прямо в кузове убило. Только прилажусь хоронить — бац, обстрел. Ну, я ее, покойницу, значит, опять в кузов и — ходу! Пять раз принимался. А ты, Сан Саныч, молодца — жив! Так и надо.

— Я-то жив, а вот сейф куда вы дели, товарищ Полысаев? — подмигнул вдруг дядя Саша.

— То есть?.. Не расслышал тебя, Сан Саныч... Какой такой сейф?

— Железный, товарищ Полысаев. Несгораемый. С ценными бумагами.

— Это в сорок первом, что ли? При отступлении?

— При планомерном отходе, товарищ Полысаев.

— Шутишь? Смотри-ка... Повеселел человек за войну. Говорю — молодца!

— Помнишь, я тебе свою Фросю предлагал? Вместо сейфа?

— Ай, шутник!

— Спасибо, что не взял. А то бы как сейф ее — в кювет! Что бы я без нее теперь делал?

— Кто старое помянет, Сан Саныч...

— Хорошо, что ты такая сволочь оказался тогда, товарищ Полысаев...

— Но-но, эх тебя сморило в один оборот.

— А то еще неизвестно, куда бы ты нас тогда завез на своей полуторке...

— Зуб, значит, на меня затаил? Нехорошо, Сан Саныч. Невесело встречаемся. После разлуки. Забыл ты меня, дорогой. Ну, да что станешь делать? Я не в обиде. Война — она многим мозги отшибла. А ведь то, что мы с тобой врозь драпали, — оно, может, и впрямь к лучшему. Служишь-то где? Небось опять — почта? Ну, ну... Я не в обиде. Смотри, еще пригодиться могу. Я тут хоть и проездом, но человек тебе свой... Учти, бедолага. Приятного аппетита, — обратился он непосредственно к Лукьяну Григорьевичу и так же неторопливо, торжественно, как и при подходе, отбыл напрямик к выходу из закуской, бросив шоферу серый комок мятых денег: — Кончай, Коля, обедню! Заводи, поехали. — Возле выхода Полысаев сорвал с гвоздя габардиновую, военного образца фуражку, грубо оттолкнул дверь, перелез через высокий порог и уже хотел было грохнуть тяжелой, как речной плот, дверью, но, размыслив, медленно, едва слышно притворил ее за собой.

— Обходительный мужчина... — вслух подумал Лукьян Светлицын. — Хоть и начальник с виду. — Поймав у шофера в глазах ребячливую улыбочку, полез к нему с вопросом: — Это кем же он будет у тебя, такой кожаный? Конечно, ежели не секрет?

— И не кожа на нем. А заменитель... Трофейный. Вот вожу по району. Как Чичикова. Ха-ха! — окончательно ослабился малый. — А вообще-то — инспектор. Фью-фью, — поманил шофер Катыша, положил на пол кусочек вареного мяса. Погладив подобрившего песика, что нерешительной развальцей приблизился к съестному, шофер Коля кивнул мужикам и, расплатившись с официанткой, покинул заведение.

— Значит, ревизором Полысаев... Ездит, проверяет: все ли в порядке? А я вот нагрубил ему...

— Это точно. Пошуршали малость, — согласился Лукьян. — А так — кто же его знает? Разговорчивый мужчина, общительный. Вы его «сволочью» обозвали, а он — смотрит как вежливо.

И тут не выдержал дядя Саша. Захохотал, затрясся. Большой беззубый рот его открылся настежь, как прогорающая печка.

— Как он меня!.. Ха-ха... «Молодца», говорит, кхы-кхы! Молодца, скребут те маковку! Давай, Лукьяша, помянем

его, как полагается! За упокой души! — И дядя Саша лихо ударил своим стаканом о стакан Светлицына.

— Зачем же — за упокой... Во здравие... Во здравие! — поправил Валуева Лукьян Григорьевич, и они выпили по последней.

4

Теперь ехали, громко разговаривая. Валуев даже руками помахивал. Обыкновенно в общении с посторонними дядя Саша ограничивался ответами на вопросы. Или молчал. На разговор прорывало его исключительно с людьми, которых он считал тише или слабее себя. Вот и с Лукьяном Светлицыным Валуеву хотелось говорить. Как пить после селедки.

— Не обидишься, если я с тобой разговаривать буду?

— Это—сколько угодно. Если интерес имеете... — улыбнулся Лукьян.

— Улыбаешься, чурка, а телушку от детей увозишь. Они у тебя что — мясо не употребляют?

— Употребят, если дать. А что, сказывают, мясо вредно кушать? Писатель Лев Толстой мяса не ел. И художник Репин. Старичками вон как долго прожили зато...

— Ну, это старички. А как же детки твои? Они бы телушку сами съели. А ты — улыбаешься. И почему это в ваших Гнилицах все такие веселые? Добрые такие?

— А вы разве злой? Хотя и приезжий?

— Всякий я, Григорыч. Вот Полысаева повстречали. Тебе он кто? Никто. Так, дядя... Рыло проезжее. А ведь я его чуть не ударил давеча... Потому как на полutorке мог он тогда и меня увезти. Все равно почта в канаве осталась. И не было бы ни оккупации, ни всей этой жизни паскудной... Вот и злой я на него.

— Так уж тут злись не злись — делу не поможешь. Все в прошлом. Вам питаться лучше надо. Вон вы какой тощий. А не злиться...

— Значит, ты потому такой добрый, что жрешь много?

— Мне злиться нельзя. У меня детей охапка. А еще я везучий. Вон, гнилицкие мужики — сколько их уцелело? То-то и оно. А я везучий. Живой. Вино, гляди-ко, выпиваю.

— Так ведь голодаешь. Губы синие... В войну хоть казенное лопал.

— Это голодаешь, когда рассуждаешь. А за делишками и не слышно.

До города оставалось километра два езды. Проезжая

мимо кирпичных остатков взорванного спиртзавода, наткнулись на толпу. Человек пятьдесят военнопленных, сбившихся крúгом, молчали, опираясь на кирки-лопаты. В центре, как на митинге, молодой, послевоенного призыва, сержантик произносил речь. Этот совсем еще школьный парнишка неумело ругался, то и дело отпихивая локтем сползавшую из-за спины к животу кобуру с «тетешником».

— Чего-от ты, длинна шея, нос воротишь? Запах ему не нравится! А ты нюхай, гад, нюхай! Твоя работа! Все у меня разберете, до кирпичика... И всех оттуда подымете. На своих руках. И хоронить заставляю! Нос он гнет... Убивать, поди, не гнулся... Ком, говорю, сюда! Арбайтен будем. А кто бастовать, тому... еще хуже будет, — подобрал наконец угрозу взволнованный начальник конвоя.

Объехав толпу стороной, Светлицын придержал мерина за грудой развалин. Дядя Саша повел носом. По ноздрям ударило густое зловоние.

— Давайте поедем? — вопросительно сморщился Лукьян.

— Постой, Григорьич... Хочешь, закурим? Все не так пахнуть будет. Понимаешь, интересно, кого они там откопали? — с этими словами Валуев слез с подводы и начал сворачивать сигарку.

Пленные вдруг загугукали, забормотали... Неизвестно, о чем они там каляли, как психоватые. Однако суетились недолго. Какую-нибудь минуту. Затем бормотание выровнялось, и пошел у них деловой разговор. Бригадирь повел пленных к зияющему в кирпичной горе пролому.

Молодой сержант розовым сделался, как возле домны горячей постоял. Вот он зашагал прочь, решив поостыть от толпы. И тут наткнулся на повозку Лукьяна. Светлицын еще издали — в знак внимания или ради успокоения сержанта — в приветствии приподнял свою пограничную фуражку.

— Нашим доблестным! Откуда так плохо пахнет, начальник? Не от твоего ли воинства? Иностранного?

— А ты, папаша, проезжай отседа! Запах ему не нравится! Газуй...

— Огонька не найдется, товарищ боец? — вступил в разговор дядя Саша.

— И не боец он, а товарищ младший сержант! — поправил Валуева Светлицын. — Боец — это наш мерин так

прозывается... — высвободил из сена деревянную ногу Лукьян Григорьевич.

Сержант, смекнув, что перед ним инвалид войны, по-добрей вмиг лицом, окончательно успокоился. Пыл его сник, перышки опустились.

— Наших тут! Полный подвал... То ли взрывом засыпало... Скорей всего — госпиталь бывший. Вот, закуривай-те! — протянул сержант Светлицыну пачку «Звездочки».

— Спасибо. Говоришь, запах им не нравится?

— Ихнее задание — кирпич разбирать. А я их в подвал загоняю. Трупы выносить. Как тут кирпич брать, если помещение занято... И, вообще, похоронить надо, раз откопали.

Дядя Саша, молча куривший до сих пор, вплотную приблизился к сержанту.

— Дело-то какое... — заторопился, зашептал в лицо пареньку. — Сынок у меня в войну затерялся. В лагерь его поместили. А там на моих глазах... Тип один камнем его ударил. Кирпичом по голове. Понятно? И унесли. В госпиталь.

— В здешних местах?

— Не совсем. Однако — в России. В госпиталь, по-ихнему в лазарет, унесли. Сам видел. Короче говоря, залезть бы мне туда, в яму? Допусти, милый. Я мигом!

— Полезайте, не жалко... Только вот даже эти, которые под конвоем, а не шибко туда лезут. Едва уговорил. Порешили: за одним мертвым двое спускаются и сразу вылезают. А за вторым — другие двое... А то, слышь, противогазы им подавай! Где их тут взять, когда они в казарме, противогазы эти.

К сержанту из-за развалин, оттуда, где копали братскую могилу, примчался веснушчатый хлопотливый солдат из конвойных.

— Товарищ сержант, про глубь указания не было! Сколь вглубь?!

— До песочка дошли теперь?

— Так точно! Красенький...

— И в песочек на метр. В самый раз.

— И то хлеб, товарищ сержант! — повеселел боец. — А то — ну-тка до глины ба! — повеселел и убежал.

Дядя Саша вторично метнулся к сержанту:

— Вы у них доку́менты, доку́менты проверьте!

— У кого это?

— У них, у них... У мертвых.

— Указание есть: какие будут бумаги — изъять. Только какие «документы», когда голые все, то есть в нижнем, в споднем... И темень. Слазил я туда. С фонариком. Да разве чего понять? Может, и не наши вовсе. А какие другие. Это ведь только по слухам, что наши... Потому как — убитые...

— Все равно — необходимость имею... Опустился, — настаивал на своем Валуев. — Ты подожди-ка меня, Лукьян Григорьевич. Я скоренько. Глазами только взглянуть... А не то после покою не будет.

— Ступайте, ступайте... Обожду. Вот подвинусь малость с-под ветра. И собачку свою положите ко мне в солому. Чего ей тут бегать, нюхать?

Дядя Саша подцепил под брюшко ничего не понимавшего Катыша, засунул его в соломенную труху, поближе к Светлицыну. Потом в сопровождении сержанта двинулся к черному, пробитому в куполе погреба отверстию.

Из ямы уже явились первые двое, предварительно подав «на-гора» носилки с чем-то неприглядным. Дядя Саша видел, что остальные немцы заинтересованно обступили тех двоих, выскочивших из-под земли. Тогда и Валуев, с молчаливого согласия сержанта, поспешил к очевидцам. Перед ним расступались. Дядя Саша был пугающе тощ. Смахивал на концлагерника, и пленные, взглянув на него, поспешно отворачивались.

— Слышь-ка, камрад... — ухватился Валуев за одного из тех, что лазали в дырку. Пальцы рук его так и бегали перед лицом немца, так и терлись друг о друга, словно дяде Саше чего-то не хватало. — Кто они там, ферштеешь? Кто будут по национальности? Наши? Ваши?

Немец, к которому обращался Валуев, был седой по вискам. Под темными бровями умные, тяжелые, словно больные глаза.

— Русиш там или дойч? — пришел дяде Саше на помощь сержант.

Немец устало отмахнулся, как от надоедливых детей:

— Луди, луди!

— Говорит, люди там, — перевел Валуеву сержант, хотя и без перевода все было ясно.

В зияющее отверстие опустили свежесколоченные лестницы — одну в метре от другой.

За очередным трупом отправлялись два молоденьких немца: чернявый и беленький. Белый повязал нос застиранным платочком. Черный варежки из-под ремня выта-

шил, на руки надел. Следом за ними в пролом полез и дядя Саша.

Там, внизу, под самым проломом, видимость в радиусе десяти метров была сносной. А дальше, в глубине помещения, свет проливал керосиновый фонарь «летучая мышь».

Первое, что, помимо запаха, неприятно поразило Валуева, была омерзительная сырость на полу. Направо и налево в неясные пространства подземелья уходили очертания полустгнивших нар. Кое-где верхний ряд нар обвалился. Все, что осталось от людей, лежало серыми кучками. Скелеты в тряпье валялись всюду: в проходе, на нарах и под нарами. Сам подвал — непосредственно стены, своды потолка — поврежден не был. Можно предположить, что взорванный заводик наглухо засыпал собой подвальное помещение и всё, что в нем тогда находилось.

Судя по разнообразным позам погибших, люди умирали в муках и не сразу. Скорее всего — от удушья, от нехватки воздуха. От голода умирают иначе: полностью обессиленные, не дергаясь.

Сняв с гвоздя «летучую мышь», дядя Саша захотел пройтись по рядам. Но не увидел ни лиц, ни примет принадлежности к тому или иному народу. Он увидел только смерть. Вернее — ее работу. Но увидел так близко и с такими страшными подробностями, что даже о просроченном паспорте перестал думать и все страхи свои земные на какое-то время позабыл...

«Господи, — подумал он, — стоит ли жить вообще, чтобы так умирать? Сынок мой, да если ты здесь и найдешь тебя в этой преисподней, да разве ж мне легче сделается после виденного? Нельзя на такое смотреть... Живому...»

У Валуева закружилась голова. Он судорожно ухватился за гнилые доски. И только благодаря малому весу дяди Саши ничего не обвалилось, ничего не рассыпалось.

Пленный с повязкой на носу заметил, что странному тощему дядьке сделалось не по себе... И тогда, отобрав у Валуева фонарь, юноша подхватил русского под мышки и так, почти волоком, дотащил до отверстия, где второй пленный принимал сверху порожние носилки.

Нужно было видеть, с каким измученным лицом возвращался дядя Саша из ямы на свет божий... Сержант протягивал Валуеву руку и, поддерживая его при подъеме, испуганно оттопырил нижнюю губу.

— Нашли, да?! Сынка то есть?.. Вашего?

— Не для моей комплекции такие опускания...

— Тут и водолазу не всякому впору... — заскрипел деляшкой Светлицын, становясь с дядей Сашей бок о бок. — Покурите-ка вот, — сунул Валуеву в губы зажженную сигарку.

Лукьян заметил, что дядя Саша пристально смотрит на одного из пленных... Сам еле держится на ногах, а смотрит с великим вниманием и напряжением.

— Ну, что вы, Александрович? Серчаете так? Теперь и не установишь, кто это зверство исполнил. Тем более что и вовсе неясно, какие такие люди побиты — ихние или наши, красные?.. — гладил Лукьян Валуева по рукаву пальто.

— Установят! — пообещал сержантик. — Скоро придут. На легковушке. Которые специалисты. С чемоданчиками.

А дядя Саша — его словно парализовало при взгляде на высокого, с прищуренными глазами пленного в русском ватнике и своей, немецкой пилотке с козырьком.

Пошатываясь, Валуев приблизился к этому человеку.

— Здравствуйте... Не узнаете?

Немец перестал шуриться. Пожал плечами. Виновато улынулся дяде Саше.

— Лицо мне ваше знакомо... Вот что.

Пленный развел руками. Затем, решив по-своему, что от него требуется, торопливо, вместе с киркой, полез в отверстие.

— Поехали, Александрович. Не понимает он вас. Зазря время теряем, — теребил дядю Сашу Лукьян Светлицын. — Где это вы могли его видеть? Разве что во сне.

— Не-е-ет, не во сне, — зачарованно прошептал Валуев. — Где-то встречались... А зачем, почему? Не иначе — обидел он меня в свое время. Потому и запомнился. Вот бы узнать...

— Да хоть бы и вспомнили... Ну, поругали б вы его, слюной побрызгали, а что дальше? Он, то есть этот человек, все равно вас не поймет. Потому как — иностранец...

— Не поймет, говоришь?

— Ни в жизнь!

— Ладно тогда... Поехали. А видел ты, Григорьич, как он туда сиганул?

— Запугали вы его, вот он и сиганул.

— Это-чем же я его запугал так?

— А всем... И перво-наперво — обличем. Из ямы-то вы как из могилы восстали. Ужас! Ну и... речью. Вы хоть и не кричали на него, а все же русские слова произносили.

Дядя Саша сбил со своей губы присохший окурок. Лукьян взял приятеля за руку, словно маленького. Полезли в повозку. Телка на телеге, обделавшись, мирно спала. Мерин Боец, отвалив нижнюю челюсть, тоже посапывал, закрыв большие глаза и пустив слюну.

И только Катыш, выскочив из-под повозки, весело затявкали, как бы поясняя, что под телегой он и не думал спать, а лежал на законном основании, по причине начавшегося дождика...

Сели, поехали. Светлицын, поерзав на соломе, решил продолжить разговор:

— Что, Александрович, нанюхались в подземелье?

— При чем тут... Я и не слышал его, запаха... Там, брат, другое бьет по мозгам. Там, Григорьич, такая картина...

— Неприятная?

— Не то слово...

— Покойники! На них всегда тяжело смотреть...

— Это, Григорьич, не покойники. Это смерть сама... Голая. Страшная.

— А полезли... Зачем, спрашивается? От одного запаха тошно. Хоть русские люди-то побиты?

— Русские. Православные. Крестик на одном. Медный. Восьмиконечный. Зелененький...

— А смотрели-то на кого? Когда из ямы вышли? Не припомнили, что за человек?

— Мне теперь, после войны, все люди странные... На кого ни посмотришь — знакомый. На одно лицо все.

— Одним ветром пригладило всех, одним огнем окидало... Вот и отпечаталось. А все-таки интересно, — продолжал рассуждать Светлицын, — на кого это вы так палились? После такого кино, которое в подвале, кажись, солнца бы красного не заметил, не только личность какую. А вы так и вцепились в него глазищами!

— Да тебе-то чего заело?! Ну, обознался, померещилось мне!

— А то хотите — вернемся? Пусть его извлекут. Документы пусть предъявит.

— Своих забот... Погоняй, Григорьич!

В городок въезжали далеко за полдень.

Улицы городка после пожаров войны обозначались малозаметными землянками, кое-где выпускающими из себя дымок; иногда конура строения складывалась из обгоревших частей бывшего дома. Изредка, словно уцелевший зуб, горчал довоенный домик.

По деревянному, скороспелому мосту продребезжали на ту сторону речки, где в прежние времена — при Александре Невском и вплоть до сорок первого года — находился центр города.

— Куда мне вас, Александрович, к почте или еще куда?

— В крепость я, к Никанору. Значит, тут вот и сойду, на берегу. Спасибо за доставку.

— Какие там «спасибо»! Договоримся давай, когда вертаться будем. Вдвоем-то оно, сами знаете... Одно удовольствие.

— Назад? — дядя Саша погладил переносицу. — Назад мне, Лукьян Григорьевич, может, и не придется возвращаться. Я, Григорьич, за паспортом.

— В паспортный стол идете, только и всего. И чего вы такой пуганый? Вы лучше по делу обдумайте: как и что. Фотография на паспорт нужна? Нужна. Значит, на рынок, к Моисею. Ночевать-то где надумали?

— У Никанора.

— Ладно. Пусть так. А я в Дом крестьянина. Короче, давайте-ка мы с вами завтра на рынке сойдемся. В полдень. У Моисея-фотографа?

— У фотографа...

— Ну, так бывай, дорогой!

— Не поминай лихом, Григорьич... Прощай!

— Вот чудак-человек... Зачем так сурьезно?

Чуть позже Валуев понял, что идет вверх по тропе. Туда, на холмы, к старой крепости. В ее глубине, за многослойными серыми стенами, пряталась низенькая белая деркушка: помещение, где в лихие годы, не исключая последней войны, отсиживалась небоеспособная часть населения городка. Заведовал всем этим богоугодным заведением деловой, на манер расторопного завхоза, поп Никанор.

Из низких, словно прорубленных в крепостной стене, ворот вышла горстка опрятно одетых людей. Человек во-

семь. Четыре строгие старушки. Несколько дедов в хромовых сапогах и дореволюционных фуражках черного сукна с плетеными шнурками над козырьком. Посмотрели все дружно на небо и, не найдя там ничего необычного, разошлись в разные стороны.

Возле ворот, в толще стены, пряталась за металлической решеткой сводчатая пещерка-часовенка. Подле богатой иконы с негасимой лампадой висела на металлических обручах железная кружка-копилка. Сюда и скользнул из-за деревьев никем не замеченный дядя Саша. Катый хотел было проникнуть в часовенку следом, но у порога передумал: не полагалось ему туда заходить.

Перед уходом Валуева из Гнилиц тетка Фрося шепнула просьбу: опустить в кружку Николы Угодника трешницу. Но потому как дядя Саша денег своих еще не менял, не тратил, то и опустил в кружку всего лишь болтавшийся по дну махорочного кармана двугривенный.

«Была бы просьба исполнена... — подумал ворчливо. — Что трояк, что двугривенный — не разгуляешься на такие денюжки... Да и вся эта вера в бога... Тут еще бабушка надвое гадала. Оно, конечно... Такое хозяйство: и земля, и небо со звездами. И вдруг — без хозяина? А вообще — не нашего ума дело».

В часы трезвые, жестокие, а порой и беспощадные, когда жизнь над дядей Сашей производила свои самые отчаянные опыты, обижался Валуев, что не только бога, но и просто справедливости в мире мало. И желание справедливости — это еще не справедливость.

Кто-то дважды похлопал дядю Сашу по плечу. Валуев испуганно обернулся. В глазах его продолжал светиться потрескивающий огонек лампады, а с земли к нему уже тянулся ставший на цыпочки черный человек. Очень маленький, но с бородкой и в темном одеянии мужчина.

— Отец Никанор!

— Эва кто... А я смотрю — мужик возле кружки задумался. Того гляжу, собачка знакомая ножку задрала. Насовсем, что ли, в город перебрался, Алексаньч?

— Проездом. Ночевать пустите?

— Еще спрашивает! Да я тебе пол-литра поставлю, только переночуй. Уважь только. Потешь присутствием.

— Тоскуете, отец Никанор?

— Тоскую. Если бы не товарищ Кубышкин — съела бы меня тоска. С потрохами. А куда проездом, если не секрет?

— В органы иду, Никанор Никанорович, за новым паспортом.

— Значит, проездом к себе домой. В Гнилицы.

— Неизвестно. Не к теще на блины...

— Так ведь — не дойдешь... Сбежишь, как всегда.

— Нет. Чувствую — время подошло. Не сбегу. Будь что будет. Хоть смертная казнь!

— Ишь ты... Смертная казнь. Такое, брат, заслужить надо. Это и любой бы — раз! — и отмучился... Ни тебе о пище думать, ни тебе людей бояться... Полное отпущение. Раз! — и леги, птица божия, на все четыре.

— И полетел бы... — согласился дядя Саша, идя с Никанором под ручку в направлении крепостных ворот.

— Ишь чего захотел. Ничего не выйдет. Получишь ты свой пачпорт. Наденет на тебя хомут тетка Фрося. И будешь ты пахать, раб божий, от темного до темного... Вот взять хотя бы меня. Человек я маленького роста. Метр пятьдесят два сантиметра. Занимаюсь антинаучной деятельностью, то есть — служитель культа. Мозги у меня на месте. Бог не обидел. Почему тогда в такой невыгодной, смутной должности состою? Сказать почему?

— Скажите, если хотите...

— Потому что она есть мой крест. И я его несу. Человек жив, пока несет крест. А сбросил — не обессудь. Ложись, отдыхай. В могилку. Под тот самый крест.

— И так, значит, безропотно — и неси?..

— Кто поумней — тот безропотно. А кто нервничает да дергается — к тому и усталость раньше приходит.

— Это что же получается? Ваш крест по церковной части, а мой, стало быть, по почтовой?

— По почтовой, говоришь? Нет, Алексаньч. По почтовой — это не крест, а только одна его перекаладина... Если бы только по почтовой-то. Долгонько бы ты его нес. Устали не зная... А то ведь и лагеря, и потеря сыночка, и паспорт, и отсутствие пищи, и Фрося хромая, и сомнения-страхи... Вот он где, крест-то! Ствол-то от крестовины. А почтовая часть — это все детали... Крест — он шире. Судьба-доля... Ну, хватит. Обтирай ноги да пошли — шами тебя угощать буду. Крапивными. Люблю из крапивки. А у меня там сегодня и кость. В шах-то. Копыто коровье.

Во дворе крепости стояла церквушка. Крепенькая еще. Приземистая. Псковской, «оборонной» кладки. Без кудрявых украшений. Будто большой камень граненый. А на камне маковочка с крестом.

Жилёй поповский домик голубел в ветвях безлистных яблонь. Сам двор — между церковью и садом — был вымощен старинным плитняком цвета слоновой кости. Местами бугрился булыжник. А возле входа в церкву вкопаны в землю огромные, с плоскими спинами валуны. С десятков каменных ядер величистой поболее футбольного мяча лежало неподвижной кучкой у самой стены давно не беленного церковного строения. Всю остальную территорию кремля занимали оранжереи, ягодные кусты и фруктовые деревья, так что, начиная с весны, серая эта крепостенка походила на большую корзину с цветами.

Жилище отца Никанора хотя и голубело снаружи напыльным образом, изнутри отпугивало казенной строгостью. Если, не глядя по сторонам, миновать кухню, то попадешь в большую квадратную комнату (единственную в доме). Все помещение густо выбелено — и стены, и потолок — одним больнично-бледным цветом. Голый комод, изъеденный жучком-точильщиком, словно простреленный мельчайшей дробью. В дальнем правом углу комнаты черная железная койка, наверняка очень тяжелая и неудобная. Рядом с койкой табурет. На табурете обшарпанная церковная книга, толстая, как сундучок. На книге будильник. Над койкой, в самом углу, темнотилая икона. Перед ней на металлической цепочке синего стекла лампадка. Пол в комнате выдраен до «живого мяса». Ни бельевых тряпок, ни занавесей... На окнах под потолком скатанная рулоном маскировочная бумага.

Пахло в доме — ничем. Разве что известью от побелки.

Устроились в кухне. Никанор снял с себя церковное облачение. Вымыл под звонким рукомойником красные, как морковь, пальцы. Полез с ухватом в печь.

Дядя Саша потер, поводит ногтем по запотевшему стеклу окна. Долго чего-то высматривал на дворе.

— Ты, Алексаныч, за песика своего не переживай. Пусть развлекается. С городскими краями. У меня их тут целый табун. Всех не прокормлю, а самых малых да кзелых поддерживаю.

— И мне, что ли, руки мыть?

Валуев щепочкой культурно вынул из-под ногтя немного грязи.

— Ты, Алексаныч, как тебе удобно, так и поступай. А главное — к шам готовься. Милое дело — из крапивы. Из крапивы и то не так настойно,

— Я к вам, отец Никанор, не за щами... За советом я. За облегчением от мыслей разных. Зловредных.

— А ши, уважаемый, шибко облегчают. Лучше всякой проповеди. Особенно если с дороги человек. С большого расстояния.

Черный, задымленный чугунок на полведра медленно и осторожно, как мина, был извлечен Никанором из пещеры очага. Низ горшка, прежде утопленный в горячую золу, побелел от серого пепла. Сковырнув сковородку, прикрывавшую варево, Никанор живо отпрянул лицом от горшка: густой пар ударил навстречу.

— Ух ты! Дух-то, однако! Товарищ Кубышкин! А, товарищ Кубышкин. Прошу к столу.

За печкой, где-то в ее лабиринтах, заворочались. Кто-то тихо засмеялся. Даже хохотнул.

— Кубышкин.. Напарник мой. Да ведь ты его знаешь. Божий человек. Мы с ним еще в Гнилицах подружились. Когда он там партизанил.

В войну поп Никанор заведовал гнилицкой церквушкой, держал связь с партизанами и даже убил одного распутного немца лопатой, когда тот изнасиловал маленькую девочку на кладбище. Убил и тут же закопал. И плитой накрыл. Мраморной, помещицкой. Барина Лютоболоцкого.

— Товарищ Кубышкин, вылазьте. Пора ши разливать. А это ваша область.

На печке или за печкой завозились, захихикали.

— Только на «товарища» откликается, — пояснил отец Никанор Валуеву. — Бывший работник районного масштаба. Наробразовец. А вообще — мученик, самый натуральный. Немцы вешали его. С петли сорвался. В пляс пустился. Потом плевать вздумал. На палачей. А тут начальство мимо. На лимузине. Подшофе. Понаблюдали такой, значит, цирк и турнули Кубышкина под зад ногой. Другой он с тех пор. Товарищ Кубышкин! За вами дело... Ши простынут.

— Я очень люблю ши! — крикнули из-за печки. — И уважаю! Очень.

Наконёц на свет вытиснулся весь в белом, спина и грудь перепачканы, толстый, курносый, с седым венчиком волос, плешивый человек среднего роста. На его лице росла крайне редкая, как бы тоже плешивая борода.

Кубышкин, широко улыбаясь, начал разливать горячие ши. Поварешку он держал на отлете и как-то уважительно, словно сложной конструкции аппарат.

— Я очень люблю разливать, — сообщил Кубышкин отцу Никанору, при этом вовсе не обращая внимания на дядю Сашу. — Всем поровну лить или через одного?

— Всем поровну, товарищ Кубышкин. Алексаныч тоже очень любит щи...

— Пожалуйста.... — не переставая улыбаться, согласился Кубышкин.

Если все дружно. Много и подолгу дули на варевое. Шумно втягивали в себя с ложек.

— Говоришь, зачем в город-то? — Никанор облизал деревянную ложку. Поскреб у себя под черной бородой, как под одеждой.

— Сроки вышли. На документ.

— Переживаешь. Цель жизни имеешь. Разве это плохо, Алексаныч? Лично я по другой причине тоскую. Документы у меня в порядке, и не боюсь я никого на земле. Ибо — верую. Как могу. По силе возможности, но верую. А значит, бесстрашием обладаю. И все ж таки тоскую. Иногда, стыдно признаться, просто по бабе. По своей Нюшке, царствие небесное. Зачем тебе паспорт, Алексаныч?

— А затем, что у меня его нету! Бесправный я...

— Так сходи да получи. Ты ведь только разговоры об нем разговариваешь. Сходи, стукни в дверь, в какую положено, переступи порожек. Так, мол, и так. Я есть городской бывший житель Валуев. Отдайте мне мой паспорт. И — шапку об пол! А ты как думал?

— А ну как посадят они меня?

— Нужен ты кому! Люди на земле, по большей части, жалостливые, сговорчивые. Даже в кабинетах. Вон печка — видишь? Год назад ложил я ее с Кубышкиным, с товарищем Кубышкиным, — подмигнул отец Никанор игравшему ногтями на зубах убогому, — так вот, ложили мы с ним печечку нашу, кормилицу. Так, бывало, делаешь замес раствору для кладки, а в песочке черви дождевые нет-нет да и попадутся. Лето мокрое простояло, для живности этой раздольное. И что же ты думаешь? Товарищ Кубышкин руками тех червей из песочка извлекал и подальше, в траву выпускал. Почему? А потому что — живое. Извивается — вот и жалко. Даже товарищу Кубышкину жалко. А ведь его не пожалели... И я лично извлекал, выбрасывал. А в Лютых Болотах лопатой немца убил. Девочку он... Да слыхал ты об этом!

— Как не слыхать... А мы с Лукьяном Светлицыным по

дороге такое видели... Что и на войне придумает не каждый.

— А где ж Лукьян-то Григорьевич? Почему не посетил?

— С лошадкой он. В Дом крестьянина подался.

— Зря ты его не зазвек, Алексаньч... Милый он мужичок — Лукьян этот Светлицын. Тянет к нему.

— Я очень люблю лошадок! — вспыхнул Кубышкин.

— Ну ладно... Самовар затшикал. Товарищ Кубышкин, а где же кружки? Сердцу чтобы веселей? А что, прости, перебил, видели вы с Лукьяном? Какие такие ужасы?

Отец Никанор насыпал в большой фаянсовый заварник какой-то травяной трухи. Залил сено кипятком из самовара. Кубышкин принес от посудной полки две металлические кружки.

— Почему две, товарищ Кубышкин? Я тоже буду пить.

— Пожалуйста...

Пили, потя. Предварительно разогретые щами. Пили с конфетами «подушечка». Каждому по две «подушечки».

— Так что вы там видели такое?..

— Подвал с мертвяками. Под спиртзаводом погреб. Обнаружился...

И Валуев подробно рассказал отцу Никанору о том, как лазил он туда и что там видел.

Неожиданно товарищ Кубышкин побледнел. Кружка с недопитым чаем из его руки выпала, залил он себе ватные штаны. И вдруг заплакал, заругался матом, а потом и вовсе непонятной сделалась речь его. И убежал он к себе за печку. Спрятался. Только частые всхлипывания да покусывания напоминали, что где-то плачет живой человек.

— Испугался рассказов твоих... Ничего. Пусть поплачет. Это мозги у него повредились, а душа справная. Не омертвела, плакать может. Всем бы такую пугливость.

— А что, интересно, Кубышкин этот ваш — аэрующий геперь, или как?

— Товарищ Кубышкин атеист. Каким до повреждения был, таким и остался. Убили его тогда. А смертью не переубедишь.

— А чего ж он пугается? Убитый? Непонятно... Может, уйти мне? В Дом крестьянина?

— Не болтай, Алексаньч. Сейчас стелить буду. А пугается в нем то, что не омертвело. Иными словами — душа. Мозги омертвели, выключились. А по части души — осталось. Из одной-то веры в другую исключительно мозгами

переходят. Умом-выгодой. Так что товарищ Кубышкин — прежней своей веры человек. С ним удобно. Он хоть и атеист, а пропаганды антирелигиозной не ведет. Уживаемся — любо-дорого. И не киснем, как некоторые.

— А щи тоже кислые!.. Бывают. Люблю очень! — сообщил вновь улыбающийся Кубышкин, выдвигаясь из-за печки.

— Вот и славно. Пойдем, Алексаныч, на двор, собачке твоей полакать дадим.

На улице давно стемнело. В воздухе висел мелкий, не падающий, а как бы все время оседающий дождик. Никанор вынес к порогу немецкую каску со щами, куда чего-то подлил, подтрусил, подмешал, и сейчас устанавливал стальную кастрюлю в лунке от специально вывороченного булыжника.

Из непроглядных пространств к нему потянулись всевозможные собачьи морды. Поймав под брюхо Катыша, дядя Саша поставил его возле каски. Несколько других наиболее отважных собак ринулись было туда же, но ласково и строго отец Никанор отстранил их. Послышалось недовольное ворчание.

— Не нужно злиться... — убеждал собак отец Никанор. — Это собачка у нас в гостях. Пусть полакает первая. Собачка маленькая. У ней желудок всего на пол-литра щей. Потерпите, братия...

— Приду завтра... Постучусь в двери... А вдруг там двери чем мягким обиты?.. Как же я тогда? И не достучаться будет...

— А ты ногой!

— Скажете тоже... Ногой!

— Тогда головой... — заулыбался отец Никанор.

— Больно — головой! Очень... — шепнул Кубышкин.

Спать легли через десять минут, после того как покормили собак. Дяде Саше постелили на двух широких лавках. В теплой кухне. Кубышкин скрылся за печкой. Было слышно, как он там несколько раз хохотнул, а потом почти сразу же и захрапел. Отец Никанор пожелал дяде Саше спокойной ночи и ушел на свою коечку.

Территория рынка была самой популярной частью городка. Издревле горожане ходили на рынок, как дети в школу. Последние новости, сделки, кулачные раунды, а

также флирт, мелкое воровство, ротозейство, похвальба, короче — театр, подмостки бытия, сотрясаемые в военное время разного рода облавами, чистками, ружейной пальбой, псовым рыском и рыком, а в мирное время пьяными чудачествами отдельных «артистов», поросячьими побегам и бабьей погоней с растопыренными руками и всеобщим визгом.

Непременными и постоянными членами рыночного клана были «холодный» сапожник, часовщик, жестянщик-лудильщик, старьевщик, пилющик дров и продавцы морса, а также фотограф.

Фотографировались люди не менее охотно, нежели чинили стоптанную обувь и паяли дырявые тазы. В самые суровые времена находились желающие запечатлеть на бумаге свою улыбку или каменно-серьезную мину.

Отгороженное от мира фотопространство напоминало собой маленькую эстрадку, где под открытым небом выступал фотографирующийся клиент, а большой деревянный ящик аппарата был зрителем, обладавшим единственным голубовато-телячьим глазом объектива.

Здесь же, на фотоэстрадке, имелось и кое-что из реквизита: несколько рисованных приспособлений с дырками, сунув в которые свою личную голову, клиент становился либо флотским морячком, либо человеком на лошади, а то и просто зверем в тигровой шкуре.

Не единожды рынок почти полностью выгорал, разметывался близко упавшей фугасной бомбой, но пестрый загончик фотографа оставался на своем счастливом месте. Менялись мастера этого дела: они умирали и даже гибли, но дело их не гложло.

Валуев проник в пространство за фанерной дверью. Возле крошечного столика старик Моисей, подняв одни очки на лоб и опустив на кончик носа другие, с неподдельным ужасом вглядывался в хихикающую девчущку, сличая ее курносое личико с фотографической копией четыре на восемь.

Старик высоко подкинул огромные серые брови, рот его широко раскрылся, серый тусклый язык во рту изогнулся, как листик на огне...

— Говорил тебе, улыбайся, девчонка! А ты что надела-ла? Посмотри, на кого ты похожа? На притихшую ведьму. Ох, попадет мне от твоих добрых родителей за такую работу. Скажи мне лучше, где твой замечательный носик?

— Дедушка Моисей, это ведь не я...

— Вот и я говорю: какая-то фурия.

— Вы перепутали, дедушка Моисей!

— Ты так считаешь? — воззрился старик на клиентку. — А ты поищи, поищи сама, — пододвинул он к ней снимки. — А то вот ко мне собачка пришла фотографироваться.

Старик Моисей погладил проскользнувшего в «ателье» Катыша. На дядю Сашу и не посмотрел.

— На документы собачку? Или для альбома запечатлеть? На добрую память?

— Это Катыш... — застеснялся дядя Саша. — Со мной он. Сейчас выйдет. Я ему скажу... Иди, Катыш, на двор, иди.

— Пусть погрееется. У меня здесь на целый градус теплее улицы.

Катыш, потоптавшись, лег на тряпку рядом с порогом.

Дядя Саша хотел повесить кепку на гвоздь. Но шляпка гвоздя обернулась большой сонной мухой, и кепка упала на пол.

Старик Моисей был из приезжих. Из той накатной — вслед наступающим войскам — волны беженцев. Так сказать, обратной волны, если сравнивать с волной сорок первого года. Прежний владелец фотодела лежал во рву за военным городком вместе со всеми евреями района. Моисей не дошел до своей Белоруссии всего несколько десятков километров и вот обосновался здесь, на рыночной площади: соблазнился пустующим павильончиком.

Дядя Саша снимался у Моисея год назад, еще тогда, на временный паспорт. Но Моисей Валуева не узнал. По причине слабого зрения. Вон сколько очков понацеплял. Даже девочку с пожилым женским снимком перепутал.

— Собачка тихая... — подлизывался к Моисею дядя Саша, вызывая деда на разговор. Хотелось рассказать фотографу о своем насущном, выслушать постороннее мнение на этот счет. Такие бывалые старички могут дельный совет подать. К тому же, глядишь, и сфотографирует поусердней, после доверительного разговора. А то не понравится в паспортном отделе карточка — и привет...

— Умный, понимаете ли, песик. И в доме не гадит. Это уж — будьте уверены!

— ...Ну, что, девочка, нашла себя?

— Нашла! Хи-хи... Можно взять?

— «Хи-хи, ха-ха!» Вот и получается, что исказила ты себе лицо. Тем веселым смехом. Это хорошо, когда девоч-

ка жизнерадостная. Но плохо, когда ее не узнать. Из-за того веселья.

Девочка прыснула, покраснела, стала еще более неузнаваемой и симпатичной. Прижав к груди снимки, она с облегчением выскочила из фотопредбанника.

— Перед аппаратом сиди, как перед Страшным судом. Иначе никто тебя после не узнает, — наставительно обратился дед Монсей к Катышу.

— Мне бы на паспорт... В срочном порядке...

Дядя Саша чесал нос, вздыхал, примерял свою старую кепку и уже подумывал, а не вернуться ли ему в Глинцы, как вдруг Монсей подошел близко-близко, погладил Валуева по голове и доверительно произнес:

— Не обижайтесь, гражданин. Я плохо слышу. Последствия голодания. Вам на документы?

Дядя Саша закивал, замигал, замахал согласно руками и вообще повел себя с Монсеем, как с глухонемым.

— Да вы говорите, говорите. Я кое-что слышу...

— Мне бы в срочном порядке!.. Для паспорта!

— Потеряли?

— Нет, что вы?! Как можно... При мне он! Только вот срок ему вышел.

— А я летом потерял. Или кто вытащил на толкучке. Вместе с бумажником. Какой-нибудь урка неразумный. Деньги-то я в другом бумажнике держу. В домашнем.

— И что же теперь?.. Без документов проживаете?! — закричал дядя Саша Монсею в ухо.

— Зачем же... Дали вот новенький. До конца моих дней в юдоли земной. Вот какой симпатичный. И с фото собственного изготовления.

— Можно... подержать?

— Сколько угодно. Любуйтесь на здоровье.

Дядя Саша бережно принял в руки чужой паспорт. Раскрыл его, поднес к лицу, понюхал.

— Совсем новенький... Клеем пахнет. А вам и не дашь семидесяти. Я полагал — шестьдесят...

— Громче говорите.

— Хочу сказать... Лет вам много! А лицо не старое.

— А-а... Это потому, что я мяса не ем. И живу на людях, в самых людных местах вращаюсь. Запечатлеваю лица... Ведь вас можно пырнуть ножичком — и где ваше лицо? А я: чик! — и вы бессмертны. Будете лежать в альбоме триста лет. Потом вас переснимут, и еще триста лежите...

Старик Моисей ушел за перегородку. Вернулся, держа в руках нечто напоминающее галстук.

— Идемте сниматься.

Валуев поспешно скинул пальто и почему-то пиджак. Старик Моисей похлопал его по плечу.

— А фрак наденьте. И вот вам галстук. Приставьте к груди. — Подал картонный муляж на веревочке. — Подвесьте, подвесьте. В хорошую полоску нарисован. Солидно и современно. А главное — бесплатно. Как приложение. Так что водружайте...

Моисей повел дядю Сашу в «ателье». На эстрадке поставил Валуева долго пятиться, затем дернул за руку вниз, усадил задумчивого клиента на табуретку.

И мгновенно Валуев словно лом проглотил — заостенел, удлинив шею, задрал подбородок и вылупив глаза. Моисей еще только снаряжал к действию свой фотоаппарат на трех, с металлическими копытцами, ножках, а дядя Саша, глядя в зачехленное дуло аппарата, обмер. Не размагнитился он и тогда, когда в «ателье» не вошел, а, можно сказать, въехал на троечке шумливый, при орденах и медалях, заливчатый субъект лет сорока пяти. Темно-синие галифе, гимнастерка под ремень, сапоги гармошкой с донельзя обжатыми книзу голенищами; русский чуб, обсыпанный сединой, и — ни грамма живота — поджарый, жилистый, лицо в резких, мужских морщинах.

— Живые имеются-я?! — словно команду подал. — Гей, частный сектор! Здорово, дед Моисей. Требуется нарисовать меня в лучшем виде. К ноябрьским праздникам. На семейную доску Почета. Шикарный чтобы портрет! Уловил, художник, или повторить? Химикалии имеются?! Бумага мою личность выдержит?!

— Располагайтесь, товарищ Коршунов... Сейчас и запечатаю. При всем вашем параде. Немного терпения...

Дядя Саша тем временем сидел, не шелохнувшись, глядя в одну точку. И только крупные уши его с появлением шумного клиента заметно зашевелились, будто на них ветром подуло...

— Кто это у тебя, такой серьезный? Небось выпиваете в рабочее время? Ох, частный сектор, частный сектор... Так бы и ликвидировал вашу лавочку, да руки не поднимаются. Умелец ты, дед Моисей, редкий умелец. Подожду, пока сам не помрешь... Стойте, батюшки! Да это кто ж такой тут расселся?! Что, думаю, за статуи торчит? Да никак и впрямь — Сан Саныч?! Ну, здравствуй, почмейстер!

Значит, освободили тебя? Правильно, все по справедливости, выходит. А кто, думаешь, Фросе твоей письмо подписывал? То-то и оно, брат! Без Коршунова лежал бы ты сейчас где-нито на нарах... И фотографировали бы тебя не так, с галстуком, а по всем правилам: фас и профиль...

— Спасибо вам, товарищ Коршунов... Сейчас вот только сфотографируют меня... Дак и хоть в ноги вам! Хоть что...

— Все! Обессмертил! — хлопнул в ладоши Моисей. — А снимочки завтра, уважаемый. Вы свободны.

— Дорогой товарищ Коршунов... — начал медленно и в то же время истошно подниматься с табуретки дядя Саша.

— Ну, здравствуй, голова! Здравствуй, неудачник... Хотя какой ты неудачник?! Ведь живой-здоровый!

— Неужто это вы, товарищ Коршунов?.. Защитник мой...

— Собственной персоной! Аркадий Иванович! Коршунов! А ты как думал? Сейчас пойдем, дорогой... У меня день рождения нынче. Трех бывших партизанчиков наскреб. Со всего района... Разлетелись кто куда, ястребочки. Будешь четвертым. Ты хоть и не полный, так сказать, не целиком... Не чистых кровей партизанских... А все ж таки — человек свой! Нашенский. И пошли, стало быть! Вот только снимусь при параде. И айда! Вспомянем все как есть... Кого за здоровье, кого за упокой. Принимаешь приглашение?

— Да я что?.. С превеликим я... Только мне документ выправить необходимо. Без паспорта-я, товарищ Коршунов... маюсь.

— В колхоз, что ли, вступил?

— Да нет, не вступил. На почте я, в Гнилицах.

— А как же без паспорта? Утерял?

— Ни-ни! Со мной он... То есть — временный, который просроченный. Заменить бы его...

— Во проблема, понимаешь! Я его к столу партизанскому приглашаю, а он мне про паспорт заливает... Смотри, штампель, обижусь!

Дядя Саша жалобно вздыхает. Потом вымученно улыбаётся:

— Пойдемте со мной, товарищ Коршунов... Сведите меня, христом-богом умоляю! Боюсь я... Отвык. Все один да один в жизни своей...

— А Ефросинья твоя? Или умерла?

— Да не дай бог! Чего ей сделается?.. Дома она. Толь-

ко совсем охромела. На дальние расстояния не пригодна уже...

— А то бы ты, значит, с ней в милицию пошел? За ручку? Ну, Валуев! Ну, голова... Да ты оглянись, браток! Война кончилась... Ишь, оробел человек...

— Оробеешь, ежели без прав.

— Во, заладил! Достанем мы тебе паспорт. Не горюй. Ну, оштрафуют малость...

— Это бы хорошо! Я денежки вот принес. Фрся завязала.

— Откуда у тебя денежки в Гнилицах?

— Скопила баба... Едим с огорода теперь... Картошечка... Огурчики.

— Да-а, в войну, брат, людей не штрафовали. В войну, если ты чего просрочил или проштрафился как... Разговор короткий был: Теперь чего не жить. Жизнь мирная — волкита бумажная...

Наконец старик Моисей завлек товарища Коршунова сниматься. Слышно было, как бормотали они за перегородкой, словно поругивались. Когда вышли в прихожий тамбур, старик Моисей выписал на столике общим клиентам квитанции. Получил с них деньги.

— Вот, держите, товарищ Коршунов, бумажку. Не любите вы бумажек, так я вас понял?.. Бюрократию мирную...

— Смотри-ка! Глухой, глухой, а примечает.

— У вас голос командирский, товарищ Коршунов. А что, если не секрет, — тоскуете по военным дням?

— Не по военным дням тоскую, дура старая, — понизил Коршунов голос на ругательном месте, — по друзьям-товарищам тоскую, по всему, что связано с этой войной проклятой! По теплым беседам откровенным... У костра. По чаю партизанскому, по улыбкам чистым... Понял, дед? А по войне только Гитлер тоскует. На том свете...

Дядя Саша надел пальто, взял в руки кейку, приоткрыл дверь. В образовавшуюся щель пулей вылетел заскучавший в фанерном заведении Катмыш.

Дядя Саша неожиданно помрачнел. Коршунов подхватил его под «крендель», вел, как барышню. Пытался разговаривать.

— Сейчас я тебя в парикмахерскую на санобработку! Дураки мы, Сан Саныч. Надо было остричься прежде, тогда сниматься...

— Знал бы, что такой вредный фотограф, — и не сни-

мался бы, — посетовал, закипая, Валуев. — Острик, понимаешь! Самоучка...

— Чем же он вредный оказался?

— Несправедливостью. Он сказал, что я — таракан! Насекомое... Что-де не за паспортом надо бегать, а смысл жизни прояснять. А где его прояснять — небось и сам не ведает. Ты мне паспорт выдай, я тебе тогда не только за смыслом — за чем угодно побегу, хоть через всю Россию!

— Да успокойся ты, мать честная! Вот побреют нас, и пошли, отведу к Полуверову. К начальнику паспортному. Меня здесь все знают, понял?

— А кто вы?

— Коршунов я. Коршунов! Аркадий Иванович!

— Понятно.

— Остановись! Ничего тебе не понятно. Страшней другое. Вот, к примеру, — тупые ножницы! Я ужас как стричься не люблю. Страдаю, когда волос режут. И когда ногти — тоже... Ведь живое все, плотское. От одного тела. Вот я тебя и привлекаю. Совместно страдать легче. Бр-р! Мое, живое — и вдруг шпендик какой-то в белом халате ножницами тупыми тебя раз-раз! По живому... Искромсает. А ты сиди, улыбайся. Подставляй места... Боишься, Сан Саныч, парикмахеров?

— Парикмахеров не очень... Я больше начальства разного...

Товарищ Коршунов резко остановился на дороге, то есть на улице, на которой не было домов. Довольно грубо потрогал дяди Сашин лоб — наотмашь, ладонью. Росту они оказались примерно одного. Обладая военной выправкой, приобретенной в лесу в годы войны, товарищ Коршунов держался ровнее, фигурку имел юношескую, хотя и был моложе Валуева всего на пять лет.

— Только откровенно... Черти с рожками? Такие мохнатенькие... По рукаву пиджака бегают? Являлись?

— Нет.

— А я думал, горячка у тебя... Белая. Твердишь одно и то же...

— Да нет, миновало... Наружу губой вышло. Окидало после бани. А так ничего... Даже не кашляю.

— А чего тогда скулишь?! Бойшься чего? Паспорт, милиция!

— Я головой был... Волостным.

— А связь с нами кто поддерживал? Кому доверяли партизаны?

— И с немцами связь имел, — задумчиво произнес Валуев. — Что ни говори теперь, а числился... головой...

— Задницей ты числился, а не головой! Вот идивотина, понимаешь... Ты думаешь, я — ангел? Вон — ордена-медали, контужен-ранен. Должность в райсовете. А страхи и у меня были. И мне кишки сводило. И грехи, как положено, имею.

Товарищ Коршунов и дядя Саша вышли на главную площадь городка. Прежде здесь сходились в кольцо самые крупные здания: универмаг «номер один», храм Христа Спасителя, горисполком, почта, кинотеатр «Красное полушарие». Теперь ничего этого не было. Вернее, существовали и горисполком, и почта, и кинотеатр — только помещались они в одном-разъединственном многоэтажном здании на краю городка. А центральная площадь приобрела вид заброшенного поля, на котором почему-то перестали высевать злаки. Правда, на месте бывшего храма, в его приделе, сохранилась маленькая кирпичная часовенка: сюда-то и увлекал дядю Сашу товарищ Коршунов. В часовенке теперь справлялись самые что ни на есть прозаические обряды, как-то: стрижка, бритье, маникюр. Но — слава богу — справлялись.

Примерно в центре разоренной площади Коршунов придержал дядю Сашу за рукав, желая досказать ему про свои грехи.

— Летом сорок третьего, в самую пеклу, в июле, отряд я свой из блокады болотами выводил. Выводил, да не вывел... Обложили целым полком. С пушками, с собаками. Два раза в прорыв сунулись, как на стенку каменную. Туда-сюда... Глухо. Один выход: на небо. Или — в землю. А тут листовки! Нам-де Коршунова, партизанского батьку, живьем отдайте. А вас, глупые партизаны, так, мол, и так — пропускаем без задержки. Уходите. Только вяжите Коршунова, и лады. Понял? Во! Ситуация, одним словом. А я в том районе уже многим поперек глотки стоял. И оккупантам, и прихлебателям ихним. Ну, партийцы собрались. Совет держим. Сперва без разговоров — пробиваться. Всей кучей. А это почти верная смерть или плен, ежели ранят. И хана отряду. Тогда партийцы решают так: командира и знамя отряда временно закопать. В землю. До снятия блокады. Я незамедлительно кулаком по столу! А мне: тише, Аркаша. Жить надо. Войску. Сражаться в дальнейшем. И — полезай, стало быть, в яму, товарищ командир.

— Полезли? — поинтересовался Валуев.

— А ты думал?! Отрыли в сухой почве могилку. Моху мне вокруг головы наложили. Трубочку от телефонного провода в рот... И засыпали. Осторожно. В самой чашобе лесной. Листьем-травой замаскировали. И — на прооры! Одна часть людей — с белым флагом — по одной тропе, другая, бо́льшая часть — по другой. Те, что с белым флагом, вплотную к немцам подошли и давай чесать из всех видов! Погибли вскоре... До одного. Зато другая часть вышла из кольца. А на следующий день и каратели отхлынули. Комары их заели. С непривычки в болотах нашенских, сам знаешь, кому приятно? А я лежу, дышу в трубочку. По мне даже конный проехал... А пеших шагов ихних, вражеских, и не счесть, сколько я их выслушал тогда.

— Сочувствую, — почесал нос дядя Саша, — натерпелся и вы страху.

— Привык очень скоро. К своему такому положению. Только вот когда по малой нужде захотел, вот где странно сделалось! Ну, значит, приспичило... Конфуз, и только. Терплю... Сколько часов прошло под землей — не знаю, только вдруг слышу: откапывают. Кто? Неизвестно. Свои, чужие? Вот тут я едва не обмочился. Однако свои! Разведка прибежала. Выскочил я из могилки и — шасты! — за дерево. Ребята думали — умом рехнулся, а я стою, поливаю.

7

Стригли и брили непосредственно в часовне. Для живой очереди к часовне приделан, похожий на большой перевернутый ящик, тамбур. Здесь можно было курить, вести громкие разговоры и даже закусывать.

Сейчас тут, в еще не холодную осеннюю субботу, томилось всего четыре человека: два нетрудоспособных старичка, какой-то сонный тип, отгородившийся веротником шинели, и Лукьян Григорьевич Светлицын — гнилицкий инвалид.

Катыш, действуя на редкость разумно, моментально закатился под лавку, где и затих до лучших времен. А Лукьян Светлицын так обрадовался дяде Саше, что начал уступать ему свое место, неловко тычась в пол протезной колодой. Получалось даже как-то нелепо. Валуев, застеснявшись, сел, потом встал и опять приземлился, замата-

шись без всякой надобности: напротив, вдоль другой стены, пустовала еще одна скамья.

Дядя Саша и стричься-то вовсе не рассчитывал... И с Коршуновым в паспортный отдел идти не предполагал... Во всяком случае — не так внезапно собирался он туда, не столь решительно. Не созрел он для такого шага, не выбродил... Да и не чудо ли: единым духом берут за рукав и прямым тащат. Столько он сомневался, столько изгибался к прыжку, и вдруг — милости просим! Не-е-ет. Тут надо обмозговать, что-то уж больно резво понесло. Хорошо вот — Лукьян повстречался. Свой, из Гнилиц. Сейчас, ежели предложит домой ехать, сразу и согласие можно дать. А за паспортом после приехать... По санному пути. В валенках...

— Продад, Лукьян Григорьевич, телушку?

— Сводил! Из рук в руки — берите, пользуйтесь. Там, Алексаньч, таки рожи на бойне! Яркие... Теленочек как взглянул на дядку, так и присел. От одного взгляду — ноги отнялись. И чего еще узнал: убивать ее сегодня не станут. Только аж в понедельник. Все поприятнее знать...

Коршунов, пожав руки двум дедам из очереди, как к себе домой, прошел в глубь часовенки. Никто не опротестовал — даже не шелохнулся.

А дядя Саша вздохнул от облегчения. К Коршунову Валуй относился подобострастно: как-никак дважды выручил, а точнее — от смерти спас. Помиловал. Теперешнего, беспаспортного, дядю Сашу личность Коршунова, такая цельная, заслуженная, такая стремительная, не могла не угнетать, не настораживать. Были они как бы на разных этажах жизни: Валуй в своем полуподвале, где сидел тихо, смиренно, не выпирал, а и вовсе тайлся; тогда как товарищ Коршунов по всем пространствам летал, вплоть до чердака! И попробуй такого не пусти куда-либо... Да он тебе, не остывший от войны, гранату под канцелярский твой стул шваркнет! Если ты за нос его начнешь водить.

Полегчало дяде Саше без жизнерадостного присутствия товарища Коршунова. И осмелел Валуй настолько, что заговаривать с людьми начал. И прежде всего — Лукьяну досаждать.

— Выходит, Григорьич, телушку тебе жалко?

— Развязала она меня, слава те! Хорошо теперь, просто. А вы, никак, тоже подстригаться, Александра Александрович?

— Понятно — не щи хлебать. Ты вот телушку жале-

еще, что убьют ее. А что она такое — телушка? Да ничего особенного. Мясо она...

Дядя Саша воинственно оглядел присутствующих, в том числе и сидящего следом за дедами человека в шинелишке. Сейчас воротник, за которым этот человек скрывался, опал книзу, и дядя Саша увидел странно знакомое лицо. Кто же это? Городской, верно, житель. Еще по мирным, довоенным временам примелькался... А впрочем, какой-то другой, не довоенный. Новый какой-то. Таких раскосых да чернявых у них и не водилось прежде. Азиат небось... А зубы, а вот зубы знакомые. Те, которые спереди. Как две пули — металлические.

Лукиян Светлицын в это время к самой двери часовни пододвинулся, так как следующим на подстригание являлся. Настороженно ждал он, когда единственная парикмахерша обшелкает ножницами напористого Коршунова.

И дядя Саша, не привлекая ничего внимания, решил заговорить с чернявым, в ком, после долгих сомнений и колебаний, признал мелькнувшего однажды перед глазами полицейского, с которым еще в лагере дрался его сынок Кеша; сынка этот злобный мерзавец ударил тогда кирпичом по голове... Помнится, зубы у этого человека так же вот выпирали из рта. Только были они тогда натуральными.

— Вы что же, крайний будете? — шепнул дядя Саша туда, за чужой воротник. Для начала.

— Мы! — ослепительно улыбнулся знакомый незнакомец. — А то валяйте без очереди. Нам не привыкать.

— А я вас признал, так что извините, если напомню, где мы с вами встречались, — жарко шептал Валуев.

— Гуляем? Будут брить — порезать могут. Если кто выпивши.

— Один такой лагерь, возле села Большие Гумна — помните?

«Сколько ему лет? — подумал про себя Валуев. — И полста можно дать, и хоть меньше — тридцать, тоже не удивительно. А вдруг он совсем другое лицо? Похож или родственник всего лишь? Тому самому? Что тогда?»

Человек со стальными зубами был коротконог, так что, сидя на лавке, едва доставал до полу мысами солдатских ботинок. Двумя руками держал он серый оцинкованный тазик, в котором шуршал и слабо попахивал «природой» березовый веник.

— Похоже, как в баню идете?..

— В баньку... — Человек прижал тазик к животу. Лицо его еще шире расплылось в металлической улыбке. И вдруг азиатский мужичок весело так ткнул Валуева указательным пальцем под ребро.

— Ой! — выскочило у дяди Саши.

— Вот тебе и «ой», — отвернулся к старинной дубовой двери обладатель тазика.

Но Валуев заупрямился. Обычно задавленный всевозможными предчувствиями, колеблющийся и таящийся от посторонних глаз и речей, сегодня дядя Саша то и дело, казалось ему, делал отчаянные шаги, позволял себе выходы, приводившие в трепет его самого — прежнего...

— Слышь-ка... Любезный. Сынка моего. Под Большими Гумнами. Кирпичиком по голове... Как же это понимать? Разве такое можно позабыть? Кешу моего... По темечку? Ну, попал он тебе в драке по зубам. Дай сдачи. Как все... Кулаком. Так ведь? А ты его — кирпичиной. И не раз, а несколько приложил.

— Так вы серьезно? А ну, дыхни! Да-а... Почему в парикмахерскую? Тебе, товарищ хулиган, в аптеку нужно. У тебя голова злая. Дурная голова — лечить будем.

— Думаешь, обознался? Не беспокойся, любезный, я извинюсь, если что не так... Мне бы только два словечка от тебя: жив сыночек? Или не выжил он тогда? После кирпичика? Видел ты его после? Кешу нашего?

— В гробу! Вместе с тобой, дурак упрямый.

Старик, сидевший в очереди, понимающе пригорюнился, сурово скрестил руки на тощих ногах. Беседа покрикивающих людей не обещала им ничего хорошего.

— Чего пристал, дурак пьяный?

— А ты не серчай. Немудрено и обознаться. Я ведь на вас сквозь колючку проволочную смотрел: в глазах рябило, и расстояние приличное...

— Язык бы тебе резануть! За твои слова...

— А похож потому что... И тот вроде китайца был. Только вот зубы не из железа, свои были зубы. Может, си их тебе — того? Выбил? Сынок-то мой, Кешенька? Вот ты и вставил блестящие...

Терзаемый Валуевым человек судорожно вскарабкался на лавку, встал ногами на то место, где только что сидел. Тазик его с грохотом покатился по тамбуру. В руках вскочившего остался венник, которым он принялся энергично размахивать, как бы разгоня комариную тучу. Деды дружно покосились набок, в сторону от узкоглазого, опа-

саясь венника. Из каменной часовни высунулась рыжая парикмахерша с бритвой в руке. Затем вместо ее головы появилась в дверях намыленная физиономия Коршунова.

— Вот! Глядите! Все глядите! — выхватил азиат откуда-то из-под венника брезентовый бумажник с документами и замахнулся им на дядю Сашу, как ножом. — Гляди, шайтан, гляди, собака, все четыре года в армии воевал! Где лагерь?! Где колючая проволока? Кого я кирпичом по голове? Да я бы тебя из пулемета порезал! И сына твоего! После таких разговоров, понял-усвоил?!

Лукьян Светлицын, как только закричал мужчина с тазиком, моментально кинулся на помощь дяде Саше. Пересадил Валуева на другую лавку, примостился рядом, обнял сзади рукой за плечи. Внушительно стукнул деревяшкой об пол, призывая скуластого к тишине-покою.

— Идите, Александра Алексаныч, стригитесь вместо меня. Я обожду. Да коли дел более никаких не получилось — поехали по домам. А? Ну, что же вы так кричите? — обратился Лукьян к озлившемуся незнакомцу. — У нас тоже бумажники есть. Которые с документами. И мы воевали, — приподнял он свою пограничную фуражку и несколько набекрень, лихо посадил обратно на голову.

Из-под лавки на махавшего венником человечка свирепо зарычал Катыш. Вот он, осмелев, выдвинулся из укрытия и, подойдя к опрокинутому тазу, стал его обнюхивать.

— Прошу прощения... — бормотал дядя Саша. — Вижу теперь, что обознался. Слезайте. А все — зубы... зубы, говорю, подвели, скребут те маковку! Похожие очень... Правда, те были настоящие, а здесь — железо.

— Поехали, Алексаныч, по домам...

— Поехали, дорогой! А с паспортом как же?

— Еще съездим! И для меня дело найдется. У меня еще свинка есть. Вдруг да опоросится?! Поросятчиков повезем на сдачу.

— Ездют, понимаешь, придурки разные... Скобари всякие! На людей кидаются, — ворчал разобиженный человек, поднимая с полу тазик. Ворчал, затихая.

Из часовенки вышел обритый и остриженный под бокс Коршунов. От него пахло тройным одеколоном. Правой ладонью гладил он себя по сухому остроконечному подбородку.

— Што за шум, а драки нету?

— Обознался я...

— Драться с таким! — презрительно сплюнул сквозь холодную сталь чернявый. — Умалщенный человек.

— Пусть, — соглашался дядя Саша. — Лишенный... Куда денешься? Ни ума, ни паспорта...

— Хорошо, что напомнил! Пошли, идем к Полуверову тебя сведо. Пока не раздумал. День рождения у меня или что?!

— Не, товарищ Коршунов... Идите, пожалуйста, гуляйте. Ваш праздник. Ни к чему тут я. Да и остричься нужно... Пришли, ждали.

— Стригись, погожу. Хотя чего тебе подстригаться? Все равно опять зарастешь в Гнилицах своих...

С Лукьяном Светлицыным условились, что в пять-шесть вечера Валуев будет в крепости у попа Никанора. Оттуда и по домам...

Душистые, помолодевшие Коршунов и дядя Саша вышли на главную улицу, составленную из двух-трех каменных коробок, выгоревших изнутри и теперь заново заселенных. Городскими учреждениями. Исполком помещался в высоком, стройном здании бывшего собора, где строители напорурубали окошек и настелили несколько новых этажей.

Жалобным взором глядел Валуев на разоренный городок, в котором когда-то родился, и, естественно, не узнавал его. Улицы оплела старая рыжая трава; там, где были дороги, — струились робкие тропки. Ничего такого не возникало, что хотя бы на миг смогло возвратить или приблизить Валуева к отшумевшей пожаром жизни... Где он? Куда попал после бури? Или с мозгом его, с памятью произошло чего? Вот и «китайца» зазря потревожил. С виду — будто он, а на деле кто-то другой.

Теперь, значит, доброхот этот Коршунов... Ведет в милицию. Зачем? Для чего?.. Опять же — в парикмахерскую завлек. На кой? Бдительность усыпляет. Хочет без шума сдать... А у самого — день рождения. Стал бы какой человек в свой день рождения кому-то за паспорт хлопотать? Может, кто и стал бы, только не такой ястреб, как Коршунов. Ведите!.. Ведите! Он не против... Давно к этому дню готовился. А вот готов ли?

— Хочешь есть? — бравым голосом нарушил товарищ Коршунов прощальные мысли-мысльки дяди Саши.

— Кого? — не понял, остановился Валуев.

— «Кого»! Лопать, говорю, желаешь? Да что тебя

спрашивать об еде! Усох там, в своих Гамиллах... Как мумия египетская!

И Коршунов потащил дядю Сашу в барачного типа заведение, над дверью которого симпатично синело жестяное слово «Столовая».

В зале никого. Время — ни обед, ни ужин.

Сели за стол, на котором имелась солонка с солью. Валуев товарищ Коршунов заказал полный обед. Себе — чай.

— Выпить не предлагаю. С этим после... У меня в доме. Незачем перед делом.

— Так, значит, в милицию? Поведете?..

— Сведу, не беспокойся. Ешь теперь.

— А что же, сами кушать не будете?

— Я чай буду кушать. А ты ешь! Небось отвык от городского варева. Ешь, утощая... Борщом для начала.

— Спасибо. Только за борщи сам могу уплатить. Вот они — денежки.

— На штраф скоплены. А что, товарищ Коршунов, вопросик имеется... Поинтересоваться хочу. Можно задать?

— Задавай, почта, вопросыки. Задавай, пока не поздно...

— Это как же понимать?

— А так и понимать: задавай, пока голова у меня по-рожная. Именинник я или кто?! И еще, если пожелаешь, зови меня просто Аркадием. Можешь?

— Нет, товарищ Коршунов. Пока не могу. Повремени малость. Не привыкну сразу...

— А что у тебя за вопросец?

— О должности твоей. Она у тебя что... какая? Солидная или спокойней?

— Солидная... Не волнуйся.

— Спасибо. А вот Полысаев, тот должность имеет — будь здоров! Весь в коже, и щеки — не чета вашим.

— Кто-кто? Полысаев? Так то ж гнида обыкновенная. Сравнил хрен с пальцем. У нас таких в отряде не было. И не могло быть. Выводили дустом. Полысаев твой — урод. Вот он кто. Временный человек.

— А вы не временный? Вы что же — постоянный?

— Тело смертное. И у меня. А душа... Дело мое, правда моя... Нет им смерти!

— И получается, что вы, товарищ Коршунов, верующий

человек. Потому как — и у вас душа имеется. Бессмертная.

— Иди ты знаешь куда! Ешь, говорю, и не отклоняйся!

— А вот еще... — принимаясь за гуляш, поинтересовался дядя Саша. — Помните, взрыв тут у нас в городке произошел?

— Еще бы не помнить! Нас тогда и в оборот взяли... После взрыва. Мертвой петлей захлестнули!

— Вот и у меня с этого взрыва все наперекос пошло. Сынка Кешу заарестовали наутро. И самого — за проволоку. И соседей всех, кто проживал в городке... Весь мужеский пол подчистую...

— Слушаю тебя, Сан Саныч. Потом в зубах поковыряешь.

— А сынка моего, Кеши, до сих пор нету. Исчез.

— Сколько их, которые исчезли...

— Вот и хочу спросить у вас, товарищ Коршунов: стало быть, ваша эта работа: взрыв? То есть — ваших партизан?

— Нет, дорогой. Взрыв совершил одиночка. Как ни странно... Беспартийный патриот. Кочегар по фамилии Петров.

— Много тогда порасстреляли в городке. И в лагеря — многих...

— «Многих, многих»! Заладил одно! Больше сплетен. Шептуну тебе такое кадило раздуют! Мало ли что — «порасстреляли»! А ты как думал?! Война и есть война. Мы их, они — нас. По черепу! Истребление, понимаешь? У них вон череп этот — знаком отличия был... Эмблемой! Череп и косточки. А ты хотел, чтобы все тихо-мирно. Двести человек офицерья взорвали! И чтобы они же после и кланялись тебе: спасибо, товарищи русские граждане, лихо вы нам кровь пустили! Так, что ли?! — стукнул Коршунов себя по колену кулаком, закричал генеральским голосом. — Да их не только взрывать, живьем в землю закапывать, чтобы неповадно! Ты что, с луны свалился? Учить его, как с врагом поступать! В минуты войны... Ишь, каверза, вопросы, понимаешь, задает! Вот такие суслики, как ты, Сан Саныч, и шепчут, поди... Сидят по своим норкам, а погода поутихнет — повылазят и фьют, фьют, давай события обвешивать. Которых в глаза не видели. Чего вот ты паспорт боишься получать? Вибрируешь чего? Совесть, поди, не чиста? Молчи! Знаю тебе цену. Помогал нам. Все помню. А поначалу все ж таки согрешил! Было дело? Уло-

мали тебя в волостные головы! Вот и мучайся, коли согрешил!

— Ну? — перестал жевать дядя Саша.

— Вот и гну! Думаешь, не помню, как ты в лес немецкую рацию в мешке с солью доставил? Целый год по ней с Ленинградом куковали. Пока эта рация в болоте не утопла. Вместе с девочкой-радисткой. Да, да! Покачнулась с тропочки — и в окошко! Такие бездны черненькие в наших болотах имеются. А рация та у девочки на спине, как грузило... Потыркались палочкой — в одно, в другое окошко... И ушли. Некогда было. Силы вражеские подпирали... Или когда Фрося твоя на саночках к нам примчалась. Карательный отряд опередила. Хромая женщина, а как пуля.

— А ведь баба тогда и не знала, зачем сдет! — оживился Валуев. — Лети, говорю ей! Сынка дело касается. Вроде как нашелся, говорю ей, сынок-то наш... И полетела. А бумажка для вас в сбруе конской запрятана была.

— В хомуте. Все помню. Потому и щами тебя угощаю, почмейстер! Ну, поел? Тогда пошли в милицию.

8

Подошли к зданию, на котором было много табличек. Учреждения города ютились по принципу: в тесноте — не в обиде. На истерзанном фасаде горькие следы военного времени: штукатурка почти вся содрана, в красном кирпиче лунки от пуль и осколков. Над рядом окон языки сажи, выплеснутые пожаром, еще не смытые мирными дождями и снѣгами.

В коридоре нижнего этажа Коршунов усадил дядю Сашу на деревянный диван. Велел дожидаться, пока не позвут. А куда после этого сам делся, за какой дверью исчез — Валуев заметить не успел.

Сжавшись в комок на скрипучем, вокзального образца, диванчике, дядя Саша затравленно ощупывал грустными глазами дверные таблички. И рассуждал...

Если Коршунов привел его сдавать как преступника, тогда почему угостил обедом? Где связь? Опять же, у этих нервных людей поступки бывают самые неожиданные. При всех он тебя оскорбит или даже побьет, а наедине... Поцелует. Или вот — шей купит. Зря он, похоже, затеял с товарищем Коршуновым отношения. Да и за паспортом ударился не вовремя. Надо было зимы дожждаться. Тогда люди больше по домам сидят. Даже такие горячие, как Кор-

шунов. А значит, и встреча их могла бы не состояться. Поэтому как Коршунов к зиме давно бы уже сфотографировался. Да и Моисей зимой не работает: павильон его фанерный промерзает насквозь, и никому в нем тогда не усидеть.

Внезапно дяди Сашины мысли полопались, как гнилые нитки: незнакомый старичок в пенсне и старинного покроя куртке-толстовке распахнул одну из дверей коридора и, шаркая подшитыми валенками, резко позвал:

— Прощу!

И усатый старичок картинно выбросил сухонькую ручку сперва в направлении Валуева, затем в сторону кабинета, из которого только что сам появился на свет.

Дядя Саша вскочил, испуганно одернул пальто.

— Собачку брать с собой не советую. Рекомендую оставить в коридоре, предварительно привязав к дивану. Чтобы не заблудилась в казенном доме.

«Странный какой-то этот Полуверов, — подумал о старичке дядя Саша. — И на милиционера совсем не похож». А вслух произнес:

— Собачка обождет! Не извольте...

В малюсенькой и очень казенной комнатке возле окна стоял стол типа кухонного. За ним и перед ним — по табуретке.

— Памятуя о том, что война принесла нам страдания, гибель людей и разруху, — начал торжественно старичок, — каждый, в ком есть совесть, должен сознавать, что делает, подписываясь на заем или принося денежные сбережения для уплаты членских взносов...

«Ишь ты, откуда повел... Задами обходит...» — чуточку расслабился дядя Саша. А чего?.. На него не кричали, кулаком по столу не колотили. Пока все было терпимо. Может, и обойдется?..

Старичок пододвинул тряпочный кисет с самосадом к краю стола. Валуев подобострастно улыбнулся старичку и торопливо начал делать козью ножку.

— Вот вы, милостивый государь, где вы были в суровые годы последней войны? Заранее предвижу ответ! Был именно там, куда послал долг советского гражданина! Не так ли?

— В оккупации был я...

— Это еще ни о чем не говорит. То есть ни о чем плохом или скверном, гадком... Я вот тоже был в оккупации, но знамя борьбы из рук не выпускал! Лично по го-

роду листовки расклеивал. А вы, извиняюсь, партизанили?

— А я... Так ведь знаете все! Чего уж там спрашивать... — и дядя Саша отчетливо вдруг припомнил свою рыбку из аквариума. Так она вся перед его глазами и всплыла, не шелохнется. Одинокая и в обычных условиях едва различимая. — Зачем уж крутить-то? Чего ради такие разговоры? Так что или документ, или...

— А на заем?

— То есть... не понял вас? Взаимы изволите? У меня вот, пожалуйста... Пять сотен для этого самого...

— Как?! Как?! — закаркал, наливаясь кровью, старичок.

— Господи... — привстал с табуретки дядя Саша. — Мне бы хоть временный...

— Во-о-он! — совоем посинел дедушка. Вскинул тщедушную ручку в направлении коридора и тут как бы вдруг проснулся, выйдя из кошмарного состояния. — Стойте! Вернитесь! Оно... Кажется, мы не совсем поняли друг друга... Памятуя о том, что я сверх всякой меры...

Дядя Саша выскочил в коридор, где его радостным лаем встретил переволювавшийся Катыш. По коридору, прежде такому безлюдному, весело, в приподнятом настроении бежали куда-то граждане. Во главе небольшой кучки пронесся и сам Коршунов.

— Догоняй, что ли! — крикнул он оторопевшему Валуеву. — Пожар! Тут, недалеко... — успел он пояснить в дверях парадного. Катыш, не переставая возбужденно лаять, порывался за людьми, с недоуменной укоризной оглядываясь на остоленевшего дядю Сашу.

«Нет... — озабоченно сказал себе Валуев. — Пусть горит. Лучше уйти отсюда. Пока не поздно. Бог с ним, с паспортом...»

Из своего кабинетика, шурша валенками, нарисовался крикливый старичок.

— Осмелюсь поинтересоваться, куда это все побежали? — приподнялся на цыпочки дедок.

— Не знаю. Мы люди темные... Деревня. Кричали про пожар. А так кто ж его знает... Может, учения какие.

— Пожар, говорите? — Старичок, сдернув правой ладонью пенсне с глаз, принялся разглядывать дядю Сашу, словно впервые увидел. — Памятуя о том, что на пожар обыкновенно бегут все без исключения, вызывает удивление некоторая ваша инертность. Где ваша заинтересован-

ность? Да любой человек за возможность лицезреть пожар. Мда-а.

— Нет, — твердо повторил для себя дядя Саша. — Пусть горит. До свидания. Скажите только, а вы действительно Полуверов будете?

— Так вы меня за Полуверова приняли? Ошибаетесь, почтеннейший. Я — Полуэктов. Просто близкие по звучанию фамилии. То-то, я смотрю, человек ненормально себя ведет. Вот оно что...

— А скажите, если нетрудно: он, этот Полуверов, конечно, воевал? В данную войну?

— В данную войну, мудрейший вы мой, все воевали. Это если философски рассуждая. А Полуверов и подавно!

— Значит, тех, кто был в оккупации, Полуверов должен как бы не любить?..

Старичок лихо прищемил к носу пенсне, еще раз пристально, как товар на рынке, осмотрел Валуева. С удовольствием и как-то дерзко погладил свои усики.

— Он их, которые в оккупации... — старичок противно подмигнул. — Он их своими, значит, руками. Достанет из сейфа огромный такой пистолет... Системы Джоуля и Ленца... И — трах! Ну и, как это чаще всего бывает, посетитель падает на пол. Замертво. С табуретки.

— Шутите? — робко улыбнулся Валуев.

— А вы что же?.. Всю жизнь — на полном серьезе? Неужто ни разу так и не пошутили?

— Я не об том... Может, когда и веселился. Сегодня-то не до смеха. Извините, нужно идти. Мы нездешние...

— Не смею задерживать. И все же осмелюсь предложить: почаще будьте несерьезным! На вашем лице такая глобальная озабоченность... Как вы только ноги переставляете? Под такой ношей?

Полуэктов с вывертом протянул дяде Саше пергаментную холодную руку. Валуев скрепил рукопожатие и с замираньем сердца повернулся идти от этого придурковатого человека.

Запахнув плотнее пальто и не обращая внимания на пожар, который случился где-то неподалеку, дядя Саша медленно двинулся желтой от опавших листьев улочкой. Большой козырек кепки отгораживал его взор от неба.

Пройдя мостом за речку Песчанку, Валуев, сам того не замечая, привел себя к месту, где некогда родился. И жил.

...Какая ты большая, Земля наша. Еще больше — просторы, в которых ты плаваешь. А геометрия жизни челове-

ческой проста. Две точки, две вершинки, и между ними вся твоя судьба. Точка твоего возникновения, где женщина-мама родила тебя, позвала на свет, дала впервые напиток земного воздуха. Изба ли то деревянная или коробочка каменная, откуда вынесли тебя на руках в тряпье и, приоткрыв кружевную завесу, что отгораживала от тебя вечность, показали мир, где предстоит тебе совершить путь до следующей точки, путь, прозванный людьми Жизнью.

И вот, беспаспортный, очень смешной, хотя и не совсем одинокий (в это самое время его догнал Катыш), остановился Валуев перед местом, где когда-то стоял домик его родителей.

— Гляди-ко... Никак, строят?! — вслух подивился Александр Александрович, только теперь приметив, что на останках валуевского фундамента какие-то люди сооружали черную, будто из головешек, из бревен «бе-у» избенку.

Строил молодой солдат с красными погонами на гимнастерке без ремня; помогали ему древняя старушка и девочка. Все трое давно заметили постороннего наблюдателя, но старательно изображали равнодушие. Дядя Саша неумело и, похоже, некстати попытался завязать с ними разговор.

— Неужели дом строите? Бог на помощь...

Солдатик резко взмахнул руками, в одной из которых яростно сверкнул топорик.

Обиженный неласковым приемом, в бешеном ритме залаял на строителей Катыш.

— Не надо на них лаять, Катыш. Люди домик строят, а мы их отвлекаем от хорошего дела. Лаем... И вообще... Сейчас и пошли... Только спрошу, как теперь улица данная называется? Так ли, как прежде, — Крепостная?

— Крепостная! — весело закивала девочка и еще громче повторила: — Крепостная!

— Не кричи, — сурово посмотрел на нее солдатик. — Бабушку испугаешь.

Бабушка была глуховата. Она повернулась на шум, приложила скрюченную, бугристую ладонь к уху.

— Исть будем? — спросила солдатика.

Тот незло отмахнулся, как от мухи. Обратился к Валуеву:

— Гуляете тут? Или кого разыскиваете?

— Да вроде как гуляю... Жил я тут прежде. Неподалеку. В свое время. Хорошая улица. И речка под боком.

Здесь, бывало, сморода черная удавалась. Такая крупная, толстая... ягода.

— Ее и теперь тут ужась сколько! В июле было...— зазвела голосом девочка.

— Ты мне? — обернулась к ней бабушка, обладавшая певчим, сохранившимся голосом плакальщицы. — Или Ванюше?

— Дяденьке я! — закричала прямо в ухо старушке. — Про смороду!

— Уймись, Дашка! Заладила: «Сморода, сморода»! Одна от нее вонь, от смороды вашей, — улыбнулся служивый, придерживая топорик и щелкнув похожую на него Дашу ногтем по лбу.

— Сестренка? — улыбнулся в свою очередь дядя Саша.

— Она. Значит, проживали в здешних местах? До войны?

— И до войны... И до революции... Так что — пожелаю вам наилучшего... На новом месте.

— Спаси-ибо! — ответили хором все трое, даже старушка враз со всеми угадала. Не промахнулась.

— А то бы и переезжали! На старое место! — крикнул вдогонку длиннополой фигуре Валуева солдатик.

Дядя Саша даже идти перестал. Озадачило приглашение. После чего сокрушенно махнул рукой и поспешно, чуть ли не бегом бросился догонять Катюша.

— Смешной! — пискнула девочка.

— Это, видать, пьяной... Блывается по белу свету, — сообразила бабушка на свой лад.

А сам мужчина, солдат с широкими плечами, еще долго чему-то настойчиво улыбался. Он строил.

9

— Руки вверх!

Скрипнули тормоза. Дверца «виллиса» отворилась. Лучезарная, попыхивающая золотыми зубами физиономия Польшаева высунулась из отверстия.

— Прошу, Сан Саныч! Коня поданы. Тонсь — лошадиные их силы. Садись, не пужайся. Прокачу вместе с собачкой. Как деток малых. В любом направлении. Угодить тебе хочу, Валуев. Обиду загладить. Нанесенную в годы испытаний... В горячке событий.

В первое мгновение, когда Польшаев крикнул девичьим своим голосом: «Руки вверх!», дядя Саша чуть на мостовую от этих слов не загремел... Кровь от лица ушла,

больно забились в сосудах головы. Сердце захлопало, как дырявая калоша по бездорожью. С Валуева будто вновь грубо и беспощадно сдернули одеяло, пока он дремал в воспоминаниях о родном доме на Крепостной улице.

...Ах, какой нехороший этот Полысаев, какой бесцеремонный. Ну, погоди же, дядя. Поиграем и мы напоследок. Повеселимся тихонечко.

— А что, товарищ Полысаев, хотел я вам сказочку одну рассказать. Дозволите?

— А ты садись, садись в транспорт-то. Здесь и расскажешь.

— В некотором царстве, в некотором государстве стоял на дороге в канаве сейф.

— Слышь, Александрыч, долго мне тебя упрашивать? Нет, это ж просто овцебык какой-то! Больно ты упрямым за войну сделался, дорогуша. Помнится, прежде-то мягче тебя во всем городе человечка не было... Не мужчина — масло сливочное. А сейчас — эх тебя заморозило. Садись давай живо, поговорить хочется. И есть о чем. И подо что найдется! — и тут Полысаев из-под руки, в районе подмышки, выдвинул белую головку «Московской». — А то ведь разную небылицу, сказочки всякие о своем бывшем сослуживце проповедуешь... Молчу, молчу! Поехали... В хорошие тебя гости свожу. К женщине яркой и хозяйственной. Там и расскажешь... Байку свою. Покалякаем. У меня к тебе предложение. По части трудоустройства твоего. И перемены жительства. Ну, решился?

— Обеспечен я. И работой, и жильем. Нам чужого не надо. А к женщине вашей почему не съездить?

— Вот и славно. Заводи, Коля, шарабан! Эй, собачка, уть-уть-уть! Сюда, дура! Мцы, мцы! Нырять в дверцу, кишка слепая...

Катыш, заскулив, нехотя подпрыгнул вслед за дядей Сашей. Поехали.

«К пяти бы часам управиться, — подумалось Валуеву. — Лукьяна бы не подвести. А так оно, конечно, быстрее будет — на машине».

Слезли с «виллиса» возле белого, свеженького, под железной крышей, кирпичного домика. Этакое шеголя в ряду убогих застроек улицы.

Полысаев, когда приехали, взял Колю-шофера под локоток, повернул к себе лицом. После чего из кожаного пальто достал кожаный бумажник, вынул из него красную десятку, положил на колёно пареньку.

— Ночуешь, Коля, в Доме крестьянина. До утра хоть в футбол играй. А в десять ноль-ноль чтобы под эти ворота. Уяснил?

Коля сложил десятку вдоль пополам, сунул ее небрежно за ухо, как карандаш. Погладил по лбу сидевшего сзади на отдельном сиденье Катыша и, вроде обращаясь к собачке, зачистил:

— Уяснил, ваше благородие! Будет исполнено! Чего изволите? Рады стараться...

— Ты не паясничай, ты еще мальчик. Нельзя тебе со мной так разговаривать при посторонних. Я отец семейства уже, а ты даже в армии не служил. А туда же: «Рады стараться!» — отвернулся от Коли разобиженный Полысаев.

Выбрались на прелую травку обочины. Катыш справил нужду возле рябины, на которой еще краснели не съеденные уличной ребятней грозди ягод.

— Чтобы в десять! — крикнул шоферу Полысаев, не оборачиваясь на дорогу. — В армию собирались забрить шкёта. Отсрочку на год исхлопотал. Другой бы благодарен остался... А этот все нос воротит. Ему, вишь ли, теперь служить хочется. Свет повидать. Будто он в армии куда-нибудь к папуасам попадет! А не в Вологодскую область... Винтовку в зубы и — на караул. Склад с портянками охранять.

Коля тем временем, бешено развернувшись, уехал из проулка.

Полысаев торжественно ввел дядю Сашу в чужой дом, не забыв на крыльце отпихнуть от дверей Катыша, как лягушку.

— Ишь, нацелился! Там, понимаешь, полы крашенные, кружева... Мух нету, не только собак! — ворчал Полысаев.

— Обожди меня, Катышок. Я скоренько. — Валуев демонстративно нагнулся и погладил собачку. — А вы бы полегче с животным. Не троньте ногами. Оно ведь и слова понимает. Зачем же пихаться? Этак и вас кто возьмет и пихнет. Разве приятно?

— Ладно, извини. Пожалел зверя... Ты случаем не в секте какой, Алексан Саныч? Не убий, не укради? Собачку не вдарь... Лихо ты война обработала.

Вошли в комнаты. Действительно, внутри домика было так жутко прибрано, все так зализано, как будто здесь и не люди жили, а только светлая память о них. Как в музее. Пол, стены, рамы, даже потолки — все крашено бе-

лым маслом. На кушетке и стенах заграничные коврики с оленями, разной птицей и вершинами горного пейзажа. Стол под тяжелой скатертью. Подкачали стулья: были они дешевого, канцелярского обличья и выглядели случайными, не по своей воле пришедшими на чужой праздник.

Хозяйка возникла из дальних покоев вся в оренбургской шали в кистях и в туфлях с каблучиками. Будто в театр собралась. Даже губы накрасила. Под носом ласковые женские усики выступили.

Дядя Саша, сняв кепку, пальцы посплюнул, чтобы волосы лучше пригладить. Давно он такого шика семейного не наблюдал. Стоял, втянув губы в рот, дивился. Нос чесал. А когда сплюнуть приспичило, по старой привычке, — не сплюнул, сдержался. Сделал глотательное движение и снял тяжелое пальто, собираясь повесить его туда, куда укажут. И вдруг — застеснялся! Из-за всей силы. Только сейчас обнаружил он на своей шее картонный Моисеев галстук. Жалкую подделку. Вот, значит, как получилось, не отстегнул, стало быть, второпях, присвоил чужую вещь. Хотя и дрянную. То-то еще в парикмахерской рыжая тетка, повязывая простыню вокруг дяди Сашиней шеи, подозрительно губы так надула... Словно ее оскорбили.

Валуев, вешая на штырек под марлю вешалки пальто, яростно сорвал с себя галстучек, записав наивное изделие во внутренний карман.

И все-таки, несмотря на ошарашивающий комфорт помещения, в которое завлек его Полысаев, дядя Саша не оставил намерений досадить бывшему шефу и сразу пошел в атаку.

— Может, слышали, есть такой в нашем городе человек — Коршунов Аркадий?

— Знаю. Шумная личность. Кидается на всех, кто в партизанах не был. И выпивает... Однако человек заслуженный. В области его уважают. А что ты его вспомнил, Алексан Саныч?

— Встречу я с ним имел. Нынче. Интересовался данный человек почтовыми довоенными бумагами. Которые мы с вами вывозили, да не вывезли... товарищ Полысаев!

— Какой еще Полысаев, когда Полетаев! — грубым голосом поправила дядю Сашу хозяйка дома.

«К чему бы это?» — мелькнуло у Валуева.

А пышная дама в кистях покопалась страшными багровыми ногтями под вешалкой и — раз! — отшвырнула в сторону Валуева какие-то тапочки мужские. Дядю заста-

вита снять сапоги. Натянул он эти войлочные тапочки и почувствовал себя без сапог и пальто, как без штанов... Настолько беспомощно почувствовал, что оглянулся на себя, изъятые, вещи.

Хозяйка плавно, без суеты накрыла на стол. Положила всем на тарелочки колбасы копченой лепестков по пяти, селедочки, сырку — всего понемногу.

«Господи!» — вздохнул дядя Саша и поскреб нос.

Выпили из больших рюмок-стаканчиков. Дама наравне со всеми.

«Сильная женщина... И характер, видать, крепкий, мужеский».

— А мой-то с курсов чего пишет... Живу, грит, впроголодь. От столовской пищи «абжога». Так и написал, грамотей плюшевый. «Вспоминаю, грит, твои шти со сметками, и плакать котца!» Это он ши, извините, вспоминает, а до меня ему, козлу, дела нет!

Полысаев успокаивающе похлопал дамочку по плечу.

— Я вот тихого гостя к тебе привел. Покорми, привить... Поговорить мы с ним должны. Один исторический факт осмыслить. Ешь, дядя Саша, отгаивай. А я погожу, покуда не поболеешь... Ты ведь злишься на меня? Злишься. Бросил я тебя при отступлении...

— И почту бросил. А денежки прихватил.

— Денежки, говоришь? Так во-он ты куда! Значит, денежками попрекаешь? Огненными, кровавыми, пламенными...

— Прежде всего — казенными. Почтовыми, товарищ Полысаев!

— Да почему «Полысаев», если Полетаев?! Фамилии не запомнить! Тоже мне гости...

— Денежки, дядя Саша, разбомбило. Не переживай ты за них. Все пожгло, поразметало. Во время военных действий. Никто их с той поры не видел. Не было их, денежек... Сказки.

— Были денежки. Война в воскресенье началась. Не до денежек людям сделалось.

— Про все-то ты, дядя Саша, знаешь. Как волшебник. Допрашиваешь?

— А вы лучше товарищу Коршунову расскажите. Интересуется он... — «Вру, и врать хочется!» — веселил себя Валуев. А вслух продолжал: — Вы меня тогда бросили на произвол судьбы, товарищ Полысаев. С малолетними племянниками. Из-за вас я в оккупацию попал. Из-за вас мне

теперь жить не хочется. Потому что так жить нельзя, как я живу... В прежние годы меня бы великомученником признали. За мою жизнь. И решили мы с товарищем Коршуновым, с партейцем неподкупным, на чистую, значит, вас воду вывести. Пусть люди узнают, на что Полысаев колбаску нынче ест. И селедочку разную! — Дядя Саша втянул вместе с губами в рот водочку, крякнул и уже намеревался плюнуть на пол, как вдруг женским басом гроыхнула по нему хозяйка:

— Чего губы-то жуешь?! Я те плюну, шкилет! Наелся... Полысаев, Полысаев — знай твердит! Фамилии не выговаривать, а туда же, о денежках бренчит... Кто ты такой?!

Дамочка схватилась за концы пухового платка, перекрестила их под подбородком, стягивая злобно, словно желая задушить себя таким способом. Затем она угрожающе поднялась и, как птица, нависла над дядей Сашей.

— Почему же... Мы фамилии хорошо знаем. И свою, и товарища Полысаева в том числе.

— А ты протри очи, пьянь подорожная! На кого едешь?! — заорал вдруг доселе уравновешенный Полысаев. — По ком панихиду справляешь, шибздик?! А вот на-кось, читай! Что это? Что это, спрашиваю?

— Это паспорт... Натуральный. Постоянного действия... — С восхищением разглядывал дядя Саша документ. — Со штемпелем...

— А ты читай, читай, грамотей! Между глаз бы тебе штемпель поставить за такие слова гадкие... Вот читай: По-ле-та-ев! Полетаев я, Петр Ильич. Понял? И тебя, доходягу, впервые вижу!

— Это как же?.. Полетаев? Почему Полетаев?

— Потому что вы есть пьяный! В чужой дом вломившись! В тапочки моего мужа влезли. А ну, беги отсюда, иначе свяжем и в подвал! Крысам на гравировку! — перешла с баса на шепот хозяйка.

— Ладно... Ухожу. Чего там... Кушайте сами. И тапочки сниму. Зачем они мне?

Валуев сковырнул тапочки с ног. Прошел к вешалке одеваться. Достал из кармана и машинально пристегнул к шее бумажный галстук. Набросил на плечи пальто, кепку нахлобучил. И так, не обуваясь, разутый стоял, повернувшись лицом к хозяевам.

— Спасибо за угощение... И что же, выходит, не Полысаев будете?

— Нет,

— И мы — незнакомые?

— Чужие вовсе.

— Тогда прошу прощения... Не туда попал.

— Бывает. Сапожки свои не забудьте. Снаружи дождик.

...На дворе откуда-то из-под крыльца вышел, потягиваясь Катыш. Понюхал воздух, обежал вокруг хозяина. Понял, что хозяин выпивши и теперь не замечает никого. Тогда Катыш дважды звонко пролаял.

— А-а... Катыш! Хороший ты мой! Куда мы с тобой попали? Опять не туда... Опять не туда.

Катыш бодро вышел на тропу, занял место впереди хозяина и так повел его из чужой, незнакомой улицы через еще более незнакомый родной город.

10

Над рано утихомирившимся городком уже темнело. Дядя Саша бежал, стараясь к пяти часам поспеть на ту сторону реки, в крепость, где Лукьян, должно быть, уже поглядывал на свою трофейную штамповку со светящимся циферблатом.

Возле не закрытой еще столовки, той самой, где товарищ Коршунов угостил его шами, случилась у дяди Саши новая встреча. Шумно скачущего по деревянному тротуарчику Валуева остановил какой-то мокрый тип в дырявом макинтоше. Катыш бросился было под ноги незнакомцу, однако тот весело зачмокал губами, захлопал ладонями о колени, и Катыш поотстал.

— Не узнаете? — весело осведомился незнакомец. — Марки у вас на почте покупал. До войны.

— Вот как...

— Помощь не требуется? Могу оказать.

— Спасибо. У меня все хорошо, — тяжело дышал Валуев.

— Догоняем кого или в обратном порядке? А я вас нынче уже видел. Вы к Полуэктову заходили.

— На прием...

— К Полуэктову и — на прием? Сильно сказано! Полуэктков — пенсионер. И на общественных началах взносы собирает. Да на заем подписывает. Очень важная птица! Еще он газету читает, а после ее же и курит. Что он вам сказал?

— Вообще-то я по делу заходил... Да выходит, что двени-перепутал.

— Знаю ваши заботы... За паспортом вы заходили. И вашу озабоченность разделяю. Кстати, помочь вам тоже не откажусь...

— Благодарствую... Только меня люди ждут. С минуты на минуту... Я еще приеду. А сегодня уже стемнело и дождик...

— Куда вы опаздываете? Я дело хочу предложить. После которого вам не только дождик — землетрясение понравится.

Валуев жалко заулыбался, как заплакал... Не забывая оглядываться по сторонам. Народу на одноэтажной улочке не было совершенно. Из столовки доносились то ли тихие песни, то ли грустные вопли. Освещался городок с перебоями. Взорванную в годы войны электростанцию на Песчанке постоянно чинили, налаживали. С войны не могли наладить. В зале столовой на опорных столбах висели две керосиновые лампы незначительного калибра.

— Сколько вам лет? — спросил у Валуева неизвестный в макинтоше. — На мой невооруженный глаз — этак с девяносто пятого?

— С девяносто третьего...

— Обладаю! Даже двумя вариантами. Хотите... — тут мужчина вынул из-под макинтоша какие-то бумаги, стал з них колошиться, близко поднося к глазам. — Скажем, Погодин? Устраивает? Или вот — Шапиро? Оба с девяносто третьего. А Шапиро, так тот даже Первого мая родился! В международный праздник.

— Дело не в этом... — заволновался потрясенный дядя Саша. — Зачем же Шапиро?.. Чужое — зачем? Дело в том, что я Валуев, натуральный... Зачем же?..

— А затем, что я паспорт предлагаю. И не какой-нибудь временный, не справочку липовую, а досконально бессрочный документ! До конца дней... И всего пятьсот рубликов. Как в сказке: вы мне рублики, я вам паспорт. С вашей фотокарточкой. У вас есть снимки три на четыре?

— Еще не готовы... Да бог с вами! Зачем он мне, такой паспорт! С чужого плеча... А может, этот Шапиро где-ни-то рядом живет, а я по его паспорту веселиться буду? Пустите меня...

— Тогда ваяйте в паспортный стол! К Полуверову. В оккупации были?

— Не я один...

— Факт. Только у всех остальных паспорта есть, а у вас его нету. Идите, идите...

— Послушайте... А нельзя ли Полуверова, ну хоть Христом-богом попросить... Так, мол, и так. Выдайте Валуеву паспорт. А я отблагодарил бы. Грибчиков сухих... Боровичков. Связочку. Ключовки...

— Понимаю вас. С кем не случается... Ну, согрешили там, в оккупации...

— Волостным головой меня назначили. Пять месяцев числился...

— Ой, ой! И не говорите дальше. Ой! Какой ужас. Сколько у вас?

— Что сколько? Годов мне?

— «Годов»! Денег сколько?! Учтите, Полуверов взятки не берет. Но чтобы охмурить его — тут подход нужен. Система целая. И все разобрать нужно. Так что, ежели хотите моего содействия, для начала в столовой и обмозгуем всякие тонкости. Давайте знакомиться. Меня Витей зовут, — протянул пожилой незнакомец руку.

— Витя... А как же дальше? По батюшке вас?..

— А вот это излишне. Без батюшки проще будет. Витя, и — привет!

— Валуев Александр Александрович... То есть Саша. Если по-вашему. — Они пожали друг другу руки. Ладони у обоих были мокрые от дождя.

— Ну же, двигайтесь... В столовой тепло, сухо. И выпить дают!

И потянул Витя дядю Сашу, как магнитными силами, на расстоянии, без всякого соприкосновения тел.

Дядя Саша в последний раз оглянулся по сторонам, хотел позвать Катюша, но собачка, и прежде не единожды кормившаяся на задворках пищеблока, вероятно, отсутствовала в том направлении.

В столовой, как ни странно, было много народу. Люди курили, говорили, пили что-то, а двое — повар в белом колпаке и фотограф Моисей — ни много ни мало — играли в шахматы.

Более кучно посетители держались в самой глубине зала, у буфетной стойки. Дядю Сашу Витя усадил ближе к выходу, подальше от ушей.

Неожиданно в компании, что шумела больше других, кто-то жалобно-жалобно, как на одной струне, задребезжал-запел тонким голосом: «И родны-ы-е не узна-аю-т! Где могилка-а-а моя-я!» Дядя Саша посмотрел на голос, однако женщины в компании не обнаружил. Выходит, мужчина так высоко взял... И это был один из последних

фактов, отмеченных дядей Сашей до того, как он отпустил тормоза и позволил себе принять лишнего.

Витя принес в стаканах выпить. И два бутерброда на тарелочке.

— Чур! Я первым угощаю! Состоялось... — Лязгнули, будто буфера поездные, граненые стаканчики. И сделался дядя Саша ручным-ручным, словно у него в черепе дырочку просверлили и все жиденькие силы его души враз наружу вытекли...

Далее Витю угошал дядя Саша. Целовал бывшего покупателя марок в хитрые губы, подпевал чьему-то бабьему голосу, и вдруг Валуева потянуло сказать речь. Конечно, хотелось, чтобы слушали все! И дядя Саша, дабы обратить на себя внимание, разбил об пол тарелочку из-под бутербродов. Но никто бровью не повел. Зато повар в колпаке решительно подошел к Валуеву, достал прямо из дяди Сашиного кармана десятку и положил ее себе в карман.

— За следующую тарелочку возьму в двойном исчислении, — объявил он бесстрастно и пошел доигрывать с Моисеем шахматную партию.

Тогда дядя Саша встал и заплакал. Вешено утешал его Витя. Гладил по голове, дергал за длинные полы пальто, целовал в ямку рта, пытаясь вернуть дядю-Сашу в прежнее деловое состояние.

Попутно Витя произвел на Валуеве мимолетный обыск, завладев львиной долей купюр, скопленных теткой Фросей на штраф беспаспортному мужу.

— Я пришел сказать вам... — рыдая, извещал столбующихся граждан дядя Саша, — сказать, что мне очень плохо! Я не по своей вине... Я... никого в жизни не убил, не ранил... Даже скотину! Рыбку, рыбку, окунька однажды... И никого больше! Тогда почему же мне так страшно?! Никто не спросит... Единственно — товарищ Коршунов: каким был, таким и остался... Хорошим человеком! Даже вот щами изволил угостить. И хлебом пожертвовал...

Всерьез дядю Сашу никто не воспринимал. Разве что Моисей, который слушал, улыбаясь, не забывая при этом двигать фигуры по доске. Повар внимал мрачно, с каменным лицом.

Из сидевших одиноко без компании Валуеву посочувствовал какой-то сердобольный крестьянин, перекусывавший прямо в треухе и овчинном полшубке. На одной из его рук, левой, неснятая, торпоршилась шерстью варежка.

— Страшно тебе? А ты прими, сокол. Не убивал, говоришь, ты? А ты — убей. Сразу полегчает...

Витя показал крестьянину на пальцах, что он-де того, дурачок. Повернул дядю Сашу спиной к этому человеку. И тут, должно быть тоже возжаждав обратить на себя как можно больше внимания публики, приподнялся над возлебуфетной компанией поющий женским голосом человек и так неистово взвыл, покраснев до черноты и оскалив стальные зубы-пули, что от его блатной песни даже невозмутимый повар подскочил, обрушив с доски собственного короля под стол. И началось... Вернее, этим все и кончилось. Потому что в визгливом человечке дядя Саша вновь опознал того самого, якобы полицейского, опознал и полез, полез туда, в ненавистное лицо — с кулаками:

— Дайте мне кирпич! Я его тоже кирпичом!.. Это он моего Кешу жизни лишил! Китаец этот!..

В руке Валуева сверкнула бутылочка из-под морса, которой он несильно ударил певца по крутому плечу. Человек с железными зубами грустно улыбнулся, отбросив с плеча бутылочку, а с нею и дяди Сашину костлявую длань. И неожиданно запел прекрасную русскую песню. «То-о-о не ветер ве-е-етку кло-о-о-нит...» Раз! — ударил он Валуева кулаком в подбородок. «Не-е-е ду-у-бра-авушка-а-а шумит!» Еще удар, теперь по уху. «То-о-о мое-е-е сердечко сто-о-о-нет, как да осенний ли-и-ист дрожи-и-ит! Ах!» И тут певец пустил в ход свои стальные зубы, едва не откусив дяде Саше кончик носа. У дяди Саши не было сил. У него был порыв. Недолговечный, как старческая улыбка... Выручил Валуева сержант милиции. А также повар, умевший играть в шахматы. Кашевар даже колпака белого с головы не снял, конвоируя дядю Сашу в участок, и продвигался по темной вечерней улице, как врач, держа больного за левое крыло. Правым крылом овладел знакомый всему городку пожилой милиционер Кириосов. В звании сержанта.

Дядя Саша и не думал сопротивляться. Он продолжал плакать и одновременно горестно напевать «Дубравушку». А тот человек, с которым они сцепились, успел слинять в суматохе. Так что следом за дядей Сашей и его сопровождающими брел всего лишь приуставший, неразговорчивый Катыш. Сказывались километры пути и нервное перенапряжение, полученное собачкой в горниле столь бурного для обыкновенной дворняжки дня.

Очнулся Валуев часа через два после дебоша. Лежал он теперь на голых досках. Двигаться вовсе не хотелось. В

голове все еще звенел печальный мотивец и ворочались где-то у основания языка прекрасные образы, облеченные в слова «кручина», а также «подколодная змея». Вскоре дядя Саша почувствовал, что в теле его резко похолодало. Первым остыл кончик носа, который хоть и весьма незначительно, однако пострадал от холодных зубов певчего драчуна. Внезапно Валуев припомнил, и довольно отчетливо, что дядька, с которым они дрались в столовой, был совершенно лысым. Тогда как тот, прежний «китаец» в полицейском мундире, имел длинные прямые волосы черного цвета. «Выходит, в парикмахерской обрился. Для маскировки. Вот и пойми их...» — печально недоумевал дядя Саша. Он с превеликим трудом повернулся внутри пальто чуть на бок, ровно настолько, чтобы прикрыть бархатным воротничком остывающий нос. И опять неожиданно Валуев подумал о совершенно постороннем и к ситуации не относящемся. Раньше, когда он жил в городке на своей Крепостной улице, в доме у них была точно такая вот бархатка для наведения глянца на обуви. Одна, стало быть, на воротнике, другая для обуви... «К чему бы такое?» — подумал дядя Саша, не открывая глаз.

«...Не иначе — в милиции нахожусь. Казенным домом пахнет от стен. Холодно и нары. Интересно, за что? Не иначе — посуды много перебил. Не за драку же... Драться не мог. Сил нету. Мускулов. Может, сболтнул чего лишнего? По неосторожности? Бубнил, бубнил и ляпнул! В присутствии... Вот и получай, значитца, паспорт, скребут те маковку! Припаяют пятерочку. Дальнего следования... Ну и слава богу! Там уж тебе ни паспорта, никаких других бумаг не потребуется. Да еще, глядишь, где-нито сынка встречу... На просторах земли. Кешу, кровиночку. Вернется Катыш в Гнилицы, поймет Фрося, что не получилось у них с паспортом. Интересно, доберется собачка самостоятельно или растеряется? Тогда блякать ей по белу свету до его, дяди Сашиного, полного освобождения. Однако должен вернуться, ушлый он, Катышок, смекалистый...»

Один глаз у дяди Саши смотрел в воротник, другой не смотрел вовсе. Закрытый был. Выключенный. Как фонарик: «Может, и смотреть не на что...» — утешал себя Валуев.

И тут, в непосредственной от него близости, кто-то вежливо покашлял. Приглушенно, должно быть в кулак. Покультурному.

«Кажись, люди?!»

Глаз открылся. Прямо перед собой, видимо над дверью; Валуев разглядел забранную проволочным мешочком слабую электролампу синего стекла. Из-под лампочки, вежливо кланяясь и шаркая подошвами, появился человек мужского пола.

«Ишь ты... Не один я здесь. Небось уголовник или еще какая шпана. У такого бритвочка в подкладке. Приставит к носу — и съмай сапоги или еще чего...»

Дядя Саша закрыл глаз, стараясь не шевелиться.

«Пусть думает, что пьяный и сплю».

Прошло немного времени, и Валуев почувствовал, что у него отекает бедро и рука в плече неприятно замлела. Долго так, без шевеления, не належишься. Это во сне — хоть на желудок, хоть на сердце свое навались — не страшно, не больно. А наяву человек шевелиться должен, иначе с ума сойти можно. Ладно... Покашляю.

— Проснулись, товарищ Валуев? А я вас давненько тут поджидаю.

— А вы бы того... Толкнули меня. Не барин...

— Толкаются на рынке, товарищ Валуев. А мы с вами в государственном учреждении.

— Это какое ж такое учреждение?

— Которое отделением милиции называется.

— Понятно...

— Долго вы спали, товарищ Валуев. Заждался я вас. Измучился, откровенно говоря. Что со спящим, что с мертвым. Особенно когда синяя лампочка в помещении. А я у вас, товарищ Валуев, до войны на «Огонек» подписывался...

— Не знаю, не помню...

— Хотите семечек? Полузгать?

— Не имею зубов. Закурить бы...

— Курить не положено. В учреждении.

— А время какое, не скажете? Который час?

Тип перестал шаркать подошвами, отвесил глубокий поклон и почему-то долго не отвечал дяде Саше на вопрос. Валуев даже смирился с таким его поведением, приняв молчание соседа за внезапный отказ общаться вообще. Примерно через минуту вежливый незнакомец вновь отвесил поклон и тихо так засмеялся, будто где вода просочилась и зажурчала. А затем чужим, командирским баритоном, властно и серьезно, спросил дядю Сашу:

— А вам не все равно — сколько?!

— Вы об чем? Думаете, до суда дело дойдет?

— Ничего подобного. Я насчет времени. Спрашивали, товарищ Валуев?

— Да бог с ним, со временем... Это я так... Несерьезно.

— Так вот, товарищ Валуев, я считаю, что никакого времени нет.

— Ну и хорошо...

— Не имеет значения, сколько сейчас времени, товарищ Валуев. Потому что никто не знает, сколько его вообще в природе, времени вашего.

Дядя Саша почесал нос, не вылезая из воротника пальто, и, все так же лежа, подумал:

«Ишь ты... Ученый человек, видать. А я-то о нем — «уголовник». А все лампочка. С гулькин глаз... Поди разберись тут...»

— Американцы гозорят, что время — деньги. Чепуха, товарищ Валуев. Вернее — фальшивые деньги. Обман зрения. Раз нельзя взвесить, нельзя обмерить, значит, и разговаривать не о чем. Согласны, товарищ Валуев? Сколько его до нас с вами утекло? И сколько еще утечет после того, как мы с вами, товарищ Валуев, лапти отбросим с этих вот нар? Соображаете? Ну, сколько, по-вашему?

— Не знаю, не измерял...

— И любви — нету. Как таковой. Предположим, товарищ Валуев, что вы кого-то любите. А я ваш предмет любви, то самое, что вы любите, беру на мушку и убиваю. Лишаю жизни. Вы с горя спиваетесь или умираете, что равносильно. И где тогда ваша любовь? Нету ее. В природе. Как таковой. Одни разговоры. Ни любви, ни времени. Нету. Клоп на стене — есть, а любовь отсутствует. Что же вы молчите, товарищ Валуев? Протестуйте.

— Не по моей линии.

— Вы кого-нибудь любили, товарищ Валуев? Скажем, в молодости?

— Почему же в молодости? Я и сейчас... Сынка, Кешу, Ефросинью свою... Да хоть бы и Катышка, песика, люблю, почему не любить?

— Чепуха, товарищ Валуев. Это не любовь. Это жалость. Нюни это. От скопления в железах соленой водички, которой название — слезы. Жалеее ближнего, как самого себя. А ты вот чужого пожалей! И все равно это — не любовь, а просто так — чуйства... Любовь — это бог. А бога нет. Доказано многими учеными людьми.

— Бога-то, может, и нету, а я, значит, вот он... Перед вами. В натуральную величину. Хоть руками трогайте. И

жалею, а стало быть, есть жалость. Извините, не нашего ума дело, а все-таки сомнение берет. Говорите, что нету любви. Была, имелась, и вдруг — нету. К такому привыкнуть требуется...

— А могли бы вы, товарищ Валуев, убить тех, кого любите? Выражаясь архаически?

— Для этого дела убийцы есть... А я по другой линии. Не только никого не убивал, даже не ранил. За все годы жизни.

— Никого — это понятно. Может, вы баптист. А вы самого дорогого человека убейте! Вот подвиг, вот любовь! Не можете?! Значит, и не любите никого! Одна видимость, как таковая... А тот, кто любит, тот ради близкого человека на все готов. Даже на убийство, не говоря уж о самоубийстве!

— Вот как... — заволновался потихоньку дядя Саша. Тут он принял сидячее положение, подставил себе под ноздри полочкой большой палец, почесал указательным переносицу. Запахнул плотнее пальто и, на шарив ладонью кепку, изготовился ко всяким неожиданностям. Он вдруг решил встать и уйти отсюда — почему-то не понравились ему бесовские речи соседа по камере.

— Вы меня извините, только я пойду. Меня человек ждет. С лошадью.

— Ради бога! Не смею задерживать. Просьба: когда сквозь дверь проходить будете — не поцарапайтесь.

Дядя Саша подобрался к двери, погрозил ее — заперто.

— Идите, идите... Я не возражаю.

— Закрыто.

— Специально закрыто. Для вашей пользы, товарищ Валуев. Чтобы — думать... Чтобы не отвлекаться и думать о высоком, о звездах. А вы о чем думаете? Небось о том, что вы есть самый несчастный человек Советского Союза? А нужно думать о высоком. Особенно если тебя унизили, а еще пуще, если ты сам унился. В тюрьмах, в больницах, на смертном одре... Взять, к примеру, меня. Я убил свою жену, которую очень любил. Уничтожил как таковую, потому что любил сверх всякой меры. Я избавил ее от мук старости, от измен и болезней, лишил ее многих унижений... Я любил ее, люди!

Дядя Саша решил пока что упорно молчать. В разговор не вступать, дабы не распалать и без того жуткого человека.

«Кажись, не пьяный, а смотри-ка, что плетет... Почище

всякого уголовника. Здесь ухо остро держи. Притиснет к нарам. Мужик грудастый».

А подозрительный субъект отвесил Валуеву очередной поклон, распрямился под самой лампочкой, лицо его засветилось.

«Ба! — затрепетал дядя Саша. — А ведь я, кажись, и этого дядю где-то встречал! Спросить? Нет уж... Не на того ли пленного немца нарвался? Который, в свою очередь, на майора-танкиста смахивает? Отобравшего при отступлении мою почтовую «коровину»?»

— ...И тогда — в любом положении, где бы вы ни очутились, хоть под нарами, хоть в скалу замурованы, и тогда вас, товарищ Валуев, обступит абсолютная свобода! То есть — свобода духа, — продолжал, улыбаясь мягко, незнакомец.

Валуев дождался момента, когда типчик переместится по камере в сторону окошка, сделал обезьяний прыжок к дверям, заколотил костлявыми кулаками по дереву. Через минуту за дверью послышались шаги.

— Кто стучал?

— Пустите меня! — завопил дядя Саша. — Откройте!!!

— На двор, что ли?

Скрежетнул засов. Валуев пихнул дверь, бросился наружу.

— Куда?! — схватил его в охапку караульный.

— Пустите! Права не имеете... С ненормальным содержать!

— Сиди, не рыпайся. Где мне тебя содержать, когда во второй камере двери сорваны. С петель.

— Я в коридоре посижу... Можно?

— Заходи обратно! Цаца, понимаешь... Плохо ему здесь. Смотри, дядя, не обострай отношений!

Дядя Саша молча опустил на корточки возле дверей. Закрыв голову руками. «Ну, конечно, этот бандит и отобрал у него пистолетишко. «Коммунист, бежишь?!» — его голос. Может, диверсант какой? Да что же это делается...»

Караульный поработал засовом, ушел. За спиной Валуева «диверсант» шаркнул ножкой и, всего вероятнее, поклонился.

— Не забудьте, товарищ Валуев, когда вас будут расстреливать, не забудьте подписать меня на «Огонек». Так сказать, по знакомству.

За дверью, в сонном коридорчике райотдела, вновь послышались чьи-то шаги, много шагов. И голоса! «Чьи бы

это, господа? Никак — Лукьяна Григорьевича? Ах ты ж умница какая! Век буду бога за тебя молить... Так оно и есть! И товарища Коршунова — речь! Стучать нужно... Иначе могут мимо пройти... За разговорами. Промаяхнуться могут!»

— Товарищ Коршуно-о-ов! — отчаянно закричал, заколотил, забился о дверь Валуев.

11

Его выпустили в десять часов вечера. За нарушение порядка, которое он произвел в столовой, пришлось уплатить штраф — последние пятьдесят рублей. Свой просроченный, не имеющий силы, временный паспорт дядя Саша при составлении протокола намеренно не предъявил. Сейчас этот паспорт обладал как бы антисилой: предъяви — и начнутся новые неприятности.

Личность его подтвердили товарищ Коршунов с Лукьяном Светлицыным, и этого оказалось достаточно. Вместе с ними он и вышел из милиции на воздух, совершенно измученный самим собой и теми нелепыми обстоятельствами, в которые поставил себя добровольно.

Оказывается, Лукьян Григорьевич, не дождавшись Валуева в крепости, домой один не поехал. Он вдруг, ощутив беспокойство, решил справиться в милиции: нет ли там его друга-товарища?

— Каков из себя? — спросил дежурный.

— Худенький такой мужчина. Грустный. На почте работает. По фамилии — Валуев.

— Зачем он вам?

— Взять его хочу. На поруки. Домой пора ехать. Мы из Гнилиц.

— Ничего не выйдет. Ваш друг вчера нахулиганичал. В помещении столовой. И здесь шум производит.

— Больной он. Истощение у него, понимать надо... На нервной почве голодание, — пробовал разжалобить дежурного Лукьян.

— У нас не курорт, чтобы здоровье поправлять...

Тогда Светлицын не поленился разыскать товарища Коршунова. Лукьян Григорьевич еще в парикмахерской часовенке догадался, что Коршунов к дяде Саше относится как-то по-особенному, глаз от него не прячет и даже улыбается в его сторону, а стало быть, хорошо между ними и обратиться за помощью к Коршунову можно.

— У меня к вам просьба, товарищ Коршунов. С хоро-

шим человеком беда приключилась. В милицию посадили. По пьяному делу... А ему еще ехать далеко. Здоровьишко слабое имеет, а главное — попутчик он мне и друг большой. Детей моих любит. То сахарку сунет, то сухарик подарит. А то и просто сопли с губы снимет. Не побрезгует... Добрый он, а супруга его Фрося и вообще — ангел натуральный. Всю деревню обшивает, машинка у нее, ножная. «Зингер». И все — бесплатно.

— Постой, постой, да о ком речь-то?

— Да почтовый-то наш работник, дядя Саша, вот о ком, или не слышали? Стриглись на пару сегодня...

— Сан Саныч?! Да ты что?! А я его к Полузерову на прием сосватал. А тут — пожар в одной землянке. Мальчик порохом печку топил. Все побежали тушить, а почмейстер и пропал. Ожидали его на прием. Да так и не дождались. А он, гляди-ка, куда подался! В милиции сидит.

Дежурного товарищ Коршунов уговорил довольно сноровисто. Решено было штрафануть дядю, чтобы не лягался на людях, и — дать по шапке.

Из отделения все трое вышли в темную ночь. Даже вершины деревьев не просматривались на небе. Городок, попавший под колеса войны, лежал не шевелясь, напоминая о себе запахом дыма да редкими искорками неуснувших окон.

— Ну, Сан Саныч, гуляй! Дыши кислородом... Пошли ко мне живо. За стол. Юбилей у меня. Полвека.

— Поздравляем! Доброго здоровья! — заулыбались гнилицкие мужчины.

— А почему закричал в камере? Сан Саныч? Диким голосом. Разве можно так нервничать?

— А вас услышал... Голоса ваши. Лукьяна и лично вас.

— Обрадовался?

— Не... То есть непременно обрадовался!

— Ну и что? И сиди тихонько. Ожидай. Нельзя в милиции шуметь. Кто кричит, на того милиция обижается.

— И еще — рыбку вспомнил. Я ей корму обещал сосбразить. Да запамятовал. А вас почуюл, и вспомнил сразу.

— Обойдется твоя рыбка... Ты ей насекомых, разных клопов-тараканов скармливай. Глядишь, обоим польза.

— А еще в камере со мной мужчина сидел. Больной. А может, и хуже. Жену, говорит, убил. Бабу, значит, свою. На почве любви. Такое плел, такое плел!

— А-а-а! Куликов?! Актеришко... Все кланяется и при этом язык показывает?

— Кланяется, точно! А вот языка — не видел... Может, и показывает. Только там у нас полумрак, в камере... Да и не разглядывал я его, зачем?

— Жену-то он действительно убил. С приезжим офицером ее застал. На сеновале. Керосином сарайку облил и поджег. Капитан проезжий в окошко выбрался. Куликов ему не препятствовал. А жена как глянула, что муж внизу стоит, так назад, в огонь, и запрокинулась... А теперь он, Куликов этот, придурком притворяется. Грамотные, они всегда так. Учитель пения, понимаешь... Нет чтобы: так, мол, и так — сгорела жена. Виноват, сено поджег. Куда там... Сразу сходят с ума. Дверь в камере сломал. Дежурный жаловался. Ну, да завтра за ним приедут. Из области.

— Интеллигентный человек. А вдруг он — шпион какой-нито?.. Подозрение имею.

— Куликов-то? Учитель он. Пения. И родился в нашем городке. Да знаешь ты его, не прикидывайся!

— Переволновались вы, Алексаньч, — посочувствовал Валуюев Светлицын.

— Разве это — Куликов? — дядя Саша остановился. — Почему же я его не узнал?

— Перебрали... Потому что, — улыбнулся Лукьян Григорьевич. — Оставил я вас одного. А зря. Сейчас бы дома уже спали.

— А к Полуверову? Скулил, скулил, а до дела дошло — и смылся. Полуверов завтра выходной. — Коршунов вынул из галифе коробочку с папиросами «Казбек». Угостил дядю Сашу и Лукьяна.

— Не хочу я к Полуверову. И так тошно...

— Да чего тебе тошно-то? Чего ты все ноешь, елка-палка? Вот, ей-богу, совесть у тебя не чиста, Валуюев! Обмажутся в трудные минуты жизни, а там и ноют. И откуда ты такой нежный вылез из наших краях?! Пошли, живо! Кормить-поить буду вас, хватит плакаться.

— Не, товарищ Коршунов. Спасибо, конечно... Только — отпусти. Не смогу я праздновать... — взмолился дядя Саша.

— Нездоров он, Аркадий Иванович... Свезу-ка я его домой.

— Ну и катитесь! Нет в вас... музыки! Партизанской... Шуму лесного.

— Рыбке вот... корму не купил. Умру, кто ее тогда порадует?

— Слушай, Валуев. Поди-ко, пару слов тебе сказать хочется. Извини, Лукьян. Есть у меня к нему вопросик, сугубо в одне уши.

Дядя Саша опустил руки по швам, робко, будто подросток перед красавицей, замер.

— Скажи ты мне, голова... Только полную откровенность. Сам видишь, я тебе не враг. Объясни ты мне свои страхи. Почему? У тебя — что, не все чисто за пазухой? Может, пакость какая за подкладочкой? Потаенная? Не скрипи зубами, у тебя их нету, зубов... Может, расписочку какую-нито оставил? И лежит она теперь в заморском архиве? А я тут за тебя кланяюсь разным голосистым Полуверсовым... Кланяюсь, а ты — бух! — и не тот окажешься. Не просто дядя Саша, а сволочь дядя... А? Что скажешь?

— Ничего больше не скажу.

— Темнишь, выходит?

— Не обижай!!! Чего сверлишь?! Подписочки... И без подписочек не живу, гнию заживо! Мертвый я изнутри...

— Фу-ты, черт! Испугал, почмейстер. Ай да мертвяк. Голосистый какой! Во, чума! Спросить нельзя. Одним словом, порядок? Так и скажи. Недаром ты мне в душу забрался. Жалко мне тебя. И объяснения нет — почему жалко? Стал быть, полный ажур с этим самым?

— Какой там ажур, товарищ Коршунов, если я голова при немцах был? Ну какой ажур, какой порядок?! Не будет мне ажур... Никогда!

— Нервный ты, Сан Саныч... Раздражительный. Нельзя так после войны. Да и в войну нельзя. Убьют моментально... Мужики мы или кто? Давай руку! А кричать неприлично. То есть — нервничать. Так я говорю, пограничник?! — Подошли к Светлишину. Коршунов пожал им, потряс руки. Повернулся и ушел в темноту. На свой праздник. Как бывало — в дебри свои уходил. Партизанские.

— Обождите, Алексаныч... Не угнаться мне за вами. Давайте я за вас подержусь на ходу. Как за клюшку.

— Держись, Лукьян. Спасибо тебе за беспокойство. Вызволил. Хороший ты.

— Это товарищ Коршунов вызволил...

— И товарищ Коршунов хороший. Вот только нечем мне вас отблагодарить... И некогда.

— Успеется! Слушайте, Александра Алексаныч, хочу я вас про собачку спросить... Неужто потерялась? Такой песик шустрый!

— В Гнилицы он подался.

— Катыш? Хаживал он этой дорогой. И сомной, и самостоятельно. Как только перебор у меня в райцентре, так сразу собачка на шоссе выходит — и напрямик в Гнилицы. Ты мне лучше про себя, Григорыч. С такой... неудобной ногой по милициям бегал. Замучил я тебя небось?

— Бегал, а чего?! Нога у меня легкая, сам строгал.

— А культя? Культе-то разве не больно?

— В основном — к погоде...

— Эх, Лукьяша! Цены тебе нет.

— Гляди-ко, захвалили напрочь...

— Григорыч, а ты в курсе, ведь я при немцах головой был?

— Как то есть — «головой»? Ах, вы про это...

— Пожалей меня, Григорыч... Никто ведь взрослого человека не пожалеет толком.

— А чего ж... Понятное дело жалею... Так что — и не сомневайтесь, ежели что... А про это вы зря... Про «голову». Понапрасну убиваетесь. С партизанами связь держали и все остальное...

— И с немцами! С фашистами! Держал... Взяли за галстук. В глаза полминуты посмотрели... Да пальцами по столу побарабанили. Тут я и рассыпался, дура... Ох, дура! А все потому, что в партию не вступил! В свое время. Еще в нэп — агитировали. Отмахнулся. Тихий, говорю, не активный. А состоял бы в партии — хрен бы тогда предложили «головой» сделаться! Я бы тогда в подполье ушел. Или сразу в лес... к товарищу Коршунову. Эх, Лукьян, Лукьян, пожалей напоследок, скажи доброе слово! Умру я скоро, издохну... Вот увидишь.

— Может, и к лучшему, что беспартийный вы... Партийного — они бы вас не «головой», они бы вас, сами понимают, застрелили бы без разговоров.

— Геройскую бы смерть принял. Рук бы об себя не марал...

— Ой, и что говорит человек! Потерпите, Алексаньч, дружок. Вот уж и крепость показалась. Слышите, собачки на горе брешут?

— А вдруг и мой там? Кривонотий...

— Очень даже может быть: собака собаку издаликает.

— Фрося моя наказывала о сынке поспрашивать... А — кого? Товарища Коршунова? Не знает он про это... Знал бы — сам поведаль, не утаил. А старичок Полуэктов и по-давно не в курсе.

— Вернется ваш сынок. Раз ни слуху ни духу, значит, где-то существует...

— Откуда тебе известно такое?

— А вы разве чувствуете по-другому?

— Я — другое дело... Я — отец.

— Я за вас переживаю. Законсервировали его, одним словом. На данный отрезок времени. Помаринуют, а там, глядишь, и — порх! — напрямик в Гнилищы. Встречай, батя, сынка...

— Жалеешь, Григорьич?... Жалей, жалей. Добрый ты. Проникновенный. Прямо в душеньку проникаешь. Правда, пользы от такой жалости, как от новорожденного дитя... Пожалела меня как-то девочка маленькая однажды. И так это ловко у нее получилось. Рассказать или скушно тебе, Григорьич?

— Слушаю вас, Александрович!

Остановились в воротах под крепостной аркой. Тут набежали собаки Никаноровы. Обнюхали дядю Сашу и Светлицына. Расселись на тощих задках, поскуливая от голода и распушенности. Лукьян Григорьевич к стене прислонился. Валуев стоял и рассказывал, глубоко засунув в карманы пальто озябшие кисти рук. В воздухе густо потемнело, так что реденькой бледной бородачки Светлицына было уже не разглядеть.

— В самые первые дни, как меня «головой» сделали, приехал я в тот сельский Совет. В деревеньку лесную, старинную... Туда и без войны редко кто добирался. Ну, значит, зима. Слезли с саней. Перед казенной избой. Где раньше власть местная помещалась. От полозьев, от колеи проезжей—туда, к дому сему давнишние следы, заросшие поземкой, тянутся. Туда и обратно. А на крыше веранды—флаг. Советское, понимаешь ли, знамя. Красное... Кто на следил, тот, видать, и вывесил. А со мной полицейских двое приехало. Полезли они срывать. А мне жить не хочется. Смотрю на флаг, как его срывают, и все думаю... Вот теперь думаю, и есть ты, Валуев, настоящий предатель! Не тогда, когда «головой» сделаться согласился, а сейчас, когда флаг срываешь... Слышу: «Куды его?» — повертел в руках полотнище тот, который срывал. А вокруг бело-чисто. И бросить эту красную вещь даже некуда. Отовсюду видна будет. «Дай, говорю, сюда! Пригодится...» — «Для чего, спрашивает, пригодится? Разве сморкаться в него теперь?»—склабился, дурень глупой. Выхватил я тряпочку, за пазуху сунул. А для оправдания действий говорю: «Теперь,

в войну, любая материя дороже золота. А эта, говорю, вот какая еще крепкая!» Полицейские переночевали, утром в Кукуево уехали. Там у них казарма была. Лесу вокруг Кукуева — самая малость... Спокойнее, значит. Без лесу. Без темени... Ну, съехали они. А я один остался. Сижу. За голым столом. Башку на доски бросил — решаю, когда пулю в лоб себе запустить: сразу или Фросю повидавши? Досиживаю день, никто ноги в сельсовет не кажет. Тихо. Зима. Люди, похоже, ожидают, как я тут действовать начну. А мне гадко... Смерти ожидаю. И вот как громом шарахнуло: тук-тук в двери... Слабенько так, несерьезно... Что, думаю, за случай? Голову от стола отвожу, замер — ожидаю. Тук-тук... опять. Малость погромче. «Войдите!» — кричу. А сам даже привскочил, во фрунт вытянулся. И входит маленькая такая, беленькая селяночка... В веснушках прошлогодних. Бочком в двери пролезла, к стене прислонилась. Ногу за ногу заплела и смотрит из-под лба. Скособочившись. «Можно к вам, дядя?» — спрашивает. Я говорю, что-де можно. Еще как можно! Проходи, говорю, садись. Прислали за чем? «Нет... Сама я. Дяденька, а пошто флажок сняли?» А я ей и соври: «Это, говорю, не я снял. Это те, которые в Кукуево уехали. Вот он, — показываю, — цел и невредим!» — и ящик-то от стола выдвинул. А в ящике, кроме флага красного, еще и пистолет мой находился. И патроны к нему. «А пистоль вам для чего? — спрашивает она меня. — Вы же — не партизан». — «А я из него сам убиться хочу. Можно? Понимаешь ситуацию?» — «Понимаю... Только не надо. Давайте лучше флаг сначала прибьем». И прибили. Да... И так все просто оказывается. Тишина. Зима по-прежнему. Нигде даже не хрустнуло. Сидим с девочкой за столом. Легко так сделалось. Будто в ледяной воде освоился, притерпелся. «Ну, — говорит девчушка, — теперь вы стреляться будете... Так я пойду. А лучше не стреляйтесь. Не надо. Хотите, я вас пожалею?» К столу подошла, с моей стороны. Отрывисто так, по-детски, по голове меня погладила. А под конец не удержалась, дернула за волосы. Видать, мамка ей такое не раз показывала... «Я бы вас и мертвенького пожалела, не испугалась бы, — объясняет. — Только мертвые очень страшные». И начала мне про какого-то мертвого рассказывать. Вот так, Лукьяша... Девочка, капелька... На ладони уместится. А мозги мне тогда вправила.

— А с флагом как же? — заинтересовался Лукьян Григорьевич.

Дядя Саша не ответил. Он только оглянулся в аллею, где огромные мокрые шумели деревья, живым зеленым кольцом окаймлявшие крепость.

— А что с флагом?.. Снимали его изредка. Прятали, как могли. И при первой же возможности — вывешивали. И когда товарищ Коршунов с отрядом появился — на флаг внимание обратил. Руку сердечно пожал. Что с флагом?.. Он и сейчас, поди, на той веранде.

— Видите, как хорошо! Возвремя девчонка постучалась. И вы живой живете. Разве ж плохо? Не надо вас жалеть. Незачем! Пусть Никанор жалеет. Его это специальность. И про «умру» — зря говорите... Девочки, которые утешают, они ведь не ко всякому разу приходят. Это вам знак был. Смотрите, Александрыч!

— Убаюкивай... Сам-то небось «головой» не был. Побег-и делал. Героические. Меня жалеешь вслух, а про себя втихомолку-то носом небось вертишь... Я побегов не делал. Ног не терял. Откуда мне бегать было? Никто вроде меня не держал, проволокой не огораживал. А вот — не убежал я... И до сих пор не уйти. От речей ехидных и взглядов каменных. Даже товарищ Коршунов и тот засомневался. Даже он... Клеймо на мне, Григорыч, клейменный я, понимаешь? Тавро... Дьявольское.

— Загоняете себя... Как зайца. Травите. И кто тут по-жалееет, если сам не смилуешься?

Когда наконец шагнули в калитку за ворота, толстой дзержью едва не пришибли человека с тросточкой. Неизвестный то ли подслушивал их, таясь в сумерках, то ли в безлюдье вечернем случайно пересеклись его маршруты земные с путями гнилицких странников. Человек занес тросточку над головой, левой ладонью прикрыв себе глаза. Беспорядочно залаяли собаки.

Дядя Саша отпрянул. Лукьян — наоборот — со скрипом шагнул навстречу палке, протянув вперед руку.

— Чего машешь, отец?.. Мы это... — поспешил заявить Григорьевич.

«А вдруг — Кубышкин? Попробуй такому объясни — что к чему».

— Прошу вас, не надо, дорогие товарищи!.. Умоляю... Нету при мне ни денег, ни часов нету. Ничего не имею... Стоящего.

«Старик Монсей! С тросточкой... Чего это он в крепости по ночам?»

— Здравствуйте, товарищ фотограф! — дядя Саша

улыбнулся голосом. — Извините нас за беспокойство. Только мы здесь ночуем. У знакомого нам священника. Не готовы ли снимочки мои? Три на четыре?

— Пропустите меня! Я больной и старый человек!

— А кто вас держит? — обиделся Лукьян. — Идите мимо.

— Снимочки мои, товарищ фотограф, поберегите... Я за ними потом приду. По первому снегу.

Старик Моисей весь подобрался, как перед прыжком, скрючился и, ни слова не говоря, исчез в отверстии калитки, как из самолета выбросился. На полном ходу.

В доме отец Никанор убирал с кухонного стола кружки. Товарищ Кубышкин, растопырив конечности, ходил по кухне в обнимку с самоваром. Будто с дамой танцевал.

Пришельцам отец Никанор неподдельно обрадовался.

— Товарищ Кубышкин, долизай самовар! Блудные дети возвратились.

— Пойду сена лошадке задам... — затоптался у входа в кухню Лукьян Светлицын.

— Задавал я, не суетись, Григорьич. К тому же — спит твой Боец. Еле растолкал, стоячего... Пожевал и опять за свое: аж носом свистит.

— А мы с фотографом чуть не подрались во дворе. У которого я на паспорт снимался. В воротах столкнулись... Так он на нас с палкой и пошел, так и пошел... Решил, что мы его грабить здесь, возле церкви, будем...

— Дурак он или выпивши... — Лукьян Григорьевич, садясь на лавку, далеко вперед выставил свою деревяшку.

Кубышкин, который у печки разжигал лучину для самовара, внимательно осмотрел протез.

— А дрова тоже деревянные!

— Истинно так, товарищ Кубышкин, деревянные. А старик Моисей, он же — фотограф, ходит ко мне спорить. Доказывает, что бога нет. Говорит, ежели бы он имелся, войны бы не было. Есть, говорит, не бог, а закон природы, по которому все мы — икра лягушечья, не больше. А я ему и говорю: «Ты, говорю, что же не квакаешь? Квакай, говорю, и успокойся. Ты, говорю, думаешь, я, что ли, бога видел? Не меньше тебя знаю, что его мало... А вот же — не квакаю. А есть которые и квакают, и хрюкают, и вообще червем ползают. Хоть и люди. Все, говорю, от данного человека зависит. От его воспитания. И миропонимания. То есть — от царя в голове. Я академиев не кончал. Простой мужик. Однако нюх у меня есть. На дух».

И тут Валуеву припомнилось, что гнилицкие бабы до сих пор отца Никанора не забывают; о его «лекциях» церковных ходят легенды. Рассказывают, будто в оккупации под этот странный, справляя по воскресеньям в облезлой, без креста церквушке богослужение, после очередной молитвы или прямо с середины монотонной проповеди вдруг начинал говорить примерно так: «И да воспротивимся, братие, врагу нашему, супостату окаянному, псу тевтонскому, пришедшему к нам с огнем и мечом, чтобы от него же и погибнуть, возмутимся телом и духом вашим и нашим, и да не будет ему покоя на русской земле ни днем, ни ночью — во имя отца, и сына, и святого духа — аминь!» А далее — опять по писаному — и так до очередной самодельной вставки на тему «смерть немецким оккупантам». По молчаливому уговору гнилицкие, а также окрестные прихожане слушали Никаноровы проповеди с бесстрастным выражением лица, нестройно подпевали ему, а после, в быту, сочувственно подкармливали его, а также обстирывали.

— Я мужик немудреный. В миру Василием Кузьмичом прозывался. Метр пятьдесят два сантиметра во мне расту. Можно сказать, из-за такой невышины и в попы определился. В церкви-то я на амвон поднимусь да как гаркну: «Господи, владыко небесный!» — и вроде на метр выше делаешься.

— Бога нет! — закричал товарищ Кубышкин. — И не будет.

— Правильно, товарищ Кубышкин. Грамотный вы человек. Если нету, значит, и не будет. Ложились бы спать-почивать.

Кубышкин послушно снял с себя женский передник, повесил на гвоздик возле рукомойника. Ушел за печку.

— Можно и я на печь полезу? — поинтересовался Лукьян Григорьевич.

— А чаю?

— Лучше поспать. Переволновался я за день, мозги слипаются.

— Хочешь, налью тебе лафитничек? Миротворной настоечки? На утомон-траве?

— Это как же? — встрепнулся Валуев. — Выливают у вас, стало быть? В церковном доме?.. А я слышал, что — запрещено. Законом.

— Каким законом? По которому все мы квакать должны? Успокойся, Александра Александрыч. Я этой настоечкой товарища Кубышкина пользую.

— Вкусно! — донеслось из-за печки. — Очень.
— И помогает... больному?
— Способствует. Временно. Плеснуть?
— Нет, зачем же? — застеснялся дядя Саша. — Мы — здоровые.

— А тебе, Лукьян?

— Вот если... в руку. Культю натру. На ночь. Сейчас дерево отстегну. Бревно свое, чурочку...

— У всех свое бревно, крест свой. Только мое бревно — не отстегнешь так вот запросто...

— Ты это об чем, Александрыч? Ишь, загрустил опять...

— У меня бревно хорошее, — крикнул Светлицын. — Носит оно меня. По белу свету... — Лукьян Григорьевич бросил под лавку протез, размотал сплюсненную штанину. Высвободил красную культю. Дядя Саша отвернулся. Отец Никанор вынес бутылочку из своей комнаты. Покапал на ладони Светлицыну. Приятно запахло медом и еще чем-то растительным.

— Об чем, говоришь, я? — переспросил Никанора Валуев с большим запозданием. — А об том, что вся моя жизнь невезучая, гадкая — вот оно какое бревно-то! Вся судьбина тяжкая, свинцовая! Только я ж ее спихну... Сброшу к дьяволу! Скажи, отец Никанор, а чего это у тебя собак столько? В крепости твоей? Боишься кого? Каравулить здесь вроде нечего, одни камни торчат. Чего тебе-то боязно? При боге своем?

— Собачки здесь, Александра Александрович, бродячие, все бездомные. Сиротки собачки. Это не у меня собачки. У крепости они. Стены им любы. Я ведь их и не кормлю почти. Нечем. Мисочку, конечно, наливаю, когда сами кушаем. А кому из них достается — не ведаю. Так что не я здесь боюсь, а скорей — собачкам на земле страшно. Вот стены их и заманивают. Стены, крыша — это прежде всего от страха отгородка, а потом уж и — от холода-зноя...

— Кривоногого мово не видели? Катыша, собачку?

— Не обратил внимания. Кривоногих тут множество большое... А что же, потерялся песик?

— Домой он ушел. Узнал, что в милицию меня привлекли... И потрусил по шоссе. Восвояси... Я так думаю.

Перестав умащивать обрубок ноги, Лукьян Григорьевич резво подпрыгнул, встав на уцелевшую конечность, и совсем по-детски, скоком, как бы играючи, задвигался от стола к печке, за которой и скрылся.

— Легкий какой человек! — с удовольствием посмотрел ему вслед отец Никанор. — Не то что некоторые... Мрачные люди.

— Я, что ли? Мрачный?

— Самое страшное на земле — это мрачные люди. От них все беды. А избавиться от таких людей нет никакой возможности. Прокаженных, к примеру, опутал проволокой — и проживай спокойно. А тяжелых, мрачных людей чем опутаешь? Ни указом, ни молитвой.

— Думаете, я себе нравлюсь? Зачем я такой? Не хочу, не желаю... А справиться — мочи нет... Привык уже к себе...

Укладывались на боковую, когда в раму снаружи окна кто-то постучал. Никанор пошел отбрасывать крючок на двери. Вернулся, держа в руках розовый конвертик, склеенный вручную из каких-то деловых бумаг, скорее всего — из накладных.

— Вот... Моисей тебе снимки принес. Звал его в дом, наотрез отказался. «Я, говорит, моцион совершаю...» А сам мокрый, как собака, и кашляет, вернее — чихает.

— Стоило ноги мять из-за этого... На что мне они теперь, карточки его?

— На память, на што! Одно к одному... Человек ему с доставкой, можно сказать...

— Не буду я документы получать. Все!

— Получишь. Можно сказать — не велика птица. Забыл тебя, и доволен будь. Другой бы радовался...

— Чему? Что забыли?

— Что не мешают жизнью пользоваться. Все его, можно сказать, ублажают, обхаживают, а он знай — куксится да морщится. Вон, Моисей... Да это скажи кому — не поверят: сфотографировал и снимки в непогоду на дом доставил!

— Буржуй. Частник липовый!

— А Лукьян — липовый? Нянькается с тобой...

— А Лукьян и не шастает по ночам... Цену себе не набивает. Он бы те снимки днем принес, Лукьян-то!

— Ой, и фрукт ты, Алексаньч, ей-богу, фрукт! Финник, понимаешь ли... А на Лукьяна не обижайся, даже если он тебе разонравится... Грех на него обижаться.

— Знаю. Он вам дрова привозил.

— Золотые дровишки! Они у меня и по сей день не вывелись. Исключительная растопочка из них. Все на лучину пустил. Сахарное дерево. А береста — хоть нос подтирай — батист!

— И физкультурники хорошие... — проворчал с печки так и не уснувший Кубышкин.

— Это он рукоделие наше вспомнил. Мы с товарищем Кубышкиным подрабатываем малость. Как в миру бают — салтурим. Две лучинки да перекладинка. А промеж лучинок на веревочке — физкультурник. Сожмешь лучинки — физкультурник на руки встает...

— Так это вы? На рынке инвалиды такое продают.

— И мы... — кивнул Никанор. — У нас тоже внутри желудка есть. Еще стаканчик, Александрович?

— Хватит, начался.

— Не одобряешь моих физкультурников? Так ведь — сорьба... За это самое... За существование жизни...

— Пристыдил ты меня крепко. Так-то и обидеться недолго... Изругал взял... А сам тоже хорош: священник, бабашка, а в бога-то не веришь.

— Бесполезно о боге разговаривать. В наши дни. Петь можно. С клироса: А рассуждать — пустое дело. Про атомную бомбу слышал? На японских людей сбросили? Без всякого бога-дьявола обошлись. Раз! — и города нету... И людей в городе — тоже... А ты про бога. Иному, чтобы его услышать, — сердца достаточно. А иному целое радио подавай, и все равно не уловит.

— И выходит, что никакого от вас утешения... Потому и церковка захирела, облезла вся, как коза шелудивая.

— Средств на ремонт нету. А потом — бесполезно тебя утешать: ты, Александрович, из тех, которые не утешаются. Ежели б ты утешался, да я б — костыли лег, утешил... Сколько в тебя ни лей жалости, а ты все порожний. Как бочка бездонная.

— Нет! Вреге все... У меня особо, нежли у других. У всех беда, я знаю. Да не всех так бросает. От одной стенки к другой... И свои, и чужие! То под дуло, то за проволоку... А я тихий был, безвредный. Без фокусов... Простой мужчина.

— Тихий, безвредный, говоришь?.. Вот и согласился на предложение.

— Это еще на какое?

— Да на вражеское. А был бы непростым, нетихим был бы — глядишь, и возмутился бы, и не пошел на согласие. А то: без фокусов он! Без совести ты, дядя...

— Как понимать?

— А птичка такая в Сибири водится... Душой-совестью именуется!

— Попрекаете? Смерти моей желаете? Даже товарищ Коршунов мягче обошелся... Не гляди, что партийный...

— Перед своей землей — все партийные! Враги приходят и уходят. А родина-земля в сердце остается. Ее никому вытоптать не дано. Пока жив человек...

— Значит, ничем не поможете? Злой вы поп оказались! Ищелитель липовый... А если я скажу, что... того: порешу себя?

— Скажу: нехорошо это. Несерьезно. А там как знаешь... Потому как — одна видимость, что сам, по своей воле. На самом-то деле: по сигналу хозяина.

— Значит, есть бог?!

— Обязательно. Только это совсем другое... Не магии да никулы, а — Сила! Сила всеобщая. Которая всем хозяйством в природе заправляет. Не на земле, а всюду... И таких земель у нее, как блох на Руси...

— Как же она за всеми-то блошками уследит?

— Уследит. Не твоя забота.

— И я — блоха?

— Ложись отдыхать, Александрович. Ты — человек.

Сегодня отец Никанор сам лег на лавку, а дядю Сашу принудил, приказом приказал, лечь на коечку.

Сон долго не шел. Валуев лежал, продолжая пытаться себя сомнениями и укоризной. «Прав Никанор, нельзя было соглашаться... Первого шага нельзя было делать. Не могу и — все! Увольте. Больной, глухой! Делайте, что хотите, — не могу. По роже — пусть, в пах — тоже пусть. По полу жатают, топчут — пусть! Не могу, не буду. Расстрелять бы не расстреляли. Ну, в лагерь могли лихнуть. Так все равно отведать же после и лагеря, и расстрелять по навету хотели. Когда за работника энкаведе в гестапо проходил... Зато, кабы не согласился тогда, и от попа выговоров не имел бы... Эко, сразу упал... Ниже всех. Согласился — и живи, как тля! Жди, пока раздавят. И хоть бы обидел кого. Скромно так жил, вежливо...»

Утром пили чай. Кубышкин достал из печи чумазный чугунок с кашей. Откупорил, сняв крышку. Взвился пар в нахолодавшей кухне. Поели. Молча. На разговор никого не тянуло, будто все были после большого похмелья.

Лукьян еще до чая и каши снарядил Бойца в упряжь. Льняная бородка Светлицына бодро взметывалась по двору, а затем и в кухне Никанорова жилища. Светлицын помалкивал, но движения его были красноречивы: он с видимой охотой собирался домой. Громоздкая нога его

весело отбивала определенный ритм, ритм жизни.

Сели в телегу. Отец Никанор вышел из домика — провозжать. За руку он держал товарища Кубышкина, которому был чуть повыше пояса, и от этого казалось, что товарищ Кубышкин держит за руку мальчика, приклеившего себе темную бородку.

Сыро было только на земле. После вчерашнего дождя. Небо прояснилось, холодной синью заливало пространство над головой. Голые ветви крепостных тополей и лип почти не заслоняли этой великолепной сини. Над колокольней, где ветром с купола был сорван один лист железа, над черной дыркой в куполе, кружились крикливые вороны.

Неожиданно товарищ Кубышкин воскликнул:

— Лошадка! — радостно так, будто забытое слово вспомнил.

Лукьян Григорьевич улыбнулся и тронул Бойца.

12

Из города выезжали при солнце. Там, над все еще рыжеватым недалним лесом, оно возникло — отчетливо. Собственно, так вот начиналось почти каждое утро этой недели: вначале, незамутненное, полное деловой энергии, выкатится светило, а ближе к полудню дорогу ему захлмят серые, быстротекущие облака. Затем довольно поспешно серое подернется свинцовым блеском, а следом, во глубине облаков, глядишь, набрякла уже синева тяжелая, каменная. И вот тебе — тучи. С дождем, который там, в своих верхах, наверняка был уже снегом, растаявшим при падении.

Однако теперь, когда телега скатывалась с крепостного холма, взору седоков открывалась изумительная картина. И дядя Саша, как дитя, чтобы не вывалиться из двуколки, прижался к спине Лукьяна, неотрывно, жадно разглядывая небо и землю. Видение воцарившегося утра ударило по глазам, и далее он ехал как бы ослепший, пораженный громом света, проясненностью далей. Он ехал и думал для себя необычно торжественно.

«Свету сколько... Простору... А я почернел, выгорел изнутри. На земле так красиво... А я такой серый, мрачный. Прав Никанор: тяжкий я человек. А еще странно, что ничего от мыслей таких в природе не меняется: и сам прежний, и голос, и походка, не говоря о других людях, о солнце, о земле. Все на месте, держится, не дрогнет...»

Отъехав от городка с полкилометра, не сговариваясь, оглянулись. Крепость на холме, не заслоненная опавшими

листьями, лепилась на круче — беленькая, серый плитняк-известняк на солнце пообсох и поярчел. Остатки желтого на деревьях подзолачивали видение... Внизу, вокруг холма и дальше, за речкой, серым кострищем лежал городок, над ним, как стрелки травы, пробивались к небу дымочки, обозначающая жизнь. Вот на шоссе встречная показалась машина, настоящий автомобиль грузовой. Она гулко трещала дизелем и была по всем данным — трофейной техникой. Но это была — машина. Дитя двадцатого века. И она, сия пахучая и трясучая тварь, придавала утру какую-то обнадеживающую солидность. Запахло отработанной горючкой. Синим облаком над обочиной потянулись выхлопные газы. И все это очень понравилось гнилицким ездокам.

— Григорыч, купил чего в городе? Котомка у тебя потолстела...

— Купил... Тряпочек два сорта: на детей да на бабу. Калошей на все ноги. Валенцы на двойню. Да вот «подушечек» кило. На ораву... Чаи сладкие распивать.

— И вся телушка?

— И за это спасибо!

Лукьян Григорьевич покрутил вожжами над головой, как пропеллером. Поправил на плече, под фуфайкой, лямку, что удерживала на обрубке ноги протез.

— А себе чего купил? Тоже небось калоши?

— Да нет... У меня пока все справное. Солдатское. Я хоть и без ноги приехал, однако — с мешёчком!

— С каким таким мешёчком?

— А с заплочным.

Сейчас обоим хотелось поговорить, подвигать челюстями. Город, в котором они чувствовали себя скованно, настороженно, теперь остался позади... Лукьян Григорьевич как бы подтаивал постепенно, заметно воодушевляясь по мере приближения к дому.

— Вещевой наш мешёчек — очень мудрой конструкции штукавина. Во-первых, не вдруг его потеряешь. Он у тебя как горб на спине, ежели в странствиях. А далее — он тебе и мебель: заместо кресла, и постельное: подушка — милое дело; и кладовая, и гардеробная, а также — буфет с закуской и выпивкой — все тот же мешёчек. А главное — уверенности придает. Лучше всяких погон.

— А что хоть привез-то в своем гардеробе? Из заграницы? Небось полосатый мундир — лагерный?

— Не. Иголок я привез. Патефонных. Пять кило. На них и отъелся. Иголочка патефонная после войны самым

ходовым товаром сделалась... Песен людям захотелось, музыка. Лихо я тогда сообразил... Еще в войну за границей, когда последний раз утекал из плена, вышел я на разбитый магазинчик. Разная чепуха несъедобная. И вдруг — иголочки! Ну, я их сразу и запаковал в мешёчек. И всюду таскал за собой. Даже в госпитале, когда гангрена вышла, в личной тумбочке держал те иголки. Как гостиница.

— А чего ты столько детей настряпал? Пятеро человек! За три неполных года...

— Дак я, впрочем-то, молодой. Сорок мне в мае было. Еще в сельпо окно я тогда разбил... Костылем. Да и Верка моя — баба не дура: дождалась, не ослабела. Со старшеньким. Семь годочков мальцу. В школу надо бы справлять, да говорит: не хóчу! Без сапогов, ишь ты, без кожаных — «не хóчу!». А вот и ничего! На других-то за зиму насмотрится, настрадается... На другой-то год босиком побежит. С зависти...

— Хорошо. Это старший. А еще четверо? Откуда они за три-то года всего?

— Ну, значит, средненький, Вася мой... Он, как бы тебе сказать, Веркиной сестры младшей, Кати, — сирота будет. Катеньку немцы за связь с партизанами повесили. Вот Вера Васеньку и схватила. Прямо в пленках. Отца, конечно, нету. Кто ее, Катеньку, знает, с кем она там связь держала, в лесах темных? А мадълонка хороший! Весь в мою Верку. Так что и не отличишь от остальных. Далее — близнята сполучились. Анютка с Капкой. А теперь Ваня ногами пошел. Год ему с месяцем.

— Да-а... Арсенал у тебя, Григорыч... И правильно делаешь! Чем их больше, тем и проще. Столько жизней вокруг! Целых пять душ!

— Соснуть посередь дня — не дадут, это уж факт! Шары — будь уверен. Такой шум организуют...

— Зато какой шум, Григорыч! Живой, теплый шум. Вон у меня с Фросей один мальчик намечался — и того след простыл...

Ехали медленно. Рысью Боец уже не ходил. Двухколесная телега-«беда» с тяжеленными оглоблями-деревьями цепко держала мерина в своих жестких объятиях. Так что и захочешь упасть, да своя же шея и не пустит.

Проехали еще один лес, не очень большой. Начались поля, серыми пятнами разбросанные по земле избы колхозников. Над ними нависали длинные текущие волосы старых берез да вздыбленным бревном маячил журавль-колодез, а

то и поржавевший, давно бездействующий ветряк неизвестного назначения.

Веселили взгляд зеленой щеточкой взошедшие озымье — признаки юности, восхождения...

А за полями этими, за темными, задумчивыми избушками, опять начинался лес, но уже — обширный, густой, взявший жилые островки полей в кольцо и как бы защищавший их грудью.

На дороге показался слепой инвалид. То ли дед, то ли просто небритый мужчина. В одной руке — палка, в другой — ручонка очень бледного мальчика, одетого в огромный стеганный ватник. Штанов у мальчика скорее всего не было. Из-под ватника сразу начинались голые сине-грязные ножки.

Слепец еще издали уловил приближение повозки, высвободил левую руку, оттолкнув при этом поводыря, и протянул ее, лишенную двух пальцев, поперек дороги — на манер шлагбаума. Он ничего не просил. Лицо его было запорошено синими крапинками, размером чуть больше средних веснушек. Глазницы прикрыты безволосыми веками — не до конца. В щели глаз что-то сочилось, посверкивая.

— Чего ему дать? — зашептал возбужденно дядя Саша. — Сама недалеко ушли... Вот у меня рублевка осталась... Ото всего. Положить, что ли?

— Нужна ему твоя рублевка! Он же без обуви... Мать честная! — всплеснул по-бабьи руками Светлицын. На что Боец ответил моментальной остановкой. Он мог и распряться весь до ремешка. Но сегодня обошлось.

— Ты что же, не видишь, мальчонка-то у тебя посинел вовсе?! Заболеет дите — кто тебя поведет тогда?!

— Не шуми, дядя! Угадал ты: не вижу. Не только мальчонки — свету белого. А ты, ежели сострадательный такой, взял да и помог бы! Закаленный у меня Петя, а и то — скоро морозы надуёт, как тогда?

Теперь и дядя Саша обратил внимание на меньшего. Да, конечно... Босой мальчишка, ужас, и только! И все ж таки слепец в глазах Валуева был много несчастнее мальчика... И дядя Саша поспешно вложил свою рублевку в изуродованную ладонь калеки. Ладонь тут же сжалась в неполный кулак, сминая рублик.

И Лукьян свою рублевку положил. А потом почему-то долго был в мешке, кряхтел и наконец спрыгнул на обочину. В руке его что-то болталось. Тряпочка какая-то.

— Эй! Друг, слышь, постой! Погодь, говорю! — зама-

хал, засемафорил Светлицын тряпкой и вдруг побежал вдогон тем, двоим... Но вскоре споткнулся, упал. Выругался беззлобно, даже со смешком. Тем временем мальчик попридержал слепца, что-то объясняя писклявым, птичьим голоском. Странники остановились.

Торопливо, как только мог, Лукьян Григорьевич добежал до них. Кое-как опустился перед мальчишкой на колени, стал поднимать заledenевшую ножку. Разодрал материю на два лоскута, перебинтовал ребенку ступни, засунул ножки в калоши. Для надежности прихватил обувку веревкой — прямо под подошву, к ноге и — на узелок. Опираясь все на того же мальчика, разогнулся с колен, довольный — захихикал, потирая прозрачную свою бородку.

— Хоть до Киева! Смотри, не проколи где, а то — потекут... Ну, води дядю; води, сыночек...

Напоследок приподнял со лба мальчонки тяжелый козырек недетской кепки, заглянул туда, в глазенки...

— Спасибо, дяденька...

— Не за что! У самого таких скворцов! Эхе-хе... Счастливого пути, стало быть!

— Сколько их?! — спросил неприятным голосом инвалид.

— Двое их. И — лошады! — быстро ответил мальчик.

— Оба — мужики?

— Да, дяденьки большие...

— Ладно, пошли... — застучал по земле палкой незрячий.

На повозке дядя Саша жевал свои тощие губы.

— Пожалел посторонних? А свои...

— Близнецы одной парой калош обойдутся. *Я им валенцы везу. А калоши — посменно.

— Поблагодарил хоть раненый-то? Доволен, чай?

— Да! Особо — мальчонка доволен. А слепой, конечно, мученик он... И нервный, видать... Мальчонку жалко. Тяжелый, видать, инвалид человек будет...

— Будешь тяжелый! В его бы шкуру тебя! Благодарю...

— Да, не позавидуешь...

Лукьян поставил себя задом к телеге, подтянулся на руках, сел, свесив полторы ноги за оглоблю. Боец без поуканий взялся в оглоблях на ход. Поехали дальше.

— Что ж, выходит, что и спасибо не сказал? — допытывался дядя Саша.

— До того ли ему... Спросил у мальчонки, сколько их,

то есть — нас. А мальчик: двое, говорит, и лошадка. Все как есть. Тогда инвалид, правда, выругался матерно и уточнил. «Мужиков, — спрашивает, — двое?» Даже вроде огорчился, когда узнал, что «мужиков».

— К чему бы это? — усмехнулся дядя Саша. — Уж не ограбить ли нас хотел? А чего? Да в тряпье у такого Дубровского не только вошь — пушку спрятать можно. Вынет парабеллум, и тони монету!

— Видите, Александрович, как мы с вами о людях-то? По первому взгляду. Разве такое можно? И ведь я, чего греха таить, засомневался... А человек просто не видит ни зги, ничегошеньки... Ему все интерес представляет: и сколько, и кто?.. И какие мы, которые мимо него проезжают. Как из другой жизни потому что... А мы — вот какие, Александрович! Вот как нас беды-то, войны-то уродуют. Плохие мы за войну сделались, грубые... Только что шерстью не обросли.

— Больно ты умный, Лукьян, сообразительный. А того, чай, не понимаешь, что война промеж людьми постоянно протекает. И в мирное, и в любое другое время. Потому как — все люди разные. А покуда они разные, и дела у каждого — свои. И поступки. Вот оно откуда — раздор и несогласие! И чего-либо доказать — совершенно невозможно. Особенно ежели ты оступился в чем. Сразу от тебя все цос воротят, скребут те маковку!

— Уж и скребут?..

— А поживи-ка вот ты без прав, поразмышляй о них ночей пятьсот подряд! Да в город поезди... пешком! Со змеем-то в сердце, отведай моего едова! Да я бы десять пар калош со своих ног раздарил бы... Лишь бы не такое существование. Скрываюсь я, понял?! Который год уже...

— От кого же, извиняюсь за любопытство?..

— Паспорта у меня, дура, нету! Пас-пор-та!

— Во! Я думал: от алиментов али еще от чего такого... А паспорта и у меня нету. Что с того?

— Как то есть — нету? Потерял, что ли?

— Нет и не было вовсе. Отродясь. Военная книжечка была. А паспорт иметь не приходилось.

Дядя Саша даже отодвинулся от Лукьяна, затем, что-то сообразив, сморщился презрительно, глядя Светлицыну в глаза. Покачал головой. Даже не головой, а всем туловищем.

— То-оже мне, сравнил хрен с пальцем! Деревня... На кой тебе паспорт? В поле мышам предьявлять? А для

меня он как... помилование. У тебя, Григорьич, характер легкий, ты и так не пропадешь. А мне без него нельзя. Сам видишь, какой я без него. Ненадежный...

— Понимаю вас, Александрович...

— Ничего не понимаешь. Разные мы. Земля под нами одна, а мы — разные... И понять друг друга — нет такой возможности. Можно только вид сделать, что понял.

— Считайте, что я вид делаю... Только успокойтесь. Облегчения вам желаю...

— Не будет мне легче...

— Характер у вас тревожный. Спорченный. Не одно, так другое. Не паспорт — так метрики, не паспорт, — так простуда...

— Спорченный... Да, конечно. Только не характер, а вся моя биография испорчена. Словно к дьяволу прикоснулся. Ни отмыться, ни откреститься.

— Вам, Александрович, отдохнуть бы... В санаторию какую. А так ведь недолго самого себя... Человек партизанам помогал...

— Партизанам! Это на пятье сутки — партизаны твои пришли, обуздали... А согласился я с немцами — один... Без свидетелей...

— Проступок, конечно, с вашей стороны... Хотя в такой гололед да не оскользнуться... Иной бы — и вовсе упал.

— Утешаешь...

— А что остается? Попрекать мне вас? Ни прав, ни желания не имею. Я ведь тоже... «согласился» кой в чем. Также там, за чертой побывал. Хорошо хоть ногу обрезали. Вроде как — пострадал... Так что запросто вас понимаю, Александрович. Вот вы говорите, что все люди — разные в мире. Понятно. Зато когда они страдают — сразу похожими делаются. И понятными друг другу. В плен меня, конечно, силком взяли, не сам пошел. Хотя ранения, которое памерки отшибает, никакого такого не получил тогда... Все помню, как сейчас...

— Памятуешь, значит, о том? — усмехнулся дядя Саша, вспомнив старичка Полуэктова.

— По гроб жизни врезалось! Памятую, ох памятую! Команда была: окопаться. Как можно глубже. Почему глубже, когда утром село штурмовать, — никто не знал. Осень уже была... Как теперь. Холодная. Земля жидкая, кусачая. Измучились, колавши, но зарылись — наглухо. Весь вечер и ночь до половины — шурудили лопатами да

бревна катали... А затем отбой подан был. Спать разрешили. Люди мертвым сном рухнули. А когда рассвело да проснулись, команды нам уже немцы подавали. Ну, и растерялись все. Построились. Без оружия. И пошли, землю разглядывая... За колючку. Это уж после, когда очухались, — в побеги засобирались... А по самому началу вроде как согласиться пришлось — с позором. А позору — поболее вашего будет. Проспать все: и свободу, и Советскую родину, и все остальное — одним махом! В бою — куда ни шло, там тебя пулей оглоушит — и ты сам не свой... После такого немудрено и в плену очнуться... Начал я побег свои делать. Совесть мучает, понимаешь... Здоровый боров был: Не скоро иссох. Месяца два старым салом держался, как верблюд. Утеку — поймают, придавят. Соки выпустят в карцере. А мне вроде и легче. Потому как — вину искупаю, стремлюсь... В итоге утек — с концами. А ногу мне перебили уже на нейтральной земле. В Польше дело было. Я передок кинулся переползать, а тут наши в атаку пошли. И обезножил. Атака до шести раз утюжила то место, а я лежал в воронке и небо разглядывал. Пока на меня солдат советский не сел. Задом на спину мою... Сидит и руку себе бинтует. Тут я и застыл. Ноги не чую, одну боль слышу. Солдат подвинулся с меня, спрашивает:

«Ты — кто?»

Одежда у меня лагерная, не поймешь какая...

«Из лагеря, — отвечаю, — из пленения. К своим хочу».

«Раненый?»

«Да. Без ног».

«Вот и я теперь, — говорит, — тоже раненый».

И поволол меня здоровой рукой, как трактор. В расположение войск. И все мое горе. Потом гангрена завелась... Ногу мне отпилили. И вышел мне отпуск домой! Короче говоря — повезло. Живой, а главное — дома. При бабе и детях. Семью тяну. Так что и вашу боль-обиду доподлинно, как свою... А главное — не озверели мы там.

— Счастливый ты, Лукьян, добрый... Сердце у тебя легче, что ли? Или к жизни ты ближе, родней... А я все как пасынок!

— Из крестьян мы... А вы — город. Там — всяк в себе, но отдельности.

— Да какой там город! Пашут в нем сейчас, в городе нашем. Как в чистом поле. Одна крепость старая держится...

В Гнилицы приехали за полдень. Вторым от околицы домом в порядке была большая, из разнокалиберных бревен рубленная изба Светлицыных. Окна на одной стене ниже уровня, нежели на другой. Крыша состропилена плоско. Казалось, кровля осела от времени. Однако лес на венцах еще без гнилых проедов, и, во всяком случае, снаружи дом выглядел прочно. Ближайшие от Светлицыных избы все недавней застройки. Одна из погорелого раската, огнем меченная хатенка, другая из свежего леса. Были и просто землянки, возле которых только еще выкладывали будущие срубы.

Когда остановились у Лукьянова палисада, с крыльца избы, как мелочь из кошелька, сыпанули детишки. Все пятеро — одним заходом, одной волной. Даже Ваня меньшей, свалившись с последней ступеньки и на ходу плача, пошатываясь, устремился за всеми. В момент — и сестры-двойники, и старшенький с двоюродным Васей — все разом повисли на зашатавшемся одноногом отце. И все что-то вместе кричали.

— А мамку в больницу свезли! А мамку! А мамку! А мамка еще Ваню родила!

— Не все разом, разбойники! Слышь, Пётра, — не повышая голоса, обратился отец к старшенькому, — говори ты один. Когда маму свезли?

— Еще давно! — зачастил, зашпешил семилеток. — Как ты уехал, так мама и закричала! Председатель дядя Яша Милку запряг сразу. В линейку. И в Лютые Болота! В больницу поехали! А сегодня тетка оттуда...

— Пелагея! У кого кошка с одним глазом! — успел вставить свое слово Вася-партизан.

— Не все разом... — шептал радостно испуганный Лукьян Григорьевич. — Далее что было?

— А сегодня тетка эта Пелагея... оттуда, из больницы, пришла. Так рассказывает — мамка ваша еще одного Ваню принесла! Еще, говорит, один Ваня у вас будет!

— Поздравляю!.. — невесело улыбнулся Валуев. — С прибавлением тебя.

— Спасибо! Вот чудо-то... Два дня в отсутствии, а делов...

— Или не ожидал?

— Ожидал, как не ожидать... Только не теперь, не в октябре... Под Новый год хвалилась Верка...

— Значит, не доносила. Бывает и такое. Витаминов не хватало, или еще чего...

— Доносим! Соопча... Вон, сколько тут носителей! Доносим?! — радостно закричал Светлицын, подхватив с земли чумазого, в ручьях слез, Ваню.

— Доносим! — запели старшие, а Ваня сразу же и плакать перестал. И заулыбался. Лукьян одним плавным движением снял с мордашки его слезы и сопельки, потуже затянул концы платочка на Ваниной голове и, обратясь к Валуеву, замахал, зсприглашал того в избу.

— Событие, Александрович! Заходите, будьте добры! Сбрызнуть надо младенца... Хоть и семимесячный, а человек!

— Уволь, дорогой... Рад за тебя. Только, сам пойми, какой с меня поздравитель?.. Я вот Фросю пришлю. С детьми побыть. А от меня, от кислого — какой праздник?

— Ну, бывайте тогда, Александрович. А то бы и зашли... Нельзя вам долго одному. Я вас — о! — как понял... У меня шумно, зато нескучно.

— Ладно. Спасибо тебе.

— Господи! Мальчишка родился... Радость-то какая! Расстались.

13

А в Гнилицах тетка Фрося баньку изнутри побелила. За время отсутствия супруга. Она хоть и верующей была и без церковных праздничных служб тосковала, но так повелось: под Майские да под ноябрьские всегда что-нибудь по дому затеет. Или мытье-скребатье всеобщее, или вот побелку, или еще что, — смотря по тому, где они проживали на данный момент, в каких апартаментах.

Сейчас, к возвращению мужа из города, тетка Фрося домывала полы. И вдруг поняла, почуяла: пришел! Она всегда очень долго, целых полчаса, радовалась его возвращению, не отпускала улыбки с лица. Суетилась, завихрялась по дому и вокруг него. Чего-нибудь некаждодневно совала за едой дяде Саше. Невзначай по голове задевала, поглаживала, как в молодости. А потом и весь день давала понять, что помнит о миновавшей разлуке и рада, что теперь они опять вместе.

Она и сейчас восторженно захромала на скрип калитки, но встреча их тут же и омрачилась — сперва одним, а затем и несколькими обстоятельствами.

— Собачка дома? — еще с тропы поспешил узнать Валуев. — Катыш, говорю, не прибежал?

— Здравствуй, Сашенька! А разве он не с тобой, Катышок-то?

— Значит, нету его... Ах ты ж, господи! Потерялась собачка.

— И как же вы с ним расстались?

— А вот так! Была — и нету теперь... Накрылась собачка!

— Можя, прибежит, возвратится еще? Мало ли — от-вернул куда... по надобности.

— Болтаешь... «Отвернул»! Голову ему отвернули. Вон по дорогам какие артисты ходят. Сварят и съедят. За ми-лу душу.

— Уж так и съедят... Скажешь чего. Здесь и не слыхи-вали такого.

— А про такое и не кричат на каждом углу! Костерок разведут тихонечко, косточки зароят и — дальше!

— Стало быть, не дали?

— Кого не дали?

— Паспорта... Прости, Сашенька, не о том я! А ты не переживай лишки. Собачка вернется или другую заведем. Вон их сколько в дом просятся. Только пусти... Разных видов.

— А такого — вовек не будет!

— Другой будет. Может, и лучший.

— Кто — «лучший»? Ляпаешь не думавши! Лучше Ка-тыша! Да он со мной только по-русски не разговаривал, а понимал—все! Профессор—не животное!.. Пойду в город—искать, спрашивать...

— А паспорт?

— Дали паспорт! Не скрипи... — почему-то решил со-врать дядя Саша. Никогда тетке Фросе не врал, а тут сморозил. «Все равно — плохо. Так пусть будет чуть по-лучше. Хоть ненадолго»: Так в себе и постановил.

— Вот он, проклятый... — полез дядя Саша за пазуху. Для убедительности.

— Неужто?

— А и смотреть не на что! Опять временный сунули... Ну, да и живем — тоже временно. По Сеньке и шапка!

— Дали, выходит? Радость... Пресвятая дева! Ах, глупенький, разве можно так сомневаться было? Терзать себя так... Штраф-то хоть приняли?

— Приняли, не волнуйся, — продолжал сочинять Валу-ев. Но уже — не бесследно, а с покраснением ушей и даже носа.

— Думать надо, столько времени просрочил! Это б и любого штрафнули. Ну, да все теперь. На полгода сроком?

— На год, — уже смело довилрал супруг.

— Глядишь, годик без приключений проживем. И уж ты, Сашенька, после-то не тяни, как сроки выйдут. Сразу неси на обмен.

— Ладно. Забудь! Во! Вот он где! Поняла? Я бы его, паспорт этот, на огне зажарил бы...

— Забыла! Забыла! Все, родной... Садись, кормить буду.

— А рыбку? — подошел дядя Саша к своему аквариуму. — Рыбку кормила?

— А как же! Вот и яйцом... Как просил, так и следила.

— А где же рыбка-то?

Дядя Саша нетерпеливо побарабанил пальцами по стеклу. Жадно, внимательно исследовал посудину снаружи. Потом полез рукой в воду, раздвигая тину и водоросли...

— Умерла рыбка...

Выдохнул. Постоял так, опустив мокрые, в зелени руки. Посмотрел на белые потолочные бревна баньки. В глазах возникли слезы. Тетка Фрося пыталась что-то объяснить.

— Не она первая, не она последняя... Вон, и окуньки помирали, а эта, как блоха... В чем и душа держалась. Непременно другую заведем.

— А я ей корму хотел купить. У спекулянтов.

— Заведем.

— Кого ты заведешь, пустомеля?! Другую, незнакомую? А я с этой рыбкой разговаривал. Как вот с тобой. Да она меня в лицо узнавала! Понимаешь аль нет? «Заведем»... У вас, у баб, и все так: что ни пропади — скорей новое заводить... Собачка исчезла — «заведем»! Рыбка умерла — «заведем»! Мужик дуба даст — опять та же песня...

Тетка Фрося не стала перечить. И продолжать разговор не стала. Она запалила лучину, кинула ее в трубу самовара. Извлекла завернутых в тряпочку двух блестящих свежеподвяленных лещей. Прямо из топки плиты, с горячей еще золы, сняла чугунок с очищенной картошкой, которая, за неимением мяса, тушилась с головкой лука и сухими веточками укропа. Даже бутылка льняного масла имелаась у тетки Фроси.

— А я вот... — почесал дядя Саша нос, — ничего я тебе не привез. Гостинцев — никаких...

— А сам — не гостинец?! Такое дело прикончил...

Дядя Саша встрепнулся. Сделал шаг к вешалке. Нашарил в потайном кармане малюсенький сверточек. Размером с брусочек туалетного мыла, увернутого в газету.

— Борщом меня в городе угостили. Товарищ Коршунов, партизанский командир. Так я хлебец-то Катышу за вернул... Настоящий, ржаной. Без ничего... Вот понюхай... Столовский, за большие денежки.

Тетка Фрося трепетно приблизила кусочек хлеба к лицу. Нервно понюхала, глубоко и резко вдохнув запахи корицевого, душистого вещества. Первый настоящий хлеб после войны...

— Тесто малость... переброжено. С кислинкой будет хлебец... А ржица настоящая. И выпечка ровная. До нуля...

— Вот и съешь его... — поощрял тетку Фросю. — А я лебца очищу. Небось председатель, Яков Егорыч, угостил?

— Председатель. И не меня угостил, а передай, говорит, своему невеселому. С праздником, значит, тебя...

— У Лукьяна Светлицына баба шестого ребенка родила. Слыхала?

— И слыхала, и дома у них домовничала. И не шестого, а пятого. Вася Катин — племянником ей...

— Знаю! Все равно — шестого... А я тебя отсылать туда собирался.

— Да сбегая! Коровку им Феня доит, соседка слева. А я детишкам щей отварила. К вечеру картошки спроворим, с Петюшей старшеньким.

— Лукьян теперь дома. Сами сготовят. Фрось, а ты как?

— Это о чем?

— Ну, здоровьишко и вообще... Седая вон вся. Ревматизм — как?

— А ревматизм как? Он ласку любит. Потру-поглажу, и спрячет зубы. А так — известное дело — корезит.

И вспомнил Валуев, как лет тому тридцать с небольшим пришлось ему первый и последний раз в жизни публичную драку затеять. Из-за женщины.

Поженились они тогда и в городе, в валуевском доме на Крепостной, жить стали. И захотелось красивой Фросе на танцы в городской сад заявиться. Там у себя, в Заболотье, на круг, под старую липу любила она вырваться

из ночной темноты и с зазывной припевкой под смех и плач гармошки — серебром рассыпаться, уплыть в пляске неведомо куда, оставаясь в итоге все на том же кругу под дремучей липой. Черноокая, с лицом правильным, чертами мягкими, с глазами сладкого, шоколадного цвета — долгими годами неприступная — кружила она перед нетерпеливыми парнями и вдруг... засиделась в девках, не полюбив, ни на ком не остановив взгляда. Внезапно походку ее малым штришком, исподволь начала искажать хромота. И, когда в городе присватался к ней худошавый и долговзый парень, носатый лицом и выглядевший много старше своих лет, Ефросинья поспешила оценить его внимание, а затем и просто, по-бабьи, полюбить.

Так что — пошли они однажды на эти проклятые танцы. В городе тогда, перед самой революцией, чуть ли не круглые сутки играл в саду оркестр духовой. А надо сказать, что тетка Фрося, то есть тогдашняя Ефросинья, умела себя одевать. У нее было чутье к этому действу. По журналам за модой она, понятно, не следила. Зато, глядя на городских краль, оставляла для себя из их облика самое ей необходимое, характерное. Какой-то штришок, линию или лоскуток цвета, который враз делал ее симпатичной и незатрапезной.

Пришли они в городской сад вечером. По темноте уже. Она — в длинной юбке, гофрированной, в шнурованных ботинках высоких. Кофта свежая, светлая, с очень какими-то нужными к образу большими пуговицами. А на шее — бант. А возле виска — завиток волос на испанский манер, колечком.

А дядя Саша и танцевать не умел. И тогда, и потом, в продолжение всей жизни, так и не освоил данной премудрости. И вот стоят они не то чтобы в сторонке, но и не на виду у всех. Однако Ефросинью кавалеры вмиг учуяли. Носами в ее сторону так и повели! А вскоре и приглашать потянулись. Первым ее молоденький прапорщик вызвал. Отказалась. «Занята я», — проворковала. Начали другие удочку закидывать. Штатские допрыгунчики. И тут один, Валуева знакомый телеграфист, порх! — голубем к ногам Ефросиньи. С дядей Сашей поздоровался.

«Одолжи, — говорит, — супругу своему лучшему другу!»

Ну, помялся Валуев. Как тут поступить? Человек вроде знакомый. Болтливый. Даже, можно сказать, — трепло. Не уступи такому — врага наживешь: ославит. Да и

не убудет с них, если этот ферт малость подержит в руках его относительно молодую жену...

Пошла Фрося, изо всех сил стараясь не выдать хромоты своей. Напряглась, как перед вторым рождением. Но изъясн ее таки заметили. Слава богу — не телеграфист. Этот как ухватился за Ефросинью, так и распушил перья. И покуда весь вальс «На сопках Маньчжурии» не развинутил по винтику — ни разу даже головы с небес не опустил.

Зато один из предыдущих приглашателей, тот, кому отказали и, вероятно, очень обидчивый, подошел к концу вальса туда, к Валуеву, и почти в упор, с расстояния в метр, выпалил такие слова:

«Тоже мне — королева бала! Рупь сорок!»

Понял Валуев, что красивую его жену тяжело обидели. Обвинили в хромоте.

Сама Ефросинья не покраснела, не вспыхнула. Она сразу горько заплакала. Молча. Глядя удивленными глазами на обидчика.

Меж Валуевым и его женой о хромоте возрастающей говорить было не принято. Словно и не хромал никто. А тут при всех, публично — «Рупь сорок!»

Валуев не знал, как ему мстить. Что в подобных случаях принято делать? На танцевальных площадках? И только знал, что их с Фросей мерзко обидели...

Опустив руки по швам, деревянным шагом отделился Валуев от Ефросиньи. От которой, как от лягушки, уже успел отскочить смекнувший в чем дело телеграфист. Валуев нагнал того, что «Рупь сорок» сказал, и, не много думая, схватил сзади за кудлатый загривок, потянул густые чужие волосы резко вниз! Кавалер от неожиданности сел на деревянные мостки павильона. Сидел он недолго. Секунды две. А когда вскочил, то Валуев звучно плюнул ему в красные щеки. И началось. Пока не разняли несколько парней, молча, с деловитым сопением, не оттеснили дерущихся в тень деревьев, за ограду танцевальной площадки.

...Дядя Саша ел леща. Лизал косточки, как леденцы, ссасывая с них рыбью плоть. Грел горло горячей картошкой. И видел перед собой, и одновременно вспоминал ее, свою женщину, Фросю свою, с которой они столько прожили и пережили и с которой ему неминуемо предстояло расставаться. Он давно, с первых военных дней, как-то уверовал в то, что умрет раньше Фроси. Особенно после того, как согласился волостным головой побыть. Не отдавая в

тем себе отчета, он тогда как бы и на раннюю смерть свою согласие дал. Вдруг он почувствовал, как внезапно постарел, как сделался старше жены, старше земли...

После короткого обеда заторопился Валуев к себе на почту. И хотя сегодняшний день числился за ним полностью как отгульный, такая необычно щедрая трата времени, какую он позволил себе, посетив райцентр, настораживала в общем-то дисциплинированный его организм.

В здании правления колхоза под почту была отведена комната в десять квадратных метров. Но — с отдельным крылечком входа. Все здание целиком являло собой продолговатую избу казенной барачной застройки. Но почта жила как бы изолированной жизнью. Она имела некоторые материальные ценности, помещавшиеся внутри сварного железного сундучка, громко именовавшегося сейфом. Сразу от двери «зал» почты перегораживал деревянный барьерчик, в углу которого имелся неудобный лаз для проникания за конторку.

В штате этого мизерного отделения связи числилось два человека. Дядя Саша и молодая вдова Мария, ведавшая кассой, она же — почтальон в пределах Гнилиц. Она же — телефонистка, техничка и прочее.

За стеной у связистов — кабинет председателя колхоза Якова Егоровича. Заскучав, он, особенно к зиме, частенько наведывался в гости к Валуеву, предварительно стукнув три раза в стену своим тяжелым кулаком.

Вот и сейчас, получив на свой сигнал троекратное дяди Сашино костлявое подтверждение, Яков Егорович, шумный, разудалого поведения старшина запаса, в престольные праздники разбиравший на дреколье колхозные изгороди, заявился с визитом на половину отделения связи.

— Здорова, почта! С приездом! А что, Саныч, тянет тебя в город, как волка в лес... И чего там хорошего? Такую ж водку пьют и хлеб такой же русский жуют. По карточкам. Полегчало тебе? — И, не дожидаясь ответа, неся в разговоре дальше. — Подумаешь, город! Я за границей на винном заводе в красном вине купался. В кислом. С утра не к колодцу, а чай такой в земле, как под нефть, зарыт... В него — хлысты! — солдатиком. Обмыл что надо, и — на поверхность. Теперь бы нам водоем такой, а, Саныч?! Скупнулся бы? Или слабо?

Яков Егорович морщит свой маленький, копеечный носик, трет друг о дружку огромные, глыбистые кулаки. Молодецки улыбается большим, полным крепких желтых зу-

бов ртом. И все же улыбка у него получается какая-то страшненькая. Во всяком случае — невеселая. За войну председатель, как и большинство солдат, слишком много крови увидел. Крови и всего, что с нею связано. И если, скажем, с Лукьяна Светлицына кровь эта смылась первыми мирными дождиками, то кровь, которая коснулась Якова Егоровича, проникла как бы внутрь его существа и окрасила все: речь, улыбку, взгляд.

— А что, Саныч, заместителя твоего не видно?

— Обедает Марей. Газетку разнесла и обедает.

— И много газеток ей разносить? Сколько у нас грамотных? Окромя меня?

— Пятьдесят дворов — пятьдесят штук «Светлого пути». Да учителю «Учительская газета». Сегодня вот — одно письмо даже было. Опять же учителю. Из района.

— А мне почему не было? Я — председатель.

— Не знаю, Яков Егорович.

— А почему ты кислый, будто пулю ртом поймал?

— Не знаю.

— А я знаю. Сказать? Потому как ты — городской, Саныч. Тухлый интеллигент! Вот тебя и крутит от нашего навозного производства. Повис ты... как в петле. Промеж городом и деревней, Саныч. Из города не вырвался и до земли нашей ногами не достать. Вот и болтаешься. Так говорю?

— Тебе видней.

— Смотри, как бы дышалку не перехватило!

— Пусть перехватывает.

Без стука, легкая, сохранившая девичью поджарость, вошла почтальонша Мария. Тернула подошвами дырявых сапожек о тряпку возле двери. Сорвала с головы черный, в ярких цыганских цветах платок с кистями. Подошла смело, вплотную к лежащему грудью на барьере Якову Егоровичу:

— Дай спички, труженик.

— А что, Маруся, или курить научилась?

— Тебе не все равно?

Председатель поспешно зашарил у себя по карманам, протянул молодой женщине коробок.

Марии было чуть за тридцать. Лицо дерзкое. В деревне мимо такого не пройдешь, если ты мужчина. Оглянешься. Молодые, сквозь постоянный загар, морщинки делали это лицо смелым, если не мужественным. Такую женщину не гладить хотелось, а сразу обнимать. Мария рано, мож-

но, сказать — в юности, родила себе сына. От сорокалетнего положительного тракториста-мужа, который в первые дни войны неожиданно умер от воспаления легких. И частые постукивания председателя в почтовую стенку можно было истолковать как заблагодарсудится, не исключая мысли об ухаживании.

Мария выгнулась возле печной дверки. Там, в топке «голландки», были сложены дровишки, подоткнутые свитком березовой коры. Подожгла маслянистую бересту.

— Под вечер студено уже. Особенно в твоём кабинете, председатель.

— На два фронта печка. А греет одинаково всех.

— А ты разведись со своей Дунькой. Для чего тебе столько фронтов. Чай, не война...

— Ты мне Дуньку не дразни. Дунька у меня — колдунья. Такую хворобу на тебя напустит — всю краску потеряешь, весь колер сгонит.

— На Дуньку я сама — Дунька! Алексан Александрович, кассу примите. Я в город собираюсь. Поступления были. И выдача одна. Лукерья Сизова поросеночка купить уехала.

— Приму... Ключи оставь. А в город — вали, пока снегу нет. Управляюсь.

— Миленький! Александра Александрович... Денька через два бы... Под самые ноябрьские. Вот бы, а? Отпускаешь, миленький?

— Об чем речь? Гуляй на здоровье.

— А печку без меня пусть председатель топит. Его очередь. Его, значит, фронт.

— Председатель ноябрьские, может, и сам куда-ни-то закатится...

— Тогда подвезешь, председатель?! Я не тяжелая. Душа от бога да костей немного.

— С одними костями и замерзнуть не долго. На линейке.

Мария пристально, без тени улыбки, как мать, посмотрела на председателя. Затем протянула горячую, нагретую у печки руку и цепко взяла Якова Егоровича за красное, отмороженное на войне ухо.

— Ай!

— Ишь, чего захотел... — одними губами прошелестела Мария.

А дядя Саша со скрежетом приподнял крышку ржавого «сейфа» и сунул в него свою невеселую голову.

Приближение зимы складывалось из ночных заморозков, углубления небесной сини, очищения воздуха от запахов увядания и тления, из несерьезной мимолетности солнца и покрупнения звезд на строгом, несуетливом ночном небе.

И все же, когда за двое суток до праздника выпало сантиметров двадцать снега на поля и крыши Гнилицкой долины, — для большинства жителей событие это явилось знобящей неожиданностью.

Дядя Саша проснулся часа в четыре утра. Вспомнил, что сегодня — как вот и вчера, и уже неделю целую — не будет рядом с ним Катыша. А значит, и поговорить будет не с кем... Он и прежде неожиданно замолкал, баррикадируясь в себе, и даже тетка Фрося на такие дни отступалась от него, терпеливо снося безмолвие.

И теперь, вот уже несколько дней по возвращении из города, пребывал дядя Саша в вязком оцепенении.

Валуев хотел неслышно одеться и выйти на двор. С кровати он сошел аккуратно. Тетка Фрося звучно посапывала носом: с вечера к ней привязался насморк.

На дворе дядя Саша увидел снег. В первые мгновения подумалось, что не ко времени светает. Потом, когда от земли пахнуло пещерным холодом, понял: зима...

Валуев наклонился, хотел подцепить с земли горсть свежего снега, но закружилась голова и кольнуло в поясницу. Тогда он взял снег прямо с крыши баньки. Не сжимая, пушистым положил его в рот. Снег небесный.

— Снег небесный... Еще одна зима... — сказал Валуев в пространство.

Прежде зима вызывала в дяде Саше прилив сопротивления. Каждый мускул напрягался: перемочь, перетерпеть холода, дожидаться весны, зелени... Нынешняя зима даже всегдашнего ожесточения не принесла. Как разгоряченный, не в себе, пылающий некой идеей человек не чувствует на морозе холода, так и дядя Саша теперь уже не чувствовал страха смерти... Снег, снег небесный. Чужой, неземной. И только... Неожиданно Валуев ощутил снег пальцами ног. И тут вспомнил, что вышел на двор в дырявых войлочных тапочках.

«Ну и пес с ним, со снегом! Подумаешь, снег... Подумаешь — зима... Подумаешь — жисть...» — колесиком вертелось теперь в голове.

— Сашенька... — зашуршало вдруг за спиной. — Ты чего? Или захворал?

— Приспичило... вот и «чего»! — недовольный обернулся на зов тетки Фроси. — Чаем с вечера опоила... Вот и «чего»! Видишь, мать, зима снова пришла...

— Пресвятая дева богородица! Иди, застынешь! Никак и правда — снег? Ой, да какой снежище-то!

— Саван. В стихах так-то говорят. О снеге... Белым, значит, саваном накрыло...

— Скажешь тоже. Саваном... Да саваном-то покойников накрывают. А земля живая всегда. Круглый год. Любое дерево ковырни — живое под кожей. Любую речку... Зимой — тишь. А чтобы — саваном...

— Ладно! Прицепилась к слову. Не саваном, так — одеялом. Пошли досапывать, а то и впрямь за пальцы хватает... Новорожденный-то!

Вскоре тетка Фрося опять уснула, а дядя Саша и не пытался этого сделать. Он решил, что пойдет на почту, затопит там «голландку», произведет своему хозяйству полную ревизию. Он как бы дела славить приготовился: все равно, рано или поздно, уедет он отсюда. Где-нито возле крепости, на берегу Песчанки, домик поставит... Правда, напрашивалась мысль: из чего поставит? Но это уже дело десятое. Да и поставит ли вообще — тоже значения не имеет. Весь фокус в том, что в Гнилищах он чужой и здесь ему жить нельзя.

В предбаннике, за низкой отгородкой, в кучехлама откопал дядя Саша старые свои валенки, подшитые автомобильной покрышкой; извлек оттуда же обитый серой цигейкой потертый треушок. («Зима, скребут те маковку!») Все это плюс пальто натянул на себя без шума, вышел на снег и неторопливо направился к почте. Шел, оглядываясь по сторонам, рассматривал луну, снега, деревья. Словно музеем проходил. За пазухой посторонним грузом холодила сердце «машинка» системы Коровина.

Время — семи еще не было. Деревня спала. Нигде ни скрипа, ни дымочка. Даже собаки, почуявшие свежий снег, вели себя тише обычного.

И все-таки ночь должна была вскоре растаять. «Прощай, ночь...» — захотелось сказать Валуеву. А потом он вспомнил другое и захотелось сказать: «Прощай, Катюш... Прощай, рыбка...» — завертелось опять колесико. На крылечке правления, еще до выпадения снега завернувшись в тулуп, спал сторож.

Заглянул в небо. Так и невозможно было понять: рас-
сзетает или все еще от снега белит в воздухе? Скорей все-
го — и то, и другое...

Ступил на середину улицы, пошел по ней, по главной,
мимо церкви, оставляя по бокам от себя темные, спящие
избы. Кой-где вспыхивал собачий лай, переходящий в ле-
нивый брех, а там и вовсе замолкавший.

Когда прошел деревню до околицы, показалось, что
кто-то окликнул. Остановился, жадно вслушиваясь. Нет,
помстилось... Да и кому его окликать? Фрося — на том
конце Гнилиц. Храпака задает. Разве что — все те же со-
баки... И тогда, отвернувшись от деревни, пошел дядя Са-
ша по дороге, туда, к лесу, к иной тишине, к иным, неже-
ли здесь, более ровным и чистым снегам полей...

Дорога была мягкой: снег выпал на неотвердевшую
грязь колеи. Земля, не готовая к зиме, еще не закаменела.
Сойдя с колеи, как паровоз с рельсов, Валуев наобум про-
шел метров сто и возле молоденькой березки-подростка,
уже безлистой, но крепенькой, стремительной, опу-
стился на поваленную жердинку. Жердинка прогнулась до
самого снега, даже до самой земли. И таким образом дя-
дя Саша очутился в чловком сидячем положении: коле-
ни выше носа.

«Жердинка-то хлипкая оказалась... И тоже — березка.
Только — срубленная... Для чего секанули, если не пона-
добилась?»

Свернув огромную, без прежней экономии табака, ци-
гарку, дядя Саша, внешне бездумно, сидел и курил.

А где-то под рыхлым слоем фактов вызревало что-то
необъяснимое, торжественное и в то же время — разъеда-
ющее. Выстраивался какой-то храм, который вот-вот дол-
жен был и рухнуть. Появилось ощущение раздутости,
словно пучило тревогой, отпугивая и одновременно не
отпуская от себя. И сидел Валуев, боясь пошевелиться,
будто сдерживал в себе заряд смертельной взрывоопасно-
сти. И старался не думать, отчего так жутко сделалось,
только перекачивал страх по жилам, как кровь. И нужно
было или умереть от этого страха, или выпустить его из
себя, как пар, как газ вонючий, губительный.

Порядочно рассвело. В небе летали редкие, одна в мет-
ре от другой, снежинки. Малость подморозило. Кряхтя,
Валуев поднялся, бросил огромный окуроч на снег. По-
лежав на поверхности, огарок начал на глазах оседать,
все глубже и глубже в снег. Отверстие, которым он

уходил, неярко окрашивалось никотиной желтизной. Двинулся дальше, к черным кустам. На них холодной пеней кой-где — лохматый снег.

Валенки оставляли автомобильные отпечатки, такие назойливо-современные, несовместимые с вековечностью пейзажа, в который был вмонтирован сейчас человек.

Возле кустарника сел прямо на снежную кочку. Опять курил. Опять бросал окурки. Опять в рыхлой белизне появлялась желтоватая скважинка. И когда на очередном сиденье обнаружил, что выкурил всю махорку, тоскливо заозирался и в пяти шагах от себя разглядел свои же автомобильные следы и ту стремительную березку, возле которой сидел час назад. Увидел, а соображать, что ходит по кругу, не стал.

Внезапно у кустов что-то хрустнуло, затем будто что-то упало. Дядя Саша оглянулся. Услыхал знакомый голос Лукьяна.

— Да помогите, что ли, Александрович! Подите сюда... Нога у меня сломалась, паскуда! Деревяшка то есть... Сделайте милость, пособиите!

Валуев обернулся на голос. Перед тем как глаза ему полностью застлали слезы, успел он разглядеть Лукьяна, лежащего меж кустов, как меж двух медведей.

— Лукьяша... — зашептал Валуев, задыхаясь. — Что же ты, сукин сын, по пятам за мной ходишь?

— А я за хворостом...

— Врешь, не за хворостом...

— А чего тогда надумали? В лес почему ушли?! — заругался Светлицын.

Заругался и медленно, как к зверю загнанному, пополз по-пластунски к дяде Саше. Сошлись. Вернее сказать, сползлись. Лукьян Григорьевич ухватил дядю Сашу за голенища валенок. Малость подтянулся. Резво так перебрался руками повыше, поймал рукав валуевского пальто. Еще подтянулся, встал на свою единственную... Выпрямился. Глянул дяде Саше в мокрые глаза...

Вскоре выбрались они на дорогу, понюхали воздух. Запрыгали молча на запах дыма, туда, где над сонными избушками торчала чумакая колоколенка, лаяли собаки и пели обыкновенные птицы — воробьи.

И редкий снег, одна снежинка подлетает, а другую еще не видно, редкий, небесный снег танцевал над ними беспечно.

1976—1977

ВОКЗАЛ

И. Н. Тарсановой

С утра садимся мы в телегу...

А. С. Пушкин

Я знал, что опоздаю на этот скорый. На этот фирменный, с нестандартными занавесками. Я уже передвигался однажды в таком составе. Правда, в направлении, противоположном нынешнему.

Помню, в купе тогда, на столике, в керамическом горшочке даже произрастал настоящий кактус. Колючий и с четырьмя зажившими дырочками в мясистом тельце. Должно быть, кто-то вилкой его потрогал. Чтобы удостовериться в подлинности. Жизнь коротка, а на земле столько непонятного! И многие склонны проверять: а не обманывают ли их?

Разница между прибытием поезда, на котором я въехал в столицу, и отправлением фирменного составляла одну минуту.

Короче говоря, я знал, что непременно опоздаю на этот дефицитный. Знал, и все ж таки несея подземными переходами, ударяя встречных граненым чемоданчиком. По незащищенным коленям. Несея, чтобы удостовериться... Чтобы миллионный раз колупнуть кактус неизвестности. А вдруг — успею? Вдруг да у машиниста дизель в тепловозе заклинит? Или очередной сомневающийся ручку стоп-крана повернет?

И черта с два! От моего нестандартного даже облачка пыли не осталось. Только у фонарного столба плакала или смеялась молодая женщина. С букетом гвоздик. Который она протягивала вперед, будто красный флажок.

Да еще пятеро взбудораженных провожающих, сцепивших руками, громко шептали слова дореволюционной песни «Прощай, радость, жизнь моя...».

Погода в сентябре, сами знаете, пока народ на работе, солнечная, соблазнительная. А где-то ближе к часу «пик», когда люди из предприятий на улицу вываливаются, — с неба начинает идти он самый... Осенний мелкий... Ветер принимается стегать по шеем так, что хочется немедленно зайти в промтоварный магазин и купить себе плащ. Или хотя бы примерить его за бархатной ширмочкой.

А теперь о себе. Не сходя с места, десять лет проработал я в отделе писем одной газеты. Отбросив честолюбивые мечты, десять лет отвечал не только на письма честных тружеников, но и на послания склочников, графоманов и просто шизофреников... Впрочем, приходили и деловые, даже талантливые письма. Но адресованы были не мне, а все той же абстрактной «дорогой» или «уважаемой» редакции.

Но все это в прошлом... На письмо одного махрового жалобщика ответил я словами, не подобающими для профессионального газетчика. Впервые за десять лет работы.

В редакции у нас была гиря-двухпудовка. Мы ее поднимали для разминки. В тот раз, подняв гирю, я неожиданно уронил ее на полированный столик, за которым истлевали лучшие годы моей молодой жизни. После чего пришлось написать редактору заявление о добровольной с ним разлуке и, снарядив чемоданчик, поехать к приятелю на Дальний Восток, где на великих стройках века возникали не только новые редакции газет, но и новые города.

Я предпочел самолету архаический поезд. За окном поезда — земля, люди, события. За окном самолета — разреженный воздух.

Молодая женщина с гвоздиками, как выяснилось позже, никого не встречала. И не провожала. Она сама уезжала — да не уехала. Поезд неслышно ускользал прочь. Тут-то и вручили ей букет гвоздик веселые люди, напевавшие шепотом старинную русскую песню.

Опомнившись, она решила тщательно изучить расписание поездов. Здесь мы и столкнулись. Лицом к лицу. Я не из тех, кто в подобной ситуации незамедлительно несет чепуху, вроде: «Мы с вами где-то встречались!» Однако женщина сама, раскрыв слипшиеся от недавних слез ресницы, вдруг заинтересованно посмотрела на меня.

— Гриша...

Она опознала меня. Потом уж и я припомнил с трудом, что где-то между первым и пятым классом школьного обучения мелькали вот такие большие темно-синие глаза. А рот и тогда был широченный и при улыбке сверкал чистыми зубами, как молнией в небе!

— Гриша... Гриша Улетов!

— А я думаю: почему смотря? Может, лицо на мне перемазано и вообще...

— Перемазано, Гриша. Морщинками... Времецко постаралось. Зато уж нос — прежний! И кудри ангельские —

на месте. Белый пудель! Тебя ведь пуделем дразнили?

— Может, и пуделем... А вас?

— А моя кличка — Марго! Марта, я, Королева... Королева Марго!

— И вы меня вспомнили? Феноменально...

— Ты яркий, Гришенька. Кудряш, и нос у тебя неповторимый.

Люди возле огромного расписания поездов уже не на табло смотрят, а все чаще на мой нос.

Одна тетка четыре раза оборачивалась. Покуда о чей-то чемодан не запнулась.

Ну и ладно. Не повезло при формировании. Неаккуратный орган получился. С плебейским башмачным загибом. Зато уж в остальном — полный порядок. А могло бы и вовсе разрисовать... Глазки бы красные свинячьи вставило... По плечам уши развесило... Зубы перетасовало бы — коренными вперед! — ходи, улыбайся. Нет, со мной, если хотите, природа по-божески обошлась. Откровенно говоря, серьезными физическими недугами еще ни разу не маялся. Сердце, желудок, голова — все в норме. А я ведь и водку пил, и курю, и нервничаю. Иной в тридцать-то три года стоит у пивного ларька с протянутой кружкой, и не отличишь его от истинного ветерана. А я себя в этом деле переломил. Но об этом после. Не вслух... Итак, внутренности у меня — тип-топ! Чего не скажешь о так называемой душе...

Зная жизнь человеческую по мрачным письмам кляузников, душа моя забила тревогу. Ну и ладно. Главное с места стронуться. В определенном направлении.

Отошли мы с Мартой от расписания поездов в глубь зала. Тут на наше счастье какой-то очень длинный лежащий человек проснулся. На деревянном диване. Сел, протирая глаза, и сразу большой кусок незанятого места освободился.

— А я, Гришенька, на поезд опоздала. Мне из камеры хранения чемодан не вынуть было... Пожалей меня.

— Я тоже не успел, — поддакиваю, а сам соображаю: почему она со мной так запросто? Двадцать лет не виделись, и хоть бы что! «Гришенька!» — и на грудь цветочки кладет. Вообще-то я человек компанейский. Располагаю, ну, там, к беседе. Но не до такой же степени.

— Гришенька... Что делать будем? Следующий скорый до Энска завтра утром. А бригада моя уехала. Я ведь артистка, Гришенька. Старинные романсы пою.

— Мне знаете ли... — объясняю артистке, — в другую сторону. Мне значительно севернее... вашего Энска. Газетчик я... — Объясняю, а сам быстренько смекаю: если она без бригады осталась, значит, и без денег может оказаться. Ну и ладно. Не слон из зоопарка. Прокормим.

— Перекомпостируем билеты, Гришенька, и — в ресторан. «На улице дождик, на улице слякоть».

— А где же... А куда же? Дальше-то?

— Где ночевать будем? А на вокзале!

— Романтика? Карболкой провоняем тут...

— На вокзале хорошо. Как в лесу. Никому до тебя дела нет. Побудем ночку. Посторожим друг друга. У тебя такое испуганное лицо, пуделек... Ты ведь проездом, Гришенька? Не москвич ты, угадала я? Может, в гостинице остановился?

— Знакомые у меня... Друг на Арбате живет.

— Одинокий друг?

— Не совсем... Дети у него. Трое. Ну и — жена...

— Итого пятеро. Не нужно им мешать. Мы с тобой на скамеечку сядем. Друг к другу прижмемся. Я тебе, Гришенька, колыбельную песенку спою. А там и утро. Пойдем-ка на почту теперь. Телеграмму отстучим. Товарищу Немухину. Администратору. О том, что жива я и здорова.

В зале ожидания много народу. Часть людей питалась возле буфетных стоек, где шел пар от бачков с какао. И от горячих сосисок. Сидение на узлах кануло в Лету: большинство ожидающих пользуется камерами хранения; правда, есть и оригиналы. Такие выкладывают чемоданную кладку возле своих ног. Непрестанно ошипывают, оглаживают вещи. Стреляют беспокойными глазами, как из пулемета — веером.

Возле такой забаррикадированной семейки вдруг много смеха произошло.

Сидим, значит, с Королевой. Вспоминаем школьные годы, и вдруг женщина в тусклом болоньевом плащике из-за своих чемоданов как вскрикнет: «Ой!» Резко так. Пронзительно. Даже вокзальный гул перекрыла. Ну, думаю, ладно. Может, потеряла чего баба. Гляжу — улыбается. По-хорошему. И чемоданы свои пересчитывает, широкое плечо. А через минуту по новой: «Ой!» Звонче прежнего. Даже Марго насторожилась, а длинный дядька, что спал теперь сидя, проснулся и торопливо закурил. Хотя курить в зале ожидания категорически запрещалось.

Рядом с женщиной, которая так весело и громко икала

или стонала, сидел маленький мужчина-мужичок в большой кепке и блестящей черной, как металлический капот автомобиля, куртке. Впалые щеки, румяный морщинистый нос. Короче говоря, человек, успевший устать. Его и не видно-то было из-под козырька. Не человек, а так, одна одежда.

Когда женщина вскрикнула особенно лихо, из-за чемоданов вышла крошечная девочка. Она была частью той странной семейки и отделилась от старших, чтобы сообщить нам, посторонним людям, потрясающую новость.

— Папаня маманю шильцем... укалывает! — рассказывала она долговязому дяденьке, нашему соседу по дивану.

— Эт-то как же понимать? — заволновался тот, пряча папироску в рукаве брезентового плаща, совсем как школьник.

Девочка повернулась к нам.

— Папаня маманю шильцем...

Тогда я решаюсь. Встаю, иду туда, за чемоданы. Нервно спрашиваю женщину:

— Вызвать милицию?

Женщина натянуто улыбается, сидя напряженно, как перед прыжком.

— С какой стати? — выдавливает она. — Если вы есть выпивши, тогда для себя и вызывайте... Ой! — приятно взвизгивает мамаша и отворачивается от меня.

Я понимаю, что здесь так живут. И что сам я со стороны некоторым кажусь не менее вздорным и нелепым. Понимаю и отхожу к своему дивану.

Длинный человек рядом с Мартой вновь уснул. Из его рукава вывалился окурок. Девочка, сообщившая нам про «шильце», подняла окурок и понесла к урне. Марта встретила меня улыбкой:

— Отшили тебя, Гришенька, гуманиста нелепого?.. Сразу видно, классиков читаешь. А ты представь, что кликуша сия в свое время изменила по глупости... Этому, в кепочке. Ну, простил он ее внешне. Ради дочки-малютки. А после, чтобы от злости не лопнуть, шило завел. Кольнет любовь свою, а злоба и — пшик! Малость схлынет... С души.

Ишь ты, думаю, какая рассудительная! А сама изогнулась под замшей и ногу на ногу сделала... А ноги все наружу, хотя и сапогами обтянуты. Настолько юбка у нее коротка, несерьезна.

Решили мы закомпостировать билеты на утренний ско-

рый. В пассажирском лишний полдня добираться. Лучше эти полдня в вокзальном ресторане провести.

Возле касс полно людей. Даже возле закрытых. Мы выбрали крайнюю. В самом дальнем углу. С цифрой тридцать три. У ее окошечка будто пореже толпа. Как выяснилось — ничего подобного. Просто люди тощие подобрались. Я подсчитал: у соседней кассы их было даже меньше на одного человека.

В самом углу помещения, где в общественных местах чаще всего стоят урны, отгороженный очередью, спал на полу человек.

Очередь продвинулась, и мы с Мартой увидели спящего. Интересно, почему этого «курортника» до сих пор не подобрали и не свезли, куда следует? Был он повержен ниц, а на ногах почему-то имел только один резиновый сапог (другой выглядывал из-под головы); от всего облика спавшего сквозило солидным, застарелым благообразием. Будто бабушкиными духами. Невесть когда пролитыми на эту поношенную вещь.

Мужичок лежал крошечный, свернувшись калачиком, нежно посапывая и постанывая во сне. И не обладая он ржавой, запущенной бородкой да большими лобовыми залысинами в модной, до спины, прическе, такого дядю запросто можно было бы принять за нашалившего школьника, сбежавшего от родителей в жаркие страны.

В очереди спящего в общем-то жалели. Хвалили за находчивость. «Ишь куда спрятался! За людей. Не скоро его тут обнаружат».

И про наличие всего лишь одного сапога речь шла.

— Да неужто сняли? — кудахтала старушка. — С такого-то блаженного?

А случайный гражданин в скромной периферийной одежде возражал ей:

— Еще чего; «сняли»! Под голову положил. Вместо подушки. Если такие сапоги с людей снимать... — и пошел поехал.

Когда на спящего посмотрела Марго, близоруко склонившись к полу, благообразный бродяжка мигом встрепетнулся, воздел голову и вежливо зевнул, прикрывая ладошкой рот с желтыми, прокопченными зубами.

— Закурить не найдется? Чего-нибудь вкусного? Ароматного?

Мы торопливо стали угощать бородатого гнома сигаретами. На мои «ВТ» он только еще раз невесело зевнул,

взял у Марты «заполонину», вставил сигарету в дырочку рта, кряхтя приподнялся, сунул необутую ногу в сапог и, бесцеремонно расталкивая очередь, как слепой, напролом пошел из своего угла в направлении курительной комнаты.

В ресторане мы устроились хорошо. Симпатичное местечко освободилось. На отшибе. Прежние, до нас, люди за этим столиком вдруг сильно запьянели, вот их и вывели. На улицу.

Марта меня за руку взяла. Как маленького. Усадила рядом с собой. Заказали мы грандиозный салат из помидоров. Красный такой утес в сметане. И сухого вина бутылку. Марта сказала «сухаго». Официант сразу улыбнулся ей. Словно пароль услышал. Так мне показалось: Марта, конечно, артистка. И потому, наверное, выделялась из прочей публики. Производила эффект. Я возле нее выглядел неестественно. Как телефонная будка возле мечети мусульманской. Помните, у нас в Ленинграде, на Петроградской стороне? И хоть проигрывал я внешне на фоне Марты, унижения покуда не испытывал.

— Гришенька! Бог тебя послал. Хорошо-то как... Выпьем? Кудрявый! За встречу.

— Не пью нынче. Спиртного.

— Чего, чего?

— Этого... нынче. Не употребляю.

— Смеешься? Или хвораешь?

— Боюсь. Я в пьяном виде злой делаюсь.

Марта подозрительно, как мне показалось, осмотрела мое лицо. А я стал оглядываться по сторонам. И тут вижу: благообразный, что на полу в кассовом зале валялся, блуждает по ресторану.

Степенно так ходит. Словно в краеведческом музее экспонаты разглядывает. Марго тоже дядю заметила. И когда неопрятный бородатик мимо нашего столика проходил, ухватила его двумя пальцами за пиджак.

— Присядьте.

Курносый и большелобый мужичок ласково погладил свою лысину, вынул гребешок откуда-то из подмышки. Причесал затылочные патлы. Не меняясь в лице, присел возле нас.

— Не поледили? — спросил отрывисто, не глядя на Марту, тем более — на меня. — Или: дан приказ ему на запад?..

— А вы прорицатель? Судьбу угадываете? — Марта передвинула к нему мой фужер с вином.

— Не угадываю, а соображаю. Для нормальных, озабоченных людей я не существую. А вы меня — за рукав и к столу. Вас что — помирить? Или позабавить?

— Расскажите о себе, — потребовала Марта.

— Значит, позабавить. Хотите, случай расскажу? Свежий, вокзальный? Сейчас бабенция одна на диване в зале ожидания... численность населения увеличила. Ойкала, ойкала за чемоданами, покуда сына не родила. Интересно? Граф Салтыков! — сунул он вдруг под мой нос грязную лошадку. — Поэт! И абсолютно свободный! Не член Союза. О, грубый век! О, хрупкий материал мечты благой, что холод обуял! Я такой разговорчивый, потому что одинокий. Иногда, часам к восьми вечера, сюда приходит моя бывшая жена. Уговаривать. Раз в месяц. Я ей от пенсии отламываю четвертинку. Алименты.

Марта оживилась. С интересом вновь стала рассматривать замухрышку.

— Значит, не забыла вас жена? Приходит, навещает?

— Да. Как на могилку...

Марта наполнила фужер Салтыкова. И вдруг схватила меня за плечо, затрясла.

— Гришенька! Слава богу! Вспомнила... Тридцать девять!

— Не понимаю вас...

— Год смерти Шалыпина!

Я решил не удивляться. Особенно в компании подзаборного графа. Прослыть наивным лопухом никогда не поздно. Год смерти Шалыпина вспомнила... К чему бы это? А вслух забормотал:

— Гениальный русский певец... Разве такого забудешь...

— Да нет же! — так и подпрыгнула Марта. — Теперь чемодан из камеры можно забрать. Девятьсот тридцать девять. Из автомата. Скажите, товарищ Салтыков, а что, собственно, произошло с вами? Почему вы так неустроены? Чем объяснить? Водка?

— Слишком просто у вас: во-одка!

— А что, разве я не права?

— Я устал об этом думать...

— Ой, ради бога, простите! Я неуклюжая. Берите сигаретку. — Марта поднесла горящую газовую струйку зажигалки. «Граф» снисходительно прикурил.

Тут возле нашего столика, озираясь, торопливо прошел тощий мужчина с портфелем и в очках. Не останавлива-

ясь, он выкрикнул что-то. Отчетливо прозвучало только одно слово: документы! Я еще в зале ожидания запомнил этого типа.

Если «граф» опустившийся ханыга, алкаш — сразу видно, то дядька с портфелем просто ненормальный. Шизик. Правда, нынче так уж принято: всех мало-мальски нервных людей непременно в шизофреники зачислять. Конечно, этот тощий с портфелем слюной не брызгал и пальцем на стенах не писал, однако ко всем и каждому в зале подходил и про документы спрашивал. Люди дергаться начали, проверяя наличие документов. А затем с неприязнью отворачивались от человека с портфелем.

Салтыков, проводив тощего дядьку насмешливым взглядом, ухмыльнулся:

— Заботливый шибко. Надоел всем. Лишь бы на глазах у людей поторчать. Я ему говорю: мои, мол, документы, отдай! А он гад, только взглянул на меня брезгливо... Как солдат на вошь... И отвернулся. «У вас, говорит, их никогда и не было, документиков!» Деляга. В каком, говорите, году Шаляпин помер? В тридцать девятом? Сейчас пойду и ваш чемоданчик извлеку. Удружу. Хотите?

— Благодарю вас. Только сейчас не время. Пусть до утра отдыхает чемоданчик. Пейте вино.

— Я не пьяница. Я пенсионер. Да, да! У меня инвалидность. Бывший летчик... Реактивщик. Приличная пенсия. А дома не живу... Потому что... инвалид! Инвалид должен спать в обнимку с урной! А не с женщиной. И мне здесь, мадамочка, очень хорошо. Среди людей. Среди проезжих. Проезжий среди проезжих. Лягу на диван и еду. Своей дорогой: Куда все, туда и я. Но — своей дорогой! Своей, мадамочка! Спасибо за угощение. Мне идти нужно. Понаблюдать за женой. Сегодня пенсия. И сейчас она придет. А я за ней понаблюдаю сначала. Мне ее лицо нравится. Грустное такое. Среди мелькнувших глаз в коловращенье дней запомнил я не вас, а хмурый взгляд камней! — выкрикнул он на прощанье, слегка порозовев от «сухаго».

— А ты, Гришенька, не хотел на вокзале ночевать! Да здесь такие персонажи...

— Сейчас этот персонаж в камеру хранения кинется. За вашим чемоданом.

— Почему — за «вашим»? На «вы» — почему? Сопровождаешься, Гришенька... Моей ласке. В чужого играешь. А ведь мы с тобой так давно знаем друг друга. Так давно...

— Вот именно. Так давно, что едва помним...

— Не хочешь — не надо. Обращайся со мной, как тебе удобнее. А за «графа» не переживай. Не возьмет он чемадан: Ему озорничать нельзя. Где он тогда ночевать будет? Если нашалит? Вокзал — его убежище. А дело косени. Чемоданчик у меня яркий. Заметный. Зачем «графу» такой? Милицию дразнить? Да и в какой именно секции лежит — неизвестно. Не могу вспомнить.

А гражданочка смекалистая, подумалось мне. Разбегается, что к чему. Но скорее всего — оригинальничает. Шляпина приплела... И все остальное.

Сидел я в ресторане как на иголках. В подобных заведениях бываю теперь крайне редко. После того как радио про меня нехорошими словами заговорило. Два дня и две ночи с дружками преферанс чертили. Под звон стаканов. А на третий — включаю транзистор: как раз последние известия передают. И слышу явственно: диктор мою фамилию произносит — Улетов! Улетов-де полностью деградировал, морально разложился. А потом, когда диктор крепче стал ругаться, понял я, что это — галлюцинации. И пора мне завязывать с прежним образом жизни.

У меня мама рано умерла. И я этот факт воспринял как самую большую несправедливость. Со стороны жизни. Я маму помню всегда молодой. И всегда — испуганной. И пахла она сердечными каплями. Может, поэтому и я в обиходе с людьми несколько робок и молчалив. Скован генами, короче — наследственное. Хотя, если брать с другой стороны, то есть с отцовской (на него я больше похож, чем на мать), тогда скованность мою и длительное пребывание в сидячей должности истолковать как нечто наследственное — трудно. Отец мой — геолог. Бродяга. Причем бродяга натуральный. Подлинный. С семьей своей только по почте был связан. Денежки высылал. А сам как живая личность где-то скрывался. Да и по сию пору скрывается. Несмотря на солидный возраст.

Когда мать умерла, я к тетке перебрался. К сестре отца. Она мне рассказала про все. Про его, отца, нелюдность. С матерью у них драма получилась. Осечка вышла. С верностью супружеской. Он каждый сезон удалялся, удалялся... А когда измена произошла — и вовсе удалился. И настолько погряз в своих изысканиях, что когда приезжал к сестре, то есть к нам домой, то выглядел совершенно диким человеком. Я и лица его не помню. Живо. Фотографию знаю. Изображение. А существо, именуе-

мое отцом, — не представляю. Потому как за двадцать лет, что я у тетки провел, родитель мой всего лишь два или три раза промелькнул. Да и то не ярко: без улыбок, без особых слов, чарующих, без впечатляющих движений ума и сердца. Так, побрезжит чуть, повздыхает и — прекратится. Как посторонний звук. Вызванный чем-то случайным и необязательным.

А с теткой мы жили отменно. Приятно вспомнить. Я ее люблю. Совершенно определенно. Родной человек. И даже когда гирю на редакционный стол ронял, в тот жуткий миг не отца вспомнил, а тетку. Вспомнил и пожалел: как же она без меня-то? Одинокая? Обнял я тетку, удалил с ее дряблой и доброй щеки слезу пальцем и поехал на восток: учиться с людьми разговаривать. На чистом воздухе.

Сколько о дороге стихов написано. И прозы. А песен... попутных, как шпал под рельсами. И все равно: каким скептиком ни родись, а замелькают за окном столбы, расплескают поля вдоль пути разнотравье, проглянут из-за горизонта дали неоглядные — и взыграет... И нахлынет вдруг ощущение, что и не жил ты вовсе до этих пор, а только готовился к чему-то изрядному, истинному... И вот — началось.

Лирика, конечно... Но что-то в движении непременно есть. Магия. И неизвестно: отцовское, бродяжье взыграло или до краев сидением конторским наполнился, только неумоготу стало одно и то же делать, чувствовать, замечать... Каждый день одно и то же. Лица вокруг одни и те же. Звуки, запахи. Тетка... Одна и та же. Хотя и хорошая женщина, душевная. Но — одна и та же. И вот я на вокзале.

Внешне вокзал — так, проходной двор. С одной стороны заходят, с другой выходят. К поездам. И никто из проезжих людей о вокзале как о вокзале не думает, потолки и стены не разглядывает, прелестей архитектурных не ощущает. Все соображают: как быстрее доехать до места. А я решил осмотреться.

Даже где-нибудь в поле — и то интересно. А на вокзале! Не успел очухаться — однокласснику встретил. Всю жизнь врозь, а тут — хоп! «Гри-ишенька!» Далее — «граф» этот вокзальный... Где еще такого встретишь? Нигде. На вокзале все бесподобно. Потому что — выпукло все. Как под микроскопом. Взять хотя бы бабу за чемоданами...

— Мать честная! Так ведь она — рожала! — закричал я на весь ресторан.

— О ком ты, Гришенька? — улыбнулась Марго. — У тебя есть дети? Ты — семьянин?

— Откуда у меня дети... Я о другом. Баба за чемоданами... В зале ожидания. Помните? Вякала. Теперь-то я понял: рожала она. Лицо беременной... А я, дурак, милицию хотел позвать...

— И я тоже рожала. В свое время.

— Так не на вокзале! Не проездом...

— Не имеет значения — где. Созреет яблочко — упадет. А то, что на вокзале... Почему бы и нет? Здесь — дивья родить. Не в пустыне. А вот чего она, дура, «скорую» не вызывала до последнего? Небось непременно уехать хотела. А там и родить где-нибудь в своей Ольховке.

На подмостках ресторанной эстрады неожиданно заиграли музыканты. В черных бархатных пиджаках. Такие кроты симпатичные. С отсутствующим выражением лица. То есть — безо всякого выражения. А фортепьянщик сразу же и запел про какого-то дядю, у которого на приусадебном участке созрели вишни.

Лично я пытаюсь привык в одиночестве или с теткой, что почти одно и то же. Жевать, глядя в лицо незнакомой женщине, стараясь не чавкать, — занятие утомительное. Я в меру конфузился, в меру стучал о посуду общепитовским металлом... И как-то незаметно съел половину большого салата. И мясо тушеное съел. Пью минералку. Марта фужер в пальчиках туда-сюда вращает. Есть ничего не ест.

— Гришенька... Поговори со мной. В кои веки встретились. Не разминулись. А могли...

— Вообще-то, мы запросто могли и не родиться, — начал я охлаждать ее пыл.

— Увидела тебя и осмелела. Знаешь, все равно что встречному из машины язык показать. Или еще что-нибудь... Пусть себе удивляется, удаляясь... В данный момент я немножко одинока. И потому — наблюдаю. И тебя вот высмотрела. Не подумай плохо... Просто стараюсь заинтересовать себя. Вон взгляни. Только осторожно. Не спугни. Понаблюдай за той... за тем человеком. В берете. Усики чаплинские под носом. Нашел? Пооригинальней меня будет экземплярчик. Я такое впервые вижу.

Медленно, как бы боясь обжечься, повернул я свое лицо влево. Скосил глаза и, наконец, обнаружил усики.

Пожилой мужчина в берете. Довольно длинные волосы. Не короче моих. Только — с проседью. Сейчас у всех прически много волосатее, нежели после войны. Перед уса-

тм на столе графинчик. Рюмка. Рыбешка соленая в селе-
дочнице. А лицо у клиента интеллигентное. И какое-то не-
здешнее, нересторанное. Брови черные, нос тонкий пря-
мой — изящная косточка в его основе. А вот подбородок
мягковат, расплывчат. Ого! А это уже баловство: темные
очки напялил. В помещении. А на пальце перстенок миниа-
турный, немужицкий... На плечах замша. Такая же, как и
на Марго. Под замшей рубашка модная, с кнопками. Се-
рая, как дым от туристского костра. Небось тоже артист.
Оригинальничает. А проще говоря — выпендривается!

— А ведь это женщина, Гришенька. Обрати внимание,
куда она смотрит. Что ее интересует.

— О какой женщине речь?

— Об этой, об этой. В замше. С усиками.

— Да вы что?

— Сомневаешься? А вот погоди. Приведу ее сюда.

— Не смейте! — я не на шутку перепугался. Кто их
разберет, артистов этих. Может, такое — только тронь...

Марта усмехнулась иронически. Похлопала меня по
плечу.

— Ладно, Гришенька. Бог с ней, со старушкой. Ты толь-
ко понаблюдай за ее взглядом. И, если захочешь, я ее сей-
час же позову к нам. По всему видно — веселый она чело-
век... Редкостный.

Я строго посмотрел на Марту. Затем понял, что веду
себя глупо. Улыбнулся одними губами. Закурил. И еще ос-
торожней, чем прежде, повел глазами в сторону того... это-
го самого.

За столиком усатый был уже не один. Возле него уви-
вался какой-то лихорадочного поведения паренек. Совсем
мальчишка. И тоже в темных очках. Юнец ухватил стар-
ческую руку, нервно стал ее поглаживать и одновременно
что-то быстро-быстро говорить. С близкого расстояния. По-
чти на ухо пожилому в замше.

— Может, иностранцы? — засомневался я.

— Нет. Просто интересные люди. Гришенька, у меня
сигареты кончились. Сходи к буфету, принеси. И еще од-
на просьба: там, возле буфета, сидят пожилой красавец и
девушка. Обрати и на них внимание...

— Да зачем, собственно?!

Марта безжалостно втягивала меня в какую-то само-
деятельность, в дешевое кино какое-то... Заставляла обра-
щать внимание, подсматривать за людьми, которые ничего
не подозревают. Черт знает что! Шпионка неудавшаяся...

— А еще газетчик! На твоём месте я бы шикарное интервью соорудила. Во-он с тем, который с девушкой. Это ж Скородумов! Народный артист. Здесь колоссальная интрига.

Я прошёл к буфету, купил курево для Марты. И неожиданно для себя созорничал: приблизился к столику народного.

— Разрешите прикурить!

На меня глянули серьёзные, крупные, навывате, популярные глаза известного киноартиста. Голосом глубоким и каким-то измученным Скородумов послал меня подальше.

Заслоненная от посторонних взглядов девушка, над которой коршуном повис пожилой красавец, потрепала своего кавалера ладошкой по губам, взяла со стола зажигалку и протянула ее мне. Я высек огонь, прикурил, а когда, в свою очередь, вознамерился послать артиста не менее далеко, Скородумов повернул ко мне страдальчески сморщенное лицо и голосом великомученика проговорил:

— Ну, погорячился... Прошу прощения. Обругайте меня скотиной. Для равновесия. И — прочь! С глаз. «Юноша бледный со взором горящим!»

Я бросил зажигалку на колени лицедея и медленно повернулся уходить. У меня тоже имелся характер. Тем более что Марго как пить дать наблюдала за моими передвижениями. А если без лукавого, если начистоту — мне очень хотелось прыгнуть и побежать. Я ожидал пинка. В зад. Но его не последовало. С трудом отрывая ноги от ковровой дорожки, поплелся я к своему столу.

Марта встретила меня восторженно. Глаза ее так и лучились.

— Неужто с самим поговорил?! Ну и что он, каков? Небось еще красив? Выкладывай, что он тебе сказал? Не томи. Его слово на вес золота!

— Прикурил я у него. И ничего особенного. Мужик как мужик. Крупный, правда. Внушительный. Таких женщины до глубокой старости обожают. Выделается. А для женщины главное, чтобы из ряду вон, чтобы в глаза бросался.

— Откуда такие сведения? Нет, Гришенька, ты мне в деталях опиши, как он с тобой. По-доброму или... А на столе у него что? Коньяк или боржом? Толстый он теперь, с брюшком? Или не заметно?

— Да пошел он... знаете куда?! Разглядывать всякого... Еще чего. Вот в кино пойду, там и разгляжу.

— Bravo, молодой человек! Разделяю. — Кто-то беспеч-

ремонно вклинился в наш с Марго разговор. — Вот вы прикурили у Скородумова, а мне, черт возьми, интересно, с кем это он прощается? Симпатичная девочка? Или так, воробышек уличный? — С той стороны, куда я недавно с величайшей предосторожностью поворачивал голову, возник именно тот тип с чаплинскими усиками. Он погладил меня ласково по плечу, улыбнулся просяще Марте и, вздохнув глубоко, опустился на свободный стул возле нашего столика. — Не возражаете? Ах, я ненадолго... — Голос у говорившего был грудной, красивый, не яркий, а скорее матовый. И какой-то ненастоящий. Вернее — необычный. Левой, прятанной до сих пор рукой незнакомец выхватил из-за своей спины графинчик и твердо поставил его перед собой.

Тут я хотел уже рукава закатывать. Лезут, понимаешь, всякие перебравшие. И вдруг смотрю — а Марго даже довольна, что хамло это уселось. Мигом вся такая располагающая сделалась... Аж руки потирает от нетерпения. А на лице — не одна, а как бы сразу несколько улыбок появилось! И меня своими глазами ехидными как бы приглашает тоже завестись, принять участие в спектакле.

А устный:

— Ах, молодые люди, молодые люди! Неужели и вам здесь интересно? Притащить свою молодость не в лес, не в театр даже, а в злчное место... В кабак! Я не собираюсь поучать, мне хочется за вас молиться. Я говорю выпренне, зато — искренне!

— Видите ли... Мы ожидаем поезд, и вообще... — начал было я.

— Я тоже ожидаю свой поезд. Но предпочла бы заниматься этим в другом месте. Скажем, в саду, где сейчас доцветают астры. Однако я не о том. И не затем. Вы, молодой человек, подходили к Скородумову. А я, черт возьми, должна передать его... э-э... девушке, с которой он сейчас пьет коньяк... Передать ма-аленькую, ничто-о-ожнейшую записочку. Вот таку-усенькую. И не отчаивайтесь, в ней не будет ничего смертоносного. Не вибрируйте. Записку не придется глотать. Надеюсь, вы не хотите меня разочаровать... в своих джентльменских возможностях? Выручайте старуху. И... не нужно падать в обморок! Да, да! Я есть именно старуха. И — увы и ах! — жена великолепного Скородумова. Но я — веселая жена. Не сумрачная. И Скородумов меня уважает. Только вот я постарела. Деформировалась, говоря вашим инженерным языком. Вот и хочу

я предупредить некую малышку-глупышку. Об опасности. Беретесь? Гуманный поступок предлагаю совершить. Когда еще подвернется, черт возьми, подобная возможность?

— Нет уж... увольте. Он и так меня почти... нецензурно встретил.

— Старик несдержан. Есть такой грех. Только — не ударит. Это уж будьте любезны: знаю как облупленного. Ляпнуть чего угодно может, а ударить, то есть по губам двинуть, постесняется. Воспитан. По стойке смирно. Могу пари заключить. Не сорвется. Старая закалка.

— Поручите мне! — встrepенулась Марго. — Вашу маленькую записочку. Доверяете? Я как-никак тоже... в какой-то мере... артистка! Консерваторию окончила. Мне это — раз плюнуть! Хотите исполню?

— А молодой человек тоже артист? — осторожно поинтересовалась усатая старуха.

— Еще чего! — вскричал я, будто поскользнулся. — Артисты... Куда ни глянь.

— Не сердитесь, молодой человек. На артистов. И на художников тоже не гневайтесь. И на всех остальных блаженненьких. Не держите зла в сердце. Старайтесь подняться над этим несчастным племенем... хотя бы в мыслях.

— Ошибаетесь. Нет во мне зла к ним... Напрасно агитируете. Я даже сам стихи декламировал. Болел этой заразой несколько лет.

— Я вам приключение предлагаю. Мужское. Соглашайтесь. Скородумов девочку провожает. На побережье. Вечерним скорым. А в полночь я сама, вместе со Скородумовым, отбываю туда же! А нужно знать: если я куда-то уезжаю, то уж за неделю начинаю ходить на вокзал. Читаю расписание. Кнопки справочного табло нажимаю. Сколько езды, скажем, до Талды-Кургана? Или почему билет в Кушку? И часть вещей заранее привожу в камеру хранения. Работаю я таким образом на вокзале и несколько неожиданно встречаю нынче Скородумова. А усы... Так это у меня — профессиональное. Из реквизита прошлого. Издержки воображения. Я ведь тоже когда-то комедии ломала! В Театре сатиры.

— Не нужно меня уговаривать. Я снесу. Давайте записочку. Но учтите: мне абсолютно все равно, кто куда и с кем уезжает... Кто кому любовницей или женой приходится. — Я посмотрел на Марго, которая презрительно пустила дым в мою сторону. — Меня просят — я делаю одолжение. Последствия меня не интересуют. Пусть этот

ваш Скородумов реагирует, как ему вздумается! Давайте бумажку!

Обе женщины — и Марго, и старуха с усами — мгновенно просияли. Задвигали стульями. Загримированная жена артиста взяла неумело, двумя пальцами, графинчик — стала разливать по рюмкам водку.

— За успех! Так сказать, для смелости. А записку я сейчас придумаю. Минуточку...—Дама принялась шарить по карманам куртки. Наконец из потертых джинсов извлекла записную книжечку с миниатюрным перламутровым карандашиком. Когда она привстала, я обратил внимание на ее худобу.

— Дорогие мои... — растрогалась после глотка спиртного Скородумова жена, — вы думаете небось... обнятила старуха! За мужем шпионит... Черт бы побрал все бабское на земле! Мне сегодня так хорошо... Так интересно. Я даже люблю, желаю, чтобы жизнь меня время от времени терзала! Да, да, молодые люди... Принимайте меня за кого хотите, но согласитесь, что жить на земле — колоссальное удовольствие! Особенно в дороге приятно жить. Недаром я вокзалы приемлю с радостью. Я обожаю вокзалы! И вы правильно сделали, что коротаете время именно здесь, в этом муравейнике, а не в саду, где сейчас грустные астры. И лысеющие грядки. На вокзале я улыбаюсь! Для меня вокзал — это такой большой детский дом. Здесь я покупаю черствые бутерброды, толкаю людей. И меня толкают. Не дают уснуть. Не дают сосредоточиться. И правильно делают. Ибо в моем возрасте серьезные люди чаще всего размышляют о смерти. Здесь, черт возьми, позабываешь время! Позабываешь, что человеку надлежит раствориться. Без следа. В смысле оболочки. Говоря старомодным языком, в человеке бессмертна душа. Облачко. Которое он создает вокруг себя посредством разума. В этом бессмертие. Я нутром чую правду... Но я женщина. Старая слабая баба. И вот я приклеила ушки. И наблюдаю за мужем. Как за блудливой собачкой. Да! Наблюдаю. И мне — хорошо! Потому что я на вокзале. В движении. В этой карусели... Где все проездом. Об этом еще Николай Васильевич Гоголь писал: «Жизнь наша — трактир и временная станция!» А вот я ей, дурочке, и напишу. В записочке... Эти слова. Пусть настоится.

Скородумова вписала в блокнотик цитату из Гоголя, выдрала листочек и, проставив свою фамилию на обороте, протянула шпаргалку мне.

— А сама я тихонько уйду. Скородумов вот-вот домойкинется. Кто ему кофе сварит? По-гваделупски? В полночь — на поезд. А Скородумова после десяти в сон кидает.

— Умоляю! — сложила под подбородком ладони Марта. — Еще немножко. Минуток десять. Подарите... Вы — чудесная! Я вас никогда не забуду. — Марго спешила высказаться. Словно старуха ей рта не давала раскрыть.

— Не могла я вам не понравиться, милая. Мы с вами чем-то похожи. Вы мне тоже... нравитесь. С оговоркой. Кстати, не знаю, кто вы? И ваших успехов не знаю. Может, вы — звезда? Нынче молодые быстро поднимаются: радио, телевидение. На чем вы играете?

— Я пою.

— А вокзалы любите?

— Еще бы! Все время в разъездах... Скажите, а тот юноша... мальчик такой любезный к вам подходил недавно. Руку вашу гладил... Он кто?

— Это внук. Ему пятнадцать лет. У него трагедия. Месяц назад дружок у него застрелился. Из отцовского пистолета. Поставил пушку на предохранитель и решил Колю, внука моего, попугать. Говорит: застрелюсь, мол! Дуло себе в рот засунул и... нет мальчика. А был. Это у Горького в романе мальчика, может, и не было. А у родителей того самострела был мальчик. Да весь вышел... Предохранитель не сработал. Старая машинка. Времен войны. Коля мне первый все рассказал. Все да не все. На следствии выяснилось, что и он, Коля-то наш, дуло в рот себе совал.. И курок тоже нажимал. Только предохранитель тогда удержал пулю. Нынешние гимназисты от прежних хоть и отличаются завидной эрудицией, только не спасает она, эрудиция эта, ни от наивности, ни от прочих иллюзий мальчишества... Силу воли проверяли. Друг у друга.

«Артисты, — подумал я, глядя на старуху, — кругом одни артисты! И что за порода людей такая? Лишь бы эффекты производить. А тут — десять лет за одним столом на письма отвечаешь. А писали письма кто? Вот такие ненормальные старухи».

— А мне такие мальчики нравятся! Беспокойные, интересные, — запела песенку Марго. — Пью за вашего Колю! И за его погибшего друга. А то порой и выпить не за кого. Но мир, Гришенька, не без ярких людей! Нет-нет да и мелькнет метеором разудалая душа. Пью за них! За всех героев! Больших и малых. Бывших и будущих!

— Ну, я понес записку...

— Погодите, дружок... — старуха отставила свою рюмку, накрыла ее бумажной салфеткой. — Не нужно такую записку отсылать. А с вами, миленькая, позвольте не согласиться. С мнением вашим о героях. Героев, черт возьми, гораздо больше, нежели мы наблюдаем... невооруженным глазом. Да, да, девочка... Их — большинство. И та баба, которая молча и бесстрашно рожала за чемоданами. Или вон дед замшелый... Колхозный. С медалями. Чужому ребенку улыбается. Разве этот дед не герой? Улыбается... Хотя знает, не дурак, что жить ему осталось — самая малость: в любой миг сигнал может прозвучать. А мы с вами? Если беспристрастно разобраться, то и мы герои.

— Ну, это вы перехватили! — тут я презрительно улыбнулся. — Герои... За канцелярскими столиками... В нарукавниках. Пассажиры мы. Всего лишь. Едем кто куда...

— Не «кто куда», а в одном направлении. И бесстрашно! Вот говорят некоторые, что жизнь дана человеку как подарок... Будто жизнь — пакетик с мандаринами и шоколадкой. У Христа на елке. Человеческая жизнь — это прежде всего подвиг! Каждого, кто прожил, скажем, пятьдесят лет, нужно представлять к специальной медали. А ежели семьдесят выдюжил — к ордену. Каждого... Ах, черт... Дайте я вас поцелую, дружок. Как мама, — и полезла целоваться. — А эти... С пистолетом. Пушистые, светлые дети. О своих близких разве они подумали? Отец погибшего мальчишки инвалид теперь. В сорок лет ногу волочит... Герои, молодой человек, это те, кто жизнь уважает! И ради нее ничего не боится. Ради нее! Даже смерти. Но — ради нее. Иди, неси теперь записку. Нет, стой! Я другую ей напишу. Подобрее.

Я отнес записку. По дороге не утерпел — заглянул в текст. Старуха, пока я ходил, ушла из ресторана. Скородумов даже не взглянул на меня. Он принял меня скорее всего за официанта. Листок я протянул девушке. Она послание при мне читать не стала, скатала в трубочку. Потом даже в рот бумажку вставила. Как сигарету. Не иначе они перед моим приходом серьезно поговорили друг с другом. Девушка вся розовыми пятнами покрылась. Как поспевающее яблоко. А Скородумов глаза устало потупил, указательным пальцем левой руки затылок чешет.

Я вернулся к Марте. Она виновато мне улыбалась.

— Прости, Гришенька. Втянула тебя... Ненормальная. Это я — чтобы не скучно было. Обижаешься?

— А знаете, что она ей написала? Старуха — своей сопернице? «Береги себя, девочка!» И подпись: «Твоя мама».

В ресторане пробыли мы около часа.

Вдруг Марте захотелось подышать воздухом.

Спустились в зал ожидания, сунулись в дверь, над которой висела надпись: «К поездам».

И почти сразу же возвратились под крышу вокзала.

На улице, вернее на перроне, неприятно стемнело.

Шел крупный холодный дождь.

Люминесцентные лампы на столбах серебрили влагу.

И мне на мгновение показалось, что город, землю обволокла металлическая паутина.

Внутри вокзала хотя и пахло дезинфекцией, испарениями тел и тряпок — все же это был живой запах. Не то что запах дождя...

— Знаете, Марта... Пойдемте со мной в гости. К моему приятелю на Арбате. Кружим по вокзалу как неприкаянные. А там у него хорошие книги. Старинные. Оружие, иконы. Неплохое собрание.

— Так он настоящий у тебя приятель? Разве ты его не выдумал?

— Он сам себя выдумал. Купит какой-нибудь журнальчик лохматый, екатерининских времен, и вносит в дом на вытянутых руках. Как дитя новорожденное. Уйдет в свой закуток, за шкафы книжные, а там и целует книжечку. В лохмотья. Об этом мне жена его насплетничала. А, скажем, прижизненного Державина обретет или Пушкина — в доме праздник настоящий! С пирогами, пивом, наливками. Два дня отмечают. Гости тоже нюхают, целуют попку. А за чаем вечерним чтение начинается. Ритуал. Сравнивают с нынешними поэтами, смеются до глубоких, искренних слез. Светят глазами, как старообрядцы на кострах! А затем идут блуждать по ночной Москве, выскидывать дряхлые особнячки, где жили великие русичи, и, скажем, перед домиком Аксакова или Льва Толстого — падают в снег: сперва на колени, а затем и просто барахтаются, как дети. А с Терентием в итоге и вовсе комедия произошла. Приезжает однажды погостить. Смотрю: лица на нем нет. Не в себе человек. «Тереша, говорю, дорогой, что случилось?» — «Несчастье у меня, Гришка. Плохо. Хуже не бывает». — «Обокрали? — догадываюсь. — Из коллекции что-нибудь увели?» — «Вот именно — обобрали! Зря на свете жил...» Я утешать, понятно... «Подумаешь, говорю, соберешь почище. Дело наживное». А Терентий мне и от-

вечает: «Эх, Гришка... Ты ведь знаешь, как я молился всему этому. Как гордился, что исконный, изначальный...» — «И что же?» — спрашиваю. «А липа! Никакой я не русский теперь! Бабка вспомнила. Век прожила — не заикалась, а тут и выложила, приберегла, груша сушенная! Француз я на одну четвертую! Наполеон! На двадцать пять процентов...» Я тут, конечно, заулыбался. «Постой, постой? — говорю. — И ты из-за этого скандалишь? Из-за чепухи такой?» — «Я жить из-за этого не хочу! Если бы не дети...» — и пошел. «Дурачок ты, Терентий, — объясняю ему. — Мне бы твои заботы! Во-первых, бабка могла и сморозить. Мало ли что человеку на девятом десятке взбредет! Терентий ты — натуральный!» — «Говоришь, Терентий я?! — радостно завопил книжник. — Веришь, что я Терентий?! Ну, спасибо!» — давай меня целовать. Вот так, госпожа королева. Такие у меня друзья в Москве. А теперь скажите мне, почему у вас немецкое имя?

— У моей тетки, сестры отца, имя и вовсе вненациональное: Тракторина! И тоже — Королева. И деревня, где родилась она, — Королево. Русская деревня. А приятель твой лапти не носит? Хотя бы по ночам? Когда прогулки по Арбату совершает?

— Приятель мой — редкий человек. И не нужно его лаптями попрекать. И вообще, юродивых на Руси почитали. Пойдемте?

— Куда?

— К приятелю...

— Гришенька! Тебе разонравилось на вокзале! Ты заскучал?

— Нет. Отнюдь. А про Арбат... Так я ведь в какой-то мере кавалер сейчас. Обязан развлекать. Функционировать...

— Кавалер? Это хорошо. Кавалер Гриша. Мне нравится. Мне приятно. И если ты действительно кавалер, сделай одолжение: побудь со мной на вокзале. Потерпи до утра.

— Так я же не спать уговариваю в гостях... Скоротали бы время. А в полночь вернулись. Донюхивать...

— Здесь нам заранее диванчик нужно захватить. Я стоять спать не умею. И тебе не советую. Мне бы... хотя бы... На твоём плечике. Поспать... Сколько лет мечтала.

— Скажете тоже...

Я машинально ощупал свое плечо. Ощутил нагло выпирающую ключицу. И, представив, как душистая голова

Марго ляжет на мои кости, я испугался. И одновременно мне стало смешно. К тридцати трем годам я уже почти не краснел от смущения. Но все еще мог в минуты растерянности сказать при женщине какую-нибудь чепуху. Вследствие этого я все чаще держал язык за зубами.

Марго шаловливо пихнула меня, и я упал на диван возле хилого дедка. Старик потеснился, и мы с Мартой уселись.

Теперь справа от нас располагался старичок-колхозник в военной гимнастерке. На коленях у него, на манер подушки, лежал увернутый слоями ватник. Старик отшпиливал от своей груди медали, среди которых выделялся солдатский орден Славы. Он снимал свои знаки доблести и складывал на ватнике в одну общую кучку. Лицо деда, в изломах морщин, заключено было, как в раму, в серебристую бородку и такую же — полумесяцем, но сверху — челку. Живые, беспокойные глаза, наивно открытые в мир, выдавали в нем человека общительного и не сломленного временем. Он то и дело посматривал на окружающих, словно пересчитывал их, словно отвечал за них перед кем-то. Вскоре он не утерпел и заговорил, поясняя свои манипуляции с медалями:

— Побывали в столицах.. Пофорсили в регалиях. И достаточно. — Старик завернул награды в чистое вафельное полотенце. Убрал в кошелку.

Я боялся, что Марта вяжется с ним в разговор. Так оно, в общем-то, и получилось. Марго заинтересованно улыбнулась крестьянину, наивно полагая, что тот разговаривает с ней, а не с самим собой.

— Ой, сколько их у вас! Медалей... Такой военный дедушка...

— Бывший военный, красавица. Бывший. И военный, и вопче — бывший. На восьмом десятке семь лет прожил. А ежели в корень смотреть, права ты, деушка: как есть воин я, воином и помру. Планида моя такая. А деревенские мы исключительно только по месту жительства, а унутренне — воин. Угадала ты меня.

— А почему, дедушка, ордена отстегнули? Сейчас так редко встретишь кого с наградами. Тем более с такими... У вас тут, кажется, и крест Георгиевский?

— Он самый! Егорий... Мотри-ка... Разобралась.

— У моего дедушки два таких было. Тоже не носил. Прятал. А чего стесняться?

— А чего их носить? Людей лужать? Эшто я в Москву

намылился... Умник один с толку сбил. Глупости разные наобещал. Поезжай, скрыпит, в совбес. Пенсии твоей повышение сделают. Вот и съездил. А в совбесе том — ни сном ни духом про такое. Сам, козел беззубой, и виноват: послушал кого не надо... Вот ведь и пенсия у меня достаточная: на селе большей и не бывает. А послушал. Не заткнул хит-то... Засомневался. Не стерпел — поехал. Ну, да ладно... Москву нонешнюю повидал. Засиделся, поди-ко, в Гусихе своей. С войны только два раза и поднимался: один раз — на похороны... Вождя. Другой — вот за этой медалью. Двадцать лет меня искала. А я в своей Гусихе при коровьем стаде кнутом жажал! А тут совбес этот... Эх, думаю, чего уж! Одна нога здесь, другая — там... Слетаю! Хлеба буханочку завернул и на поезд. Теперь хлеб дешевый. А в войну-то, бывало, молились на хлебушек. Высшая сила в нем содержалась. Это нынче — разные ватрушки-завитушки! Не то хлеб, не то забава какая. А раньше, то есть в войну, — буханочка гробиком. Такая увесистая. Духмяная. Сурьезный хлеб, одним словом.

Дед замолчал. В себя ушел. В воспоминания о хлебе. И слава богу: балаболит, как радио. Ни на чем сосредоточиться не дает. Правда, я не мировые проблемы собрался обмозговывать. Проще. Скажем, за Мартой понаблюдать: кто она? Почему возникла? О чем ее глаза говорят? Смотрю, а Марго в старика мертвой хваткой вцепилась: сейчас разговор продолжать будет. Ну, я сразу же к газетному киоску засобирался. Не тут-то было! Марта руку мою берет, как гадалка. Гладит. Мягкой своей ладошкой. Тепленькой.

— Сиди, пуделек. Сиди, не двигайся. — Я съежился. Ожидая. — Сиди, мне возле тебя теплее. Дедушка, а медали — это что же, для солидности надевали?

— Для смелости. В Москве я робею. Вот и воевал за нее, а теперь пужаюсь... — улыбнулся старый солдат. Щетинистое кольцо его бороды сплюснулось, раздвинулось в щеках. — А народу, наро-о-оду! Вот уж истинно — Москва!

— Дедушка, — наседала Марго, — а вы что же, один приехали в Москву?

— А я и есть один. Женка еще при Сталине померла. Была другая одна, да сбежала. Думала, деньги у меня. А у меня тихо. По этой части. Я ить и выпиваю до сих пор. Когда очень захочу. И конфетки сладкие потребляю. А деток у меня тоже нету. Не дал господь. В богадельню меня было-ть наладили. Для престарелых людей — общее жи-

тие. У нас в райване. Домик чистенький. Покойный. Только не про меня. Куда я со своим хриплением в богадельню-то, к бабушкам?

— Не поняла я вас, дедушка... С каким «хриплением»?

— Сильно я храплю во сне. Весь домик... туды его... просыпаетца! Взбунтовались бабушки. А и — не больно-то хотелось! Заведения... Курить — на двор! Пару капель выпить... горяченького — вполне событие! Месяц опсуждать будут. Спать, вишь ты, — храплю не так. Да пошли они ко пречистой! Или, скажем, тако дело: у нас в Гусихе вода, ну, золотая! А в том приюте — одна известка в чаю. Хошь пей, хошь зубами грызи. Дома-то у меня самоварец...

— Дедушка, а поезд у вас когда?

— А поезд у меня в пять утра. Сейчас-то сколь?

— Двадцать часов пятнадцать минут.

— Это что же, вечер еще, выходит?

— Да. Поспать можете. Если хотите. Разбудим, ложитесь. Нам тоже до утра ожидать.

— На вокзале-то разве можно спать? Усну, дак и оберут. На вокзале таки подлеты шустрые... Бывало, в момент обиходят. У кого часы, у кого кошелек срежут.

— Вам не нравится на вокзале?

— А кому тут нравится, деушка? На вокзале нужда заставляет сидеть. Одна дума: скорей бы уехать. При нэ-пе, когда еще Ленин живой был, у меня здесь, на вокзале, новые калоши стянули. С валенок. Пока спал и — обработали. Молодой был, спать без памяти умел. Ну и храпел, понятно. А вор, он что? Слышит: человек храпит при спокое... разоспался, нет на ем тормозов... Ну и обихаживает.

— И не страшно одному? В деревне?

— Страшно? Исключительно, когда хвораю, боязно. В поясицу вступит или чего еще... На печь взбираешься, а назад слезть не чаешь. Ажно молитву каку вспомнишь. Дореволюционну. Ну, а коли отпустит — тогда чего бояться? Дровца потюкаешь, на огороде погнесся, избу обметешь... Самовар опять же... Газетка. Телевизор у меня. Вручили. Когда на пенсию вышел. Живешь, глядишь в дырочку... И не страшно. И добро бы так, хоть сначала. А потом — привычка у меня имеется. Навроде курения. Чуть что — сажусь. На лавку. И мозгую. Думаю. Вспоминаю. Мороз в стенку жажнет, глядишь, а мне — пишша! Война поместится. Какого-никакого дружка вспомнишь. Мимолетного. Пулей вдаренного. Или еще правду какую... Для раз-

нообразия. Скажем, корзину плету, а сосед Герасим про космос плётёт — наслушался, нанюхался и в ухо-то кричит знай. Быдто он сам тот космос собразил. А я, шалишь, ничего подобного. Сижу, киваю. А сам потихоньку с мамой разговариваю. С покойницей. Она меня за како ни шло баловство укоряет, а я стою ногти кусаю. Босой да свежий. Мальчишка совсем. Испарапантый, как положено. С-под носу слеза светится. Улыбнусь я ему... Невпопад. А Герасим, дурачок, озлится — чего, дескать, смешного, ежели на Луне никого не оказалось: одни камни и хочь бы кака блоха живая.

— Верующий вы, дедушка?

— Да ить кака понимать про то. Взрослые люди, они почитай все верующие. Во что придется. Смотря, конечно, — во что. В какую блажь или в истинную правду. Как людям удобнее, так и верют. Приспособились. С годами она, линия-то жизни, непременно закрепляется. Быдто рельса прямая лежит, не шелохнется. Приколочена.

Дед вынул из кошелки металлическую баночку из-под чая, извлек оттуда длиннейшую черную нитку, заранее вдетую в игольное ушко. Стал что-то ремонтировать на своем ватнике.

Марта тем временем уже откровенно прижималась к моему левому боку. Я сидел как парализованный, боясь совершить или сказать что-то разрушительное, отпугивающее. Правда, уж слишком за здорово живешь все это досталось. Глянул в окно — увидел красивый цветок. Руку протянул — и вот он у тебя на ладони. Подарочек... За какие такие заслуги? Смотри — любуйся. Да не вздумай пятерню в кулак сжимать: помнешь, погубишь. И выходит: вместо красоты призрак тебе достался. Словно ветер к твоим ногам крупный денежный знак ни с того ни с сего подбросил. А нагнешься поднимать — сзади уже бегут. Благодарят и улыбаются. И отдаешь. Протягиваешь. За полмгновения успев привыкнуть к чужому.

Вряд ли Марта всерьез моей личностью интересовалась. Актриса, она роль играла. Для нее вокзал этот — эстрада, подмостки. Искусно играла, изящно. С каким непринуждением сходилась она с людьми. С чужими людьми.

Замер я. А ушами слышу странный разговор. Позади себя. За спинкой дивана. Женский голос:

— Юрий Макарыч, а я ваши сочинения в переплет отдала. Послезавтра изготовят. Читали мы. Вот Игорек вслух читал. Понравилось нам. Очень интересно. А сыно-

чек говорит: пает у нас папа. Может, зайдете домой? Побываете? Заодно и побанитесь... Вон бельишко-то у вас какое серенькое выглядывает...

— Держи тридцатку, Маруська... И — попутного ветру! Бегите, бегите. Побаниться — понимаешь! Зима скоро. Буду южнее перебираться. Для начала в Харьков. Там вокзал хороший. Теплый да сытный. А к Новому году на побережье. В Геленджик съеду. «Па-ет!» Папка ваш — жалека юродивый! Отброс! Поняла, или по буквам повторить? И не нужно меня домой уговаривать. Вот мой дом! — Видимо, Салтыков сделал широкий жест и сейчас говорил о принадлежащем ему вокзале, городе, а скорей всего — мире. Но, воспарив столь высоко, «пает» не замедлил вернуться на землю. Обращаясь к нешумной, я бы сказал смиренной, жене, бродяга добавил: — А ты, Маруська, не куксись. Каждому свое. Не переживай лишнее. Тридцатку свою получить будешь пожизненно. Вот так!

— Да разве ж в тридцатке...

— Ша! Не притворяйся. Изучил, знаю. Говорю: тридцатка — значит тридцатка. Говорю: получишь — стало быть, получишь. Не заржавеет. А меня нету. Утонул я для вас, Маруська. В вине-океяне... И тридцаточка — она как поплавочек.

— Несправедливо, Юрий Макарыч... Снитесь вы мне даже...

— Мне иногда война снится. А о чем это гозорит? Ни о чем. Плохое на ночь скушал. Нет, Маруська, мне среди вас не доказать себя. Человеку хочется быть великим. Любому и каждому. Вот говорят, что человек уже тем велик, что он человек. А не жираф! А мне — мало! Понятно вам?

— Да понятно, чего уж там... Разве уговоришь блаженного? Счастливо оставаться. А мы пойдем, Игорек. Папа все еще обижается. Скажи папе: до свиданьица...

— И топайте! Может, вам такси вызвать?

По голосу я давно узнал Салтыкова. И если я все-таки позволил себе украдкой заглянуть за диван, как в замочную скважину, то сделал это исключительно не из бабьего любопытства, а машинально. Да и взглянуть-то хотелось не на «графа», который изрядно поднадоел, то и дело встречаясь в вокзальных закоулках, — интересно было увидеть, что там за жена?

Тут Марта захотела курить. Не успели мы в полный рост приподняться с дивана, как двое неизвестных с портфе-

лями прошмыгнули нам за спины и с довольным видом уселись на наши места. Наверняка заранее целились, потому что не промахнулись.

Отойдя от дивана шагов на десять, я оглянулся. Оглянулась и Марта. Салтыков почти не просматривался. Из-за дивана мигал, как лампочка, краешек его лысины. Перед ним стояли двое: молодая женщина лет тридцати с неожиданной по нашим временам русской толстой косой, перекинутой вперед на грудь через левое плечо. Лицо не крашеное, натурального цвета. Рядом с ней, тоненький, с головой, пушистой от светлых кукольных волос, торчал неподвижно, как гвоздик, серьезный мальчик. Казалось, что все свои десять годочков жил он сугубо в одном направлении — только вверх, исключительно к небу.

— Обрати внимание, Гришенька, какое у Салтыкова трогательное семейство. Симпатяги какие...

— А ему скучно с ними. Неуютно.

— Ой! Вра-а-нье! Не скучно ему! — звонко пропела вдруг Марта. Да так, что многие обернулись на ее голос. В том числе и жена «графа» глаза подняла: будто камешки драгоценные сверкнули — такая голубизна вспыхнула. — Враки насчет скуки. Стесняется он их. Гордый. Так бывает. Человек споткнулся, в лужу упал. Ему руку дают, а он эту руку не берет. Сам выпрямляется. Хоть и скользко. Они вон какие здоровые у него да золоченые. А Салтыков болен. Страдает.

— Чем? Тунеядством? — съехидничал я.

— Он самим собой страдает...

— Да где это написано?! Фантазируете...

— Я знаю. Чужие они ему. Такие чистенькие. Удачные. Не доверяет он им. Была бы у него радость какая... Хоть самая заваливающая. Радостью бы он поделился. А печали свои не доверяет. Жена его — с виду женщина добрая. Теплая, терпеливая. Но — чужая.

— Может, он того... импотент?

— Несчастный он. Задуманное не получилось. Такой вот ребенок... Дитя человеческое такое...

— Лысое...

— Ну и что? Многие люди не успевают за жизнь повзрослеть. Надежд-то больше поначалу, нежели разочарований. Да и привлекательнее они, надежды. А там уж как пойдут подножки... Одна за другой. Большинство, конечно, приспособливается. Хватку приобретает. Сами других за горло берут. А те, в розовых-то очечках, все надеются.

Все чего-то ожидают. Выхода из несправедливости.

— Хорошо. Согласен. Есть такие, которые сказками питаются. В эмпиреях туманных пребывают. Говорят, в России таких особенно много. Мечтательных. Меня другое удивляет. Даже раздражает. В вас.

— Такого не может быть! Во мне все гладкое. Я, Гришенька, для тебя приятная. Тебе со мной — вкусно...

— Вот-вот! Откуда такая безапелляционность?! Уверенность такая в своей правоте? Как будто вы насквозь — любого и каждого? И меня в том числе...

— Тебя, Гришенька, в первую очередь. Ты прозрачный. Все твои трещинки невооруженным глазом вижу.

— Черт с ним со мной! Салтыкова почему так, а не иначе разглядели? А если он просто гнусный тип?! Беспутный шаромыжка? А скорее всего — безвольный слабак. Алкаш. Он и сам о себе так заявлял. Про алкогольный море-океан помните его слова?

— Наговаривает на себя. Такие уставшие, вернее, отставшие от поезда часто наговаривают на себя. Им от этого легче становится. Про себя такие люди уверены, что могут горы сдвинуть. Если захотят. А вот захотеть-то как следует и не могут.

— И откуда вы знаете... Тонкости откуда? Песенки поете, и вдруг — наблюдательность такая. Неправдоподобно, знаете ли...

И тут я отважился заглянуть ей в глаза. Марго смотрела на меня... материнским взглядом. Да, да! Мудрым, материнским. Смотрела, как бы извиняясь за свое превосходство.

Как-то по телевидению показывали состязание боксеров. Дрались, дрались. Долго. И один из них явно другого сильнее был. Ловчее. Эффектнее поколачивал. И победил. Свалил соперника. Но и сам расстроился. Чуть не плакал над поверженным. Такая виноватость на лице победившего светилась — просто ужас.

— Знал я одного такого, уставшего. Все по редакциям ошивался. Якобы пьесы писал. Спросишь: ну как, Любимов, дела? «Все на мази!» — кричит, улыбается. «Полный о'кэй!» — и руки потирает. Синие, замерзшие. «Теперь у меня порядок! На худсовете одобрили... И рецензии замечательные!» А у самого щетина седая, безнадежная на скуле... Так и трещит под ногтями, так и чешется... «Все у меня теперь хорошо!» — улыбается. И так двадцать лет. Изю дня в день. И до гробовой доски. Потому что... за не-

посильное взялся. Не выдюжил однажды. А сознаться в бессилнии духу не хватило. Лично я — сел и поехал. Более впечатлительные в газовую духовку голову суют. Люди попроще, без претензий, те вообще о другом стараются думать. В минуты разлития тщеславия. Я вот из всей музыки больше всего старинные вальсы люблю. «Амурские волны», «Осенний сон», «На сопках Маньчжурии»... Коротче — духовой оркестр. И ведь Моцарта слушаю, Чайковского, Бетховена. И переживаю, когда слушаю. А вот вальсы обожаю! Плачу, когда в определенном состоянии услышу. И все мне видится какой-то провинциальный городской сад... в котором я никогда не был. Дореволюционный. Или, по крайней мере, довоенный... А в нем, в этом саду, оркестр духовой вальсы играет. Как где-нибудь в чеховской пьесе... И вообще, классиков наших, писателей люблю перечитывать. До умиления люблю и Тургенева, и Куприна... Особенно — Лескова... Читаю и думаю: неужели все это было? С живыми людьми? Такие слова, такие лица... Времена такие. Неужели все это имело место на земле? Я понимаю, что все это литература. Грезы... Что писатели мечтали. Врожили. Что в жизни было все куда прозаичнее, нормальнее. Но вот поди ж ты, грезы эти — обожаю! Трепещу...

— И Салтыков трепещет, Гришенька. Потому и ночует на вокзале. А не рядом со своей Василисой Прекрасной.

— И откуда такие сведения? Вы что, знакомы с «графом»? Изучали его биографию?

И тут за пуговицу моего плаща ухватился тощий гражданин в интеллигентских очках с оправой под золото.

— Послушайте... Случайно документов не теряли? Сегодня? После обеда?

Я машинально полез за пазуху доставать паспорт. И вдруг мне показалось, будто очкарик разыгрывает меня. Отпихнул я руку очкарика возмущенно, а сам вспомнить пытаюсь судорожно: о чем это я с Мартой беседовал?.. И почему это мне приятно так с ней разговаривать было?

А дикий очкарик опять пуговицу на мне крутит. Ну я и пошел на него, как на привидение.

— Развлекаетесь! Да? Скучно-грустно? Хотите, в домино сыграем? Вот здесь, прямо на полу? Оставьте в покое пуговицу. Я с вами не играю.

— Не обижайтесь... Умоляю. Видите ли, целый день бегая... Как угорелый. И хоть бы кто признался. Все шархаются. Как будто я не документы нашел, а что-то неприличное...

— Да о каких документах речь? Что у вас там?

— Бумажник. Портмоне. А в нем, понимаете ли, документы и деньги. А я скоро уезжаю. В тридцать три минуты первого. Ночи. Моя фамилия Усыскин. Учитель географии. Вот, можете удостовериться... — вытаскивает Усыскин удостоверение. — Я ведь и плюнуть могу. Не признаётесь — не надо. Одно и заставляет бегать: жалко потерявшего. Рассеянных людей жалко. Народ бесшабашный. Это ж — разгильдяи! Такой солидный бумажник. И фамилия серьезная — Непомилуев! Представляете?

— И что же, так вот под ногами и нашли? — оттащила от моей пуговицы Усыскина Марго.

— Нет, не под ногами. Другое вовсе. Я на диване задремал. А когда проснулся, под головой у меня бумажник подушечкой. Чужой и незнакомый. Скорей всего, польской выделки. Растерялся я...

— А милиция на что? Обязательно весь вокзал на ноги поднимать? Отнесли, сдали дежурному. Там по радио объявят: «Гражданин Непомилуев! К дежурному по вокзалу!» Вот, закуривайте лучше... — протянул я Усыскину сигареты.

Очкарик задумчиво выудил сигарету, вставил в рот не тем концом. Начал поджигать фильтр. Я нарочно ему не мешал: пусть горелой бумаги понюхает. Может, очухается.

— А вы знаете... Объявляли! По радио. Трижды. А в ответ — не поверите! Гробовое молчание в ответ... Нет, как ков народец! Вы только представьте себе! Скажем, человек роняет золотую челюсть. Вы ее поднимаете. Протягиваете владельцу, а владелец ноль внимания... Я понимаю. Сравнение несколько неуклюжее, и все же...

— И все же спали бы дальше. Снесли бумажник и спали бы...

— Господи! Да как можно? Теперь я... отныне... в какой-то мере причастен. К чужому горю. Я взял чужое и отнес в милицию. А человек вернется за своим — и не обнаружит. Что ж это получается? Человек без документов. Без средств к существованию... А я, подлец, лег и сплю? Так, что ли?! Человек в несчастье... в дороге... В пути следования. Нет, разве теперь уснешь? А главное — почему именно у меня под головой? Да я от догадок разных вообще сон потерял.

— Да пока вы тут суетитесь... может, владелец нашелся?

— Ни в коем случае! Это теперь надолго...

— Ну тогда я не понимаю. Ничего не понимаю! — разозлился я чуть ли не всерьез.

— А тут и понимать нечего. В милиции меня тоже не понимают. Принесли, говорят, и спасибо. А также до свидания. И навещать нас теперь излишне. А разве я теперь успокоюсь? Я теперь кровно заинтересован. Я уезжаю сразу после двенадцати. В тридцать три минуты первого. И моя теперь задача — передать эстафету в надежные руки. Вот вы лично, — и тут Усыскин вновь берет меня за пуговицу, как за ухо. — Когда вы уезжаете?

— Утром... А что, собственно?..

— Не могли бы проследить? Лично? С полной ответственностью. После моего отбытия? Чтобы со спокойной душой... Не беря грех на душу...

— Не могу.

— Не волнуйтесь, миленький... — и тут Марта сама взяла Усыскина за пуговицу. Я так и знал: вяжется. — Мы все уладим. Уладим и обязательно вам напишем. Сообщим результат. Красивую вам открыточку опустим. С видами на Кавказский хребет. Договорились?

— Буду иметь вас в виду. Проследите... и с полной ответственностью. И не затеряйтесь в толпе. Учтите, в полночь, вернее в тридцать три минуты первого, меня здесь не станет! — и сумашедший человек побежал прочь. А мы дружно переглянулись и вышли курить на перрон.

Правда, возле выхода на перрон мы вновь наткнулись на Усыскина. Его остановила какая-то упрямая женщина в белом пуховом платке с кистями.

— Слышь-ко, гражданин хороший, — подступила она к нему вплотную, — куда, значит, мне обращаться? О продлении билета?

— К дежурному по вокзалу, миленькая. Что же вы в толк не возьмете? Объяснял вам...

— Не русские мы.

— Это какие ж такие нерусские?

— Белорусы.

— И не понимаете?

— Не сразу.

Уже на перроне Усыскина чуть не сбил с ног мятушийся дедушка. В колотящейся руке старика болтался целлофановый мешочек с лимонами. Усыскин о чем-то спросил старичка. Затем развернул его вместе с лимонами на сто восемьдесят градусов, и старичок бегом побежал в обратном направлении.

— Ну, с этим Усыскиным все ясно, — покосился я на Марго. — Люди к нему в официальном порядке уже обращаются.

— А мне нравится... Мне здесь все нравится!

Мы вышли из вокзала к железнодорожным путям. Я с удовольствием начал вдыхать сырой воздух. После вокзальных ароматов это было приятно. Незаметно расслабив петлю галстука и отвернувшись от Марты, резким движением снял я занудный предмет с шеи. Мерзлячка Марта наоборот — застегнула на все пуговицы замшу. Взяла меня под руку, зябко, я бы сказал основательно, прижалась ко мне.

И тут мы увидели нечто необыкновенное. Во всяком случае трогательное. По одной из платформ в направлении вокзала медленно шли двое. Низкорослый юный милиционер, румяный и застенчивый, бережно вел за руку крошечную девчушку лет четырех. В свою очередь малышка держала за руку старенькую неопрятную куклу, волочившуюся ногами по асфальту.

Милиционер ничего не спрашивал у девочки. Девочка ничего не говорила милиционеру. Скорее всего, разговор между ними уже состоялся и теперь наступила пора действий.

Девочка была худенькая. Серенькая. Личико имела удлиненное. Южное. Давно не мытое. Одета в старенькие тряпочки, из которых заметно выросла. Рваный чулок на левой ножке непрерывно сползал, и девочка на ходу поддерживала его правым ботиночком, не выпуская из рук ни милиционера, ни куклы.

Марта как взглянула на них — так вся и зашаталась, побледнела начисто. Вначале я решил: от смеха корчится. Однако же смотрю: ничего подобного. Уставилась на девочку жадно. Запричитала, как бабушка:

— Господи... Неужели потерялась? Капелька такая?!

Белокурый милиционер вежливо остановился возле нас. Прикрыл свои румянцы ладошкой. Пальцы по лицу — веером. Глядя Марте на обувь, прошептал:

— В-вы знакомы... с девочкой? Не ваша случай? Мама ее за арбузом пошла... А ребенку погулять велела. На вокзале...

— Потерялась... Так я и знала!

Милиционер почему-то опять шепотом сказал:

— Извините... Мы еще походим, поищем... — и повлек девочку за собой. А та вдруг великодушным жестом протя-

нула Марте свою куклу. Грязную. Как говорится — чем богаты, тем и рады.

И вдруг Марта заплакала. Вот тебе и актриса! Вот тебе и Марго! В толстой замшевой коже... Натурально заплакала. И в курительную комнату убежала. Бросила меня одного.

А девочка с милиционером пошли по новому кругу, как бы гуляя в огромном пространстве зала.

Вернулась Марта с отшлифованным сухим лицом, но беспокойство в ее глазах так и переливалось.

— Что это с вами? — перепугался я. — Уж не ваша ли девочка? Прошу прощения, что вторгаюсь... Может, что-то предпринять, если ваша?

— Моя! А чья же, Гришенька? Наша... Человеческая. Добрая. Куклу... Единственную! Не пожалела. Легко так протянула. Это ведь — женщина, Гришенька... Маленькая. Завтрашняя, но — женщина. Которых не только любят, но и бросают! Вот и ее бросили... Так рано. В самом начале.

— Так уж и бросили. Потерялась небось.

— Не все ли равно? Одна теперь...

— Не одна, а с милиционером.

— Не нужно притворяться. Тебе ее тоже жалко, Гришенька.

Мы стояли у ларька, где продавались сувениры. Лавочка уже закрывалась. Продавец опустила стеклянную заслонку окошка.

— Погодите! Постойте! — Марта постучала в прозрачную стенку магазинчика. — Мне бы вон то платьице... Расшитое. С орнаментом.

И купила платьице. Лняное. Совсем с ума сошла.

Вытаращил я глаза, естественно. Смотрю на происходящее испуганно. Хотя и с восторгом. А про себя улыбаюсь: что дальше? Какие номера?

Похоже, завелась дамочка. На меня едва смотрит уже.

— Ну, я пойду... — пустил я пробный шар. — Мне к другу на Арбат позарез нужно. А вы тут с девочкой и одна справитесь.

— Иди, Гришенька, иди... Тем более если позарез. Тогда ступай.

Вот тебе и актриса, вот тебе и королева Марго! Такие сентименты натуральные... С девочкой. А я-то пыжился... Вот тебе и поиграли в железнодорожную любовь!

Обидно. При первой встречной улыбке, пусть детской, от вас моментально отворачиваются.

Ладно. Плевать. Обыкновенная психопатка. Комедию ломала целый вечер. «Гришенька! Гришенька!» А встретила очередную забаву, и на сто восемьдесят градусов! Не мозги у человека, а калейдоскоп какой-то... Чуть встряхнули — и совершенно другая картина. Пускай потешится... Мне что? Я — своей дорогой. Она — своей. У нас и поезды разные. Мне лично на восток. Ей — гораздо южнее. И так небось всю жизнь встречных людей с толку сбивает. А все — вокзал... Здесь ты ни от кого не защищен. Любуй на шею может кинуться: «Гришенька!» Дома ты закрылся на французский замок — и попробуй тебя достать. А на вокзале человек беззащитнее. Вот он и сжимается. Как ежик — клубком. На вокзале все аккуратные, тихие, ско- вокзале человек беззащитнее. Вот он и сжимается. Как на арене цирка. А кому охота быть клоуном добровольно?

Мне, конечно, и обидеться не грех. Но я не так, я другому решил: почертыхался негромко и пошел курить. На воздух. Благо Марта и впрямь догнала милиционера, направляющегося в пикет вместе с девочкой. А мне в пикет не хотелось. Мне хотелось курить. И злиться. На себя. За то, что я такой беспомощный... в определенных обстоятельствах.

На перроне я встретил девушку. Она была гораздо моложе Марты и находилась под прозрачным, как мыльный пузырь, зонтиком. Ту самую девушку из ресторана. Которую провожал на юг артист Скородумов. Девушка циркулировала вокруг фонарного столба прямо напротив дверей вагона. На белой эмалированной дощечке печатными буквами было написано «Москва — Адлер».

Девушка жадно курила. Длинные, как распрямленная медная проволока, волосы, казалось, сшивали ее голову с землей, с бетоном платформы, и она, кружась и дымя сигаретой, как бы все время пыталась оторваться от места, на котором вращалась.

Не знаю, откуда во мне взялось такое (скорее всего, Марта раззадорила), но я вдруг почувствовал себя сильным и смелым. И мне захотелось если не приподнять эту красотку от примагнитившей ее земли, то хотя бы помочь ей добрым словом. Я вдруг ощутил себя таким Микулой Селяниновичем. Славным мужчиной, способным на подвиг ради посторонних женщин. Хотелось, черт возьми, принести себя в жертву. Незнакомке.

И еще меня осенила гениальная по своей простоте догадка: если я мог привлечь внимание Марго, женщины яр-

кой, редкой, не похожей ни на кого, то уж эту мечущуюся бабочку обработаю в два счета. Плевать, что все это не по моей специальности, что я не жуир. Что практики мало-вато. Действовать по наитию, как бог на душу положит, — в этом есть своя прелесть. По крайней мере — естественно. Хотя и коряво.

Я прикидывал, с чего начать разговор, как вдруг де-вушка, хотя и смотрела в землю, узнала меня.

— Шпионите?

— Нет... Покурить вышел. Как вас зовут?

— Убирайтесь. Нет... Постойте! Вы хорошо знаете эту... ну, старуху Скородумову? Жену? Какая она?

— Добрая. И даже веселая. Так что бойтесь прежде всего себя.

— Вы с ней давно знакомы?

— Несколько часов.

— Что?! Сочиняете...

— Я сочиняю за столом. В кабинете. Григорий Улетов! Журналист. Прозаик. Хотите, поеду с вами в Сочи? У меня командировка. На все четыре стороны. И до пенсии далеко... Ладно, не обижайтесь. Просто у вас лицо грустное. Такое пригожее... и на тебе — грустное.

— А записку ее читали? Старушкину? Меня Катей зовут...

— Читал. Это у меня врожденное. Один взгляд положил и как сфотографировал. Люблю по-писаному читать.

Катя подняла голову, распрямилась. Прекратила вращение. Появилось ее ребеночье, непуганое лицо, перемазанное косметикой. Оказывается, глаза ее не были наглыми. Теплые глаза. И скорее — отчаянные.словно у загнанной в угол собачонки.

— Ну так спрашивайте... Чего же вы? Журналист... Обожаю хищников! Ну, откройте зубки. Какие они у вас? Волчьи? Или шакальи?

— И все-таки, можно один вопрос? Ведь сейчас и расстанемся. Навеки. Ответьте... Только безо всяких. Как маме!

— Спрашивайте, песик.

— Это как понимать? Ругательство, что ли, моднос?

— Спрашивайте.

— Скажите... А почему непременно Скородумов? Я понимаю: красиво... Но ведь и ненадежно. Почему — Скородумов?

— Есть такое старинное слово: чары. Слыхали небось?

Не из вашего лексикона журналистского, и все же прекрасное слово...

— Понимаю... Имя, талант, густой голос, аплодисменты... Ну, а мужчина? Он же старенький для вас. Решили потерпеть? Во имя искусства? Ну, была бы дурнушка, а то ведь симпатичная...

— Да нет же... — и она, раздвинув шторы волос, посмотрела на меня так откровенно, и чисто, и безбоязненно, что я опешил. Синичка — птичка любопытная. Одна радость на лице. Радость жизни. И ничего больше.

— Да тебе лет-то сколько? Небось — пятнадцать?

— Было и пятнадцать. В свое время. А сегодня девятнадцать.

— Первый раз на юга?

— Первый.

— Хочешь, я с тобой поеду?

— Нет. Не хочу.

— Почему?

— Вы прозаик... И вообще — тепло.

— Чары отсутствуют?

— Вот именно. И чары, и многое еще...

— Обижаете?

— Развлекаюсь. Чтобы не заплакать...

— Зайди-ка в вагон, девочка. Одна минута осталась.

И старушку там, на море, смотри не обижай. Она-славная.

— Она славная... — повторила Катя. И вошла в вагон.

Я намеревался помахать ей ручкой, как вдруг эта самая Катя, растолкав в тамбуре прощавшихся пассажиров, выскочила опять на платформу. В руке тощий с ввалившимися боками кожаный чемоданчик. Дорогостоящий. Наверняка Скородумова подарок.

И тут состав трогается. Проводница что-то кричит. Катя в свою очередь машет ей: успокойся, мол... И, ни слова не говоря, еще ниже прежнего опустив голову, почти касаясь волосами дороги, тащится к вокзалу. На что-то решившаяся бесповоротно.

Все получилось так неожиданно, что я даже не пошел за ней следом. А Катя через мгновение затерялась в толпе.

И я, вместо того, чтобы развести руками, глупо и широко улыбнулся. На моем лице появилось что-то такое этакое: пробежавший мимо носильщик с тележкой почему-то развернулся и послушно поехал следом за мной. Видимо, решил, что я вот-вот свалюсь и он отвезет меня к стоянке такси.

В зале ожидания возле буфетного прилавка Салтыков покупал порцию сосисок, стакан кофе и пачку дорогих сигарет. Я оглянулся по сторонам, ища Марту. Тщательно обследовал одно лицо за другим, но поблизости моей бывшей соученицы не было. Ладно. Поищем в другом месте. А пока последуем примеру «графа». Со своими сосисками и кофе я нахально присоединился к Салтыкову, ударив стаканом по его стакану.

— За искусство, гражданин поэт! Будем здоровы! А мне нравится здесь, в вашем доме... Идея пришла! А не пожить ли и мне тут? Как вы считаете? Не стесню?

— Что, никак не уехать?

— А зачем непременно куда-то ехать на колесах? Вы тут сами недавно о чем говорили? Сажусь, мол, на диван — еду! Ваши слова? Мне тоже на вокзале нравится. Не желаете на пару существовать?

— У вас пенсии нету.

— Будет. Рано или поздно...

— Вот когда будет, тогда и приходите. Лично я переезжаю отсюда. Уже и билет куплен. За десять суток. Заранее. Потому что я все продумал. Не с бухты-баракты.

— В Харьков?

— Догадливый...

— Я подслушал. Когда вы с женой разговаривали. За моей спиной. Так получилось, не взыщите. Все ведь в одной комнате находимся...

— А вот подслушивать плохо... Не ожидал от вас. Дать бы вам по ушам за это...

— Да говорю вам: нечаянно! Что с женой? Не договорились о возобновлении?..

— А вот это не надо. Туда вас не просили... Выпил, что ли? Прешь, как на тракторе. Ешь какаву свою...

Маленький полулысый Салтыков едва доставал ртом до мраморного края стола, предназначенного для приема пищи в стоячем положении.

— А вы не обижайтесь. Я к вам по-братски... Без лукавого. У нас, журналистов, манера такая... На скорую руку все. Напор, темп! Ритм вырабатывается, почерк в поведении. Ну и боевитость, естественно. Со стороны такое наглостью отдает. Знаю.

— Журналист, говоришь? Наверняка стихи писал, да не состоялось... не вышло поэта. Небось ко дню Первого мая или Восьмого марта хореем лудил? Знаем мы вас, журналистов... Бывшие рифмоплеты. А ну, зачти мне свою

стихенцию. Жми, жми, говорю. Не стесняйся. Потом я тебе почитаю. Ну, шпарь, чего уставился?

Смотрите-ка... Оскорбляет, лилипут. Вот щелкну тебя по курносине. Шпендрик какой... Добро бы я и впрямь стихами баловался, а то ведь напраслину возводит. Вот ей-богу щелкну! Занозистый какой мужичонка...

— «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана», — начал было я, но Салтыков оборвал:

— Ха! Пушкин! Думаешь, ханыга, на вокзале ошиивается... так и Пушкина не читал?! А вот послушай мое:

В голове у меня закипают мозги!
Я иду по Кольцу и не вижу ни зги.

По Кольцу — это здесь... в Москве. По Садовому кольцу, значит. Улица такая круглая... Понял?

Я кивнул, расплескав от усердия полстакана кофе.

— Слушай далее:

Ветер бьет головами фонарь о фонарь.
Ночь темна — ни одна не откликнется тварь.
Я иду поперек, поперек, а не вдоль!
Я несу в своем сердце великую боль.
Но никто обо мне не заплачет, никто.
Наступает костлявая мне на пальто.
Теребит за рукав... Я молчу ей в ответ.
И душа оставляет светящийся след...

Стихи мне понравились. Чем? Неизвестно.

— Симпатичные стихи. Неужели собственного изготовления? Просто не верится.

— Мое.

— Малость частушками отдает...

— Чем-чем?

— Я говорю — частушками. Есть такой жанр. А сделано у вас крепко. Учился? Или самостоятельно?

— Я летать учился. Понял? А стихи — вроде лекарства... Занеет душа, стишок напишешь — и легче. Боль уйдет. На бумагу. Графоман я. Мне объясняли уже. Один грамотный дядя. Есть, значит, меломаны. Эти музыку любят. Смертельно. Есть, которые воровать обожают. Клептоманы. А я графоман. Стихи пишу. Однако не ради стихов пишу. Ради себя самого. Понял?

— А с летным делом как же? Не получился из вас авиаман?

— Нет. Летать я не любил. Хотя и летал. Вначале меня страх туда притягивал. Затем, когда страх перешагнул, любопытство взяло. У человека ведь нету этих самых...

крылышек. А чего нет, всегда иметь хочется. А любопытство накормил — скучно сделалось. Летал — работал. Терпел. Напряженка постоянная. Это ваш брат журналист как заладит: «Крылатая профессия! Соколы! Пятый океан!» А я тебе скажу: напряженка! Всю дорогу. Врач обнюхает. Измерит в тебе что надо. Ага! Еще не гремишь бортами. Глаза, уши не отвалились. Ну, фонарь задраишь и — пошел свечой! Аж мозги плаваются. В итоге — дедушка. На нервной почве. А мне, дядя, на любой почве в таком состоянии жить не хочется! Понял?

— Зря вы это... Утрясется как-нибудь.

— Что утрясется?! Не мешок с крупой... Баба-то у меня молодая. Видел? Зачем ей печаль такая?

— Должна понять... если добрая.

— Да понимает она меня! Мозгами... И зовет. А я — нет! Я лучше под поездом умру. Не по мне такое унижение: возле жены дедушкой жить.

— Вот вы хорошие стихи пишете. Способности у вас. Вот и занимайтесь этим.

— А про то, значит, забыть советуете? Про жену?

— Ну зачем же... Она от вас никуда не денется. Это вы от нее ушли. На вокзал. Меня ваши стихи заинтересовали...

— Балуюсь с издательства... Даже печатали. Один раз. Только чаще возвращали. Учитесь у классиков, так далее. А чему мне у них учиться? У них своя жизнь, у меня своя. Меня Юрой зовут...

— Знаете, Юра... А вы, если можно, еще мне прочтите. Только давайте лучше присядем.

Салтыков хитренько заулыбался. Глазки едва заметно спыхнули. Несколько мгновений он как бы решался: связываться со мной или расстаться? Затем он резко потянул себя за бороду вниз. Голова подпрыгнула, спружинив на шее. Посмотрел на меня весело, даже шаловливо. Длинные прямые волосы, бледная лысина на остроконечном (яйцо на попа) черепе... Весь он был несолидный, нелепый. И если уж честно говорить — незаурядный. Из ряда вон. Интересный. По крайней мере для меня. Второго такого на вокзале не было.

— Юра, давайте с вами чего-нибудь выпьем. За встречу. Я лично соку томатного. А вы коньяку...

— После. Да я и не шибко по этому самому... Туда только занырни. Меня и милиция терпит, потому что знает: не очень я заливаюсь. Да и опасно в моем-то положе-

нии. Вокзал тебе не кооперативная квартира, а натуральная коммуналка. Здесь тебе все казенное. Любой «подвинься» может сказать. А выпивши — как ты подвнешься? Выпивши ты нехорошими словами можешь выругаться. Или еще чего...

Уселись мы у одного спящего в ногах.

— Юра, скажите мне... Вот у вас в стихах озорство, лихость... А Родину вы любите?

— Это как же... Смеетесь? Или на пушку берете?

— Нет, не омеюсь. Я ведь не рехнулся еще...

— А зачем тогда вопросы такие? Крайности зачем? Ну — опустил. Ну — прикидываюсь. Мне так приятно. Я на заслуженной пенсии. Мне многое теперь можно. А Родина тут при чем? Она меня терпит, и спасибо. Понял?!

— Вопрос как вопрос... И чего мы стесняемся таких вопросов?

— Такие вопросы ты самому себе задавай. Взрослый мужик, а болтает неизвестно что. Разве про это говорят? Про это думают. Понял?

— Нет.

— Вот — земля... То есть камень. — Юра нагнулся к вокзальному полу, похлопал по нему ладошкой, не стесняясь. — Это вот Москва. Усек? И она меня держит на себе... Москва — жизнь. Камни, провода, рельсы — это детали. А вон там вон... по шпалам отойди от нее — поля, березы начнутся. Больше всего на свете люблю жить. Проявление жизни люблю. Сплю. Какая-нибудь тоска приснится... Глаза откроешь, а на полу, возле твоего носа, муха сидит! Живая... Вот — радость. Вот где любовь! Понял? Вот слушай:

Город хмурых обиталищ,
сундуков, надежд и снов.
Я поэтам не товарищ,
я им — дядя Иванов!

Я хожу задами улиц,
я гоняю голубей.
На помойке в драном стуле
я сижу, как воробей.

И не думаю, не маюсь
в ночь с фонариком в душе.
Кто там голову ломает?
Все поломано уже.

Дочитав стихотворение, Салтыков почему-то замер, как парализованный. Я проследил за его взглядом: «граф»

внимательно смотрел через меня на спящего мужика, который лежал на диване, протянув ноги во всю длину. Блестящими лакированными ботинками лежащий почти касался моего бедра. Оказывается, с его головы каким-то образом соскользнула шляпа, еще недавно прикрывавшая физиономию.

Я продолжал смотреть на Салтыкова в ожидании стихов, когда заметил, что глаза Юры ненормально расширились.

— Мужик-то мертвый... — шепнул «граф», словно боялся разбудить спящего.

— Сразу и мертвый... Скажешь тоже. Нездоровится человеку, плохо выглядит. Больной. Может, «скорую» вызвать ему?

— Да нет же... Не больной. Труп. Пошли отсюда.

Пересилив страх и отвращение, я еще раз внимательно осмотрел лежащего. Синие губы не смыкались. Нос худой, острый. Кожа на лице без крови. Неподвижные глаза так же неплотно закрыты веками, как и губы на зубах. Похоже, что — да... мертвец.

Салтыков резко наклонился, поднял шляпу с пола, положил ее на неживое лицо.

Старушка, жевавшая на противоположном диване баранку, сморщилась в улыбке, общительно качая головой.

— Сморило голубя. Не иначе лишка принял, сердешный. Гляди-ко, баретки лакированы! Не стянул бы кто... Богатый муштына! В шляпке. А не соблюдает себя...

— Тут милиционер ходил. С девочкой... Не видел, где он теперь? Заявить надо... — начал было я, когда мы с «графом» поднялись и пошли прочь от жуткого места.

— Заявляй валяй. Только меня в это дело — ни-ни! Мне в Харьков ехать. А здесь следствием пахнет. Мне такая халтура без надобности.

Однако события дальше развивались совершенно самостоятельно.

Маленький постовой, розовый и непрерывно как бы смущенный, как бы стесняющийся своей должности, тот самый, что водил за руку ничью девочку, неожиданно вплотную придвинулся к нам, оказавшись абсолютно одного роста с «графом».

— Вы бы, товарищ Салтыков, вместе с кроватью сюда переехали. Со всей обстановкой семейной. Со всем коллективом домашним.

— Нельзя. Не пропишут.

— То-то и оно-то... Сколько вас можно предупредить? Пришли на вокзал, стало быть, куда-либо уехать должны.

— Не маленький. Незачем меня просвещать... У меня все тип-топ. И прописка, и пенсия. В смысле доходов...

— А почему тогда на вокзале постоянно?

— Скоро уеду.

— А вы... гражданин... — застенчиво улыбнулся мне страж порядка.

Тут я не сдержался и выложил постовому про покойника.

— Видите ли... — зашептал я трусливо. — Если я не ошибаюсь... Там, на скамейке, мертвый человек.

— Ну, я пошел... — повернулся идти Салтыков.

— Чего, чего? Куда же вы? — постовой попридержал Юру за рукав. — Где мертвый? Договаривайте. Если не шутите.

— На лавке мертвый, — махнул я рукой в пространство зала. — Во-он там. Спит. По крайней мере так нам показалось.

— Что спит, показалось?

— Нет. Что — мертвый. Шляпа у него с головы упала. А лицо голубое. Я думал, от дневного искусственного света. А пригляделся: ничего подобного — умер гражданин.

— О чем это он? — обратился милиционер к Салтыкову. — Вы тоже видели... мертвого?

— Не знаю. Лично я только с живыми общаюсь. Он видел — он пусть и покажет.

— Прошу. Показывайте оба. Если не шутите...

Я пошел впереди. Два коротыша (постовой взял «графа» за руку) двинулись следом за мной. Я мерзко заискивал перед милиционером, без конца оглядывался, размахивал руками.

— Сейчас увидите... Я сам вначале не поверил! Вот сюда, товарищ... Лежит, понимаете ли... В общественном месте. А кругом дети, старики. Запросто напугать может. Я здесь проездом. Поезда жду. И вдруг — такое дело! Сел вот с ним отдохнуть... Возле этого самого, который лежит. Да вот и бабуся подтвердить может. Минут пять и посидели около... Пока у него шляпа с головы не слетела. Смотрим, а он — того...

— Сейчас «того», — стыдливо усмехнулся милиционер, топчась возле прикрытого шляпой мужчины, — сейчас «того», а через пять минут встанет и закурит. Где не положено. Или мимо урны пол перепачкает. Встречали мы

таких. Наберутся в городе и лягут на вокзале. Нет чтобы выпил и уехал. В свою Сибирь. А здесь и так яблоку негде упасть, — и тут поставой, приподняв на мужике шляпу, приставил свое горячее ухо к чужому холодному носу.

— Непонятно. Ничего непонятно. Не дышит вроде... гражданин.

— А чего ему теперь дышать, если он умер! — улыбнулся Салтыков.

— Кто видел, как он... того... умер?

Старушка перестала жевать. С куском недожеванной баранки за щекой онемело хваталась за свои вещички. Начала что-то судорожно увязывать. Потом так же судорожно целую минуту крестилась.

Постепенно собиралась толпа.

— Граждане! Прошу руками ничего не трогать! — Молоденький поставой галопом ускакал, чтобы затем вернуться с дежурным по вокзалу и капитаном милиции.

Толпа росла. Теперь отсюда можно было незаметно исчезнуть. Но что тогда подумает маленький поставой? К тому же я вовсе не хотел уходить, не предупредив Марго. Да и куда уходить? К другу на Арбат? Мешать ему воспитывать детей? Открывать его от букинистической книги? Нет. Каждому — свое! А потом смерть эта вокзальная, небывалая, никем не объявленная, не зафиксированная, одинокая смерть подействовала на меня оглушающе! Я не то чтобы растерялся или струсил, я сам наполовину омертвел в тот момент.

Человек лежал среди живых, и то, что его уже не было, этот страшный, холодный факт скрывала от людей какая-то там шляпа! И стоило только убрать шляпу, как смерть понеслась, завизжала на людей, как бомба! Через считанные минуты о ней уже говорил весь вокзал. По крайней мере все, кто ожидал поезда.

Конечно, я человек современный: пуганный, послевоенный. О смерти наслышан, не единожды рассуждал о ней с товарищами и сам с собой. Фильмов и книг про это хоть отбавляй. И все ж таки нехорошо. Тревожно и обидно. За живое обидно. Ходил, ездил... Ботинки блестящие обул. И вдруг умер. На вокзале. На жестком диване. Вот, мол, вам, товарищи пассажиры! Вы тут за чемоданы хватаетесь, за кошельки да кошелки... А вот вы теперь за сердце хватайтесь. Потому что это не только я умер, а и все мы — каждый в отдельности — в любой момент таким макаром загреметь можем.

Поискав глазами Салтыкова и не найдя его рядом, я вдруг увидел Усыскина, того самого учителя, который у всех про документы спрашивал. Такой длинный и на редкость тощий. Костяной. Теперь ведь как: пожилые люди, кого ни возьми, все с жирком. С животиками. Сытно едят. От души. И если уж ты встретил доходягу, то непременно подумаешь: язвенник. Или того хуже — неврастеник. Короче говоря — больной.

А Усыскин-то, Усыскин! Растолкал любопытных — и к покойнику. Сейчас документы потребует, не разобравшись. Шизик неуравновешенный. Отец у меня тоже худой был. То есть худощавый. Геолог, всегда на ногах, в странствиях. Он и теперь, наверное, без этих самых, без отложений. А впрочем, и геологи жиреют. Я это почему отца вспомнил? Потому что — о себе подумал. Каким я после сорока сделаюсь? По теории наследственности. А отец... И где только человек шляется? С сыном, с сестрой родной — в переписке не состоит. Понятно. Нелюдим. И сестра, и сын люди взрослые. Самостоятельные. Но ведь и ничего они от пропавшего не требуют, кроме одного: дай знать — жив ты или нет? В каком времени о тебе разговаривать: в настоящем или прошедшем? Наверняка без семьи... Старый, неуживчивый. Неухоженный. Вот так, как этот на диване... Ляжет и — до свидания.

А Усыскин шумит! Вот беспокойная голова... Общественник жуткий!

— Заявляю! — кричит. — Во всеуслышанье! Именно этот человек, — показывает на мертвяка, — потерял документы! А я, идиот, бегаю, спрашиваю всех. На неприятности нарываюсь. Его документы! Узнаю по фотографии. И деньги его! То-то я кричу, спрашиваю: чей бумажник, чьи документы? Да разве такой откликнется? Я сразу неладное почувствовал. Кому бы это от своих документов отказываться? Отмалчиваться? Тем пуще — от денег? Хотя и небольшие, но — денежки. Сумма. Обладающая покупательной способностью.

— Да помолчите тихо! — еще краше заалел молоденький постовой. — Не нужно шуметь... если можно. Вы мешаете.

Пришли санитары с носилками. Сунули под нос телу (для страховки) вату с нашатырным спиртом. И неожиданно для всех «мертвяк» чихнул, придя в себя. Что тут было! Многие развеселились. А были и такие, что как бы обиделись. Словно в чем-то их безжалостно надули.

Я искал Марту. Мне хотелось поделиться с ней комизмом увиденного. Но в зале ожидания теперь ее не было. На улице не унимался дождь. Мокрый ветер выметал с платформы курильщиков. Из отверстия подземного перехода выбегали пассажиры пригородных электричек и резво, а то и вовсе бегом направлялись к вагонам.

Когда позднее я вновь столкнулся с маленьким милиционером, пришлось познакомиться с ним короче.

— Улетов! — протянул я ему ладонь.

— Конопелькин! — не протянул он мне ничего.

Скороговоркой, как старого знакомого, спросил я его:

— Беспризорную девочку, ничью, куда отвели?

— Куда надо — туда и отвели. А вас вот, к примеру, тоже разыскивали. В протокол на пьяного занести хотели. Кто первый тело обнаружил? Куда ж вы подевались?

— Можете заносить. Я не отказываюсь. Только не я первый увидел, а Салтыков Юрий. Бывший летчик. Он и обнаружил.

— Без надобности уже. Оформил с бабушкой. А Салтыков скорей всего никакой не летчик. Инвалид он. В летчики таких маленьких не берут, — сказал постовой, вставая с каблуков на носки...

— Интересно, отчего смерть... то есть такое сильное опьянение наступило?

— Не знаю. Без признаков жизни лежал. Его уже как труп оформлять начали...

— А документы, что же, действительно его? Которые Усыкин откопал?

— Его, «покойника» документы. Видать, он ранее на одном диване лежал, а потом на другой перебрался. Может, когда ворочался, вот и выронил. Не до бумаг было. А ваша женщина, которая к ребенку привязывается... в пикете они. Платье девочке подарила.

Что ж... Мне эту ничью малышку и самому жалко. Но чтобы до такой степени... Родился я вскоре после войны. Вокруг меня и в школе, и во дворе полно было сирот, безотцовщины. Да и сам я рано без матери остался. С символическим отцом.

Что бы там ни рассказывали профессиональные пессимисты, сама жизнь в стране за эти тридцать лет моего взросления постоянно изменялась в сторону материального благополучия. Из коммуналок жильцы перебирались в отдельные квартиры. Хлеб в стране сделался настолько дешевым, что им стали кормить свиней и коров. Люди все

реже ходили пешком и все чаще ездили, плыли или летали. Работая в газете, я прочел массу писем. В том числе и страшных. Но письма оставались письмами: буквами, знаками на бумаге. А жизнь по всем приметам улучшалась. Летом было много цветов на улице. Зимой много чистого снега и детских румянцев. Мы служили, проводили собрания, встречи с героями, артистами. Обедали сытно. Иногда в буфете нам продавали бананы. Затем коллективно просматривали дефицитные фильмы. И я не то чтобы забылся в текучке — просто изжил в себе представление о том, что люди на земле все еще обманывают друг друга, предают, бросают маленьких детей, подкидывая их государству. В любви изменяют. Наконец — умирают на вокзальных лавочках. Умом-то я знал про все это. А вот содрогнуться от конкретного ощущения такой правды — не содрогнулся ни разу. А ведь все это происходило и теперь. Только ушло подальше от сцены, от глаз жизни.

И получается, что я, Гриша Улетов, жил все это время, как спутник над поверхностью земли, над правдой... А может, и — над смыслом бытия. Витал.

В последнее время, однако, я все чаще оглядывался, озирался. Во мне уже не было прежнего покоя. Я уже не верил своим глазам, рукам, мозгу. Себе не верил. Какая-то сила неумолимо поднимала меня над собой. И вот — вокзал. В итоге. Порог. Жажда иной жизни. Жизни — живой, зримой, явственной. И уже на пороге сколько всего подступило, ударило по глазам и сердцу!

Почти бегом направился я в пикет. Искать Марту.

Они сидели на казенном диване и ели мороженое. Марго и девочка. И разговаривали. Малышка отвечала отрывисто. Словно огрызалась. Но огрызалась, если так можно выразиться, ласково. Иногда в разговоре хлопала ручонкой по красивой ноге актрисы. Но тут же и отдергивала ладошку, словно боялась обжечься. Затем осторожно выглядывала из-под черных, больших для такого крошечного лица бровей. Задрипанную куколку поместила между Марты и собой. Лыняное, серо* белизны, платье делало девочку нехоти нарядной, непохожей на себя.

— Товарищ капитан! — воскликнул я неожиданно, да так, что в какой-то мере даже напугал капитана. У него даже карандаш из пальцев выпал. На стол. И по стеклу покатился.

— А вы кто такой, извиняюсь? Супруг? Папа, что ли? Кто вы-то будете?

— Я друг! Я все понимаю...

— Ах, друг... Друг семьи? Понимаете? И я понимаю. Вы что же — удочерить ее хотите? Мы девочку в специальное учреждение передаем. Где о ней заботиться будут. Люди со специальным образованием. Покуда мать не обьвится.

И вдруг малышка, тронув Марту за руку, спокойно так и даже строго спросила:

— Ты мама?

— Мама...

— А где моя мама?

Девочка неожиданно протянула ко мне ручонку, потрогала мои волосы.

— Кра-ашеные?

Марта чуть со стула не скатилась. Так ей понравился вопрос девочки.

— Что ты, Галя! Это у него свои такие. Белые да кудрявые. Его в школе знаешь как звали? Пуделем! Это собака такая кудрявая.

— Зла-ая?

— Нет. Наоборот совсем. Пудель — добрая собака.

— Ты собака? — уже не стесняясь, спросила меня маленькая пересмешница.

— Да как сказать...

— Ну, разве не прелесть! — хлопала в ладоши Марго. — Человеку всего чегыре года. Слушай, Гришенька. Наклонись-ка, дружок...

— А я зна-аю, про что вы говори-ите!

— Знаешь?! Скажи, скажи нам, про что?

— Про любо-о-овы!

В вокзал со стороны улицы вошел какой-то взъерошенный — рубашка до пупа растегнута, — красный, «парной» дядька. Бархатные рыжие брюки падали волнами на летние босоножки. Пиджак из старенького разношенного вида разлегся на широченных плечах, как бабий платок. Из-под растегнутой рубахи клубились серебряные седые полосы. Лицо было довольное. Словно человек пришел к хорошо знакомым людям в гости, где его всегда принимали с распростертыми объятиями.

Он прошел к буфетному прилавку, где буфетчица почему-то прекратила торговлю. Потребовал стакан кофе.

Продавщица почему-то не заругалась, как обычно. Молча наредила напиток, внимательно рассматривая покупателя. Человек бросил монету на стойку и, отойдя к мраморному столику, весело поднял стакан, словно собирался произнести тост. И действительно заговорил. Напористо, увлеченно. И главное — без предисловий.

— Граждане пассажиры! — разбитым, потрескавшимся тенором объявил он. — Поздравляю вас с величайшим праздником — Днем зайцев! А также с наступлением замечательного времени года — дождливой, промозглой осени! Урра, граждане! Давайте-ка выпьем. Не все ли вам равно, за что пить?

Несколько человек проснулись. Одни приподнимались на руках, дико озираясь. Другие деликатно, даже как-то исподтишка, неназойливо рассматривали ненормального выскочку. Третьи, более ровно, плавно вышедшие из состояния сна, успев сориентироваться, смотрели на дядьку, потирая руки и улыбаясь благодушной улыбкой зрителя, купившего билет: такому что теперь ни покажи, он все примет с должным достоинством.

Женщины заботливо укрывали детей. Кое-кто посмотрел-посмотрел и отвернулся. Но вот что интересно: все, абсолютно все молчали. Как рыбы.

Дед, еще недавно снимавший со своей гимнастерки медали, сделал возле уха ладонь раструбом и жадно прислушался.

Сам же оратор, хлебнув кофе, удовлетворенно крикнул. И вновь поднял руку. Но уже без стакана.

— Граждане пассажиры! Сегодня я прочту вам лекцию: «Есть на земле бог или его нету».

Среди людей и котомок, ловко лавируя и смущенно улыбаясь, пробирался к выступавшему верзиле рядовой милиции Конопелькин.

Дядя в рыжих штанах, увидав Конопелькина, не то чтобы заторопился, правильнее будет сказать — собрался. Руки его мощно облепили мраморный диск столика. Плечи развернулись, как перед бурей. Голос окреп.

— Почему бога нет? Потому что его никто не видел. Ну, а если его нету, тогда почему об этом самом лекции читают? Очкарики разные? Раз нету его — и не трви! Не колышь душу. Читай лекцию о вреде алкоголя. Да здравствует международный День алкашей! Урра!

— Кто это, не знаете? — спросил я у Конопелькина, с которым рука об руку приближался к говорившему.

— А... да так. Ненормальный один. Фалалеев. В общем-то, прикидывается. И штрафовали, и задерживали. А в месяц раз — обязательно выступает. С полочки. Одним словом, с тараканам в голове дядя. Веселится.

— А я так вам скажу, дорогие граждане пассажиры! — надрывался из последних сил Фалалеев. — Если бога нет, тогда никто меня здесь не тронет. А если он есть, тогда придет милиция и заберет Фалалеева к себе в дежурку.

— Хватит, Фалалеев, кричать. Людей приподняли...

— Вот! Прошу убедиться! Бог есть, граждане пассажиры. Теперь вам понятно, как высшая сила выглядит. Вполне симпатичный боженька. Ну, хватай... Возноси!

— Никто вас не забирает. Сами уйдете. Нажгу на пятерку. За нарушение тишины...

— На! Вот тебе пятерка! Цапай, лапай! Десятка вот! Угощаю. Навались! Боги гунявые!

— Слышь-ко, паря... — к Фалалееву подобрался дед в гимнастерке. — Ты чево ломанси? Вон — грудя седые, а туда же... Постыдобился б деток...

— Ах, тебе не нравится, моховик?! — развернулся, как танк, в его сторону Фалалеев.

— Не нравится?! — взвыл дедок не своим голосом. — Погано глядеть на тя! Да я б тя на помойку! Своими руками снес... Выпихнул. Кабы помоложе годами...

— Вот то-то и оно — «помоложе»! Бодливой корове боженька рога отпилил. «Кабы помоложе»! Ты меня, подсиновик, сейчас отнеси. Ну, ать, два — взяли! Кишка тонка, хрен вяленный. Ну, бери, оформляй! Только смотри галифе не порви. От натуги.

— Да ты ж это кому советуешь такое, кому баишь, рожка наетая! Ветерану! Солдату Красной Армии! Да я сюда... на Вечный огонь посмотреть приехал. А ты меня чем обливаешь, пачкун? Да я тебе глаза поклую! — кинулся дед на Фалалеева.

И, как ни странно, Фалалеев сник. Он даже не оттолкнул старика. Умиротворенно сдюжил, стерпел несколько петушинных его наскоков. Поправил на плечах хулиганский свой пиджак. Оставив недопитым подстакана кофе, Фалалеев выхватил из пластмассовой баночки грубую, почти картонной крепости, салфеточку, провел ею у себя по носом. Рыжая щетина усов весело затрещала под бумажкой.

Неожиданно присмирев, Фалалеев направился к выходу из зала, бормоча в кулак:

— Ничего себе... Если ветераны так кидаются... Тогда

никакого бога в помине нет, граждане пассажиры... Тогда мы, как говорится, уходим... В мир иной.

И ушел. Даже не хлопнув дверью.

После пикета мы как бы почувствовали себя виноватыми. Марта невесело улыбалась. Было такое ощущение, что нам немного стыдно друг друга.

Задержавшись у газетного киоска, Марта купила польский журнальчик «Кобета», нашла себе местечко, уселась, как бы решив отдохнуть от происходящего. И от меня в том числе.

А я двинулся к курилке и там, за дымовой завесой, встречаю высокого парня с кривым поломанным носом и двумя мелкими шрамчиками на некогда зашитых губах. Залихватское такое лицо. А глаза добрые. Стоит он, значит, в дыму, как вершина горы, и смотрит, улыбаясь, на меня. Именно на меня. Бывает такое: человек к тебе безо всякого повода пристает с добрыми намерениями. Пообщаться хочет. Ну, я не стал противиться. Отчего же не пообщаться?

Сели мы на скрепленные друг с другом стулья с откидными сиденьями. Курим. Он улыбается мне. Я — ему.

— Женился вот... я.

— Поздравляю.

— Я не пьяный. Не подумай...

— Не подумаю.

— Лютоболотский!

— Улетов!

Тут он сделал пугающе строгое лицо. Собрал губы в трубочку. Кривой нос его как будто даже выпрямился на мгновение. И вдруг малый разом отпустил хмурь с лица. Черты его расплылись в неподдельном веселье, вспыхнули, зубы, шрамы. Лютоболотский доверительно тронул меня за край плаща. Протянул сигареты.

— Расписались мы... с Людмилой. И теперь ко мне — на Камчатку! Свадьбу играть.

— А чего ж это в такую даль поездом? На Камчатку — самолетом летают.

— Свадебное путешествие! Чттал небось, за границей, после как поженятся, в путешествие сразу? А мы чем хуже? Они куда-нибудь в Африку, слонов фотографировать... А у нас своей земли — ехать не объехать. Разве что слонов нету — вот и вся разница...

Сидели мы возле самых дверей. И тут в щель между

створок женекая рука в красном пальто пресовывается. Берет Лютоболотского за локоть и выводит из туалета. А я к Марте вернулся.

Близилась полночь. Нужно было подыскать место для отдыха. Но если днем люди на вокзале в основном сидели или стояли, то теперь большинство из них легло, и отыскать несколько сантиметров незанятой диванной площади не представлялось возможности.

Проходя мимо сидевшего на корточках Конопелькина, мы невольно остановились. И прислушались. Рядовой милиции внимательно заглядывал под диван, нагруженный телами. Заглядывал, как под машину. И еще он — разговаривал. Сам с собой.

— А я предупреждал... Да, да. Я тебе каждый день о том толкую. Нельзя на вокзале собакам. Без хозяина нельзя. Непорядок. Меня за это начальство драит. А ты, Жулик, несознательная собака. Опять пришел. На глаза попадается... Вставай давай... Нечего глухим притворяться.

Из-под дивана нехотя вышла собака. Средних размеров дворняжка. И абсолютно черная. Без единого пятнышка постороннего. Выделялись одни только желтые глаза. Они смотрели виновато и с явной надеждой, что Конопелькин вдруг отменит свой приказ.

— Иди, Жулик, иди. Нельзя тебе. На дворе еще тепло. Так что не прикидывайся.

И собака ушла. Она двигалась впереди Конопелькина. Примерно в метре от него. У выхода на перрон собака подождала, пока ей открыли дверь на улицу. Потом вышла.

— А зимой как же, в мороз? Вышвыриваете, и не жалко? — Марта атаковала Конопелькина, а тот вежливо и смущенно уворачивался от ее наскоков.

— А я ему валенки зимой куплю.

— Нет, вы не юлите! Разве не жалко? Собачка такая доверчивая. Понятливая.

— Грамотная. Это уж точно. Газеты читает и даже улыбается. И фамилия — Жулик.

— Эх вы... А еще молодой, светлый...

— А чего мне юлить?! Не положено. Я на службе. Собачка укусить может. Наступите-ка ей на хвост! Что тогда? Кто виноват будет? Конопелькин? Да вы так не волнуйтесь... Зимой для нее мы подольше интервалы делаем. Отогреется — иди проветрись. Да она, если замерзнет, куда хочешь проникнет! Очень сообразительная собачка. Жулик, одним словом. Это ей Салтыков такое название

дал. Прямо в точку. Он и прикармливает. А вообще-то, не положено. Вокзал для людей. Это вам не Ноев ковчег. Здесь пассажиры. А то если, скажем, корова или еще какая тварь прорвется? Что тогда? Жалеть? Здесь не Индия.

Гул голосов в огромном зале постепенно редел, оседал, растворялся. Реже лязгали двери. Все меньше шагов шуршало по кафелю пола. И только дикторша, не убавляя громкости, объявляла об уходящих и прибывающих поездах.

Незаметно мы подружились с ясноглазым Конопелькиным, и все трое прогуливались теперь по обширной территории вокзала.

Ближе к выходу в город, в вестибюле, на второй этаж к ресторану вела широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой. Дорожка эта не могла сровнять плавных углублений в мраморе ступенек. За добрую сотню лет сколько по ним поднялось и опустилось господ, граждан, товарищей...

И сейчас лестница не пустовала. Вверх и вниз, в обоих направлениях, по ней двигались люди.

Внезапно один из спускавшихся, перейдя с шага на пробежку, не удержал равновесия, запнувшись не то о свою, не то о чужую ногу. Из рук его с глухариным шумом выпорхнул шикарный кожаный портфель. Этаким галантерейный красавец.

Одновременно с падением портфеля откуда-то свисте раздался нервный милицкий посвист. Держа свисток, как расшатанный во рту зуб, и расталкивая клиентов, вниз по лестнице бежал, а правильное сказать — падал, пожилой швейцар в профессиональных золотых нашивках. Помчавшись до портфеля, швейцар лег на него, как на подушку, намертво прижав мягкую вещь к твердому полу.

Молодой человек, столь стремительно расставшийся с портфелем, заложив руки в карманы латаных джинсов, спокойно направился к выходу из вокзала. Его пузырящаяся нейлоновая курточка, разбитые кеды на ногах, а также недавно стриженная под ноль разудалая головушка резко не соответствовали внешнему облику портфеля, который вылетел из молодых рук, как сказочная жарптица.

Вслед-за швейцаром по лестнице кубарем скатился однорукий инвалид-гардеробщик в черном сатиновом халате.

— Дер-рж-жини! — трубным басом изрыгнул он. — Вон того, стриженного! Хватай!

Малый в кедах надал к дверям, изо всей мочи. Еще мгновение, и он растворится в ночном воздухе, как дым от папироски.

И тут рядовой Конопелькин делает отличный бросок в сторону дверей. А через минуту вводит за руку улыбающегося беглеца.

— Ваш портфель? — строго спрашивает малого Конопелькин. Лицо рядового приобрело скульптурную неподвижность, окаменело. Каждый мускул внимательно делал свое дело. — Портфель, спрашиваю, ваш?

— Да какое там его! — гремит гардеробщик. — Он таких портфелей отродясь не держал! Гаденыш... Чужой номерок предъявил... И нате вам — давай бог ноги!

Швейцар, тяжело поднявшийся с полу, прижимает портфель к груди и так стоит на цыпочках, как пингвин, ошеломленно глядя на Конопелькина.

— Вы что же, не знаете, чей этот портфель будет? — все еще интересуется Конопелькин у беглеца.

— Понятия не имею, — ухмыляется малый.

— А зачем тогда брал?

— И не думал брать. Мне его в руки сунули. Я и понес... Машинально. Я в тот момент совсем о другом думал. На меня в тот момент шкаф навали — я и шкаф унес бы. От меня девушка отвернулась. Я переживаю. А тут еще всякие личности портфели суют... А что?! Разве не так? — закричал стриженный на гардеробщика, который, воинственно выпятив подбородок, бесстрашно придвинулся к типу в кедах. — Выдали портфель, а теперь шумите.

— Выдал, потому как номерок предъявлен! Ты мне голову не крути — юморист, понимаешь! Лыбится, гад... Весело ему!

— Вяжите... — прошептал наконец пришедший в себя швейцар. — Скрутить его надобно... Опечатать!

— Напрасно беспокоитесь, папаша. У вас давление повышенное. С таким красным носом нельзя излишне волноваться. Сосуд лопнет.

— Скрутить... гастролера. Не отпускать! Мигом слиняет... — продолжал наставительно нашептывать швейцар, еще истовей прижимая портфель к телу.

Из ресторана примчались владельцы портфеля. Ими оказались Скородумовы. Портфель принадлежал артисту. Клавдия Петровна хлопотала ножками впереди своего солидного супруга, стучавшего остроконечным японским зонтиком за спиной Клавдии Петровны.

Народу в вестибюле получилось мало. Человек пять. В смысле зрителей. И обязательной в таких случаях толпы не собралось. Люди по причине позднего времени пытались кто где мог отдохнуть, прийти в себя, устав за день.

— Аркадий! — захлопала от радости в ладоши Клавдия Петровна. — Посмотри-ка, это ведь твой портфель? Тот, который у швейцара? Вот вам, уважаемый, двадцать копеек. Держите, держите! — старушка упрямо сует швейцару белую монетку, пытаюсь выкупить у ошалевшего человека принадлежавшую мужу вещь.

— Ваш портфель... это-сь... украденный, — шепчет швейцар, не отпуская баул с груди. — Преступник — вот он... Найдено. Схваченный...

— То есть как же так? — начал было Скородумов. — Почему, по какому праву... У меня там билеты на поезд и документов полно. Килограмма два. То есть чушь какая-то, откровенно говоря. У меня там принадлежности, и вообще... А главное, почему у меня? Мой — почему? Сдаешь портфель, а получаешь черт знает что!

— Bravo, Аркадий! Ты давно не ругался матом. Вспомни, умоляю, хоть одно соленое словечко. Будь мужчиной! Тебе так полезно встряхнуться... Ты многое перезабыл. А главное: какого ты пола?.. О, если можно, напади на этого дурацкого дядьку и отними свое имущество. Если ты мужского пола... А грабителю дай по физиономии. Это делают руками, Аркадий! Довольно слов. Где, черт побери, твой жесты, трагик?

Оказывается, Клавдия Петровна не переставая веселилась. Вот женщина! Просто зауважал я ее еще больше. После истории с портфелем. Другая бы скальп с этого стриженного сняла. Или мешком на пол осела. А Клавдия Петровна — молодцом! Над артистом подтрунивает. А тот грудь арбузом сделал и зонтиком размахивает. Перед моим носом.

— Гражданин! — предупреждает Конопелькин Скородумова. — Успокойтесь! Прошу посторонних разойтись. А пострадавших со мной прошу. И вы, дядя Степа, — дергает он швейцара за фирменный пиджачок. — И вы... товарищ, — приглашает он гардеробщика.

— Нет! — Клавдия Петровна решительно отбирает у швейцара кожаного поросенка. — Какие, к черту, формальности! У нас поезд через двадцать минут отправляется. Эй, милый, — кричит она одинокому носильщику, что курит возле туалетной комнаты. — Носильщик!

Носильщик, торопливо поплевав на окурочек, хватается те- лежку и устремляется к Скородумовой.

А красивый артист, солидный представительный муж- чина, все еще стоит в позе, отведя в правой руке зон- тросточку.

— Завершается двадцатый век! Люди по Луне ходят. Машины за людей мыслят. А на вокзалах по-прежнему во- руют портфели! Как в двадцатые годы. Скажите, молодой человек, почему вы позанимствовались мой портфель? Скажи- те правду, всю правду... и я вас отпущу!

— Я не заимствовал. Мне его гардеробщик выдал.

— А почему именно мой выдал? Почему?! Скородумова почему наказали? Медом, что ли, намазано у Скороду- мовой?

— Чары потому что! — отчетливо произнесла все это время молчавшая Марго.

— Какие чары, голубушка? Смеетесь, а меня разде- вают.

— Потому как — чары... У Скородумова все же, не у какого-нибудь Пшикина. Может, в портфеле у Скородумо- ва талант? В целлофане?

Клавдия Петровна отрывисто погладила Марту по пле- чу и бешено ей зааплодировала.

— Вы меня... знаете? — встрепенулся Скородумов.

— А вы разве не помните? — веселилась Марта.

— Я... артист. Скородумов.

— Это-то я знаю. Нагляделась в кино.

— Вы тоже меня... знаете? — обратился артист к мо- лодому человеку, чуть было не похитившему портфель.

— Вот что, господа! Достаточно! Больно важные все. Неприкосновенные. У меня своя дорога, у вас своя. А вы, папаша, — повернулся парнишка к гардеробщику, — при- несли бы все-таки мой, личный портфель. Он хоть и ба- рахло, из заменителя, но для меня дороже любого. Пуза- того. Потому что он память. О моих студенческих годах.

— Значит, что же... перепутали? — осведомился Коно- пелькин, несколько ослабив мертвую хватку на рукаве бывшего студента. — А на вокзале чего? Отбываете куда? Студент...

— Домой еду. Из экспедиции. Вот справка.

Конпелькин совсем отпускает нейлоновый рукав. Си- ная сия курточка местами прожжена насквозь, до красной рубашки, а кое-где и до тела.

Принесли черный перекошенный портфелишко. Похо-

же — вовсе пустой... Малый взял его бережно, демонстративно погладил. А затем резко прижал к груди, передразнивая швейцара.

— Осудить... — шептал швейцар. — Уголовник, рецестивист... В конверт его опечатать...

— Напрасно, папаша, волнуетесь. На общественной должности состоите, а такой злой характер проявляете. Берите пример со спокойных людей, — покосился малый на Конопелькина. — Вот смотрите — начальник молодой, а поумнее вашего будет. У вас, папаша, не только форма устарела, но и содержание. Ни к чему нынче людям такие... лампасы.

— Запереть его... — не сдается швейцар. — Изолировать... Под конвоем. Стреножить молодца...

Скородумов на всякий случай заглянул в портфель. Видимо, остался доволен: все было на месте.

От багажного отделения подъехала с носильщиком Клавдия Петровна.

— Идем, Аркадий! Хватит представлений.

— Клавочка, все о'кей! Я только скажу... От чистого сердца. Человек перепутал портфели. Ни при чем человек... К тому же — в суровом положении. — Скородумов воззрился на прожженную курточку. — И вот что я скажу, граждане... Отпустим его с богом! Лично я желаю вам всяческих благ, молодой человек. Мы ведь люди. Не животные. Не звери. Так давайте же ласковой жите! Власть, но тактично. Тактично, но власть! Братя от жизни все. Но только — свое... Не обижая, не оскорбляя друг друга, не унижая. Без нажима. Хотя и не ограничивая себя в удовольствиях...

Я вспомнил, как Скородумов кормил с ложечки мороженым любовницу, и пожалел, что артисту так скоро вернули портфель. Пусть бы потыркался без документов, без денег. Без билетов до синего моря, сладкоежка...

Скородумов торжественно улыбнулся публике и старческой, но легкой, отработанной походкой направился к выходу на перрон, как за кулисы.

Клавдия Петровна попридержала носильщика. Оказывается, ей захотелось попрощаться с нами. Хитренько потирая свои костлявые ручки, она вдруг клюнула-чмокнула Марту в щеку.

— Видите, я несколько не унываю! Нет ничего интереснее вокзала... то есть — «временной станции», как сказал великий сатирик. А моего артиста прошу простить. Он

не умеет думать. Не научился еще. Зато играет — превосходно! Призвание...

Клавдия Петровна вслед за носильщиком почти бегом устремилась на выход, к поезду.

Марта увела меня в дальний, поменьше основного, зал ожидания, где, кстати, и народу было поменьше, и место мы себе отыскиали уютное за газетным киоском.

Мы сидели до опасного близко друг к другу. Кусок дивана достался нам незначительный. Но если прежде, в другом зале, Марго, сидя со мной, можно сказать, прижималась ко мне, теперь я ничего подобного не ощутил. Отстраненно сидела. Как большинство граждан сидят. Незнакомых друг с другом. Полный штиль. Ни единого импульса. Интересно, что это она? Выжидает, когда я сам в атаку пойду? Собственно, так и следует поступить. Моя это обязанность. Мужская. Только вот не рано ли? Хотя — почему?

Размышляю, стало быть, я подобным образом, а сам неловко, будто дубинку негнушуюся, руку Марте на плечо закидываю... Иными словами — обнять пытаюсь. Хотя и неуклюже, но весьма искренне. И тут Марта вежливо отодвигается. Не дергается, нет. Мягко так, словно отплывает — высвобождается. Но неуклонно.

— Гри-ишенька... В своем ли ты уме, пуделек?

— А что? Разве что-то не так? Да вы же сами...

— Ты, Гришенька, хочешь сказать, что я первая к тебе ласкалась? Не верь женщинам. Даже на вокзале. Я ведь к тебе от радости прижималась. Не от желаний посторонних. Как будто к детству своему притиснулась. А... что же получается? От тебе-то руки токи... совсем другого свойства. К тому же я сейчас очень грустная. Ну, посмотри в мои глаза: разве там это? Там другое...

Марта, тихо улыбаясь, развернулась ко мне лицом, лукаво склонила голову.

— Я, Гришенька, хочу плакать. Не забывай, дружок, где мы с тобой находимся. На вокзале... Проездом. И наша любовь мгновенная, вокзальная... Хочешь, Гришенька, «караул» закричу? На весь мир?

Тут уж я и сам несколько завелся от Марты. Дает певичка! Может, нервная, с отклонениями? Ударится в припадок — и разжимай тогда зубы шариковой ручкой...

— Философствуете, а мне вас... поцеловать хочется.

— Спасибо, Гришенька. Лыстишь или радуешь? Но

ведь ты не только поцеловать меня хочешь. А для этого я не приспособлена! Не потому, что ты мне не нравишься... Нет, честное слово — нет. У меня, Гришенька, работа в смысле... если по Фрейдю, — очень вредная. Разъезды, гостиницы, новые люди, попрыгунчики разные с бакенбардами... Суточные романы. Откровенная и припудренная пошлятина. Вот я и воспитала в себе противоядие. Ко всем этим штучкам... Улыбаюсь, никто на меня не обижается — свой парень, и все же извини подвинься! И так иногда перестараться, что самой холодно делается. Все вокруг твою игру приняли. Флиртуют, но до определенного шага. И вроде бы уже для них — никакая ты не женщина, а так... телепередача. На тему о женщине. Иной раз до того обозлишься на себя — ну хоть бы кто насильно полюбил, что ли! Вот ты заговорил, а я в себя заглянула... А там тихо так... Как в церкви пустой.

— И совсем, значит, не возвращаться мне к этому вопросу?

— Хочешь, чтобы я тебе соврала? Эх, Гришенька! Да ты знаешь ли, как я рада тебе! Встрече с тобой... Вот завтра разведемся. А я тебя вспоминать буду...

— Не будешь.

— Буду. И письмо от тебя ждать начну.

— А куда писать? Адрес дашь?

— Найдешь, Гришенька. Отыщешь... Если захочешь.

— Вот чудачка, ей-богу...

Я не знал, как мне себя дальше вести. Опять переходить на «вы»? Одно я знал твердо: Марта не играла.

И решил я отделаться. Не от Марты. От дурацких мыслей о ней.

Простыв, заставил я себя прислушаться к разговору напротив. Там сидели какие-то совсем молодые люди. Девушка и парень. И они между собой то ли не ладили, то ли притворялись чужими.

Юнец беспрерывно оглядывался по сторонам, словно украсть чего собирался. Делал серьезное лицо, хмыкал, голову в плечи вжимал. И вдруг что-то отрывисто излагал девочке.

А девушка сидела надменная. Как будто по лотерейному билету прилично выиграла. Голова ее маленькая в полумужской спортивной кепочке то и дело поворачивалась от парня в сторону вокзальных окон. Время от времени девушка произносила короткую фразу: «Все равно уеду!»

Тогда мальчик начинал хмыкать, дергаться, вжимать голову в плечи и наконец выстреливал очередной порцией слов.

— Мне комнату весной дадут! А в Иркутске ты по рукам пойдешь! Хочешь, на такси тебя к бабушке отвезу? Ну, чего ты на меня заелась, Зойка?

Зойка с минуту смотрела на окна и, как только где-то у платформ начинали повизгивать электрички, скороговоркой напоминала мальцу:

— Все равно уеду!

Парень тер шею, причесывал взбодороженные волосы, высекал искры из незаправленной зажигалки, делал несколько физкультурных упражнений, надел даже солнцезащитные очки на несколько минут. И вдруг опять:

— Ты мне жена, Зойка! Под поезд брошусь! Если уедешь. Кольцо обручальное пропью! С Валькой из сборочного пересплю!

— Все равно уеду!

Потом, когда объявили посадку на пассажирский до Хабаровска, парень с девушкой внимательно посмотрели друг на друга. Она и он разом покраснели, на их злые глаза навернулись добрые слезы. Девушка засобиралась. Закинула себе на плечо широкую лямку от сумки с надписью «Динамо». Взялась было за чемоданишко... Но парень проворно сел на него, оседлал, будто ослика невзрачного.

— Убью кого-нибудь... Срок за хулиганство получу. Алкашом сделаюсь. Бабушку твою задуш. В Верховный Совет пожалуюсь. Письмо в Иркутск напишу. Прокурору. Чтобы выслали тебя оттуда! На Курильские острова!

— Все равно уеду...

Девушка поправила кепочку на русой головке. Стройная, распрямилась. Парень вскочил с дивана. И сделался ниже ее ростом. Девушка уверенно пошла к выходу на перрон. Ее ноги привлекли даже мое внимание. Парень, оторвав чемодан от пола, бегом погнался, вернее, поплелся за девушкой. И я посочувствовал ему. Так как и слепому было ясно, что девушка «все равно уедет». Все равно исчезнет. Уже исчезла. И ничего тут не поделаешь, даже если внезапно подрастешь сантиметров на пятьдесят.

Убийственно, так же как паренек на свою Зойку, посмотрел я на Марту и буквально ошарашен! Марта спала.

Тогда я принялся разглядывать ее. Никто не мешал мне этим заниматься. Привалясь к диванной спинке, Марта чуть склонила голову к своему правому плечу. Темно-

русовая подвитая прядь волос скрадывала часть ее лица. Глаза были зашторены слегка подведенными ресницами. Веки чуть подсинены. Нос, если смотреть только на него, — короткий, прямой и очень нежный. Кожа лица еще сильная, неизношенная, здоровая. Губы рельефные, заметные, рот не маленький, «сердечком», но и не до ушей, — нормальный. И шея нормальная: не длинная, как у гусыни, но и не короткая, не кряжистым пеньком. И совсем еще не морщинистая шея. Молодая. Цветущая. Запоминались на лице глаза. Вернее — расположение глаз. Удлиненные, крылатые глазницы. Такие глаза как бы увеличивают лицо, из которого они лучатся. Глаза-существо. Когда с таким человеком долго разговариваешь, создается впечатление, что разговариваешь с глазами. Марта проснулась и... не застеснялась. Хотя и догадалась, что я рассматривал ее. В ее отсутствие. Потому как я не успел отпрянуть.

— Марта... Я тебя поцеловал. Во сне.

— Вот и хорошо... Что ты еще сделал со мной? Я ведь отключилась... Гришенька, одолжи плечико. Подставь, я еще посплю.

Я покорно придвинулся. Марта почти легла на меня сбоку. Было и сладко, и страшно, и обидно ощущать себя подпоркой, приспособлением...

Место, где еще недавно сидели и пререкались молоденькие муж и жена, заняли двое мужчин. И то ли место такое беспокойное, то ли характеры схожие, но почему-то один из вновь пришедших вел себя так же суматошно, как и Зойкин муж. Говорил громко, взмахивал руками, дергался. Правда, голос теперешнего был гораздо звонче, явственнее, чем у мальчишки, намеревавшегося проспить обручальное кольцо. Худое, изможденное лицо, черная финская шапочка с козырьком. Под правым ухом шумного человека блестел, как будто пуля под кожей застряла, огромный жировик.

Мужчина этот сумбурный, как и до него Зойка, угрожал, что непременно уедет — куда-то... В его напарнике я не сразу узнал — кого бы вы думали — «графа» Салтыкова!

— Да понял я тебя, Федя, понял! Не надрывайся... Диктором тебе на радио... Вместо Левитана.

— Я, Юрик, не могу, когда на меня в семье внимания не обращают! Любишь, за человека считаешь — будь любезен: обращай внимание! Для чего я тогда родился под Весами — это созвездие такое, — если жена ко мне через год привыкает, как к ночным тапочкам? Будешь смотреть

на меня, как на комод, — уеду! Уеду, и все! Куда глаза глядят! И уехал... Я те привыкну, индюшка нерусская! Она у меня мордовка... Скучно тебе со мной — так и скажи! Мигом развеселю! Ты, говорит, Федя, все о мировых «проблемах»! А мне ласки хочется. «Ласки» ей хочется! А меня, может, от этой ласки, как карман, выворачивает! Тьфу! Я человек, Юра. Для меня многое интерес в жизни представляет. И космос, и йоги, и вообще — смысл жизни хочу выяснить. Что зло, что добро? А для нее всегда два бога: аванс да получка, грызи она ногти!

Марта на моем плече давно уже проснулась, разбуженная неумным Федей. Меня подмывало вступить с ним в дискуссию, но я понимал, чем рискую. Таких, как Федя, ораторов только тронь: до Сахалина будут преследовать, пока не догонят и свою правоту не докажут... «Вот уеду!» И почему это среди нас, русских, чуть что — сразу: уеду! Жена осточертела — уеду; в должности понизили — уеду; погода испортилась — туда же: уехать грозит человек...

В зале вдруг сделалось тихо. Замолчал, заткнулся Федя. И тут стало слышно, как кто-то тоненько, жалобно поскуливал... От перрона в нашу сторону зала вертлявый Усыскин с портфелем, этот добровольный общественник, и рядовой Конопелькин вели под руки дряхлую бабушку, то ли тихонько поющую, то ли плачущую.

Старая женщина одета была в черную плюшевую жакетку, такое деревенское полупальто. На голове, как листья на капусте, заверчено множество платков. На ногах — валенки с галошами. Бабушка шла, высоко подняв голову, как слепая. Лицо ее, морщинистое и темное, почти деревянное, чему-то беспрерывно улыбалось.

Старуху посадили рядом с Федей, так как Салтыков при приближении Конопелькина со скучающим видом подался прочь...

Усыскин, не выпуская из рук портфеля, вращался вокруг бабушки. Потом, когда она все так же — с высоко поднятой головой и улыбкой — села, начал предлагать ей какие-то пирожки и тут же задавать бесконечные вопросы, на которые старая женщина не отвечала вовсе, хотя пирожок машинально взяла и принялась сосать, видимо не надеясь разжевать его за полным отсутствием зубов.

— Послушайте, мамаша! — кричал Усыскин старухе в платок, надеясь попасть в ухо. — По какому адресу приехали?! Есть у вас адрес, бумажка? Есть или нет?

Женщина молчала, улыбаясь. Она, похоже, не слышала

ничего. Иди же не понимала. Тоненько скулила, глядя высь. И только.

— Откуда приехали?! Откуда?! — вплотную приблизил к ней свое лицо Усыскин. Из правого глаза бабушки выжала бусинкой мутная слеза и, не оставив на рифленой щеке следа, исчезла.

— Чего ж вы на нее кричите! — загремел вдруг на Усыскина Федя голосистый. — Не в себе бабушка, или вам непонятно, товарищ? Работник милиции молчит, — кивнул Федя на смущенного Конопелькина, — а гражданское лицо разорется!

Конопелькин виновато поскоблил пальцем лоб. Повернулся к нам с Мартой. И как старым знакомым поведал:

— С поезда ссадили... Проводница не помнит, на какой станции в Сибири вошла бабушка. Тогда дежурила напарница, которая теперь уже домой убежала. Сменилась. Поезд на уборку подали. В тупик. А бабушка сидит. На вопросы не отвечает. Больная бабушка... Документов и вещей никаких. Пойду к начальству. Отвезут ее в дом престарелых.

— Вот видите, как просто: в дом престарелых... — подсел к нам Усыскин. — Женщина, мать человеческая! Никому больше не нужна. Кроме милиции... Расстрелять ее сыновей! И дочерей! За такое к матери отношение...

— И чего шумит, портфель?! — возмущился опять громогласный Федя. — Может, ее детки уже расстрелянные. На войне фашистами! Может, она в единственном числе! И никаких у нее деток в помине нет!

— А внуки?! — не сдавался Усыскин. — А родные-близкие?! Соседи, знакомые?! Да это что же такое получается? Да у нас в свое время уголовники и те пуше всего старуху мать уважали... А мы где с вами живем?..

— На вокзале мы живем, дядя! — заглушил Усыскина Федя.

— Вот и именно, что на вокзале! Каждый в свою сторону, своим маршрутом.

— А каким прикажешь? Твоим, что ли, маршрутом? Да я твоим маршрутом не только жить — помирать не поеду!

Бабушка по-прежнему сосала пирожек. От нее дурно пахло. Она не помнила, откуда и куда ехала. И только улыбалась, улыбалась. А может, и не улыбалась вовсе, а таким странным образом плакала.

— Пойдемте, Конопелькин. Вызовем врача, «скорую», — заторопил я милиционера.

... А если откровенно говорить — страшно мне сделалось. Боязно. Кругом люди: молодые, старые, но пока еще самостоятельные, мобильные. А посреди них беспомощная, конченная женщина. И никто не знает, как с ней поступить. Что предпринять? И стыдно... Стыдно за себя, крепкого,мышленого, перспективного...

И вдруг Марта вскочила, приблизилась к старушке. Протянула к ней руки. Сперва я подумал, что Марта опять чудит. Потом понял, что ничего подобного. Просто бабушка перестала смотреть в пространство. Взгляд ее, мучительный, осмысленный, был устремлен на Королеву.

— Дыд-ды... Дын-дын... — старушка силилась произнести что-то.

И Марта поняла. Она взяла старушку под руку, затем полубняла, приподняла с дивана. И они медленно поплыли к туалету. Темная, полумертвая и светлая, гибкая — две женщины, два дивных существа.

...И тут дикторша объявила, что через пять минут отправляется поезд «Москва—Андижан» и она просит провожающих выйти из вагона.

Усыскин вздрогнул, побледнел. Окончательно защелкнул портфель и, сорвавшись с места, помчался в камеру хранения, прошептав мне на прощание: «Помогите...»

— Держи его! — крикнул Федя оглушительно и рассмеялся так зло и неприятно, что все от него отвернулось.

Усыскина я настиг у багажных автоматов. Он мрачно стоял перед ячейкой и, как двоечник у доски, мучительно вспоминал нужную ему цифру. Потом он вспомнил. Через полторы минуты. Я взвалил его увесистый чемодан себе на плечо, и мы понеслись к поезду. Впихнул я Усыскина в дверь последнего вагона. Чемодан из моих рук он брал уже во время движения поезда.

Марго возвратилась грустная, уставшая. Словно тащила ничью бабушку на плечах.

— Отправили куда-то... Я почему вызвалась-то. Однажды, Гришенька, прихожу я в поликлинику, в нашу участковую. Вечером. Зима. Темно. И вот два мужичка приводят под руки подобную же старушку. С улицы. В снегу валялась. Едва разглядели, вытащили. Из сугроба. На большой современной улице. В новостройках пространства — сам знаешь — сибирские... Бабка, как привели ее в чувство, сразу ко мне кинулась: «Доченька! Доченька!» — кричит. Потом выяснилось: дочка ее из дома выгнала.

Старухе за девяносто. Надосла. Не умирает. Так-то.

Глубокой ночью в бокзал ввалилась шумная компания с громоздким багажом. Везли какие-то ящики с аппаратурой, футляры от контрабасов и гитар. Круглые коробки из-под барабанов... Какой-то ансамбль. На всех его вещах было черной краской написано «Печенег». Десять парней и две девушки. Одеты ярко, современно. В глазах бесстрашие. На устах словечки неясного происхождения, типа «чувак», «лабух», «бирлять». «Печенег» курили в неположенных местах, багажа в камеру не сдавали, играли в азартные игры на коленях у солистки и даже распивали спиртные напитки, закусывая чем попало.

В их репертуар входило постоянное желание острить, разыгрывать друг друга и окружающих; ни при каких обстоятельствах не унывать, не падать духом.

Глубокой ночью «печенег» поменяли на дверях общественной уборной таблички с буквами «М» и «Ж». Получилось забавно. Люди, с вечера по укоренившейся привычке ходившие в одну дверь, теперь попадали в неловкое положение. Трех спящих «печенег» привязали к диванам, а в обувь одного пассажира капнули чего-то такого, после чего ботинки этого дяденьки сделались на несколько номеров меньше.

Один малый из ансамбля, высоченный солист-бронет, говоривший шепотом, дабы как можно дольше сохранить свой угрюмый баритон, прицепился с разговорами к Марте. Позже выяснилось, что они знали друг друга по предыдущим гастролем. Он подвел нас с Королевой к своему табору. Представил. И сразу же налил по полстакана какой-то дряни — «со свиданьем!». А когда я отказался пить, посмотрел на меня как на злейшего врага человечества.

— Слушай, Марго, и этот чувак ездит с тобой по стране? Сбрось его с поезда, пока он не сделал из тебя мумии! — нашептывал он ей на ухо. Да так громко, что и я полностью воспринимал текст.

Мысленно я обругал его. Но хотелось и вслух прореагировать. Малый, конечно, повыше меня. Но ненамного. Сантиметров на восемь. От силы на десять. А я ведь и гири двухпудовые поднимал...

И тут выручила Марта.

— Гришенька журналист-международник... Отлично владеет приемами карате. Мастер спорта по самбо.

— Жених, муж? — тише прежнего прошептал высокий «печенег».

— Любовник.

— Ишь ты! А с виду ничем не подумаешь! На, лодка! — прошипел он в мою сторону, резко выбросив руку и едва не смазав меня по носу. — Будем знакомы, что ли... Какой молчаливый любовник.

Я взял его руку и грубо пожал. Не тут-то было... Ладоны у певца широкая и крепкая, словно искусственная.

— Меня зовут Боря. Я культурный человек. — С этими словами наглый брюнет взял себя спереди за волосы и... одним махом сорвал их с головы! Все ясно... Парик! Вот артисты... Что вытворяют! — А теперь, Гриша, уходи, — сказал вдруг Боря не шепотом, а во весь голос. — Водки не пьешь, руки не жмешь... Подумаешь — любовник! Ступай себе мимо.

— Как так? Прогоняете, что ли?

— Вот именно. Иди, международник, не заслоняй жизни. И без тебя ничего в волнах не видно...

— Ну разве так можно, Боренька... — заворковала Марго. А мне от ее воркования не легче. И тут взорвалось во мне что-то. Гнев меня такой обуял, что я повернулся и пошел прочь. Тунеядцы! Гастролеры! Я чуть ли не выкрикивал эти страшные слова вслух. Я решил забыть Марго. И она еще путается с этими подонками! Все! Пойду-забыюсь куда-нибудь в угол и не вылезу оттуда, пока посадку не объявят на хабаровский. И это женщина! Едва поманили — сразу и отступилась. А я-то к ней с переживаниями...

Отсиделся в тихом углу, опаматовался, и опять меня к людям потянуло, в зал ожидания. А если честно, хотелось на Марго взглянуть. Хотя бы одним глазком, со стороны, хотя бы из укрытия... Да и какие могут быть претензии к ней? Знакомого встретила... Ну и что с того? Знакомому ты не понравился, а не ей. А финал и вовсе позорный: сбегал... Бросил женщину на растерзание!

«Печенег» спали на своих барабанах и контрабасах. Я пересчитал их по пальцам. Девять парней и две девицы. Одного не хватало. Того самого... Брюнета. Рост метр девяносто. Что ж... Будем искать.

Застегнув на все пуговицы плащ и подняв для устрашения воротник, сунул я кулаки в карманы и начал обход.

В одном из залов набрел на газетный полукиоск: такой полукруглый открытый лоток, в середине которого днем помещалась на табуретке женщина в синем халате, продававшая газеты, журналы, открытки. Я заглянул в прост-

ранство, предназначенное для жюскерши, и увидел на полу, на самом дне углубления, спящего Салтыкова... Машинально улыбнулся ему и продолжал поиск.

Я обшарил вокзал сверху донизу. Заглядывал в отгороженные углы и другие геометрические фигуры и пространства. Под одним из диванов гонимую собаку Жулика обнаружил, но никому об этом не сказал, а лишь еще раз, как прежде Салтыкову, машинально улыбнулся. Пспутно столкнулся нос к носу с десятком кошек и даже с каким-то непонятным зверьком.

И тогда я вышел на перрон и стал прочесывать платформы, укромные местечки и закутки. И вот за одним из ларьков померещился мне ее голос!

Я не стал их подслушивать. Это было нехорошо. Я рванулся на голос, предварительно вынув кулаки из карманов и надев на всякий случай перчатки.

До последнего момента я все-таки верил, что увижу ее там одну... Или, по крайней мере, не с брюнетом.

За пластиковым ларечком стояла реечная скамья. Такая типичная, уличная. Свет едва обволакивал сидевших на ней. Она была у него на коленях! И, когда я бросился на него, ему было не встать сразу: мешала Марта.

— Господи... Гриша! Что же это?.. — престонала Марго.

Я отодвинулся за ларек. Через минуту ко мне вышел бриснет с разбитым лицом и ударил меня по губам. В свою очередь.

Самое печальное было то, что я испортил себе плащ. Разорванный в трех местах и вымазанный помимо мазута в какой-то мерзости, теперь он был совершенно непригоден к употреблению. А ведь мне предстояло ехать в Сибирь. А в Сибири, по сообщениям метеослужбы, уже изрядно подмораживало.

Обтерся я, как мог, носовым платочком. Для начала. Решил: поостыну малость и в туалет буду пребриваться. Чтобы там окончательно подремонтироваться.

Подали какой-то состав. Смотрю, наряд на платформу двинул. Куда-то посадку объявили, значит. Дед ко мне подошел, спрашивает, не знаю ли я, где до Красноярска садиться? Хотя посадка идет исключительно в один поезд. Других поездов просто еще не избрели. Так нет же, обязательно спросить, потревожить человека нужно! То ли для страховки, то ли по недержанию словесному...

Указал я деду пальцем на вагоны, а дед и вовсе осме-

дел: котомку на асфальт ставит, закурить предлагает. Воюющую папироску третьего сорта в губы мне сует. В разбитые. И тут я узнал в нем военного старичка, который с медалями манипулировал и горячего Фалалеева, оратора, пристыдить хотел.

— Слышь-ка, паря, да ты никак порезанный? Давай тебе помощь каку-нибудь окажу...

— Да нет, что вы! Какая еще помощь.. Спасибо, дедушка. Это я сам. С платформы свалился. На арбузную корку наступил. И на рельсы!

— Смотри, тебе видней... откуда ты свалился. Меня самого при нэпе на этом вокзале чуть не порешили. Опять же — галоши стянули, за милую душу... Ну, прощай, Москва. Погуляли, понюхали. И честь надо знать. Всего тебе, паря. Не шибко бери, не то не доедешь... до назначения. Ну, бывай...

— Прощайте.

Дед перебрался поближе к вагонам, однако не утерпел, кого-то остановил, стал о чем-то расспрашивать. Прощай, дед. Свети дальше. Вот и ты прошел сквозь вокзал, пронес возде меня свою жизнь славную, нехитрую. Человеческую. Спасибо за свет, за отблеск, за отражение твое...

О Марте думать не хотелось. Но — думалось.

Надули, конечно... Облапошили. Как несмышлениша. Артисты... А и правильно! Не распускай сопли. Ты где живешь, дружок, в каком веке? В двадцатом, железном! Любозв, чувства... Разве на вокзале бывают чувства? Прав, тысячу раз прав дед: нельзя на вокзале спать, расслабляться... Мигом оберут!

В шесть утра на своих диванах проснулись «печенег». Они пригласили к себе в компанию Салтыкова. Налили ему «со свиданьем», сунули в руки гитару. «Граф» пытался улизнуть, как собака Жулик, но его выловили и заставили петь.

Как ни странно, на лице Бори-баритона я так и не обнаружил ни одной ссадины, ни одной царапинки малой. Боря даже подмигнул мне пронзительным взглядом, и у меня появилось сомнение: да с ним ли я дрался часа два назад?

А где Марго? Может, и не она вовсе торчала на коленях долгового «печенег», да и «печенег» ли?

А в Салтыкова, как говорится, вступило. Он читал ребятам свои стихи. Пел что-то неслыханное, вероятно тоже свое.

Я в суете вокзальной
найду диванчик спальный.
Потом закрою очи —
друзья, спокойной ночи..
А на свою рубашку
я приколю бумажку:
«Без повода, ребята,
будить меня — не надо».

Песенка, довольно занудная, непонятно чем, но трогала даже бывалых «печенегов». У некоторых из них поплыли, замаслились взгляды. А вокзальный маэстро, не на шутку загрузив, все тянул и тянул из себя какую-то забубенную, каторжную мелодию...

Приснится мне, я верю,
совсем не южкий берег,
совсем не куши рай,
а сторона родная!
Приснится мне местечко,
где вьет колечки речка..
А если помолиться,
старуха-мать приснится..

Неожиданно маленький Салтыков взмахнул гитарой, как теннисной ракеткой. Что-то подкатило, видать, под его нутро.

— Но-но, маэстро. Сдайте инструмент, — предложил Салтыкову внимательный Боря. Юра положил гитару на колени то ли девушке, то ли старушке (так она была здорово зашифрована косметикой); коротко сплясал чечетку, оттрепетав ладонями по некоторым местам своего тщедушного тела; не улыбаясь поклонился «печенегам», вернее, той самой даме, на которую положил гитару, и отошел прочь.

Я взял Салтыкова под руку, но Юра даже не вздрогнул: сказывалась профессиональная вокзальная настороженность.

— Что, Юра, не узнаете? А кто мне стихи читал про воровья на помойке?

— У вас некоторые перемены... на лице.

— Я подрался. А что, действительно большие перемены? — После того как я увидел совершенно невредимого Борю, я даже в своих, весьма ощутимых, потерях несколько засомневался.

— Плащик измяли. И северное сияние... под глазом.

— Чего ж вы не спросите, по какому поводу драка вышла?

— А вы дрались разве? Я думал, вас побили.

— Я подрался... Из-за женщины.

— Нашли из-за чего...

— Она мне изменила.

— Это с которой в ресторане? Она в том зале сидит. Спрашивала, не видал ли я Гришу. Это вы — Гриша?

— Я... Когда спрашивала?

— Да вот с полчаса. Она вам жена будет?

— Жена, говоришь?.. Ну, что вы, Юра!

— Тогда не связывайтесь. Иначе так и будете всю жизнь с побитой мордой ходить.

— Так ведь и вы, Юра, женатый человек.

— Женатый? А что в этом хорошего? Какая мне с этого польза, кроме неудобств? А будь я холостой — я бы сейчас на диване лежал... В ямочке. У себя дома.

— Так вы что же, Юра, против брака мужчины с женщиной?

— Некоторым людям брак противопоказан. Которым он в самый раз, так те и лежат сейчас обнявшись. А я по натуре беспокойный. Таким брак — кандалы сушие...

— Послушайте, Юра... Поехали со мной!

— А куда вы едете?

— В Сибирь, на Восток. Там железную дорогу строят... Неужели вам не надоело... унижать себя? Спать где придется, вечно огрызаться, настороже вечно. Поехали! Вдвоем веселей. Не все ли вам равно, где пенсию получать? А там вы душой отдохнете... И вообще — поехали!

— А я и так еду. В дороге я все время...

— Слова, Юра, фразы. Защитная оболочка. Куда вы тут едете на вокзале? Иллюзия... Едут другие, а вы, Юра, всякий раз остаетесь на месте.

— Туда, куда я еду, вам тоже никогда не приехать. В другом измерении моя станция находится. А вы грубый человек. Вмешиваетесь... С какой стати приглашаете меня в Сибирь? Там люди — работают. И не нужно их раздражать моим присутствием... Шли бы лучше к своей мадаме. Пока она вас не забыла... Окончательно.

Смотри-ка, все, решительно все знают, чего они от жизни хотят, куда едут и зачем. И Скородумов, и «печенег», и Салтыков... И Марта наверняка знает. Иначе бы к Боре не залезла на колени, за меня бы ухватилась... Все на что-то надеются, всех что-то греет в жизни...

И все же не попрощаться с Мартой было нельзя: К ней тянуло. Сквозь всю мнимость нашей с ней встречи — влекло.

Но встреча с Мартой неожиданно отдалась на неопределенное время. Не успел я расстаться с уверенным в себе «графом» Салтыковым, как тут же в зале, неподалеку от ансамбля «Печенеги», был остановлен за рукав плаща не кем иным, как Лютоболотским, на скуле и бровях которого имелись приклеенные небольшие кусочки светлого зеленого лейкопластыря.

Я не сразу сообразил, с кем имею дело. То, что это был не Боря-баритон, сомневаться не приходилось. Словно из векового прошлого, из мрака миновавшей ночи постепенно всплывали очертания чужой головы. Но — Марта! Почему она все-таки забралась на колени к незнакомому человеку? Дело принимало непредвиденный оборот. И я решил слишком-то не заноситься, на рожон не лезть, а действовать дипломатично, терпеливо выжидая последствий.

— Извините. — Парень с грустной улыбкой смотрел мне в подбитые глаза и вроде бы драться не собирался. По крайней мере сию минуту не собирался. А там — кто ж его знает...

— Я вас что-то не...

— Хорошо. Напомню сейчас.

Я довольно технично отступил на шаг. И приготовился слушать.

— Ночью... За ларьком. Мы сидели с Людмилой. И тут вы появились. Припоминаете? А еще раньше, с вечера, мы в туалете курили...

— Я решил, что вы сидели не с... Людмилой, а с Мартой. Прошу прощения. Погорячился. А главное: почему ваша Людмила знает, как меня зовут?

— Она вас впервые видела. Она вас даже не разглядела толком.

— А почему тогда Гришей меня назвала?

— Это она меня назвала, потому что я Гришей являюсь. А вы что же, выходит, тезка?

— Гриша Улетов... — протянул я руку, надеясь не столько познакомиться со своим тезкой, сколько сгладить впечатление, произведенное на него при нашей теперешней встрече.

— Григорий Лютоболотский, — представился молодой человек, не принимая пока что моей руки. — Вы напугали мою жену.

— Надеюсь, я не зацепил ее кулаком... Там было очень темно.

— Нет, нет... Интересно, почему вы озверели? Виню

от вас не пахнет. Мускатным орехом зажевали? Или действительно обознались?

— Обознался. Честное пионерское... Мне показалось, что меня обманывают. Я с женщиной познакомился. Здесь, на вокзале. Ну и... полюбил. Как бы.

— Полюбили? — переспросил Лютоболотский, саркастически улыбаясь одновременно веселыми глазами; кривым, боксерским носом и большими штопаными губами с тремя белыми швами-шрамчиками. При этом во рту его сверкнуло несколько золотых зубов.

— Да, встретил... и, казалось, полюбил. А что здесь такого? У всех это по-разному протекает. Не нравится — любите по-своему.

— Ладно, тезка. Не будем к словам придирааться. Вообще-то ты очень даже искренне на меня полез. Но ведь так и на неприятность нарваться недолго. Пошли, покурим на воздухе.

Над проводами железной дороги, над всей беспокойной станционной территорией занималось едва различимое, робкое осеннее утро. Мы с Лютоболотским уселись на холодную, влажную скамью, тщательно подстелив под себя кушачьи полы плащей. Как это часто бывает, недавно поздоровившие люди были не прочь сойтись поближе, а то и вовсе подружить. Я ждал, что Лютоболотский расскажет мне свою историю. И не ошибся.

— Ты вот на что обрати внимание. Перво-наперво. Ну, побил ты мне морду. Предположим. Думаешь, я страдаю от этого? Да ни в малейшем количестве! И не потому, что сам тебе оборотку дал, а потому, что я есть счастливый. Расписались мы вот... с Людмилой. Людмила сама здешняя. Московская! — отчеканил он с гордостью последнее слово.

— А чего же тогда не в Москве свадьба?

— Родители у Людмилы... не в порядке. Да мы что... Мы к Неизвестному солдату сходили. Всё, как положено, исполнили... Теща у меня с характером оказалась. Десять лет штурмовал. Не сломил. С дочкой рассталась. А меня все равно не признаёт! Людмиле десять лет было, когда я ее полюбил.

— Десять? Я не ослышался?

— Ей десять, мне восемнадцать. Сперва как ребенка любил. Потом как девушку. А теперь как женщину буду любить!

— Оригинально задумано...

— Не задумано; а так получилось. Не оттого, что однулюб, а справедливости ради. Людмила, еще девочкой, в реке однажды тонула. В словодье. А я ее спас. Сам воспарение легких поимел, а ее выловил. Откачали. Домой доставили. Ну, благодарили... А мне девочка дорогая сделалась. Ходить я туда стал. Тянет. А родители нос воротят: ну, спас, подвезло доброе дело совершить, и прощевай, мол! А потом я в ПТУ завхоза горбатым сделал. Он ворвал. Наше, государственное. Ну, засекли, проследили. Там же, возле склада петеушного, я и загнул ему салазки... Ну, в колонию меня снарядили. На пять лет. Потому как следователи не за воровство взялись, за телесные повреждения... Людмила, когда ей тринадцать лет исполнилось, в колонию ко мне приезжала. Виделись, правда, издалека. Ближе не подпустили. Не сестра, не племянница. Никто. А то, что мы любим друг друга, в расчет не берут. Родители Людмилы во всесоюзный розыск подали: дочка пропала. А всего-то пять дней отсутствовала...

— В тринадцать лет?

— Ну и что! Если любишь, то хоть тринадцать, хоть сто тринадцать — в любом возрасте человек бесстрашным делается и горы может свернуть!

— Чего не знаю, того не знаю...

— Освободили меня досрочно. Потом в армию взяли. Первый год стерпел. А второй — с одним сержантом заелся. Стал он меня, гнида, на губу сажать. Регулярно. Хорошо еще, Людмила приезжала. Виделись. То издали, то вблизи. Ей тогда пятнадцать набежало. И родители в розыск не подавали уже.

После армии завербовался я на Север. В Якутию. С геологами сдружился. Людмила ко мне в такую даль ездить не могла: письма писала. Через день. А я ей каждый день. И появилась у меня идея. Дурацкая, как выяснилось. Задумал я камушек ценный отыскать. Такой, чтобы все ахнули. Чтобы сердце у тещи от его сияния расплавилось!

На драгу промывальщиком перешел. Два года искал. А когда нашел, оказалось — нельзя. Собственность государства. Пришлось следователю камешек подарить. И еще пару лет подумать... О житье-бытье. И опять ко мне Людмила стала ездить. Потому что я поближе к Москве переместился.

Примчался я через несколько лет к Людмиле. А родители ее со мной не то что не разговаривают — видеть меня не хотят. За что? За то, что я жить без их дочки не могу?

Другие бы радовались от гордости: человек восемь лет ухаживает. Не хухры-мухры! Так нет же: козни разные строят. Дочку в другой город перевозят, к родственникам. Там ее в институт какой-то первый попавшийся устраивают.. А ей не институт, ей Гриша нужен! Ну, отыскал я ее, поднял на руки и несу... В свою сторону. А родители на другой день примчались. С нарядом милиции. И Людмилу из моего номера в гостинице изъяли. Потом... А потом что? Заболела девочка... Таять начала. В больницу ее законопатили. Не столько лечить, сколько от меня изолировать.

Лютоболотский перестал рассказывать. Предложил мне еще сигарету. Я ждал, что он вопросительно вскинет голову, проверяя, какое на меня впечатление его рассказ произвел. Ждал и не дождался. Григорий с минуту сидел молча, глядя на голубеющий рассветный асфальт под ногами. Потом встрепенулся неподдельно, весело посмотрел.

— А здорово ты меня оглоушил! Что же это, думаю, такое происходит? Людмила замерзла. Отпихнуть ее совесть не позволяет. Да и поправилась она за последнее время. Килограммчиков на двадцать. Ах, думаю, крести козыри! Было б за что, сразу догадался... А тут ни за понюх табака. Физиономию портят. При законной жене. Ну и догнал тебя, тетка... Не взыщи. Как умел, так и вышло...

— Значит, все благополучно устроилось? В итоге?

— Тесть — тот смирился. Да и выхода у них другого нету. А теща — та ни в какую! «Зря я тебе, каторжник, говорит, в свое время нос не откусила! А ведь хотела... Может, Людочка тогда бы отвернулась от твоей образины разбойничьей!» Вот какая у меня тещенька самостоятельная да настойчивая. А я техникум за это время окончил. На Камчатку распределился. Людмила на заочное в Педагогический перевелась. Да чего там теперь... Теперь, тетка, жить можно! Вдвоем-то... Пойдем, я тебя с ней познакомлю, с Людмилой. Пойдем, пойдем. Поезд у тебя когда? .

— Через пару часов. Хабаровский.

— Так и мы ж на нем! Вот комедия. Ты вот что, тетка: не обращай на меня внимания! Я теперь дурной, веселый...

— Видишь ли, Григорий... Ты вот десять лет сражался. За свою Людмилу. И победил. Я тебя поздравляю. Искренне. Как мужчина мужчину. А со мной, понимаешь ли, совершенно все не так. Хотя, если во времени оглянуться, то мы с Мартой и вовсе давно знакомы... Лет двадцать.

— И войдете до сих пор? Вот это я понимаю... За двадцать-то лет и успокоиться можно.

— В том-то и дело, что не виделись мы все эти годы. И вдруг — бац! Она меня узнает... И где? На вокзале. И мне она... понравилась. Очёны! Разве такое исключено?

— Да сколько угодно! Подфартило, одним словом. Тут радоваться нужно, а не кулаками махать. Извини, конечно, что вмешиваюсь, тезка...

— Сам знаешь, на вокзале времени мало. Необходимо успеть и в себе разобраться, и человека разглядеть. Одним словом, растерялся я... А тут актеры проезжие. Знакомые ее. «Печенеги». Парень с тебя ростом за руку ее берет. В стакан ей наливает. Мне бы опомниться. А я наоборот — очумел совсем. Побежал их разыскивать по углам. Ну и... на вас с Людмилой и наскочил.

Людмила сидела на диване светлая, спокойная. По всему было видно, что она уже поверила в свое счастье. У Людмилы была яркая золотистая коса. Не длинная, а так, в меру. Кожа на лице и руках белая, нежная. Вся она — мягкая, овальная, невысокая — победно выделялась из массы ожидающих.

— Вот, познакомься, Людмила, это Гриша Улетов. Мой тезка. Он нашим поездом едет. И мы с ним... Чисто случайно... И вообще... он — хороший парень!

Людмила ласково посмотрела на меня. Губы ее торжественно раскрылись.

— Извините, но я думала, что вы сошли с ума. У вас были такие беспорядочные движения. А мой Гриша ничего вам не сломал? Он у моей мамы в кухне кран с резьбы сорвал! Двумя пальцами.

Поулыбавшись Людмиле и ее супругу, я вежливо заторопился по своим делам.

Марту я отыскал в лабиринтах багажного полуподвала, где она, иронически улыбаясь, вспоминала забытый номер ячейки с чемоданчиком.

Мне она обрадовалась как-то сдержанно. Так мне во всяком случае показалось.

— А-а-а... Гришенька... Ты меня уже разлюбил? Все правильно. Спектакль подходит к концу. Скоро все разедутся. Останется рядовой Конопелькин. И мой чемодан.

— В каком хоть ряду оставляли — не помните?

— Да вроде бы в этом...

— Год смерти Шаляпина. Девятьсот тридцать девять. Так, если не ошибаюсь?

— Разлюбил. И глаза виноватые. Чем же я тебе не угодил, пуделек? И кто тебя так разукрасил?

— Сам я себе не угодил, сам себя разукрасил. Своими руками.

— Девочкина мать нашлась. Галина мама. В Москве заблудилась... Хорошая женщина. Я с ней разговаривала. Она растерялась в суматохе... Ну, как птичка, бывает, в форточку залетит — и давай бросаться на что попало.

— Вот что, Марта, давайте подряд проверять... В этом ряду. Все ячейки. — Я набрал номер девятьсот тридцать девять. — А буква? Букву какую выбрали — не помните?

— Буква «д», Гришенька. Потому что я дура. Такое мое имя.

Когда к нам подошел рядовой Конопелькин с дежурной по камере хранения, мы с Мартой заканчивали левую сторону багажной улицы. Ни одна из опробованных нами дверей не открылась. Конопелькин хоть и узнал нас, однако с подозрением следил за моими манипуляциями.

— Что случилось?

— Марта номер ячейки забыла, понимаешь? «Д» — девятьсот тридцать девять. Такой у нее код. А куда с ним тыркаться... неизвестно.

Вокруг нас немедленно образовалась небольшая толпа, человек пять. Мы с Конопелькиным продолжали поиск, и тут одна из камер неожиданно открылась.

— Ваш? — строго спросил Марту Конопелькин, извлекающая чемоданчик.

— Мой.

— А чем докажете? — неловко улыбнулся служивый.

— Вот именно! Чтобы все по закону, как следовало быть, — поддержала Конопелькина дежурная по камере хранения.

— А номер? Шифр — это что, не доказательство? — вспыхнул я.

— Да тыфу, номер! — разорвалась дежурная. — Да начни подряд проверять, непременно где-нибудь сойдется!

— Ладно. Во-первых, в чемоданчике есть бутылка коньяка. Армянский. Три звездочки. А во-вторых, кроме тряпок, две фотографии мальчика. Четырех лет. По имени Коля. Он умер от воспаления мозга. Именно в этом возрасте. Говорили, был очень похож на меня. Можете убедиться.

Марта резким движением откинула крышку чемодана, достала бутылку коньяка, сунула ее Конопелькину, да так решительно, что тот послушно схватил ее, прижав к шинели. Из кармашка чемодана извлекла черный паке-тик со снимками.

— Вот... — протянула мне дрожащей рукой. — Посмотри, Гришенька, какой он был... необыкновенный!

С фотографической карточки на меня смотрело пучеглазое кудрявое существо, робко улыбающееся в объектив. Видимо, дядя фотограф в этот момент делал пальцами «козу». Нормальный, приятный ребенок. И действительно, чем-то похожий на Марту.

— Вот.. И он умер... — опять, ни к кому не обращаясь, прошптала Марта. Глаза ее налились слезами. Лицо неровно, пятнами покраснело. Конопелькин поспешно запихнул в чемодан бутылку коньяка. Дежурная, поправив на голове берет, с независимым видом отошла к своей конторке. Я еще долго лязгал замками чемодана, пока не закрыл его и не взял в руку. Другой рукой бережно подтолкнул Марту к выходу.

— Когда у вас поезд отходит, Марта?

— Не знаю... Все равно...

Проходя мимо расписания, я быстренько определил, что нам с Мартой вместе осталось побыть каких-то полчаса.

— Вы тут посидите, подождите меня, а я за своим чемоданчиком сбегая. Ладно?

Когда я вернулся, Марты на прежнем месте не оказалось. Соседи по дивану сказали мне, что молодая женщина с кожаным чемоданчиком будто бы внезапно вскочила и куда-то побежала. А куда — на перрон или же в город побежала — никто определенно не помнил.

К платформе подали тот самый экспресс «Южный Урал», на который у Марты имелся билет. Я занырнул в первый от вокзала вагон и стал быстро и тщательно осматривать одно купе за другим. Дойдя до головы состава, я посмотрел на часы и с досадой обнаружил, что до отхода поезда осталось пять минут. Прозаический, скучный голос по радиотрансляции подтвердил этот факт. Я не знал, для чего ищу Марту. Я шарил. Как слепой. Я просто хотел увидеть ее. Один прощальный раз.

Последний вагон проверял я со зверским выражением лица, и многие, вероятно, подумали, что меня обокрали или, по крайней мере, от меня бежала законная жена.

Поезд тронулся, как только я вышел на платформу.

В последнем вагоне, прижатое к стеклу, мимо меня проплывало лицо Марты!

Что на нем отражалось? Какое движение мысли или чувства затрепетало в ресницах и на губах ее? Улыбка? И

да; и нет... Страх, ужас? Отнюдь. Лицо было светлое, хотя и усталое. Как перед долгожданным сном. Во всяком случае так мне в последний момент показалось. А может, вокзальная эта история неразгоревшейся любви — всего лишь плод моего воображения?.. Как знать?

Наконец-то рассвело. Утро явилось широкое, яркое, освещенное от дождливых туч. Оно даже брызнуло по крышам и стеклам домов настоящим солнцем! Проведя ночь, словно в пещере каменной, вышел я на площадь.

До отправления моего хабаровского имелось в запасе минут сорок. Из вокзального чрева вслед за мной вышел, погреться на солнышке заспанный Салтыков. Он купил в киоске пачку сигарет, прислонился к облитому солнцем каменному цоколю и так замер, осторожно выпуская из себя дымок.

Вышел наружу и милиционер Конопелькин. Сейчас он оменялся с дежурства и, поймав на себе мой взгляд, смущенно осклабился в пространство. Но вот Конопелькина принял подземный переход. Там он и исчез в направлении Ярославского вокзала. Жил этот симпатичный малый где-то в пригороде. И ему еще предстояло вздремнуть в электричке.

Долго и жадно смотрел я по сторонам, боясь потерять себя в этом мире раньше времени. Красные трамваи заученно пробирались по рельсам; бессистемно падали листья с близрастущих деревьев; дома улыбались, сверкая солнечными окнами, как золотыми зубами. И всюду — над, внутри и под городом — шли, сидели, спали, а главное — думали люди. Я хотел им что-то сказать, произнести какие-то незаурядные добрые слова, может даже стихи, пусть не такие совершенные, как стихи Салтыкова...

И тут я вспомнил о поезде, о вокзале. Об отъезде. Я посмотрел на часы. Оставалось минут десять. До разлуки с великим городом, с каменной, рукотворной его площадью, с временем, которое как бы и не вытекает из этой площади, словно из прекрасной мраморной вазы...

С интересом наблюдал я, как люди подходили к черной дыре вокзального входа и пропадали в этом отверстии навсегда. По крайней мере, для моего взгляда — навсегда.

И, чтобы не слишком от всех отличаться, я и сам вошел в эти двери довольно бодрой походкой, не забыв на прощание вежливо кивнуть маленькому Салтыкову.

МИРАЖ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

Я их встретил на Кировском. Возле безлюдной стоянки такси Василиса нервно и в то же время брезгливо трясла загорелой ручкой, требуя, чтобы я остановил машину. Ну, я и остановил. Для маскировки кепочку велосипедную с козырьком по уши натянул. Очки со светофильтрами нахлобучил. И воротник кожаного пиджака у меня приподнялся. Словно бы случайно. От неосторожного движения. Бирку, где моя фамилия обозначена, вынул из кармочки и в карман положил.

Напугать бы их теперь до смерти. До расстройства желудков. С моста в Малую Невку вильнуть. Или мимо столба в сантиметре проскочить...

Ага! За город попросились. По Приморскому шоссе. Скорее всего, на пляж задумано. На золотой песочек. Что ж... Сами пожелали. Отвезу подальше. Пересчитаю кавалеру зубы. А там и оставляю. Наедине с природой.

Похоже, я очень злой сегодня. Не переборщить бы. Конечно, расстаться с женщиной можно и по-мирному, без уголовины. Тем более что так называемая любовь давно иссякла. Чего ж тебя крутит тогда, Одинцов? Уймись незамедлительно. Поздоровайся с людьми. Покажи им улыбку. Ты добрый, Одинцов.

А может, Одинцов, не иссякла в тебе «так называемая»? И ты теперь словно порожний флакон из-под духов? Жидкости давно уже нет, сухой сосудик, а понюхаешь — пахнет! Прошлым... Да так, что дух захватывает.

Шофер такси Николай Одинцов свернул с Кировского проспекта на Приморское шоссе и поехал в сторону залива. Оставим его ненадолго и вернемся назад. Во времени. В прошлогоднее лето. Вернемся, чтобы рассказать о нем и о его пассажирах — подробнее.

Ее звали Вася. Василиса. Манера такая у родителей: время от времени нарекать детей архаическими именами.

Третью сторону (или — угол?) в нашем треугольнике представлял Марат Базиликин, великовозрастный студент-художник, днем в Академии рисовавший теплые живые фигурки натурщиц, а по ночам у себя в мастерской на Ва-

сильевском острове поливавший из фраспылителя вонючими нитрокрасками абстрактный холст.

Где-то на окраине города, в новостройках, у Базилика была трехкомнатная квартира и полузабытая, заброшенная жена с ребенком. Последнее время Базилик предпочитал жить в мастерской, где у него помимо холстов и подрамников имелась помятая тахта, кухонный закуток с газовой плитой на две конфорки и нерегулярная женская забота в лице той или иной ценительницы его тонкого античного профиля и не менее тонкого, почти прозрачного таланта.

Двойная, абстрактно-реальная жизнь Базилика наложила определенный отпечаток на его поведение, а также — физиономию. Вот он вроде бы и весь налицо: мягкий, даже робкий, почти жертва с бархатными мушкетерскими усами, с широким пробором-залысиной в плоских черных волосах... Но вдруг улыбнется — и нет его: гримаса улыбки враз начисто преобразит Базилика. И проступит второе лицо: настороженное, хищное, лицо охотника.

Именно такое лицо, такую острозубую улыбку поймал однажды шофер Одинцов в зеркальце заднего обзора. Произшло это в прошлом году весной.

Тогда он посадил парочку на Невском. Возле лавки художников. Василиса и Базилик (а речь о них) продолжали какой-то судорожный, дерганный разговор, из которого Одинцов понял, что его пассажиры художники или нечто в этом роде.

— А Кукушкина покупают! — хохотнула в лицо Базилику Василиса и тут же нервно закурила.

— А Кукушкина, затрапезного Кукушкина покупают! — подтвердил, согласился вкрадчивый Базилик и вдруг улыбнулся. И Одинцов, поймав эту улыбку в зеркальце, даже испугался малость за того Кукушкина. Настолько страшненькое, беспощадное выраженье соскользнуло с лица Базилика. — Кукушкин пишет допотопные церквушки, вымирающие деревеньки, травушку-муравушку загнивающую... А поди ж ты, имеет спрос! Тогда как Кукушкину двести лет! Он — передвижник! Мастодонт. Хотя и ровесник мне... Рутинка, дряхлятина. И берут. А здесь ты каждым мазком мыслишь, каждым оттенком скандалишь, ищешь... Да, да, именно — скандалишь! Со старичками. Не боишься. А в результате — висишь и граждане от тебя глаза отворачивают.

Одинцову тогда Василиса моментально понравилась. «Такие девушки, — подумал он грустно, — могут встретиться только в журналах. Да и то в импортных».

Золоторусая, стриженная коротко и как-то заливчато, будто венчик ее волос все время вращался. Черты лица нежные, хотя и крупные, броские. На загорелом теле белая футболка с изображением собаки.

Одинцову захотелось оглянуться и что-нибудь сказать. Оригинальное. Умное. Захотелось обратить на себя внимание девушки. Но вклиниться запросто в чужой разговор Одинцов не посмел. Тем более в такой неприятный разговор... Василиса и Базиликин, можно сказать, бранились, а не разговаривали. Он не знал, что для некоторых людей подобный разговор — норма. Что, издеваясь друг над другом, они якобы утверждают себя на земле.

Одинцов не стал бы прислушиваться. Но его взволновала Василиса. Что поделаться... Жадна молодость на красоту. Из разговора Одинцов понял, что где-то, скорей всего в лавке художников, продавались работы Базиликина. Но их почему-то не покупали. Зато покупали картины какого-то Кукушкина.

— Я не хочу тебя обидеть, Базиликин. Ты не бездарен. Как бы мне помягче выразиться... Ты не бездарен. Ты мертв. Ни одна твоя картинка не греет, не волнует. Они, твои работы... все кричат, а я их не слышу. Рот разевают, а звука нет.

Одинцова потянуло к зеркальцу. Ему было интересно узнать: после такой критики все еще улыбается Базиликин или сник? Однако — улыбается! Только чуть бледнее сделался. И глаза веками прикрыл. Глаза прикрыл, а рот щелочкой зияет... Губы не сходятся, словно кожи ему не хватает. Ну и улыбочка...

«Если он ее ударит, — решил про себя Одинцов, — остановлю машину и выброшу кавалера на панель».

Но Базиликин сам попросился из машины. Он вдруг, как заяц в мультфильме, быстро-быстро забарабанил ладонью по креслу Одинцова. Стоп, значит!

Остановились возле Кунсткамеры, не доезжая Университета. Базиликин, сидевший у правой двери, дернулся из машины, но Василиса ухватила его за рукав вельветовой блузы.

— Постой, Базиликин! От себя не убежишь... Мы ведь с тобой одинаковые.

— Змея...

— А ты червяк, Базиликин. И мы оба ползем с тобой к заветной цели.

Тогда Базиликин довольно сильно ударил ее по руке, высвобождая свой рукав. Потом, захлопнув дверцу машины, скачками, опять же как заяц, побежал переулком в сторону от Невы.

— Догнать художника? — поинтересовался Одинцов.

— Еще чего! Догонять такое... Сам прибежит.

— Какие будут указания?

— А вы поезжайте... знаете куда? — Василиса посмотрела на матовое стекло плафончика под потолком. — К Сереже Копейкину! Здесь недалеко...

— А точнее?

— Поезжайте на Пятнадцатую линию. К Малому проспекту.

Возле старинного, давно созревшего для капремонта строения девушка прикоснулась к плечу Одинцова. Остановились. Николаю хотелось подуть на свое плечо: так его жгло прикосновение Василисы.

— Одинцов... Николай... Андреевич, — глядя на бирочку с фамилией шофера, произнесла Василиса. — А сейчас пойдемте, Николай Андреевич. Я познакомлю вас с настоящим художником.

— С Сережей Копейкиным? — медленно развернулся на сиденье Одинцов, задержав прищуренный от смущения взгляд на прекрасном лице пассажирки. — Вот что. Если вы кошелек забыли или еще что-нибудь в этом роде... не переживайте! Да тут и нащелкало-то пустяки сущие.

— Базиликин, мерзавец, сбежал... А деньги у него.

— Откуда у Базиликина деньги, если его не покупают? Деньги у Кукушкина.

— Вот как... У вас, Николай Андреевич, хороший слух.

— Нормальный слух. Просто вы оба кричали. А если откровенно, лицо ваше виновато. Увидел в зеркальце... и наострил уши.

— И что же это за лицо такое у меня?

— Самы знаете... Красивое лицо. Редкое.

— Ах вот оно что. Ну, так как же? Познакомить вас с Сережей Копейкиным? Этот наверняка расплатится. Не сбежит...

— А что?! Была не была... Знакомьте!

Прошли в каменный дворик, залитый бугристым асфальтом, под которым, как под тонким одеялом, угадывался петровских времен булыжник. В подвале здания

размещался овощной магазинчик, и все этажи сооружения пропахли кислой капустой.

Поднялись по затхлой прохладной лестнице на пятый, предпоследний этаж. Остановились перед дверью, увешанной звонками с множеством фамилий на табличках.

Василиса позвонила в общий звонок. Долго не открывали. Наконец дверь вздохнула и разверзлась. В прихожей толпились перепуганные жильцы. В основном пожилые люди. С молчаливым криком в глазах осмотрели они собаку, изображенную на груди Василисы. И так же молча рассосались по закоулкам необъятной квартиры.

Девушка уверенно пересекла прихожую. Выбрала из множества дверей самую невзрачную, одностворчатую. Такая задрипанная дверца... То ли от чулана, то ли еще от какого места пользования. Постучала. Не дожидаясь приглашения, вошла в щель.

Одинцов пригнулся и нырнул следом. И чуть не сломал себе ногу. В полумраке он не заметил три ступеньки, ведущие от порога к полу. Чтобы удержать равновесие, пришлось ненадолго обнять Василису, проехав правой рукой по изображению собаки.

— Извините...

Василиса молча освободилась от объятий Одинцова, затем склонилась к серой куче какого-то тряпья.

— Копейкин! Хватит валяться... Встречай гостей, Копейкин!

Тем временем Одинцов пытался сориентироваться. Свет в помещении падал из окна-бойницы, расположенного на высоте протянутой руки. Потолка в тесной комнатенке и вовсе как бы не было... «Оригинальная берлога, — подумалось шоферу. — И куда это она меня закинула?»

Из тряпья кто-то выскочил. Какое-то существо живое. И вдруг высоко-высоко, будто звезда в небе, зажглась электролампочка!

И тут оказалось, что в берлоге есть мебель: небольшая кушетка дореволюционного образца, канцелярский стул и даже фанерный стол, правда полностью забрызганный красками и напоминавший своею поверхностью работы художников-беспредметников.

На канцелярском стуле внушительная стопка книг, вернее, альбомов по искусству. В углу, под самым окном, мольберт. На нем в подрамнике картина, завешенная зеленым махровым полотенцем. И вообще, комнатка довольно опрятная: пол подметен, окурки лежали в ведро-

нице, порожних бутылок из-под «вчерашнего» не наблюдалось.

Изнутри жилище Копейкина напоминало квадратную полу башню. Видимо, при очередной перестройке комнату над Копейкиным, то есть на шестом этаже, от остальной жилплощади отсекли, дверь в нее замуровали, а потолок, отделяющий ее от вместилища Копейкина, разобрали. И получился занятный уродец. Площадь на дне образовавшейся шахты по-прежнему не превышала восьми квадратных метров, тогда как кубатура жилого столбца уводила ваш взгляд поистине в дали космические...

— Копейкин! Уплати товарищу два рубля. И заодно познакомься: Николай Андреевич Одинцов — шофер такси.

Копейкин, встав на цыпочки, дотянулся до подоконника, снял оттуда какой-то продолговатый предмет. Оказалось: протез руки. Резким движением подбросил порожний левый рукав ковбойки. Материя опустилась, обнажив культю. Правой рукой лозко пристегнул протез.

— Два, стало быть, рубля, Васенька? Вот поэтому? Ну и сухарь ты, шоферюга! Нету в тебе, тискачать, восторгу, духу романтичного нема! С такой феи денежки требуют... — Копейкин откровенно паясничал, прикидывался неграмотным скобарем, противно комкал слова. Он вплотную подошел к Одинцову и оказался чуть ниже его. Чтобы сравняться, привстал на носках, выпятил вверх рыжую с проседью бородку.

«А парень-то в годах, — отметил про себя Одинцов, — лет под сорок. Инвалид... И скорее всего — обыкновенный, не инвалид войны. Для военного инвалида молод».

— А ведь я к вам и не за деньгами вовсе... Меня познакомиться пригласили. С Сережей Копейкиным. Вы серьезно — художником работаете?

— А вы серьезно — шофером?

— Шофером, шофером... Разве не ясно?

— А вам разве не ясно? Что Копейкин — художник?!

— Видите ли... Это еще надо посмотреть. Взглянуть хорошо бы...

— Василиса! — повернулся к девушке однорукий. — Кого ты мне привела? Я протестую! На кой мне такие недоверчивые гости? Ты ведь знаешь, как я трудно схожусь с людьми. Я болеть три дня буду. Для тебя — забава, а для меня — муки ачки! Бяда-горезаныще! Так что, стало быть, прощай, шоферюга. Бяри рубли и газуй!

Копейкин нашарил в штанах две жалкие бумажки. Стал их совать чуть ли не в рот Одинцову.

Николай знал, что пора ему уходить отсюда. Драться с инвалидом грех. Унижаться перед ним еще более нестерпимая пакость. Он сам не понимал, что его удерживало, не отпускало.

Внезапно Одинцов ощутил на себе взгляд — азартный, беспокойный, в меру капризный. Женский взгляд. Этот взгляд ничего не обещал Одинцову. Но он возник. Он расцвел. И теперь, как дикий цветок, тянулся в мир из глубины зеленых глаз Василисы. Он-то и не отпускал, взгляд этот... Уйти? Оторвать его от себя? Навсегда утратить? А что если...

— Ребята... Не торопитесь с выводами. Советую приглядеться. Может, я интересный человек? Думаю много... Читаю, вижу. Я живой, ребята! Не хороните меня раньше времени. Без экспертизы...

— Ишь ты... Оказывается, он думает много... Смекает, стало бы! И чем же? Каким инструментом, если не секрет? А главное — о чем? О каких проблемах думать изволите?

— А вот, скажем, почему люди злятся друг на друга? Почему недоверие куда ни ткнись? Я, может, очень дружить хочу... Друзья мне очень необходимы. Конечно, школа, армия... Были друзья. Но — до последнего звонка. А разъехались — и где они? В институт поступил. Думал: уж там-то, в студенческой среде, найдутся. Год поучился — плюнул. Не то что друга — приятеля не нашлось. Каждый в себе, в своих соображениях. Такой деловой народ пошел — беда! Не только о любви или там о дружбе — о стишках не с кем поговорить: засмеют! Ничего на свете не боятся, ничего не стесняются, кроме... нежности, милосердия. Сентиментальными боятся прослыть. Зато уж по пьянке о чем угодно болтают... Только ведь это не разговор, а бред какой-то. Я, может, полюбить хочу! И не стесняюсь об этом сказать. Как-никак — один раз живем. Не успеешь оглянуться, а вместо любви тебе пенсия вышла.

— Присели бы, Николай Андреевич, — поежилась легко одетая Василиса: в башне Копейкина было холоднее, чем на улице. — Такие странные речи, Николай Андреевич... Обвиняете всех огулом в черствости. А к людям подход нужно иметь. Себя-то небось к добрым причисляете? — Василиса убрала со стула альбомы, усадила Одинцова.

— Чудной какой-то шоферюга попался. — пробубнил

себе под нос Копейкин и, вынув из-под стола блестящий, как елочная игрушка, чайник, пошел на кухню.

— Это я так... — заулыбался Василисе Одинцов. — Чтобы внимание привлечь... Ваше.

— Мое? Вы что же — и со мной хотите дружбу завести?

— Вы мне понравились...

— Вот те на! Ну, предположим — понравилась... А для чего? Вот вы много думаете, читаете. Стало быть, знаете, для чего люди друг другу нравятся?

— Знаю. Чтобы... цветы дарить, свидания назначать. Чтобы радоваться. Давайте встретимся еще! Хотя бы разок. Ну, не пойдет дальше... не завяжутся отношения... прощаемся.

Василиса смотрела на Одинцова во все глаза. Смотрела весело, без напряжения. Как детский фильм.

— А вдруг я не одна? Вдруг да у меня муж хороший, тихий? Вы, что же, хотите его несчастным сделать? — шутила Василиса.

— Ничего плохого я не предлагаю... Да и нет у вас мужа. И не потому, что кольцо обручальное отсутствует... У вас глаза еще свободные, безоблачные.

— Какие-какие?

— Неомраченные. Так что — нету мужа... А Базиликин не в счет. У него картины не покупают. Сами сказали, что он мертвый. А я живой! Денег получаю много. В этом году на своих «Жигулях» буду ездить. Что еще? Плохого во мне в меру...

Вернулся Копейкин с кипятком. Принялся заваривать чай.

— Не отчалил еще? Мотри, извозчик, если так будешь работать, попрут тебя с должности, отымут кобылу. Чаю хочешь?

— Покажите картину, — шагнул Одинцов к мольберту. — Впервые настоящего художника вижу... не считая Базиликина.

— Ах вон оно что! — грохнул Копейкин протезом по столу. — Базиликин объявился! Стало быть, с Базиликиным катались? С гением?! А чай пить к Копейкину приехали? Где логика, водитель? Базиликин шпана! Тискачать... А Копейкин...

— Мечтатель. И подкажники! — И тут Василиса широким жестом откинула с мольберта полотенце. Закрепленный в подрамнике, представил перед Одинцовым портрет...

В глубине картины, фоном — затворенное окно, синева небесная за стеклами. Крестовина рамы. В центре этой крестовины художник расположил спокойное лицо Василисы. Наклон головы чуть вниз и влево. Типичная для изображений мадонны постановка. Только в руках не младенец, а веточка с шипами и алой розой. Лицо написано тщательно и очень гладко, в академической манере. Протяжным, утопленным мазком.

— Это он... вас?

— Как видишь. Нравится?

— Нравится. Правда, прическа другая...

На картине Василиса была с длинными распущенными волосами.

— Копейкин четыре года меня рисует. За это время я постриглась. До меня он дерево рисовал. Пять лет. Одно и то же дерево. Во дворе росло. Пока не засохло. Спилили недавно. Копейкин рисует, как молится. Он язычник. И редко меняет богов.

— Ничего себе... Пять лет одну картину рисовать! Этак с голоду можно умереть. С такой производительностью. — Одинцов вежливо кашлянул в свою широкую ладонь и озабоченно покачал головой.

— Не болесь, водитель... Писчу мы другим способом добываем. Афишки, плакаты, лозунги — все можем! А вот это, стало быть, для души, — вновь аккуратно завесил портрет Копейкин. — Это для умысла жизни. Чтобы кровь под кожей не протухла. Не зацвела чтобы. Пей чай, не ломайси!

— Спасибо, Сергей... Не знаю вашего отчества. Мне пора. Сменщик в парке дожидается. — Одинцов задрал голову, посмотрел на лампочку, как на далекую планету, и, словно бы решившись на отчаянный шаг, произнес: — Вот вы, Сергей, не доверяете мне... Подсмеиваетесь надо мной. Иронизируете. А мне хорошо. И я вас не осуждаю... за то, что вы такой невеселый, такой нервный. Ведь у вас такой талант! Может, чем помочь? Я с радостью! Ну, там краски, кисточки... Достать-привезти. На машине-то проще. Это ж... любить надо, чтобы так нарисовать! — кивнул Одинцов в сторону мольберта.

— А я и люблю, — серьезно произнес Копейкин.

— Рисовать?

Копейкин хмыкнул в ответ. Отвернулся от Одинцова и яростно дунул в кружку с крепким черным чаем.

— Пожалуй, я тоже пойду, — засобиравлась Василиса.

Подошла под льющийся с высоты окна свет. Достала из сумочки зеркальце, поколдовала над лицом.

— А для чего были-то? — оторвался от чая Копейкин. — Знакомиться приезжали? Друзей заводить? Не за двумя же рублями...

— К художнику приезжали! — не растерялся Одинцов.

В дверях он незаметно отшвырнул от себя назад в комнату жалкие рублишки.

Вышли наружу. Василиса торопливо принялась рассказывать о том, какой он хороший, несчастный и талантливый, этот Копейкин. Какой бессребреник и оригинал.

— Любит вас, — определил Одинцов. — Четыре года одно и то же... лицо рисует. В плену лица находится. А что это у него с рукой. Такая травма тяжелая... Когда это он?

— В послевоенные годы. Снаряд какой-то разряжал. Или мину. В Поповке. Где в войну линия фронта проходила. У него и лицо под бородой все исклевано. И в синих точечках... Его женщины не любят.

— А вы?

— А я люблю, — засмеялась она вдруг беззвучно, словно кошка зевнула.

— Куда вас теперь? — открыл дверцу такси Одинцов.

— Нет-нет. Я пройдусь. Мне тут недолго.

— Давайте все-таки встретимся. Когда-нибудь. — Одинцов смело посмотрел ей в глаза, в чистую весеннюю зелень взгляда. — Ну, так где... встретимся?

— На кладбище.

— Нет, я кроме шуток.

— И я серьезно... Предлагаю завтра. Не откладывая. Завтра у вас выходной? — Одинцов кивнул. — Тогда на Волковом кладбище. В полдень. Я там работаю. Сотрудником музея. И мне скучно бывает. Одной среди могил.

Одинцова подмывало спросить телефончик или адресок, но сообразив, что для начала и кладбища достаточно, развернулся и поехал на Конюшенную в парк.

Когда миновали ресторан «Околица», я прибазил скорость. На выезде из города, там, где на грубом постаменте танцует маленькая статуэтка девушки, решил я начать свой эксперимент: малость попугать влюбленных...

На вираже, где шоссейка вплотную к железной дороге выходит, слегка приподнял «Волгу» слева направо.

— Ты что, дорогой, уронить нас хочешь? — порозовел

и тоненько, предупреждаяще улыбнулся Базиликин. — Нам такой цирк ни к чему!

А Василиса за шю кавалера обхватила и тоже улыбается. Беззвучно. Только глаза потемнели, как травка после дождя.

Потом я на обгоне схулиганил. Встречным «Жигулям» ни миллиметра не уступил, не посторонился. Частник едва на залив не выехал. А я скорость прибавляю. Мимо контрольного пункта ГАИ как из пушки промчался! Смотрю в зеркальце, а инспектор из своей будки по лесенке вниз сыпанул. Должно быть, сейчас мотоцикл оседлает. Только я уже далеко...

— Послушай, парень... Что случилось? Почему такие гонки?

— Оставь его, Маратик, не раздражай. Не видишь, что ли, презирает он нас. Мы для него — господа, баре...

— Послушай-ка, шеф... — близорукий Базиликин потянулся к щитку в поисках таблички с фамилией шофера, и тут я им выдал первую порцию.

— Заткнись, хищник! — Это я у Копейкина таких словечек нахватался. — Я вам не «парень», я вам не «шеф»! А душа человеческая. Секёшь, Ван Гог вельветовый?!

— Ой! А я сразу подумала — Коля! Коля Одинцов... Заслонился: очки, кепочка... Воротник поднял. Зачем такой маскарад? Уж мы ли не знакомы?

— Они знакомы! А я-то думаю, почему такие выкрутасы? — Базиликин откинулся на спинку сиденья. Начал вытаскивать откуда-то из-под себя сигареты.

— У нас не курят! — строго объявил я художнику и в это время увидел в зеркальце желтую коляску инспектора, выскочившего из-за поворота в полукилометре от моей «Волги».

В тот день после визита к Копейкину, когда Одинцов познакомился и расстался с Василисой, приключения его романтические на этом не закончились.

Сдав сменщику «тачку», Николай почувствовал себя счастливым. И не потому, что доездил смену. Василиса ошастливила. Ведь с какой королевой познакомиться удалось!

А быть счастливым в одиночестве — у нормальных, здоровых людей такое не принято. По дороге к себе домой — а жил Одинцов тоже на Васильевском — проскочил он мимо зазевавшегося швейцара в пивной бар на Невском. Про-

скачил, хотя малый он был заметный: чуть выше среднего роста, чуть больше, чем нужно, вились его светлые волосы, чуть сильнее, нежели у остальных, успела загореть его кожа (возле Петропавловки, урывками), чуть шире, чем у других, были распахнуты в мир его серые глаза, так и не ставшие взрослыми. Польские джинсы, тенниска, тряпочные полуботинки... Сейчас он выпьет кружку светлого пива. Улыбнется хмурому питуху, молчащему в соленый горошек.

Рассказать бы кому о Василисе! Да вроде бы и нечего рассказывать. Ну, симпатичная пассажирка попалась... Ну, необычная: на кладбище свидание назначила. Кому сказать — не поверят. А он поверил, не усомнился.

— Слышь, мужик, — обратился Одинцов к хмурому, — раков хочешь? Под пиво?

Мужик долго с недоверием смотрел в озорные глаза Николая, не решаясь на разговор. Затем медленно и как-то виновато пододвинул свой горошек поближе к кружке Одинцова.

— У меня, парень, мама... старуха умерла. В больнице. Автобусом толкнуло... И дух вон. Старуха, парень, а все равно жалко. Теперь я один. Откуда у тебя раки? Давай, парень, лучше на бутылку сообразим...

Сообразили. Жалко мужика. Пробовал Одинцов в процессе «соображения» вклинить в разговор с мыслями о Василисе. Однако не пошло. Мужик гнул свою линию, подробно рассказывал о матери. Тогда Одинцов смирился, замолчал и уже только слушал, не перебивая. Целый час. Потом они разошлись.

Теплая светлая ночь наплывала на город исподволь, тактично. Не то что мужик со своей болячкой... Ночь уже наплатала сумраком светящийся воздух, но это не помешало молодой, необъезженной натуре Одинцова настроить душу на певучий, гремучий, восторженный лад! К тому же Василисино лицо так и стояло перед глазами, и вся она, резкая, сильная, умная, как бы впитала, проглотила несопротивлявшегося Одинцова!

И все-таки мужик с горошком малость подпортил вечер. Хмури тревожной подпустил. И теперь хоть и сбволакивала сиянием Василиса, но и грустная физиономия сорокалетнего сиротки тоже время от времени вспыхивала в памяти Одинцова. И ведь не знал он до сегодня мужика того угрюмого, тем более старухи его разнесчастной, а вот потревожили, и не прогнать из воображения.

По Дворцовому мосту перешел Одинцов за Неву. Приблизился к скверу на Пушкинской площади. Пошел по дуге рядом с парапетом, похлопывая по нагретому за день граниту, как по спине лошади. И где-то посередине дуги, на самом мысу Стрелки, увидел в белом воздухе парящую обнаженную фигурку девушки. Не застывшую, как на постаменте при выезде из города, а живую, медленно извивающуюся, поднимающую вверх то одну, то другую ногу, а руки — раскинуты крыльями...

Замер Одинцов, глазам не верит. Решил, что все одно к одному, что после Василисы в мозгах повреждение вышло... Да и выпил как-никак. Вот и пригрезилось.

Стад поближе подбираться, чтобы уяснить: видение это ему, мираж или еще какое явление? Крадется вдоль парапета. Пригнулся, чтобы не спугнуть чудо... И вдруг натывается на двух здоровенных парней. Грудь в грудь! Оказалось: спортсмены. Гимнасты. С тренировки возвращаются. Тут их на лавочке в сквере целая команда расселась. И на выступление своей примы смотрят. Романтика. Хорошее настроение. Необычная аудитория. А внизу, со скамьи, и впрямь, должно быть, красиво: девушка в трико, вся как бы в воздухе, в небе. А тут наверняка кто-то еще влюблен в нее... И теплый ветерок. И бензиновой гарью не пахнет, потому как ночь подступила. Белая, ленинградская.

Извинился Одинцов. Объяснил ребятам, что поближе хотел подобраться из-за плохой видимости, а не для того, чтобы девушку за ногу хватать. Единственно чего хотелось — удостовериться. Живая она? Или это все блажь, потому как он, Одинцов, сегодня немного не в себе?

— Понимаете... Иду. И вдруг в небе — девушка. Ну, мне и показалось, что это Василиса...

— Прекрасная? — уточнил один из гимнастов.

— Да нет же... Обыкновенная. С Васильевского острова. Познакомился недавно.

Улыбнулись парни беззлобно и отвернулись. А девушка встала на руки и уже танцевала в дальнейшем на руках.

Дома дедушка Славик, тощий безбородый Вячеслав Прокофьевич Одинцов, сгорбленный где-то вверху, в области шеи, участник гражданской войны, ходил по скрипучему паркету в валенках, поджидая внука на пельмени, которые сам время от времени лепил, обучившись этому делу в Сибири, еще во время очищения ее от колчаковцев.

Родители Николая переехали на жительство в другой, более теплый город, поближе к морю (у отца пошаливали

легкие). А Николай остался в Ленинграде с дедом. Как с нянькой. И одновременно — как с другом.

Дедушка Славик был внимательным человеком. Он следил за тем, чтобы внуку жилось уютно, сытно. Называл себя «пережитком» и пуще всего боялся разладить с внуком товарищеские отношения, стать молодому человеку в тягость. И потому даже кашлять выходил в туалет, позволяя внуку курить в комнате.

Дед постепенно забывал о себе. Подвижническая, жертвенная способность брала верх в его характере. Отшумевшая жизнь, в которой дедушке Славiku приходилось стрелять, ловить, служить, призывать к борьбе, страдать и наслаждаться, лежала теперь, как большое, закатное солнце, там, за холмом, и лучи ее постепенно тускнели, уже не освещая, а только окрашивая вечернее небо памяти...

Вышел срок его нужности обществу, и все, что сберег, не разметал в залихватских буднях старик, теперь переходило по наследству к внуку.

Сегодня, когда Николай вернулся домой так поздно и вдобавок распространял по комнате запах спиртного, дедушка Славик, всегда разговорчивый, оживленный, молча достал из-под подушки в углу дивана кастрюлю с пельменями, навывинчивал мелких, drobных пельмешек из нее в особую, внукову глубокую мисочку, залил их сметаной.

— Потребляй...

— Ты чего это мрачный такой, дедушка Славик?

— А чего принял-то? Или праздник какой? Может, в религию перешел? Ниловна, суседка, баила — троица завтра. Так не по тому ли случаю?

— Праздник, дедушка! У меня лично. Понимаешь, встретил хорошую девушку...

— И где же ты ее встретил, редкость такую? Небось на шаше подобрал? У меня таких праздников замаялся отмечать было...

— Единственную встретил! Веришь ли, дедушка, наповал сразила! Глазами зелеными повела, взглядом фантастическим... И — как шашкой! Выражаясь твоим языком... Короче говоря — снесла голову. Напрочь.

— Стрasti какие... — Дедушка крикнул, досадливо взбрыкнул головой, забегал, зашуршал валенками по вошечному паркету, одновременно натирая его до блеска.

Растраившись, обыкновенно дедушка Славик не уходил в себя, а начинал говорить о международном положении... такое своеобразное хобби у дедушки Славика было.

— Слыхал, Колька, а ефионцы-то своего императора тоже по шапке хвистнули, греховодника? А и то, почитай, во всем если мире-то императоров этих всего штук пять осталось. На пальцах пересчитать можно...

Комната у Одинцовых отличалась большими размерами. Высокий потолок, зал метров сорок квадратных. Коротче — старый фонд.

Дедушка Славик спал за ширмой, доставшейся ему от жены, Колькиной бабушки. Внук отгородил себе закуток двумя шкафами: книжным, в котором на полках кроме десятка книг лежали и стояли красивые камни, бутылки, кассетный магнитофон и даже старинный кинжал, а также шкафом платяным с мужскими немногочисленными «тряпками», как величали оба — и дед, и внук — носильные вещи.

Стоял возле окон еще и диван для общего пользования — мягкий, добрый, с различными углублениями и выпуклостями, на котором чаще всего «отдыхали» пельмени или же щи. Готовить щи дедушка Славик умел так же лихо, как и пельмени.

Уснул Одинцов после пельменей стремительно, на полной скорости ворвавшись в просторы сна.

Дедушка Славик еще долго «натирал» паркет, размышляя о поведении внука. Он воскрешал в деталях разговор, стараясь понять, насколько серьезно пострадал его подопечный, наскочив на бездымный дуэт зеленых глаз какой-то проходимки...

Спал Николай мощно, глубоко, с легким, невязким храпом. Поднялся свежим и радостным. И сразу же вспомнил о Василисе. О свидании, которое она ему назначила.

Долго отмывал от затхлости рот, чистил зубы, брился. Переменил майку, трусы, тенниску и носки.

Сел на сорок четвертый, поехал автобусом, не спеша, заранее в сторону Волкова кладбища.

Василису нашел внутри прохладной церкви, приспособленной под мемориальный музей. Внутри помещения вдоль грубых, неколебимых, можно сказать, неприступных стен установлены были аляповатые гипсовые бюсты великих писателей, похороненных, как выяснилось в дальнейшем, на этом вот маленьком тихом островке русской земли, сплошь усаженной огромными древними деревьями, прочно державшими в своих когтях-корнях могилы замечательных людей, живших некогда в Петербурге-Ленинграде.

Василиса повела Одинцова осматривать кладбище. Когда шли по одной из дорожек, Николай обратил внимание Василисы на могучее неохватное дерево, серебристый тополь, в ствол которого, прямо в плоть древесную, глубоко вросла металлическая оградка давно осевшей полуисчезнувшей могилы.

Подошли к одной из оград. Василиса белыми пальцами схватила, оплела в черный цвет окрашенное железо, оперлась о него подбородком. В ограде — светлого мрамора плиты. Над крайней справа плитой — стела с миниатюрным портретом мужчины.

«Знакомое лицо», — подумал Николай. И тут же прочитал вслух:

— Блок! Александр Александрович! Неужели... тот самый? Который великий поэт? — заволновался, закрутил, как дедушка Славик, головой Одинцов.

— Тот самый...

— В мозгах не укладывается... Поэт! Стихи в школе разучивали. И вдруг... Как все. Лежит в земле. А цветов-то сколько нанесли! Неужели посторонние люди с цветами приходят? Небось ваши работники?

— Ну, что ты, Коля. У Блока всегда много цветов.

Продвинулись в глубь кладбища. По глазам Одинцова, как ветки в лесу, стегали неожиданно знакомые фамилии... Гаршин, Куприн, Белинский, Тургенев, Гончаров, Лесков...

У писателя Лескова могилка бедная. Даже какая-то убогая. Крест на камне покосился. Оградки нет.

Подвернулась как-то Одинцову изданная для старшеклассников повесть этого писателя «Очарованный странник». Вот где приключения! Вот где человек испытал всякого... А потом телефильм по этой повести показывали. И дедушке Славiku он понравился весьма. Даже на другой день вспоминал о фильме, а про щетину, которую главному герою в пятки зашили, чтобы он из плена не убежал, говорил с каким-то особенным, сугубо солдатским, мужским восхищением.

Одинцов улыбнулся виновато Василисе, несмело попенял ей по поводу бедной могилы.

— Такой хороший писатель. А вот без мрамора.

— Денег у нашего музея маловато. К тому же письмо какое-то нашлось. Где Лесков якобы затащил ничего, кроме креста простого: на его могиле не ставить.

— Так пусть хотя бы крест выпрямят. А цветов я ему

сам как-нибудь привезу. До Кузнечного рынка отсюда рукой подать...

Василиса меня за ухо взяла. Не больно. Наоборот — нежно так. И по щеке гладит... Значит, недоброе почуяла. Тревога и в нее вошла. Базиликин — тот гораздо раньше ее струхнул. На первом вираже. Так что Василиса покрепче его будет. В смысле нервочек. И вот теперь тоже заюлила. В голосе ласка:

— Николаша, послушай... Ну, попугал Базиликина — и довольно. Меня-то зачем пугать? В аварию попадешь сгоряча. Базиликин следствию показания даст... Да тише ты, ненормальный! Себя и нас устроишь!

Машины вынесло на обочину. Слышу: гравий по днищу забарабанил. Чую: колеса едва удержались над кюветом, но все же постепенно выбрались на асфальт и дальше покатались...

А инспектор протстал. Наверное, в ближайший населенный пункт уже сообщили. В Лисьем Носу встречать меня будут. С музыкой... Надо, чтобы они теперь прощения попросили. И не Базиликин, а Василиса чтобы... Ну, девка, проси прощения!

И я специально на всем ходу поддел бампером доски, огораживающие какую-то колдобину. Удачно поддел. Всю ограду как языком слизало вправо от машины, если по ходу движения смотреть... Машину подкинуло. Потом ударило. Парочка моя в салоне до потолка подлетела. Руками за мою шею ухватиться норовят. А я дальше на газ жму. Жму, а уши мои ловят: когда Василиса прощения будет просить, когда на колени мысленно встанет?

С того дня, как посетил Одинцов Волково кладбище, произошло в нем оживление. Внутри, в сознании.словно росло во дворе каменное дерево в вечном безветрии, стояло, молчало. Листочком самым малым шевельнуть было лень... Тишь, благодать, спокойствие. И вдруг снесли старый дом, и налетел ветерок-ветер! Потянул откуда-то со стороны прохлады, северной. И зашевелилась, зашебарщила листва... Ветви в движение пришли. Соки под корой-кожей потекли стремительней! Ожило дерево...

С той поры повлекло Одинцова к книге. Писателя Лескова в библиотеке районной всего, что было там, прочел. За два месяца так наелся литературой, что план перестал выполнять. На стоянке уткнется в книжищу, таксисты ему из очереди сигналят — продвигайся, мол, давай, а Ни-

колай их не слышит. Ну и обскачут незамедлительно.

Единственно, где он теперь не читал, — это на свиданиях с Василисой. А встречались они чуть ли не каждый день. Василиса звала его Николашей, сама целовала в губы. Заходила даже к Одинцову домой. И только к себе не приглашала никогда.

— У меня, Николаша, нет дома. Мать с отчимом есть, квартира двухкомнатная есть, книги, бронза, картины из комиссионки... Телек цветной, бутылки иностранные в баре... Все это стоит, висит, пылится, мерцает и светится. А жизни там для меня нет. Для них это жизнь. А для меня, сам понимаешь, мешанское болото. Единственное спасение: свой, автономный угол. Короче говоря — однокомнатный кооператив.

И не хватало для этого, как выяснилось позже, каких-то полутора тысяч...

Собирали деньги всем миром. Даже однорукий Копейкин пару сотен пожертвовал. Не говоря о Базиликине, с которым у Василисы, по ее словам, все было кончено, хотя и «ничего не было».

— Базиликин на двух стульях сидит. Двум богам молится. Такие гении, как правило, в преступников перерождаются: в бандитов от пера или кисти... — Василиса искренне обливала грязью бывшего кавалера. — Но деньги я от него приму. Подумаешь, триста рублей! Отдам. Отдадим, Николаша?.. — улыбалась она Одинцову, озеленяя окружающий мир своим весенним взглядом.

Зря он, конечно, на заре знакомства сморозил про собственные «Жигули», которые якобы скоро должен приобрести. Как теперь доставать Василисе деньги на кооператив? Где взять недостающие восемьсот рублей? А выручать Василису необходимо. Она там задыхается... в «болоте». Задыхается, зная, что у него как минимум несколько тысяч на книжке. А тысяч-то и не было никаких. Хвастовство было. И еще — у дедушки Славика в книжном шкафу экая сумма имелась. И лежала она в книге воспоминаний маршала Жукова. Август вошел в город — солнечный, такой же, как июль, теплый, благостный. Лето не иссякало. В одно из воскресений увлекла Василиса Одинцова на пляж к Петропавловской крепости.

Нашли возле крепостной стены местечко шириной в полторы спины. Василиса разделась. Одинцов раздеваться медлил. Что-то не позволяло. Не то чтобы он стеснялся девушки. нет... Правильнее сказать: боялся напугать ее

грубой, неизвестной наготой своей. А то, что она не побо-
ялась, истолковал по-своему: с художниками водится... Не-
бось рисуют они ее. Вон Копейкин четыре года мусолит.

Решил спросить у Василисы негромко, на ухо:

— Послушай, Вася-Василиса... Тебя художники голую
рисовали?

— Рисовали. В купальнике. Вот как сейчас я... А что?
Разве нельзя? Или некрасиво?

— Красиво...

Она оттолкнулась от стены, затем пошла, побежала к
воде. Успевшее за лето посмуглеть, тело ее отливало ме-
таллом. Одинцов упал на песок, продолжая смотреть на
Василису, которая золотой статуэткой вспыхнула на синем
сукне безоблачного неба.

Они поплавали немного. Вода в Неве хотя и не родни-
ковой свежести, но мягкая удивительно и не перегретая,
как на юге, освежает мгновенно.

Там же, в воде, Василиса дала понять Николаю, что
деньги ей нужны срочно. Иначе затея с кооперативом по-
терять смысл.

*Они уже бьют меня по голове... Правда, чем-то мягким.
Это Василиса, должно быть. Сумочкой. Знают, что по ру-
кам меня бить опасно: могу потерять упразднение.*

*Василиса кричит, но еще не плачет. Базиликин уткнул-
ся лицом в ладони, и голова его мотается по салону, как
маятник.*

— Плачь, плачь, Василиса! — кричу я весело. — Сей-
час разобьемся вдребезги!

— Возьми, возьми свои деньги, подонок!

Смотрю: сует какие-то бумажки... Ах, дура, ах, ненор-
мальная! Она решила, что я из-за денег расстроился...

Светало. В гулком дворе уже давно трещали воробьи,
стонали самцы-голуби, а в вышине каменного колодца
плескалась синева небесная, пронизанная солнцем.

Одинцов лежал на тахте за шкафами. Валялся после
бессонной ночи. Лежал и видел сквозь доски большую,
тяжелую книгу. Книгу, которую очень любил перечиты-
вать дедушка Славик. В этой книге, как в сберегательной
кассе, хранил дед свои капиталы из пенсионных остатков.
Хотел в итоге на эти деньги внуку шикарный гардероб
сделать ко дню свадьбы.

Дедушка Славик не раз выручал Николая то десяткой,
то пятеркой. Но затем вновь пополнял «копилку», и с не-

которых пор там отслоилась определенная нерушимая сумма. Принадлежала она как бы обоим Одинцовым, но все же руководил копилкой дед, и брат из нее без разрешения «директора» было нехорошо, неприятно. А брат нужно было именно сейчас. Сегодня! Сию минуту. Брат и бегом нести Василисе.

В зашкафном закутке имелся у Одинцова маленький столик для ночного чтения. За этим столиком Николай раз в месяц писал матери письмо. После чего становилось ему как бы легче дышать. И сейчас, оторвавшись от дивана, пробрался он к спасительному столику. Открыл толстую «общую» тетрадь, не думая написал шариковой ручкой письмо. Дедушке Слазiku. Который в данный момент кряхтел у себя за ширмой.

«Дед, не презирай меня. Нужны срочно деньги. Восемьсот ре. Иначе одному очень хорошему человеку будет плохо. Я взял деньги из маршала Жукова... Не презирай! Я сам себя презираю. Но объяснить на словах нет времени... И — смелости. А тут еще дорога каждая минута. Буду работать как зверь и все тебе верну до копейки. Я тебя очень люблю, но что мне делать? Твой Колька».

Одинцов рванул из тетрадки исписанный лист. С нетерпением дождался, когда дедушка Слазик проскрипел по паркету на кухню. Открыл дверцы шкафа, извлек мемуары. Деньги лежали не в кучке, а по всему тому разложенные. Зеленые пятидесятки. Штук двадцать. Собрал их почти все. Вложил в книгу свое послание. Затворил дверцы. На середину обеденного стола положил купленный заранее баллончик с валидолом. И, не прощаясь с дедом, выбежал из квартиры.

В таксопарке пожилой сменщик, разминая ладонями усталое, морщинистое лицо, слабенько улыбнулся Одинцову, который бегал вокруг машины, с нетерпением ожидая, когда механик даст «добро» и можно будет рвануть за ворота.

Сменщик дядя Вася в этом году должен был, как он сам выразился, «выехать» на пенсию. И потому не спешил... Не спешил, когда развозил по городу людей, редко шел на обгон, не рвался на заказы, ездил по городу плавно и как-то внимательно, словно прощался с дорогой и потому желал побольше запомнить, уяснить. Не спешил он и в парке. Приглядывался к людям, машинам. Помогал слесарям, делился секретами с молодым человеком. Конечно говоря, заранее, еще до ухода на заслуженный

отдых волновался и переживал будущее одиночество.

— Ты чего это, Николай, козлом скачешь? Или опаздываешь куда? Спешить надо медленно. Знаешь такой закон? Нельзя в бешенстве за руль садиться... Пошли в столовую, минералкой со льда угощу.

Первым делом отвез Николай деньги Василисе. Он давно уже знал, где она проживает. Не раз провожал ее до двери...

Открыла высокая заспанная женщина. В бигудях. С папироской во рту. Чем-то напоминавшая Василису. Зеленью глаз — вот чем. И всем остальным: брови четкие, нос острый, не копеечный. Рот из больших и широких губ. Достоинство! Вот, вот... Такая осанка во всем облике внушительная. И в Василисе это же сквозит.

— Доброе утро! — петушком пропел Одинцов, восторженно улыбаясь.

Женщина стояла в дверях и курила. Невозмутимо. Она рассматривала незнакомого высокого парня сосредоточенно. Зная толк в этом матерьяле.

— А вы не ошиблись? Вам сюда? — прошумела она, как ветер осенний, прокуренным женским басом.

— Мне... Я... Мы договорились. Василиса и я. Позовите, пожалуйста...

— Девочка спит. Взгляните-ка на часы, молодой человек.

— Семь...

— Без семи. Для вас это утро. А для девочки ночь.

— Тогда передайте ей конверт. Подождите, я заклею. — Одинцов послунил треугольный вырез в тяжелом, весомом конверте, обжал бумагу пальцами. — Вот, передайте. Она ждет.

— Хорошо, передам.

— До свидания!

Мадам не ответила. Она глубоко затянулась из папироски и плотно прикрыла створку. Щелкнули запоры в мягкой, обитой дерматином, двери. На площадке после женщины осталось небольшое голубенькое облако дыма.

Смену Одинцов едва отъездил. Работа не кленлась. Нагрубил одному молоденькому лейтенанту, без разрешения закулившему в салоне. Дважды запаздывал с торможением и налетал с желтого на красный свет. Потом его за нарушение рядности догнал и остановил старшина, штрафовав на рубль. И даже днем, когда дозвонился до Васи-

лисы и получил веселое «спасибо» по проводу, так и не остыл, не успокоился. Думал непрестанно о дедушке Славике. И в пот бросало при мысли о «занятии» денег, и слезы вспыхивали в глазах, застилая проезжую часть. И не мог он нормально работать, пока не примчался на обед домой, пока не ворвался бешеным аллюром в комнату, которая так и застенала паркетом.

Дед накрывал на стол как ни в чем не бывало. Себе тарелку плоскую, на дне которой лавровый листик был нарисован и который постоянно хотелось вынуть из тарелки, — внуку мисочку глубокую, особую. Разливал щи, шумел ложечкой, размешивая в банке сметану.

— Ты чего, Колька, валидол, что ли, потребляешь? Не рано ли? Шофер называется...

— Да нет... Это я вам...

— «Вам»? Кому это — «вам»? Ты что, малость перебрал с вечера? Навроде тверезый укладывался... Ишь ты, уважительный какой. На «вы» с дедом... Культура, мать честная! Али впрямь — того? Влюбился в девку? Вляпался? Как хоть зовут красавицу?

— Так я ж тебя с ней знакомил, дедушка... Василисой ее зовут.

— Это которая стриженная? С ней все еще? Как не помнить? Деловая больно. Глазами так и проверила меня всего. Так ребра и пересчитала. Крутая будет впоследствии. Ну, да не мне судить.

— Дедушка Славик... — и вдруг Одинцов на колени перед дедом становится. Глаза поднял, губы трясутся. — А я вам, дедушка, записку оставил... Потому что — преступление совершил!

— Бог с тобой, Коленка!.. Чего ты меня пугаешь? Какое такое преступление?! Убил? Сшиб кого?!

— Нет... нет! Другое вовсе. Я у тебя деньги украл. Смелости не хватило попросить.

— Фу-ты, господи... Напугал до смерти. Какие у меня деньги? Наши это, твои... У себя взял. Встань, дурной, с коленей-то, встань. Джипсы, гляди, протрешь... Уф, дьявол, душонку чуть не сморил. Так и зашлась. Ну, думаю, все — наехал на кого, раздавил. — Дед обхватил обеими руками голову внука, потянул вверх, к себе. Прижал к ватной своей безрукавке, душегрейке... И так они помолчали. Долго. Пока не поняли оба, что — пронесли. Что можно жить дальше безбоязненно.

А неделю спустя Одинцов Копейкина встретил. Худож-

ника однорукого. Выскочил Николай из метро на Васильевском острове. Вокруг цветы, мороженое, пирожки продают. И вдруг ему под ноги крутобокий, поджаристый пирожок подкатился. Не рассчитал Одинцов движения, на пирожок наступил. Щелкнул тот, как пузырь рыбный, и струйка горячего повидла на асфальт из него выскочила. Беда!

Посмотрел, а перед ним Сережа Копейкин. Это у него из руки пирожок выскользнул. Купил-то, видимо, два. Ну, и не справился. На плече у Копейкина этюдник тяжелый висит. Должно быть, за город ездил. Рисовать с натуры.

— Здравствуйте, Сережа... Это я вам пирожок раздал. Давайте я вам новый, то есть другой куплю... На природу ездили? А говорите, что ничего, кроме Василисиного лица, не рисуете.

— Закончил я... это лицо. Достаточно. Потому как обман зрения. Не больше.

— Что — обман зрения? Василиса?

— Красота ее — обман.

— Не понимаю... Вы что — поссорились? Из-за меня? Глупо. Разве лицо виновато?

— Василиса... с Базиликиным — расписались.

— Почему расписались? То есть — как это понять? Я ее вчера видел... И она бы мне сказала про такое. Этого не может быть, Копейкин! — Одинцов потянул за лямку этюдника. — Ты чокнулся, Копейкин. Завидуешь... Ван Гог вяленый!

Копейкин грустно улыбнулся в рыжую с серебром бордку свою, синяя татуировка вросших в лицо порошинок чуть ярче обычного высветилась на побледневшем лице.

— Дерьмо твоя Василиса, — прошептал он, мужественно глядя Одинцову куда-то в переносицу.

И до Одинцова дошло... Понял. Поверил.

— Но почему?! Почему Базиликин? Этот трус, злобный хорек смазливый...

— А вот потому. Потому что смазливый. Вкусный потому что... Профиль у него... А у тебя — так... Подсобное хозяйство.

— Пусть! Все могу понять. Одного не переварить: почему — Базиликин? Почему обязательно расписываться с ним?

— Для того, чтобы в кооператив поступить. Теперь у нее своя квартира будет. Базиликин все равно в мастерской обитает. Тут расчет...

— Так ведь Базиликин женатый человек! Как же так?

— Оказывается, развелся давно... Алименты платит.

— Не верю! Ни одному слову не верю! Пока сам не увижу... Своими глазами.

— Пойдем.

Копейкин потопал, не оглядываясь. Повел молча Одинцова за собой. Как собаку.

Вышли куда-то в конец Васильевского острова. К Смоленскому кладбищу. Не дойдя до него метров сто, поднялись на лифте старого кирпичного дома под самую его крышу.

Двери мастерской были не заперты. Солнце перегревало железную кровлю, и для охлаждения были открыты окна и двери. Вернее, это были даже не окна, а стенка стеклянная. И в ней большая форточка-фрамуга откинута — для ветерка.

На диване лежала Василиса. Одинцов не сразу сообразил, что она раздета, настолько густой образовался на ней загар. Она лежала на боку, под мышкой у нее большая подушка. Она читала. А Базиликин ее рисовал. Трудился. Он бегал, тоже почти голый, в серебристых шортах, грудь в черных волосах, как в кольчуге. Он тяжело дышал, кричал, фыркал, словно телегу вез. Беря разбег и держа в одной руке лопаточку-мастихин, в другой тюбик с краской, он напускался на холст, который изображал что-то бледное, какое-то облако с овальными сексуальными формами, и, выдавив куда-то в определенное место красный червяк краски, затем резко размазывал его лопаточкой, делая при этом почти танцевальные движения.

— Это правда?! — закричал с порога, как мальчишка, розовый, едва не плачущий Одинцов.

Василиса быстрым движением натянула на себя валявшийся на диване в ногах махровый халатик. Захлопнула книгу.

Базиликин сразу же улыбнулся, хищно раздвинув в улыбке усики. Но работу свою бешеную не прекратил и все чего-то мазал, скоблил, выдавливал, хотя уже не кричал картинно.

— Это правда, вы — поженились?

— А разве нельзя? Или это некрасиво? Зря ты так распсиховался, Николаша... Деньги я тебе...

Одинцов зажал уши кулаками. Он мог бы их всех тут избить, искалечить, измять, истоптать... Но он зажал уши и побежал вниз по лестнице, пропахшей кошками, деше-

вым вином и древним камнем, впитавшим в себя более сотни лет со всеми их запахами, звуками, мыслями...

Он бродил по городу весь день. Вышел куда-то на окраину и даже очутился в лесу. Затем опять вернулся в город. Уже к ночи. И вдруг ему показалось, что город опустел. Что люди из него уехали все до одного человека. Или — вымерли.

Прочно стемнело. И на улицах действительно не стало прохожих. То ли место такое тихое, окраинное, то ли ночь всех рассовала по своим местам, только не встречал больше людей Одинцов и так шел, обеспокоенный не на шутку, напуганный безлюдьем, вертя головой по сторонам, словно спросить что-то хотел у города.

А улица вырастала черными стенами, все выше поднималась молчаливыми этажами. Упал откуда-то сверху кусочек штукатурки на асфальт. Казалось, покинутый, заброшенный город на глазах разваливался, ветшал...

И тут за углом, в каком-то переулке, вспыхнул неясным желтым светом газетный киоск. В киоске дажно уже никого не было. Но свет оставался гореть на всю ночь и выглядел сейчас таким теплым, уютным, таким родным, совсем как свет в глазах бабушки Слазика... И, прижавшись горячим лицом к настывшему стеклу киоска, Одинцов как бы опомнился, пришел в себя. А затем без оглядки побрел домой, на Васильевский.

Они уже не кричали. И не плакали. Они как бы смирились. Впереди, по ходу шоссе, у въезда в поселок Лисий Нос я разглядел красные пожарные машины, поставленные поперек дороги. Все. Значит, меня всерьез решили остановить.

Красные машины... Заметили их и Василиса с Базиликиным. И тут мне их жалко стало... Гляжу в зеркальце, а Василиса кинулась Базиликину на грудь, так вся и зарылась в него. Наверняка поверила, что я сейчас врежусь в эти машины... И то, что они молча так приготовились... Именно это их смирение рабское меня и утешило. И сразу я скорость сбросил. И на тормоза плавно надавил. Запела резина, прижатая к асфальту...

Базиликин и Василиса в разные стороны из машины на шоссе выпрыгнули и на четвереньках к железнодорожной платформе побежали.

Подъехал инспектор. Я молча протянул ему водительское удостоверение.

ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Ножки тоненьки, душа коротенька. Жив, жив, курилка!

Игровая приговорка

(Даль В. Толковый словарь)

I

Почечуеву нравилось, когда идет дождь. Многое ему нравилось. Скажем, баня с паром или, к примеру, чай крепкий, индийский; опять же — одиночество нравилось, а в газетах — происшествия. Но дожди! — летний, теплый и лучше, если затяжной, создающий под кепочкой Почечуева определенную музыку, — дождь этот, городской, бульварный, садово-скамейный, отраженный асфальтом улиц и меланхолически дребезжащий по черному куполу зонтика, дождь этот, утешающий и просветляющий, любил Почечуев более всего на свете. Он любил его даже в трескучие морозы. При малейшей оттепели ноздри Почечуева начинали нервно подергиваться, втягивая сырой воздух, глаза увлажнялись в предвкушении будущих дождей. Дышать становилось легче, жить радостней, устремленней.

Как только Почечуев исполнилось шестьдесят, он незамедлительно вышел на пенсию. Директор предприятия робко предложил ему остаться поработать еще. Но слишком вяло предложил. Без горячего усердия. Так случается, когда вам что-либо протягивают, скажем деньги, однако из рук бумажку не выпускают.

И Почечуев от предложения отказался. Он весело вышел на пенсию, так как устал от бухгалтерской цифири, от женского общества, устал быть чужим коллективу.

А как только вышел на пенсию, с удовольствием начал совершать оздоровительные прогулки по городу. Чаще всего с Петроградской стороны пробирался он на Васильевский остров, к Соловьевскому садiku, где усаживался на скамью и поджидал, легкий на помине, балтийский дождичек, с удовольствием поджидал, как лучшего друга, с которым, не торопясь, можно выкурить папироску и всласть побеседовать, не раскрывая при этом рта.

Одеваться Почечуев умудрялся во все импортное, хотя и дешевенькое, но обязательно заграничное, «потустороннее»: слабость в его возрасте труднообъяснимая. Приобретал носильные вещи в Гостином дворе. То сереньким германским костюмчиком разживеся, то чешскую шляпу спроворит, а нынешней весной достоялся в очереди (два раза валидол принимал) до натурально японского плаща с иероглифами на бирке — рукава-реглан, и влаги не пропускает ни снаружи, ни изнутри.

Но вот что в связи со всем этим раздражало и даже обижало Почечуева: никто, решительно никто за все прожитые Почечуевым годы жизни, никто ни разу не принял его за иностранца! Ни в метро, ни в трамвае, ни тем более в такси, не говоря уж о бане, которую Почечуев любил так же стойко, как ленинградские дожди. Всюду и везде проходил он исключительно за своего, тутошнего. Прохожие только скользнут приценивающимся взглядом по его финским ботинкам, плащ японский обзирят, шляпу с тирольским перышком зафиксируют, а дойдут до лица... и привет. Отворачиваются равнодушно. Или того хуже: фамиллярничают с места в карьер: «Дядя, билетик оторвите!» Или толкнет тебя для начала, а потом и хрюкнет: «Извини, папаша!» И все по-русски, по-скобарски. Даже иностранцы и те, пусть на ломаном, однако не на своем английском или греческом, а непременно на нашенском ухитряются. И как только, черти, определяют принадлежность?.. По каким таким признакам? И нос не картошкой, и на лбу не написано, какой ты нации, а вот поди ж ты... В бухгалтерии по поводу почечуевского обличья одна Фрося изрекла: «У вас, Иван Лукич, неприметное лицо. Незапоминающееся». — «А у кого запоминающееся? У тебя, что ли?» — хотелось ответить на это ей. И совершенно напрасно не ответил. Поскромничал. А у кого запоминающееся? У Венеры Милосской? У которой руки отрублены? Да у нее, кроме фигуры, ничего и нет. Своего. Присущего. Ни единой изюминки в обличье. У Почечуева — незапоминающееся! А ты приглядишься. Внижни. Все-таки лицо, не тарелка. У того же Почечуева десятка два отметин на нем: в юности чирей был на скуле, вскрывали, шрам остался; под носом на губе старинная царапина, кот в детстве лапой ударил; что еще? Десятка полтора ямок от оспы-ветрянки... Разве не индивидуальные штрихи? Запоминай на здоровье. Да и все лицо такое мощное, краснощекое, живое, несмотря на пенсионный возраст Ивана Лукича. Нос, ко-

нечно, не выдающийся, не с горбинкой, попроще. Но и не с провалом. Нос как нос. Пологий. Утиными такие носы называют. И губы есть. Свои, не казенные. И пара бровей, пусть слабеньких, неярких, но ведь имеется! Прическа не ахти. Волосья редкими сделались. Почти прозрачная прическа. Череп сквозь нее полностью просматривается. Чем тоже не отличительная черта?»

Вот и сегодня стоит Почечуев в Соловьевском саду под зонтиком перед обелиском в честь полководца Румянцева, а на песочек дорожки падают веселые дождевые капли. То есть самая размилейшая погода. Если взглянуть на календарик ручных часов, можно уловить, как веона арифметически переходит в лето: отсчитывается последний день мая. В прорехе между двумя тучами висит молодое цветущее солнце. А над городом шумит дождь. Но вот тучи сомкнулись, захлопнув солнце, и дождь грянул сильнее.

К Почечуеву подошла незнакомая собака и встала под его зонтик. Прежде Иван Лукнич мог бы и отпихнуть непрошеную гостью от себя. Сказать ей грубо: «Кыш!» Сейчас он этого не сделал. Он рассуждал примерно так: «Я одинок, и собака без сопровождения. Зонтика у нее нету. Пусть пользуется моим, шалава...»

Рассудив таким образом, Почечуев улыбнулся собаке. Улыбнувшись, подумал: «Добрый я нынче какой-то... С чего бы это? Видать, к финишу дело. Может, зачтется где? Доброта то есть... Вот болеть начал, старым делаюсь. На теле в одном месте доктор увеличение обнаружил. Место одно в организме увеличилось в объеме. А что, как того?.. Нет уж. Стоп, себе говорю. Черные мысляшки только потревожь, сразу в душе лягушки заквакают, разные жучки-плавунцы из глубины позвыныривают, пиявки поприсосутся — не оттянешь! Для чего мне такая печаль? Человек я свободный, одинокий. Ухаживать за мной некому. Коллектив меня на пенсию проводил, а сам дальше пошел. Желая, то есть Маня-физкультурница, жить вместе чинно-благородно не пожелала, к другому ушла. Десять лет, как врозь. Непостоянная оказалась. И ведь не бил физически, не уродовал. Перегаром винным не отравлял существование. Заскучала, насупилась. Одной ей, что ли, скучно на белом свете? И ему, Почечуеву, грустно случается. Бывало, скажешь ей: «Марусечка, за что обижаетесь? За мою хлебную вкусную? За духи-помаду драгоценную? За что гнешь, как палку? Смотри, переломишь—хрустну!» И вдруг сама сбежала... Теперь бы он ей, понятное дело, так не го-

ворил; теперь бы он промолчал в тряпочку или по голове Маню погладил. Ан — поздно спохватился: сбежала. Как померла. Потому что даже тряпочек своих не забрала. Все оставила. Даже самое интимное: чулочки, трусики. Ежели б не записка: «Прощай, Почечуев, скучно с тобой. Обманул ты мои планы». Ежели б не записка сия, хоть в неестественную силу верить начинай. Или во всесоюзный розыск кидайся...»

Очнувшись от воспоминаний, Почечуев не обнаружил у себя под зонтиком собаки. «Вот и эта, косолапая, сбежала... И все они так: подойдут, обнюхают и — прочь. А ты, значит, стой на дороге один, соображай, как тебе дальше линию свою проводить».

Дождь внезапно кончился. Как будто небо всю запланированную воду враз израсходовало. «Не могло лишних пяток минут побрызгать», — усмехнулся Почечуев, сложил японский зонт и, опираясь на него, пошел к себе на Петроградскую сторону, предвкушая удовольствие от предобеденного чая, который он заваривал любовно, словно красивую женщину рассматривал.

Из кармашка, приспособленного в импортных пиджаках для авторучек, Почечуев извлек длинный ключ, напоминающий небольшую пилу. И сразу же в голову мылшк бросилась: «Ключ в одном экземпляре остался... Не дай бог, потеряется — в квартиру не попадешь. Двери дубовые. О такое дерево в кровь разобьешься — не откупоришь жильё».

На дверях его отдельной квартиры висела нелепая медная дощечка: «К Почечуевым три звонка». От бывлой коммуналки бирочка осталась. Почечуев лукаво подмигнул своей фамилии, всунул ключ в отверстие, проник в помещение, в прихожую с вешалкой и старым, помятым креслом, в которое Почечуев, возвращаясь домой с предприятия, бросал портфель с бумагами, пельменями и половинкой круглого хлеба.

Однокомнатная Почечуева была выкроена из обширной некогда квартирки. Всякий раз, возвращаясь домой и включая в прихожей электролампочку, Почечуев придирчиво, с нескрываемым озорным любопытством рассматривал угол, которым выпирала в прихожую его двадцатиметровая комната. Задумчиво поглаживал он стены, образующие угол, особенно ту, что уходила в кухню. Постукивал по ней костяшками пальцев, недоуменно пожимал плечами и даже загадочно улыбался, а то и просто разгова-

ривал со стеной. Иногда после простукивания Иван Лукич, не снимая верхней одежды, азартно бросался в комнату за складным «сантиметром» и начинал обмеривать, передвигаясь по квартире на коленях. Поначалу, когда накатывали подобные «измерительные» порывы, Почечуев стыдил себя мысленно, обзывал ненормальным и даже улыбался на себя со стороны, как на пьяного, и все-таки, время от времени, производил обмер. «А что? — подбадривал он себя. — Квартира-то отдельная, никто за тобой не наблюдает».

Закавыка получалась при обмере именно той стены, что уходила на кухню. Не меньше метра толщины содержала стеночка. Откуда, почему? Говорят, в старину стены толще делали... Положим. Наружные. А внутреннюю для чего вширь пускать? С какой целью ее-то раздувать? Не несущую тяжести. В чем тут дело?

Почечуев порывался долбить и долбил толстую стенку шлямбуром. Несколько неприглядных отверстий были завешены в комнате современными литографиями, отрывным календарем, а также задвинуты мебелью.

А началась вся эта несерьезная возня со стенкой после того, как завхоз предприятия, где работал Почечуев, некто отставник Кубарев, рассказал в бухгалтерской поразительную историю о кладе, найденном в коммунальной квартире, где в свое время проживал рассказчик. Завхозу понадобилось как-то заземлить радиоприемник о водопроводную трубу, и дядя решил пробуровать из своей комнаты на кухню небольшое отверстие. Сверлил, колотил, бухал... А кирпичи вдруг возьми да и вывалились, вернее — ввалились, сразу несколько — внутрь стены! Побежал Кубарев на кухню, думает: сейчас его бабы в оборот возьмут за порушенную стенку. А на кухне тихо. Ни сном ни духом. И стена как стояла без единого изъяна, так и по сию пору стоит. Вот те на! Удивился Кубарев. И обратно в комнату бежит. Сунул фонарик в отверстие, а там... не что иное, как дополнительная жилплощадь обнаружилась! Метров пять квадратных комнатка. И стоит в этой замурованной комнатке креслице старенькое, банкеточка буржуазная, сундучок махонький, кованый, и еще что-то в этом роде. Ну, а в сундучке царские денежки: золотые-серебряные, а также бумажные кредитки и еще кое-что в том же плане, необыкновенное.

Денежки, естественно, государству сдали. Правда, одну монетку завхоз все же зажилил. Для производства зуба.

Улыбаясь после рассказанной истории, непременно рот открывал пошире и всем и каждому, не стесняясь, желтую коронку показывал.

Однако в стене Почечуева кирпичи держались друг за друга мертвой хваткой. Никаких пустот, даже самых незначительных, не обнаруживалось. И все же сомнения в голове Ивана Лукича теплились и нет-нет да и вспыхивали, как огни на болоте. А вдруг — повезет? Что тогда?

И тут уж Почечуев знал безо всякого колебания, как бы он с золотыми денежками поступил: половину государству, на детдом. Вторую половину — себе. Кашу бы из этой половины золотую варил до скончания дней или настойку наставлял, но отдать вот так, сразу, добровольно — никому бы не отдал. Хотелось пальцами его потрогать, металл благородный. Какие от него в организм токи магические переходят — ощутить желалось. А затем и вторую половину металла на детдом по завещанию отказать. Перед отбытием в Парголово, то есть на вечное успокоение. Естественно, мог и он себе, скажем, золотые зубы вставить, но зубы у Почечуева свои — натуральные — хорошо сохранились.

Иногда в процессе долбежки Почечуев как бы даже и вовсе забывал, с какой целью он в стену проникает, для чего молотком машет. Определенный образ жизни составил, от стены неотделимый. Как будто что руку подтачивало: долби, толцись! И отверзется...

Как правило, после такого вдохновенного порыва наступала всеобщая в организме депрессия, и Почечуеву даже в мрачный разгул, то есть в запой, окунуться хотелось. Как когда-то в более молодые годы. Но против такого способа разрядки выступал теперешний жизненный опыт. И тогда Иван Лукич шел в баню: паром и зноем вышибать из себя недостойные поползновения.

Если верить артисту Кукарелову, проживавшему над Почечуевым этажом выше, то однажды вот что произошло: «Почечуеву газету в почтовом ящике дети сожгли. Поймал бухгалтер поджигателя и за ворот рубахи держит. А я мимо прохожу. Глянул, а у Почечуева глаза такими несчастными сделались! И ваше... И вижу, действительно, плохо мужику. Тошно. И не из-за какой-то там газеты, а из-за чего-то более ценного, не сегодня утраченного. И тут мне стыдно стало. О себе самом нехорошее вспомнил. Прodelку одну. С веревочкой...

Через этаж от меня, на третьем, жила Марьяна Лили-

енталь — яркая девушка с Восточного факультета. Интересная. Печальная. Заманчивая. И еще... В целях конспирации переписывались мы с ней необычным способом: я ей письмо вниз на веревке опускал. А в конверт, как грузило, не дающее ветру корреспонденцию от форточки относить, помещал шоколадку, или мизерную бутылочку духов, или ещё что-нибудь весомое. Иногда Лилленталь отвечала мне тем же, прикрепив к веревке вместе с запиской — пачку заморских сигарет или брусочек жевательной резинки. Мы обменивались информацией и еще... пренебрегали пропастью, разделявшей нас в то время. А разделяли нас, помимо невыясненных отношений, немытые окна четвертого этажа, то есть бездна, где обитал грустный гражданин Почечуев. Правда, если быть откровенным, то и Почечуев — хорош гусь! В единственном числе проживал, а шуму от него — будь здоров! Стучит и стучит. В разное время суток может начать. Безо всякой системы. А это нервирует. И потому, когда я Марьяне почту опускал, порой не без злорадства думал: позлился, позлился, стучач! Подергайся. Может, и затихнешь!

Не знал, понятия не имел жизнерадостный Кукарелов о неосознанной мечте Почечуева — из жизни вялой, затхлой вырваться в жизнь, не ограниченную временем и пространством, в измерения, неосязаемые прежде, необъятные, невероятные...

И получается, будто заурядного человечинку сопровождали по жизни некие замечательные странности, содержались в нем некие аномалии невыясненных запасов энергии. А Кукарелов его веревочкой дразнил. Нет, не потемки чужая душа, чужая душа — сфинкс, звезда неоткрытая, туманность непотревоженная. Знай Кукарелов Почечуева несколько основательнее, разве ж представился б он Ивану Лукичу с вызовом: «Артист императорских театров!» Никогда бы не позволил себе так созорничать.

А Почечуев грустно так передразнил Кукарелова: «Арцысты... Одне арцысты кругом. А где же люди?»

II

Пообщавшись посредством шлямбура со стеной, Почечуев закипятил воду, нагрел над паром фарфоровый заварник, проворно насухо вытер нутро чайника, с превеликой осторожностью отмерил две малые ложечки чайной смеси, брызнув туда кипятком, не удержался, понюхал пар... За-

тем долил до полного и тщательно укутал посудину полотенцем.

И вдруг вспомнил о вздутии на животе. Торопливо разделся до трусов, внимательно принялся рассматривать выпуклость.

Выше этажом «арцыст» Кукарелов яростно сдробил чечетку. Непродолжительно, зато уж — отчетливо.

«Вот, у лохматого гастролера небось никакой такой опухоли нет... Здоров, как лошадь. Ногами дребезжит, жизнерадостный какой. А тут, смотри-ка, недуги какие вышли, напасть какая... За что, господи? Ни одного рубля казенного не извел. Ни одного человека не убил, даже на войне. Потому как писарем в штабе всю дорогу... Ни одной женщины посторонней не соблазнил, не обидел. А то, что Маня ушла — тут женское разгильдяйство сказалось, неуравновешенность дамская.

Это как болезнь. Как вот желвак на животе. А ведь и вся-то была с травяное семечко. Вылезла из земельки — чумазая, неотесанная. В рост вошла, к свету потянулась. Лихой стебелек наметился. А потом и расцвела вовсе. Эх, Маня, Маня... И чего не поделили с тобой? Прошла ты меж пальцев у меня, как вода ключевая...»

Почечуев Маню заметил, еще когда она девочкой была. Приехал как-то в Почечуйки свои, после переживания военных оклематься, одуматься. Картошки родительской с огурцами свежепросоленными пожевать. И встретил Маню. Девушка на мальчишеском турнире упражнения совершала. Встала на руки да так вся и вспыхнула на глазах Почечуева.

Обретаясь в городе, Иван Лукич запрещал себе вспоминать деревню. Несподручно было. Рядом граждане на тротуарах к различным целям стремились, истины постигали. И какая тут польза кому, если он вдруг своими Почечуйками похвалиться начнет? Никакая. И закопал в себе Иван Лукич воспоминания о детстве, о папе с мамой. «Ни к чему такое наземное прошлое, — рассуждал он, — такое дырявое да голодное, в веснушках да цыпках». Из всех сил отшвыривал от себя минувшее, как щенка мурзатого, но извести его, изничтожить в себе — не мог: жилистое оно было, живучее, на земле стояло, не на плиточке панельной. И даже влекло к себе — время от времени.

Посещал Иван Лукич Почечуйки с каждым годом все неохотнее. Чаше, когда еще в техникуме финансовом учился, реже, когда на предприятии работал. Приезжал, как

правило, летом. Слезет у околицы с подводы, соломинки с городских брюк снимает, галоши носовым платком до зеркального блеска протрет, пиджачок на руку повесит и — входит... Как белый пароход.

Со всех сторон ребятишки. Собаки лаем надсаживают, куры мечутся, кошки из-под ног брызжут. А взрослые люди — кто улыбается бескорыстно, а кто челюсть откинет и так стоит, закаменев, пока не опомнится и в канаву не сплюнет. Такое от приездов впечатление осталось у Почечуева. А может, так ему только хотелось — праздником в глазах почечуевцев возникать. Идет, бывало, Почечуев с портфелем, как министр. А на портфеле замки сверкают никелем. А в портфеле зубная щетка бьется в футляре, как рыбина об лед. Да пара белья, в газету завернутая, помалкивает. А под бельем гостинец. Родным, близким. Конфеты-подушечки и еще что-нибудь городское...

От воспоминаний лицо у Почечуева розовым сделалось. Помолодело на миг. А сердце словно подтаяло, теплые ручейки по организму пустив. Как был в трусах — налил он себе чаю оранжевого в стакан. Начал прихлебывать напиток... И надо же, видения деревенские занавесили временно, как дымкой предрассветной, теперешнюю тревогу, навязчивое беспокойство, связанное с бугорком на животе. И вдруг слеза сорвалась, покатила по мясистой щеке вниз, в щетине седой запуталась.

«Плачу, — сообразил Иван Лукич. — Это хорошо. Слеза нутро смягчит. Без нее-то, без слезы, сердце давно бы уже потрескалось».

Помнится, весна тогда была, хоть и не жирная, впроголодь, а — звонкая! Молодежи по деревне сколько угодно. Телевизором ее тогда в город не сманивали. И все в поведении — шальные, нескучные, на собраниях речи толкают. И только у Почечуевых в доме невеселая тишина образовалась.

Отец Почечуева — Лука Андреич, крепкий еще мужик, лет шестидесяти, принесший с империалистической войны опасную бритву золингеновской стали, — однажды утром после бритья вышел за огороды бритву о лопухи обтереть и там, на меже, поссорился с председателем только что организованного колхоза. Из-за нескольких грядок приусадебной земли поскандалили. Люди они были хоть и северных краев, но в споре делались горячими, свирепыми. То есть опасными. Вот ткнули спорщики друг друга «в грудь», изматерили один одного холодным шепотом, а

вслед за этим по колышку из плетня извлекли. И стал председатель как бы одолевать Луку Почечуева. Одолевает, стало быть, помаленьку, а в портках у Луки золингеновская бритва болтается, о себе напоминает. Ну, и махнул в итоге Лука Андреич председателя по уху. Трофейной сталью. Так ухо и полетело в траву. Будто бабочка-капустница. Осерчал председатель не на шутку. Колышком супротивника по голове приласкал. Потом Луку Андреича еле откачали. Едва ему фельдшер уголек жизни в очах раздул. А когда наконец очухался Паликмахер (так Луку Андреича за наличие бритвы прозвали), тут и повестка на суд подоспела. И поехал драчун в далекие края, где и застрял до скончания дней своих.

В Почечуйках дом родительский опустел. Брательник Анисим в соседней деревне избу с женой и пасекой приобрел. Бизнес ему медовый померещился. Две сестры замуж в города вышли, а в какие — Иван Лукич путал: то ли в Кинешму одна, то ли в Камышин другая... А в Почечуйках никого, кроме старухи матери, не осталось.

И вот приезжает однажды Почечуев в деревню. Макинтош у околицы, свернутый прежде в трубочку, раскатал, на плечи накиннул, принарядился. В большой, опорожненной от людей избе встретила его Гликерья. Не бросилась навстречу, а словно из глубины омута всплыла — тихая, жалкая... Почечуев обниматься с матерью кинулся. А Гликерья так замешкалась с порывом, топчется на месте.

— Что это, мама, не признаешь будто?

— Больно розовый ты, красивый шибко...

— Да чего невеселая-то?

— Спала.

— Так и проснись. Отощала-то, господи! Небось и спишь оттого. От недоедания. Чем питаешься, мама? Одним хлебушком, поди?

— Хлебушко? — старуха робко заулыбалась, как во сне. — Не обессудь, Ванечка... Я тебе картофников мигом натру. А ты ляг. Растянись с дороги. Набил, чай, ноженьки? А хлебушко... — и Гликерья вновь чудесно так улыбнулась. — Давненько его не месила... Булочку.

— Не унывай, мама... Вот колбаска краковская. Полкило. И сахарок пиленый. А также — ситного. Гостинец, мама. А это — чай. Китайский. Сам заваривать буду. Аромат в нем — на лицо брызгать можно. Как духи.

— Кому же гостинец?

— Лично тебе.

— Господь с тобой! Не маленькая...

— Не унывай, говорю, самовар ставь. Жевать будем.

Почечуев по избе прошелся. Светлые брюки, не вынимая рук из карманов, высоко над ботинками приподнял.

— А что, мать, полы-то запустила?

В дальних двух комнатах, нетронутая, всюду дремала пыль, а по углам паутина висела.

— Обленилась, сынок. Здесь, возле кухни, и живу... А туда, в дальние, по полгода не заглядываю. От праздника до праздника. Продать бы домик-то... Не справиться мне с ним. Мне бы и в баньке хоть куда. Банька у нас чистая, светлая. С трубой-дымоходом. Не банька — гнездышко аккуратное. И покупатель приличный: бывший майор. А ты бы, Ваня, на вырученное квартиренку в городе спровёл. Приезжала бы я к тебе внуков нянчить.

— Чепуху городите, мама, — перешёл на официальное «вы» Почечуев, — не унывайте, говорю. В какой это такой баньке будете жить? Засмеют, заплуют меня граждане. Не бывать этому. Хотя, конечно, опять же... С таким... объектом — разве одной под силу.

Во время чаепития, поверх блюдечка, которое чуть ли не к самым глазам от волнения подносил Иван Лукич, подносил, чтобы жалкого лица матери не видеть, поверх блюдечка как бы невзначай рассмотрел Почечуев за окном серенький сруб баньки. Вспомнил, как с отцом и братом Анисимом возводили ее играючи. Просторное получилось сооружение. И запашистое. Дерево удачное употребили. Не старое и не шибко молодое. В самом соку древесины. Паром его да зноем проймет — и пошла отдача: такой дух ангельский. Как из кадила поповского.

— А вот и продам! — робко воскликнула Гликерья. И глазами поддержки у Почечуева ищет, улыбается. — Продам, и все тут...

— Воля ваша... Продавайте. Только в бане жить не разрешу. Вам бы к Анисиму для начала...

— Выпивают у Анисима. Шумно там... А в баньке-то я как у Христа за пазухой.

Не отговорил. Не убедил. Не настоял. Продала Гликерья дом. В баню перебралась. Через год письмо из Почечуев — померла...

И тут в квартире Ивана Лукича звонок прозвенел.

Почечуев начинал, как большинство: крепче всего на свете любил свой организм. Всячески оберегал его от раз-

личных бедствий-происшествий. Родная мать для него являлась прежде всего усталой, морщинистой женщиной, рано поседевшей и малоинтересной. Был ли он благодарен ей за факт своего появления на свет? Вряд ли. Кусок повкусней подсунула — благодарен. Пяток секунд. Кражу двугривенного простила — признателен. На руках до больницы доперла — что ж, само собой... Тогда ведь машин в деревнях не было.

Святое чувство, которое отдельные люди испытывают к маме своей, посетило Почечуева слишком поздно, но посетило-таки. Окликнуло. Позвонило.

И еще: Почечуев прежде понятия не имел о законе сообщающихся сосудов: сколько злых дел кувшин молодости вместил, столько страданий придется принять и кувшину старости. Прежде понятия не имел, а сейчас всем существом ощутил.

Однажды Кукарелов с подружкой своей Марьяной Либиенталь застали Почечуева за кормлением бродячей собаки. Он ей, шелудивой, недоеденные в обед пельмени скормливал. Расстелил во дворе, прямо на асфальте, газету и кормил. К людям с хорошими намерениями вторгаться он еще не отваживался, стеснялся. Выручала собака, тварь, для экспериментов удобная. И благодарная: вон как хвостом работает!

III

И тут в квартире Ивана Лукича звонок прозвенел.

«Не часто теперь звонят, — подумал, — не то что до пенсии». Подумал и пошел открыть двери.

— Кто там?

Однако не ответили. Он вторично задал вопрос, и вновь — безрезультатно. Тогда дрожащей рукой отодвинул засовчик замка и высунулся на площадку.

Никого.

«Не иначе — Кукарелов хулиганит. Его почерк...» — рассуждал Почечуев, поскреб щетину на подбородке и уже хотел было успокоиться, как вдруг на память пришло другое, недавнее Кукарелова озорство, и Почечуев тихо, чтобы и самому не слышать, рассмеялся...

Кукарелов тогда сосиски на веревке, целую связку, должно быть несвежие, к самой форточке Ивана Лукича опустил. И записка на них бумажная бантиком. Только сосиски сразу вниз поехали, не задержались. Еще подумалось тогда: «А малый-то неспроста чудит, видать, тоже оди-

нокнй. А не пора ли нам познакомиться? Может, и подружились бы? Чем черт не шутит... А то — сосиски...»

Странное дело. Стоит Кукарелову затихнуть, то есть из дому отлучиться, ну там, на гастроли или еще куда на заработки, так сразу и не хватает Почечуеву чего-то. Какую-никакую, но жизнь излучал «экстремист» этот. Недаром говорят, что люди в одиночестве с мухами, а то и мышами дружбу заводят, не брезгают.

«Ладно... — усмехнулся Почечуев, запирая дверь. — Я к нему сам пожалую. Вот еще что-нибудь опустит на веревке — и подымусь! Необходимо инициативу проявить. Может, малый сигналы бедствия подает?»

Нацедил Иван Лукич в хрустальный стакан вторую порцию индийского пополам с цейлонским. Вытер кухонным полотенцем пот с шеи. И снова мысль его к воспоминаниям молодости перекинулась, того именно ее момента, когда он со своей будущей женой Маней познакомился вплотную.

Приезжает однажды из города в Почечуйки, а на турнике, на железной перекладине, девушка лет шестнадцати фигуры «высшего пилотажа» показывает. Купальник у нее розовый, полинялый, без рисунка, сплошной от груди до бедер. Ноги тоже розовые. И руки. Не успели как следует загореть, солнце их только что лизнуло. Лето в самом зародыше. И померещилось Ивану Лукичу, что перед школой на спортплощадке вовсе голая женщина, то есть девушка, выступает! Бесстрашно себя белому свету и зрителю показывает. А зритель в основном мальчишка сопли-вый, хмурый народец, с завистью наблюдавший за физкультурным полетом красивого тела.

Почечуеву тогда тридцать лет было. Он уже на счетах в Ленинграде щелкал и в коммуналке проживал. И очень хотел жениться. Чтобы потом, в светлом будущем, в отдельной квартире пожить.

Остановился Иван Лукич не в Почечуйках, а километром выше по реке, в Свищеве, — у брата Анисима. Не в баньке ж ему ночевать, в отцовом-то доме всюю уже дачники распоряжались, покупателя-отставника «личный состав».

В хозяйстве Анисима несколько домиков пчел, на огороде стояли. Выпили со свиданьем, медовухи. Через пятнадцать минут Анисим на Ивана Лукича кулаком замахнулся.

— Маму... в баню уговорил! Не пр-р-рошу! — И по

стола — бах! — Мама в бане умерла... На старых вениках. Не прячь глаза, бухгалтер!

— Оба мы, братушка, виноваты, — спокойно отвечал ему Почечуев. — Мама в километре от тебя богу душу отдает, а ты брагу хлещешь. В баню-то мама добровольно переселилась. Не позволял я ей...

— А денежки, которые мать от продажи выручила, принял?

— Денежки мама по почте прислала. Переводом. Ко мне почтальон их принес. Казенное лицо. Откажись попробуй... А вот ты, братец, сплеховал. Маму-то на руки в охапку да и отнес бы к себе! Вот как. И стало быть, оба мы обмазались... Об мамины слезы.

Попадались они тогда крепко. Брат с братом. Улей на пасеке перевернули. Рой потревожили.

Однажды, когда с лица Ивана Лукича уже сошла припухлость от пчелиных укусов, гулял Почечуев по родной деревенской улице в нарядной городской «бобочке» с отложным воротником. И встречает тут розовую Маню. Студентку физкультурного техникума. Старушки местные, глядя на ее купальник, беззубо посвистывают:

— С-срамота! Бес-совестна!

Оно конечно... Девка яркая, по глазам бьет, кровь в сосудах будоражит, как реактив химический. Того гляди, пена через край пойдет! У зрителя.

— Девушка... — приступил к знакомству Почечуев.

— Ой! — вскрикнула Маня, будто на что нехорошее ногу поставила. — Почечуев! Не узнаете... Да мы вашему троюродному дяде тетей будем. И меня вы на велосипеде катали. В свое время...

Слово за слово — купаться пошли на речку Киленку. Маня плавала, как торпеда с моторчиком. На руках по берегу ходила. Крепкая была, целеустремленная. А главное — веселая. Как раз то имела, чего в жизни другим не хватает.

Когда, розовая, поняла, что именно от нее Почечуев хочет, — сопротивляться не стала. Однако всю себя израсходовать сразу не дала. Природная бережливость выручила. Иван Лукич хоть и старше на четырнадцать лет оказался, но кое-какие перспективы в себе таил. Решили для начала переписываться. А когда Маня техникум закончила — поженились. И перебралась Маня в красивый город Ленинград. Повезло, считал за нее Почечуев. А все потому, что бесхитростная была. Жила прямиком. Если ногу

а пути накалывала; трагедии из этого не делала. Обработает ранку и дальше идет.

Сидит Почечуев, вспоминает Маню, а сам третий стакан чаю зарядил. Пот уже не только по шее, но и вокруг глаз и выше, на лбу, выступил. Беспокойство во всем теле наметилось. Какая-то нервная спираль по всему организму пошла от воспоминаний о жене. Захотелось действий! Физически, то есть руками, что-то расшибить, согнуть, разметать вокруг себя. Чтобы и впрямь не набедокурить, Почечуев решил сковать себя по рукам работой: очередную дырку в стене шлямбуром прособачить. Выбрал местечко поновей, в стороне от прежних пробоя, и принялся за дело. Долбит, а сам будто с Маней разговаривает.

«Помню, помню, Маня, глаза твои, василечки! Дурачина я, Маня, простодия, дак ведь и ты не лучше. В общагу из такого дворца сбежала. Церемонился я с тобой, Манечка, и напрасно! Ломать, крушить тебя надобно было, тревожить, как стену нерушимую. Ты ведь клад, Маня, для такого угрюмца заскорузлого, как я. Всю жизнь только и делал, что стеснялся. Женщин, мужчин, детей, собак, даже соседей... Стеснялся, сторонился. Любил я тебя, Маня, ох, только неправильно любил. Слишком миндальничал, слишком этикетничал... Да, да. А надобно целовать чаще было и обнимать! Вот и не делась... Словно змейка, под каменем исчезла, увильнула. А тут еще эта затея с дитем... Из-за дитя беспомощного взбунтовалась. Из-за комочка мяса неразумного, крикливого. Сыночка иметь вознамерилась или доченьку... А где ж их взять, если нету? Если природа не пожелала?» И пошел, пошел, как сверло, как шлямбур в стену, — в воспоминания свои окаменевшие...

Помнится, вернулся однажды Почечуев с предприятия: кипа бумаг казенных в портфеле — годовой отчет. Первым делом Иван Лукич газету на столе разложил: происшествия высматривать в прессе. Он их, происшествия эти, как правило, из газеты вырезал и сортировал. Если за границей что произошло — в одну папку, если у нас — в другую. Особая, заветная папка содержала сведения о найденныхкладах. Но в тот день, когда он вернулся с отчетной цифирью в портфеле, в газете промелькнуло всего лишь одно происшествие: на городскую улицу, прямо к живому тарьку, неизвестно откуда вышел лось. С рогами. И все! Вырезал Почечуев заметку, убрал газеты со стола, пришлось чай заваривать, похоть, впитывать наслаждение.

За окном успокоительный дождик калякает, по жестяному наружному подоконнику прохаживается...

И тут возвращается Маня с занятий. Достает из портфеля тренировочный спортивный костюм, в котором физкультуре детей обучала, а со дна портфеля — карточку фотографическую. Протирает снимок и Почечуеву протягивает. А на снимке — дите. И в таком нежном возрасте, что не понять, какого полу будущий человек изображен.

— Вот... — вздыхает Маня. — Усыновить бы сиротку... Согласись, Почечуев! Уважать буду... — и глаза от безмерной отваги закрыла. Ждет, что ей Почечуев на это скажет.

— Господь с тобой, Манечка... Незнакомое, можно сказать, неведомое дите, и вдруг — усыновить... Без подготовки, без обсуждения... Пеленки, кашки... Ребеночек плакать будет громко... А тут как раз отчет, ревизия как раз... Для такого шага созреть необходимо, — заключил и твердо так в глаза Мане посмотрел.

И не стала Маня с Почечуевым спорить. Поняла враз: не доказать ей жалкую правоту свою. По взгляду глаз почечуевских уверилась, что не перешибить, не преодолеть ей страхов его, стеснения его пламенного не потушить, не задуть, не то что словами — молитвами...

Почечуев тогда допоздна прокорпел над бумагами. А затем снотворное принял и тут же, на кухне, на алюминиевой раскладушке уснул без памяти.

Проснулся Почечуев соломенным вдовцом. Ушла от него Маня. К ребеночку. От мужа — к малышу неизвестному. Растворилась в огромном городе. Искать ее по общжитиям, школьному Маниному начальству надоедать постеснялся. Поскучал, даже поплакал и приспособился жить один. Без спутников.

Выручала бухгалтерия. Какой-никакой, а все же коллектив. Войдешь в помещение; а воздух в нем так и жужжит от арифмометров, будто на пасеке у Анисима. Последнее время, правда, тише в бухгалтерии сделалось: арифмометры списали, заменили их электронными бесшумными калькуляторами.

И вдруг — на пенсию... То есть такая тишина гробовая наступила, хоть в стену башкой бейся! И бился... шлямбуром.

Одинокие люди, от которых жена ушла, раздражают. Как хронически больные кашлем. И настораживают: от других не ушла, а от этого скрылась. Почему? Кто он та-

кой после этого? Не иначе — меланхолик закоренелый.

Почечуев своим добровольным отщепенством показного в капкан зверька напоминал. Попавшего, а лапу себе откусить — не решившегося. Откусить, чтобы на трех остальных от самого себя попытаться уйти. В лес, в приволье, на свободу. Он, конечно, дергался из тенет: собачек прикармливал, в очередях без надобности стоял, из солидарности с бабушками. Достойтся в толчее до прилавка, наслушается слов разных и, ничего не купив, домой идет, удовлетворенный. Даже в детдом наниматься ходил, спрашивал: не нужны ли там пожилые, опытные люди, желающие за детьми приглядывать?

Одним словом, избавиться от капкана хотел. И все же лапу перекусить не осмеливался. Или зубов не хватало.

Почечуев к концу жизни в себя ушел, а его жена Маша — от него ушла.

Марьяна Лилиенталь своему дружку Кукарелову рассказывала. Однажды она из чисто женского любопытства в Никольскую церковь зашла. В выходной день. И встретила там Ивана Лукича. Бухгалтер воровато озирается. Как будто искал кого-то. И вдруг у Марьяны ехидно так спрашивает: «А вы-то сюда зачем? С комсомольским значком?» Марьяна ему: «Поют, дескать, здесь очень хорошо. Необычно». А Почечуев ей будто бы: «Вот и шли бы в филармонию. А церковь для старушек. Которым дышать трудно». — «И вам — трудно?» — не удержалась Марьяна. А Почечуев шепчет: «Лично я — машинально сюда пришел. Ноги привели. Не голова. Шел за пельменями в гастроном — очутился в храме».

Такая непоследовательность в желаниях, а также в передвижениях по морю жизни говорит о завидной непотопляемости Ивана Лукича. Он мог носить в себе заскорузлую боль о загубленных математических способностях, мог отдельную квартиру общежитийской предпочитать, годами — неба не видеть, книг не читать, Баха от Шестаковича не отличать и все же — быть самим собой!

Вот, скажем, его застарелая любовь к дождикам. Можно сказать, к непогоде любовь, к агрессивному явлению природы. От которого все, когда их дождь на улице застает, врассыпную бегут. А Почечуев как раз и преобразается при его воздействии. Вот тебе и цифирь скучная. Стало быть, тайна в плоском бухгалтере? Загадочка, загвоздочка некая? И не эту ли искорку божью раздувать в Почечуеве надлежало ветрам жизни?

Почечуев с трудом оторвался от воспоминаний. Прекратил молотком по шлямбуру стучать. Запрокинул голову к потолку лицом. А лицо, руки, волосы, одежда — все в рыжей кирпичной пудре. Очень уж вдохновенно долбил. И вспоминал не менее возбужденно. Потому и перепачкался так залихватски.

И вдруг еще одна деталь из пережитого вспыхнула! Словно молния из ночи в окно брызнула. Отпечаток Маниной фигуры на забытых ею старых, просиженных джинсах... На стуле висели, когда он в комнату ворвался. И, не найдя жены, брючата ее схватил и к сердцу прижал. И так он остро тогда невосполнимость ее умчавшегося мирка ощутил, с такой выпуклостью предельной, что даже теперь, по прошествии лет, вспыхнув остервенело, размахнулся молотком и со всего маху врезал по настенному календарю, на картинке которого японская девушка в натуральном виде была изображена.

И в тот же миг совершенно отчетливо в прихожей прозвенел звонок! Продолжительный, деловой, даже — спокойный.

На этот раз Почечуев рысью к дверям не побежал. Ему еще помнился недавний «пустой», как бы мнимый звонок. Но любопытство и сейчас победило. И тогда он нехотя зашмунил тапочками в прихожую. Спрашивать «кто там?» не стал. Зачем лишний раз унижаться, самолюбие стеснять?

Распахнул дверь и презрительно на лестницу взглянул. Улыбнулся трагически в порожнее пространство. Ясное дело: сбежали, пока соображал: «Ах ты ж в рот бутерброд! Придется с арцыстом отношения выяснять».

Потер Иван Лукич руки от удовольствия, от предвкушения перемен, ибо в прозвучавшем звонке ветры грядущих событий ощутил, стряхнул пыль с головы, как пепел судьбы, и, как был в тапочках и с молотком в руках, побежал вверх по лестнице, позабыв свою однокомнатную ключом-пилой запереть.

Звонит Почечуев к Кукарелову, и моментально двери распахиваются. Словно поджидали Ивана Лукича с нетерпением. В черном проеме белая волосатая фигура мужская, местами намыленная, возникает. Полуобнаженный молодой человек вырисовывается. Черты лица мокрые. Черные усики резкие. Нос прямой, мокрый. Капля на кон-

чике. Зубы, открытые улыбкой, с никотиновой янтарной желтизной. На голой груди целый букет из волос. И радужный мыльный пузырек в волосах сверкает.

Почему-то Почечуев прежде всего веселый пузырек в чужих волосах потянуть захотелось. Прижимая мылотеку к груди, как ребеночка, Иван Лукич затоптался на пороге, не решаясь входить.

— Вызывали? — робко и одновременно радостно заинтересовался Иван Лукич у Кукарелова.

Кукарелов остатки пены с лица пятерней обтер. Глазами заморгал от неожиданности.

— Не звонили? — застенчиво заинтересовался Иван Лукич. — А я сосед. Под вами живу... То есть — как бы живу. Потому как — разве это жизнь?.. Одному-то? Вот и подумал, что... позвали. На предмет продолжения знакомства. Месяц назад, помните, я к вам по вашему сигналу заходил: вы тогда веревочку опускали... На третий этаж. С почтой. И артистом императорским представились.

— Да я вас хорошо знаю! — воскликнул Кукарелов. — Проходите, ради бога! Садитесь! Правда... у меня кресло ненормальное, низкое очень. Ноги у него отгнили и... ваще! Я мингом! Ополоснусь только под душем. Располагайтесь!

На паркете пустой комнаты действительно стояло, верней — лежало старое-престарое кресло. Не обеденный стол, за которым гостей принимают, а почему-то именно кресло, ветхое, плюгавое, обитое некогда натуральной кожей, ныне истонченной до таких болотных окошек, из которых, как мох-трава высохшая, клочьями торчали какие-то волосы. В правом дальнем углу комнаты, тоже безногая, простиралась в лежащем положении тахта. «Видать, нынче мода такая...» — соображал Почечуев. Остальное помещение можно было назвать пороженным.

Кукарелов появился минут через пять. На голове у него было закручено полотенце турецким тюрбаном; на плечах вместо халата — старенький, линялый плащ-пыльник, видевший на своем веку и адские машины химчистки, и прибалтийские непогоды, а также — непомерную автобусную давку в часы пик.

Голые волосатые ноги артиста, розовые от горячей воды, нагло выглядывали из-под пыльника.

— А вы проходите на кухню. Там уютнее. И ваще!

На кухонном столе Кукарелова лежали горелые спички.

окурки, сигарет, окурки хлеба, точнее — сухарики; стояла чашка, на дне которой чернел ободок осадка, скорее всего от кофе.

«Ну и ну... — соображал, прияхиваясь, Иван Лукич. — Кофей потребляет, дурачок. Да разве чай с кофием идет в сравнение? Сразу видно — холстой. Арцысты — они всегда так-то, без разбору... Да и зачем такому семья? За кулисами-то? Бедолага, одним словом. С девушкой, с этой чернявенькой, видать, тоже всего лишь по веревке, поближе, связан... Запустение на столе какое!»

— Хотите кофе? — улыбнулся Кукарелов.

— Не извольте беспокоиться. Да и непыющий я...

— А я вам не водки предлагаю...

— От кофя, говорят, тоже дуреешь... Наркотик, одним словом.

— Ну, как знаете... Слушаю вас и... ваше!

— Может, вам того... И знать неинтересно... Только забавно получается. В данный момент ремонтом я занимаюсь. Нишу такую... Под книжную полочку... Короче — стенку малость ломаю. Книги решил приобретать. Сейчас без книжки нельзя. Без жены можно, а без книжки — нельзя. Срам, ежели у человека книжная полочка под кастрюли приспособлена. Прежде-то, то есть до пенсии, читать было некогда. А теперь... Да я вас от дела, должно быть, отрываю? Так я — мигом! Стало быть, занимаюсь я нишей преспокойненько... Вот этим вот молотком стучу. И вдруг — звонок! Выхожу открывать — никого... Ну, и к вам... За советом.

— Я к вам не звонил. Я душ принимал, — выдернул Кукарелов у себя черный волосок из ноздри; выдернул и повлажневшим взглядом ласково так по Почечуеву заскользил.

— Согласен, что вы не звонили... Однако — беспокойство. Как жить дальше — не знаю. Иные-то с выходом на пенсию помирают. А я не хочу. Рано. Вот... книг почти не читал. Не успел. И в Эрмитаже только один раз был: сразу после войны, когда смету на ремонт музейного здания составляли...

— Может, вам книгу дать? Вы не стесняйтесь... У меня есть кое-что.

— С большим удовольствием... Только я сейчас не за книгой. А — за советом. Вот вы — человек начитанный. Артист театра... Таланты-поклонники. И мне ваше мнение драгоценно.

— Ну, если так считаете... Рад помочь. Только какой же я вам советчик? Вы старше меня, опытней.

— Одни мозги — это одни мозги, а ежели двое... Тут всегда выгода. Отстал я... за цифирью... От современных людей. Вот и скажите мне, если не жалко... Постой, постой! А зовут-то как? Сидим, кофий пьем, а как звать друг друга — не знаем... Некультурно вышло.

— Виноват, растерялся... В мыле был. Игорь я, Кукарелов. И ваще...

— А я Почечуев, то есть Иван Лукич. Вот и скажи ты мне, Игорек... Подумавши. Можно человеку... в моем положении вроде как заново родиться? Не через родильный, понятно, дом, а душой-сознанием переделаться? И непременно в лучшую сторону?

— В вашем возрасте? — выдернул Кукарелов еще один волосок. — В вашем чтобы возрасте переделаться? Сомневаюсь. Извините меня, конечно. И ваще. Но поверить в такое трудно. Это все равно, что другим почерком начать писать. С другим наклоном и нажимом. Надолго не хватит... То есть внешне можно приноровиться: передвигаться и даже поступки совершать, а характер все равно прежний останется... Это с моей точки... А там кто ж его знает: чужая душа — потемки.

— Не верашь, стало быть... В человека.

— Сомневаюсь.

— А ведь я почему иначе-то жить собираюсь? Нужда отпала притворяться. Прежде-то я себя сдерживал. К окружающей среде приспособливался. И над собой, натуральным, насилие делал. Вот как бы всегда обувь на номер меньше, чем нужно, носил... Да и одежду — тесней, чем требовалось. А теперь, когда окружающая среда отпала, когда я перед самим собой, как перед богом, предстал, — зачем, для чего теперь ежиться? Раньше-то я мимо людей галопом проскакивал. А теперь специально в автобус переполненный влезу и на людей с близкого расстояния смотрю. Пуговицу оторвут в давке, а мне приятно: не сама отлетела, не отгнила, а движением жизни ее снесло! Вот-так-то, Игоречек! Беспокойство ощущаю. Казалось, правильно жил, приказы-циркуляры и прочие формуляры не нарушал. Юридически ненаказуем. А не нравилось...

— Кому, Иван Лукич?

— Себе, Игорек... Лично.

— Развеемся вам нужно, съездить куда-нибудь. Или — с женщиной познакомиться.

— Маму вот обидел...

— У вас мама жива?

— Какое! — махнул Почечуев молотком и застеснялся, голову ниже опустил, а затем и вовсе на выход потянулся. — Спасибо, Игорек!

— За что же?

— Выслушал старика... Ты дружи, дружи со мной. Я тебе плохого не сделаю. Безвредный я теперь. Потому как желаний мало имею.

V

Возвращается Почечуев к себе в квартиру. Ругает себя за ротозейство (двери незапертыми оставил). Защелкивает запорчики, поворачивает голову от двери, а в прихожей у него человек с веником под мышкой стоит.

— Приветствую хорошенько! — скрипит деревянным голосом пришелец. — Смотрю, понимаешь ли, дверь отошла, а в щель кошка грязная лезет. Ну, я кошку под зад ногой хорошенько, а сам захожу. Глядь — никого. Одевайся, пошли, миленький, в баню.

— С какой же это стати в баню?

— А с такой, что не притворяйся... Любитель ты этого. Знаю.

— А мне вот ваше лицо незнакомо.

— Вот те на! Запомнил. А мне, сынок, твое лицо на всю жизнь врезалось. Вот сюда! — и незнакомец почему-то похлопал себя по затылку. — Мы с тобой, Ваня, в войну ой как парились хорошенько!

— Разве? Не обозначились? Может, не со мной... парились? Все-таки давно было. Сами говорите: в войну... А на какой же улице баня, в которой мы парились?

— Здесь, на Щорса. На Петроградской, стало быть, стороне.

— Та-ак... И вы что же, опять меня в баню зовете? А если я откажусь?

— Пойдем. Что тебе делать, на пенсии-то? Сегодня суббота, сам бог велел. Собирайся, чего мнешси? Чай, у тебя не семеро по лавкам. Ты мне спину потрешь, а я тебе сказочку расскажу. Приятное с полезным. Про тебя, про дурачка, байку поведаю.

— Ничего не понимаю. Какие такие сказочки?

Смотрит на незнакомого гостя Почечуев и видит, что человек с веником старенький уже, ну, форменный дедушка, и что бояться такого сморчка нет причины.

А сопротивляться ему, то есть бить его, и подавно грех.

«Ладно, пусть... Может, и парились когда. И скорей всего не на войне, а в прошлую субботу, — соображал Почечуев. — А насчет сказочек... Небось заговаривается, вон какой древний. Одно смущает: каким образом он меня разыскал? Неужто по пятам плелся, когда на прошлой неделе из бани возвращались? Местожительство проследил, внимательный какой старичок. Видать, цель имеет. Сходить, что ли, с ним, попариться? Может, и размякнет моховик сушеный, откроется?»

— Обождите меня на кухне. Бельишко соберу... Только объясните первоначально, как вы меня нашли? В таком большом городе?

— В справочном ларечке за пятак, миленький... Вот так нашел. Теперь по этой части дело налажено. Ну, а здесь, перед фатерой твоей, смотрю — дверь отошла, и кошечка, страшненькая такая, в щель всовывается. Сразу видно — бесхозная. Ну, я ее... Да погоди-тко, миленький, неужто взаправду не признал? Очки надень. И мужик ты против меня молодой, а гляди-кось, заколодило... А все табачище! Видать, куришь много. Помещение вон как просмолвил... Вот тебе и заволокло память-то. Погодь, погодь, миленький! Сейчас признаешь. Я тебе доказательство предоставлю, либо-дорого... Писарем в стрелковом батальоне состоял? Состоял, по глазам вижу. Под Старой Руссой... возле Хома, в землянке сидел? Сидел. А человекка одного... солдатику пожилого, от расстрелу спас? Замолвил словечко перед начальством? Замолвил. И свидетелем проходил. Помнишь, дезертира судили? А какой дезертир, если за ягодами на брюхе уполз, за брусеной... Лоб в лоб мы с гобой в том ягоднике столкнулись, во мху пушистом. Припоминаешь? Мина потом прилетела. Ротного калибра. И промеж нас врезалась. Тебе ничего, а мне пальчики секанула. И энтот, которым войны на спусковой крючок нажимают, в том числе. Дошло, или продолжать? Занятная сказочка? А ты закури... хорошенько! Ишь, разволновался. Спаситель ты мой — вот кто! Да я тебя, почитай, сорок лет разыскиваю. Еще какие тебе доказательства предоставить? Желвак у тебя на животе. Шишка такая. Непременно парить его необходимо, иначе он, желвак этот, в рак перейти может. И крышка. А ежели паром его хорошенько потревожить, он и ослабнет, а потом и вовсе лотом наружу выйдет. Я тебе в прошлую субботу в бане

не признался. Сомнения брали: вроде он, а вроде и не он... И желвака прежде никакого не было.

«Смотрите-ка, чего знает! — восхитился про себя Почечуев. — Говорит, свидетелем будто? Это когда же? В штабе каких только дел не разбиралось... И к стенке без лишних слов ставили. Если провинился человек. Может, и не врет. На войне событиям разным — числа нет... Выходит, что же — однополчане? Вот притча...»

И пошел Почечуев в баню с незнакомым дедушкой.

«Сбегаю разок, а там и не разрешу больше приходить... Если чего не понравится».

— Позвольте, дедушка, вопросик задать?

— Какой я тебе дедушка? Обижаешь. Должник я твой на веки вечные — вот кто! Спрашивай, что душа пожелает.

— Извиняюсь... А спросить вот о чем намерен: минут этак двадцать тому назад в дверь мою не звонили? В звонок? Не нажимали кнопочку?

— Нет, не звонил. Чего не было, того не было. Мимо дверей проследовал, глядь — не заперто, и кшчонка, туды ее хорошенько, — шашть... Ну, я...

— Ясенько. А веничек где же купили?

— Он у меня свой, домашний, деревенский. Довоенной поры. Который год одним и тем же пользуюсь. В городе тут пар, он какой? Никакой. Одно название. Вот веничек и не лысеет. В деревне-то, бывало, за одну баню пару таких отстебашь...

В бане Почечуев вспомнил, что, собираясь дома пельмени варить, вынул их из холодильника, и тут как раз позвонили... «Раскиснут теперь пельмешки, — сокрушался про себя Иван Лукич. — Принесла нелегкая», — неприязненно посмотрел он на старикашку.

Вообще-то Почечуев ближе к вечеру и сам непременно в баню ходил бы. Без посторонней помощи. Но когда уж так получилось — будь что будет.

Снимая с себя какие-то допотопные подштанники с тесемками вместо пуговиц и обнажая тщедушное, почти детское тельце, старичок как бы невзначай сбронил:

— А мне, Иван Лукич, намеднишь восемьдесят годочков жахнуло! А словно и не жил еще...

— Поздравляю! — улыбнулся Почечуев, а про себя подумал: «Ничего себе: будто и не жил! Восемьдесят годочков хапнуть... И куда только влезло, в такого сморчка? Тут в шестьдесят, того гляди, в Парголово свезут».

Иван Лукич поднес к ноздрям веник, который у незна-

комой бабушки на крыльце бани приобрел. Яростно встряхнул березовый букет у себя над головой.

Первым делом — в парилку. Взялись на полоч. Народу что людей! Но втиснулись, хотя и сели прямо на доски помоста. Несколько молодых мужиков попроворнее, которые скамейки заняли, веселятся, пару наподдавали — состязаются! Почечуев про дела временно позабыл, лысину холодной водой смачивает, отфукивается. А старичок тот самый, военных времён, в гущу тел забрался и хлещется, как ненормальный. Изо всех сил. Так размахался веничком своим бессмертным, аж красный сделался, будто стручок перцу.

Почечуев как бы оттаивать стал... Во вкус банный входить. Веничек в тазу мочит. Истязать себя собирается. И вдруг откуда-то из груди тел дедушкин холодный голосок заструился:

— Рад я тебе, Ванюша... Праздник у меня сегодня! Я ведь тебя не отблагодарил тогда... За спасение. Теперь-то уж отблагодарю. Говори, чего желаешь?

— Не болтайте чепухи... — фырчал намыленный Почечуев. — Я голову мою. Какие могут быть желания?

— А — любые. Машину легковую... «Жигуленка» сообразить могу. По части золотишка — опять же... Дубленку болгарскую. Вазу хрустальную. Икры любого цвета, хоть бочку. О коньяке не заикаюсь — нельзя тебе, из возраста вышел... коньячного. Не робей, Ваня, бери, пока дают. Потому как осчастливил ты меня! И притом дважды: тогда, на фронте, и теперь... За то, что отыскался! — спасибо! Как бы я в гроб сходил, не отблагодарив тебя, не пропев тебе аллилуйю? Чего молчишь, реагируй!

— С ума-то не сходите... Да и не нужно мне ничего. На седьмом-то десятке. А чего нужно, того за деньги не купишь...

— Это что же, в смысле здоровьишка?

— В смысле — другим человеком стать. Не нравлюсь я себе... прежний. Разве я жил? Трава и та краше живет.

— Эвон ты куда... — вылил на себя шайку воды дедок. — Такого товару достать не могу. Туманно говоришь, Ваня. Желания твои... как бы это попроще сказать, эхимерные слишком. Ежели о жизни баять, оно конешное дело, годков двадцать я еще поскриплю. А вот ты, Лунич, со своим желваком, не обижайся, но вровень со мной не протянешь...

Почечуев сделал вид, что не слышит старичка, уши

стал себе намыливать, пеной затыкать, а дед громче прежнего трубит:

— А я, Ваня, беспрерывно до ста лет проживу. У меня и мама сто пять отмахала. А тебе... Тебе, Лукич, спасибо по гроб. Молиться за тебя — хучь во здравие, хучь за упокой — до скончания дней буду. Мне ж тогда, под Старой-то Руссой, не шибко верили, что миной пальцы поотрывало... Самострел, шепчут! А ты, Ваня, не отвернулся от меня. На правде настоял. А ведь мог бы и того... промолчать. Молчком-то спокойней. Настоящий ты, Ваня, человек! Золотой у тебя характер. И задумал ты глупость: другим человеком сделаться. Не пори горячку. Обдумай все. А на мой взгляд — от добра добра не ищут. Вон, посмотри-ка по сторонам... Какой только сволоты не встретишь... Ежели б нас не раскидало на войне (меня после госпиталя — в обоз сунули), я б тебе раньше все это высказал. Давай спину потру! — крикнул дедок в самое ухо Почечуева и, не ожидая приглашения, жестко прошелся снизу вверх по спине Ивана Лукича.

«Откуда что берется?.. Силища такая в блохе!» — мелькнуло в сознании Почечуева, а дедок тер и тер, не переставая заливать в уши бухгалтера свой, до печенок проникающий, ледяной говорок...

— Один ты, Ваня, как перст. Некому тебе не только спину потереть — глаза закрыть. У меня вот мама сто пять отмахала. Я ее недавно зарыл. Лет десять тому назад. И могилку соблюдаю хорошенько! Не как некоторые!.. Твоя-то мама, миленький, чай, живая еще?

Почечуев не стал отвечать. Он вдруг сорвался с полка и по скользким ступеням, гулко шлепая ягодицами, съехал вниз, до самого пола. Кряхтя и стона, с трудом отклеился от мерзкого бетона. Заторопился в зал, незаметно для себя прихрамывая. В мыльной было больше света и воздуха. Поспешно окатил он себя там летней водичкой и, забыв на лавке крепкий, неиспользованный веничек, ринулся в раздевалку.

«Проклятый дедок! Мама ему моя... спонадобилась! Огарок сопливый... До моей мамы ему дело!»

Когда полотенцем обтирался, рядом какой-то тип, пивом налитый, громко рыгнул и пальцем на желвак Почечуева показал:

— У моего, понимаешь, брательника такая же дуля сперва выросла... А потом...

Иван Лукич не сразу сообразил, о чем этот боров

толкует. Мужик и от бутылки-то, вроде не отрывался, а вот успел бражнить.

— Вы ко мне, что ли?

— У моего брательника, грю, такая же блямба сперва началу на пузе... А потом...

— И что же потом, если не секрет? — сощурил Почечуев глаза и так сатирически посмотрел на пивного дядьку, что тот покраснел заметно, а ведь был и так красным — после пара и пива.

— А что потом... Известно что... Рак.

— Дурак... — улыбнулся Почечуев сытому гражданину. — Вечное блаженство потом. Пушкина читать надо. А не пивные наклейки.

Розовый мужик от неожиданности тоже улыбнулся. Почесал мокрую макушку головы, успокоился. Оба теперь поворотились друг от друга и занялись одеванием.

Возвращаясь из бани, Иван Лукич не переставал смущенно удивляться тому, как он грубо ответил в раздевалке неприятному хаму. «Сколько можно церемониться? — подбадривал он себя. — Всю жизнь вьнул — достаточно! Лихо я его подбрil. Вон если деду верить, я и на более смелые поступки способен. Шутка ли? — человека в войну спас...»

Во дворе, возле дверей своей лестницы, Иван Лукич обнаружил небольшую толпу человек в пять-шесть. Люди смотрели на обшарпанную кирпичную стену. На стене, раскрашенная под серый мрамор, висела фанерная дощечка — на манер мемориальной. А на дощечке печатными буквами надпись: «Здесь жил и работал выдающийся бухгалтер современности Почечуев Иван Лукич». И даты. Жизни и... смерти. Нынешний год поставлен.

Дощечку, естественно, тут же удалили со стены. Дворничиха лопатой сковырнула. Почечуев сперва хотел заплакать. Глаза его увлажнились, губы вздрогнули частой мелкой дрожью. И вдруг маму вспомнил. Потому как некому, кроме ее бессмертному образу, пожаловаться было. А вспомнив маму, сразу и утешился: «Сам гусь хорош, нашел на что обижаться. Небось когда мама в бане умирает в одиночестве, не остановилось твое сердчишко, Почечуев... Пельмешки небось в этот самый момент употреблял или чай заваривал. Вот теперь и читай... Про то, как тебя живо из жизни вычеркнули». — усмехнулся покорно Иван Лукич. И сразу же подумал: «Неужто Кукарелова баловство? Навряд ли... Тот бы тату смерти не поставил. Кукаре-

лов — добрее. Тогда — кто же? С предприятия поблизости никто не живет... Может, из ЖЭКа чудотворец какой?»

Донечку Иван Лукич снес к себе на квартиру и очередную пробину в нестандартной, «таинственной» стене санеркой той самой прикрыл. «Что ж, мы люди не гордые... Приподсобимся и к дощечке. И к желваку притерзямся. Не привыкать нам за существование жизни бороться. По ученой теории товарища Чарльза Дарвина».

Раздрал Почечуев бумажную коробочку со сплюснутыми пальчиками, хлебным ножом искромсал спаявшийся комоч теста и фарша, покидал в киняток бесформенные клочки. Из нешумного, молчаливого холодильника «Морозко» извлек банку сметаны. Сварил, заправил, пообедал. Лег на диван, над которым висел коврик, расшитый Маниной рукой, изображавший лукошко с грибами. В основном боровички с подосиновиками. Расслабился, блаженная улыбка на лицо к нему слетела. И тут стихи одного давнишнего приятеля-студента на память пришли. Не все целиком стихотворение, а лишь две его последние строчки:

Лягу спать на полу в коридоре,
буду ждать с нетерпением — горе.

... «Буду ждать... — повторял, засыпая и улыбаясь, Почечуев. — Лягу спать. Пусть пляшут, по трубе водопроводной как муравьи, бегают, пусть! В звонки звонят, со-сисками машут — выдюжим, промолчим... А то и отбреем, не заржавеет у нас... А ежели по-доброму, так и спасти можем... Ляжем спать на полу... Будем ждать-поджидать...»

Страдать умеют все. То есть своей болью болеть, а ты вот чужой болью занедужить попробуй. Почечуев потому заживо не умер, в Плюшкина или Собакевича не превратился, потому что росток сострадания в нем не полностью засох. А ведь суета внешней жизни подчиняет, засасывает, можно сказать — перерождает тело и душу жителя земли. И вот тут очень полезно назад, в далекое детство, оглянуться: чего там в поведении дитя больше было — жалости или жестокости? Отсюда и танцевать.

Почечуев во время постигшей его болезни в разговорах с Кукареловым не единожды пытался извлечь из памяти нечто светлое, достойное, перепрыгивал в воспоминаниях с деревни на войну, с войны на женитьбу и вдруг с улыбкой остановился на самых далеких событиях детства.

«Помнится, было мне этак пять или шесть годиков. И вышел я из деревни по такой славной тропочке ласковой... Босиком шлеп да шлеп. Рожь на холмистом поле спину прогибает, волнуется. Птички звучат, бабочки летают. И приводит меня тропочка в низинку между холмами. А там — пруд, вода. По-местному — «мочило». В этом водоеме лен крестьяне мочили. Обыкновенно осенью. А в момент, когда я туда по тропе выбежал, раздавались там крики ребячьи, визг, детская, одним словом, брызготня. И чувю: жалобное такое мяуканье от воды исходит. Понял я. Братка Анисим с дружками котят топят. Было им такое от старших поручение злодейское. И вот кинулся я на них с горячим решением отбить хоть одного котенка! А котята, помнится, зрячие уже, игрушечные. То ли запахом, оставляемом на полу, не угодили, то ли количеством своим... И вот вижу я: плывет один рыженький через «мочило» — прямо ко мне. От Анисима с дружками бегством спасается. Схватил я мокренького и под рубаху запахал. Да бегом со всех ног! А погубители — за мной. Во главе с Анисимом. Вдогонку сопят. И вот слышу — настигают. Ножки-то были коротенькие, тоненькие... Кривенькие. По ним душа-то в пятки так и скользнула. Упал я в рожь и ну ползком петлять. А ржица высокая, густая. Котенок из рубахи вывалился... и, как сквозь землю провалился! И главное — затих, не вякает.

Налетели на меня... истребители! С брюха на спину переворачивают: котеночка ищут. А мне весело: обдурил, спас! Когда ребятня разбежалась и слезы на мне высохли — отыскал я киску и к одной божьей старушке отнёс. Благо у нее этой живности в избушке — пруд пруди...»

VI

Приняв послеобеденный сон, Почечуев решил в кино сходить. Благо кинотеатр в пяти минутах ходьбы от его дома.

«Пойду возле молодежи потолкаюсь. Бывало, вон на какие действия способен был! А тут затих, в землю ушел, будто крот. Может, и Маня оттого заскучала. Необходимо на улице чаще бывать, в толпе. Скажем, человек в перелуке распахнулся и матом тебя ругает, а ты ему — валидол на ладошку! Прими, успокойся. Так, мол, и так, извини подвинься. Ты к нам с дубьем, а мы к тебе соловьем! И — затихнет... Потому как человек ласки пуще всего

боится сразу злость из ноздрей паром выходит, и хоть сажь его тогда в милицию на крашение сдавай».

Почечуев не без вызова довольно-таки лихо вставил себе в рот папироску и молча заслонил проход на тротуаре первому появившемуся юнцу. Закусив зубами мундштучок «беломорины», да так, что папироска дерзко торчком встала, Почечуев с трепетом ожидал результата.

Наткнувшись на Ивана Лукича, парень спервоначалу подвергнулся из стороны в сторону, пытаясь обогнуть Почечуева, затем, догадавшись, чего мужику надобно, достал из кармана коробок и даже спичку сам чиркнул. Да еще и улыбнулся понимающе.

А Почечуев, смежив веки и ощутив дым во рту, ждал, когда же парень толкнет его или обругает, по крайней мере. Не дождавшись ни того, ни другого, Иван Лукич опасливо выглянул на дорогу. Одним глазом. И никого не увидел. В радиусе трех метров. «Парнишка-то тю-тю, выходит... сбежал! Не оказав сопротивления... Не иначе — из интеллигентной семьи. Да и почему непременно сбежал? Может, добрый...» И Почечуев благодарно улыбнулся в пространство.

В кинотеатре Иван Лукич приобрел билет на балкон. Названием фильма не заинтересовался — не все ли равно? Погасили свет. Слева от него, по-старинному наглухо повязанная платком, притаилась женщина. По правую руку — несколько мест пустовало, а далее опять сплошная ком люди сидели. Почечуев поначалу даже внимания не обратил на соседку. Ну, сидит кто-то, завернутый в материю. Поди разбери... Да и ни к чему. А потом, когда фильм скучный потянулся, поневоле внимание рассеялось и к ближайшему объекту переключалось.

«Вот, — иронизировал Почечуев, — сидит, понимаешь ли, клуша... Молодая еще, по фигуре если смотреть... А платком от всего мира отгородилась, как старица-заточница. Делает вид, что кино смотрит. А на меня, одинокого мужчину, небось ни за какие денежки внимания не обратит. Как же... Стар я для нее. И рылом не вышел».

Размышляет таким безрадостным образом Иван Лукич, и вдруг кто-то — толк! — его коленом о колено... «Ну, — думает Почечуев, — до чего засмотрелась на киношку... Аж пинается! А и смотреть-то не на что. Комедия вроде, а людям плакать хочется. С тоски. Ну, что ж, бывает, и комар бодает...»

И вдруг Иван Лукич жаркий такой шепоток слышит:

— Простите, боюсь не буду...

— Не беспокойтесь, девушка! — ответным шепотом радостно выдохнул Почечуев, неизменно оживившись и поделав. А сам все-таки, несмотря на восторг, смекает: «Может, она случайно? Или на мою импортную одежду клюнула? За иностранца, чего доброго, приняла?»

И ощутил Почечуев непонятный задор в себе. От прикосновения того женского. Как будто укол взбадривающий получил. Благодарное сердце Ивана Лукича так и встрепенулось!

«Вот так-то, господа аршисты! — обращался мысленно Почечуев к своим обидчикам. — Вы нас хороните заживо, доски мемориальные вешаете, в звоночки непонятные звоните, а нас тут девушки коленями толкают! Мы им, девушкам, — не безразличные еще...»

И тут вдруг опять тихонько так — уть! — коленкой.

«Вон-а-а что... Да здесь, братцы, понимать надо!»

И так как дама на этот раз промолчала, то и решил Почечуев сам голос подать и в свою очередь как бы извиниться.

Наклоняется он тогда почти к самому платку и шепит довольно громко:

— Прош-ш-шения прош-ш-у!

А из-под платка на Ивана Лукича вдруг как глянули глазницы! В это самое время на экране что-то взорвалось. Фейерверк какой-то брызнул. И в глазах дамочки отразился. Так что получилось довольно эффектно. И Почечуеву даже отпрянуть пришлось. От соседки. Как от чего-то невозможного.

Когда из кинотеатра на воздух вышли, отметил Почечуев, что незнакомка не такую уж юной оказалась. То есть особа она еще молодая, лет тридцати, однако не первой свежести и наверняка замужем состояла. И решил тогда Иван Лукич посмелее действовать. Случай в его биографии небывалый подворачивался: уличное знакомство с женщиной. И пошел он на такой шаг всего лишь из любопытства, потому как прежде в кинотеатрах коленками его никогда не толкали. Да и женщина в темноте какой-то несчастной показалась — в своих платках. «Может, ей помощь требуется? И не в таких переделках бывали!» — вспомнил Почечуев дедушку-«дезертира» и отважно сунул свою тяжелую руку под локоток дамочки. А далее и говорит:

— Приглашаю вас в ресторан «Корюшка». Поплавочей

такой симпатичный невадалека. Шампанского выпьем за наше случайное знакомство! А чего? Или такое только в кинокартинах дозволяется?

Молодая особа руку Почечуева из-под локтя культурненько так выпихнула и речь повела совсем не такую, какая Ивану Лукичу грезилась, можно сказать, обидную речь повела.

— Ничего у вас не получится, папаша, — это она Почечуеву преподносит. — Я думала, что вы гораздо умнее, тоньше... А вы, извините, попрыгунчик. Такое не про меня. От шампанского я, пожалуй, не откажусь. Потому что я простыла малость. И нервничаю. А вот остальное — отменяется.

Почечуев, как ни взбудоражен был коленками, но, если честно, ни о чем таком «остальном» даже не помышлял, а потому и вытаращил обиженно серенькие свои глазеныш на высокомерную спутницу. И тут же решил, дабы достоинства не ронять, дать ей, так сказать, оборотку, то есть по ее же методу действовать и что-нибудь вздорное преподнести.

— Стало быть, за ухажера приняли?.. Смотрите-ка. А я уж и не надеялся подобные впечатления производить. Нет, миленькая, ошибаетесь. И спасибо за откровенность. За то, что человека... живого, заслуженного... цените ниже бутылки шампанского. А насчет выпить — почему бы и не согрешить? Кстати, по части способностей денежных... Располагаете? Или на меня одного рассчитываете?

— Располагаю! — прыснула дамочка в ладошку. — Не переживайте.

— Я от вас, уважаемая, большего ожидал. Думал, пожалею, успокою. Сидит, пригорюнилась. Люди-то, случается, в двух шагах от нас погибают... В соседнем, можно сказать, кресле. А за помощью обратиться к соседу — куда там! Самолюбие не позволяет. Напрасно, выходит, беспокоился. Вон вы какая самостоятельная... Да и слава богу!

— Спасибо, конечно. Значит, вы — добрый? Жалеть можете? Не вздумайте отпираться! У меня неприятности. Небольшие, правда... Но все же. Знаете, мне собеседник необходим. И непременно добрый... Не нейтральный, а именно который других понимать способен.

— Не шибко-то я добрый. Как все.

— А мы сейчас проверим. Предлагаю вам тест. Такой вопрос, наводящий. Вот вы... Этаким солидный и добрый. С японским зонтиком. Смогли бы вы слабую... симпатичную

женщину, более того — жену свою законную, смогли бы вы ее в два часа ночи из дома выгнать? Отвечайте мгновенно, не задумываясь!

— Лично я никого не выгонял... Сами ушли.

— Ну, сами — это сами, добровольно. А Витя меня... силой вытолкал! То есть я тогда поздно пришла, и он меня домой не впустил. В щель со мной разговаривал, так как цепочки не снял. И ногами на меня затопал, как истеричка. А ведь он — мастер спорта по бобслею!

— Небось изменили ему, Витику-то?

— Витю я люблю. Но Витя стал портиться на глазах. Кричать, дергаться начал. Деньги наши общие пересчитывать манеру взял. Нахохлился, насторожился весь. Обеды сам готовит. Начал с мяса. Мясо, дескать, мужской продукт. А затем и супы принялся варить. Передник завел. Я ему: Витя, опомнись! Давай лучше в бассейн ходить. Или на секцию каратэ. Если тебе твоего бобслея мало. Ноль внимания! Сама я гимнастикой по системе йогов занимаюсь. А Витя заупрямился. Варит себе и варит. Каши, пудинги, даже блины несколько раз испек. Животик у него наметился. Мускулы одрябли. Бобслеем-то он, то есть на санках с горы, в основном в зимнее время занят. Вот и возникли у нас разногласия. Встретил он меня с одним мальчиком... йогом. Мальчик один такой задумчивый, целеустремленный появился. С характером, жилистый, цепкий. И на пальцах рук ходить может. То есть передвигаться таким образом. Вниз головой...

— Изменили, стало быть...

— Отвлеклась. А не изменила. От Витика отвлеклась, а на этого мальчика внимание обратила. Вот и вся измена. Жить-то мне с Витей выпало. А не с мальчиком, который на десять лет меня моложе. И не то что блинов — пельменей самостоятельно не отварит. Потому что другим занят. Устремления у мальчика другие. Более эфемерные, туманные...

— Вот видите, шибздик какой... А вы на него законного Витю променяли...

— Променяла! Да типун вам на язык... Русских слов не понимаете: отвлеклась! Извините... Я волнуюсь. Отвлеклась, чтобы не уонуть, как на дежурстве ночном... Любовь поддерживать нужно, как костерок. Все время туда чего-нибудь подбрасывать. Чтобы огонь сохранялся, жар... И обязательно с двух сторон подкидывать. Одной-то разве справиться?

Почечуя за разговорами подтолкнул женщину к двери ближайшего кафе. Сели за столик. Женщина по сторонам оглядываться стала. Не до шампанского ей было, сразу видно.

— За вас с Витей... — поднял фужер Иван Лукич.

— Спасибо. И за вас. — Незнакомка смущенно улыбнулась. Затем, как бы очнувшись: — Давно за нас с Витей не пили... С самой свадьбы, можно сказать...

— Ну, хорошо, ладно. Отвлеклись вы на этого... и-ёга. Который на пальцах. Но ведь не только небось на и-ёга? У женщин это в природе — отвлекаться... Вон как со мной-то у вас легко и складно получилось. А коли так — и не жалуйтесь!

— Да на вас-то я что... На вас я безбоязненно. Вы хороший, добрый. Разве не так?

— И на пальцах стоять не могу. Это вы хотели сказать?

— Не обижайтесь. Я действительно с вами как... с отцом. Вот прежде на исповедь к попу ходили. А сейчас — куда? В кассу взаимопомощи? Мне освободиться нужно... От боли! Подружки-то пожимают, внешне посочувствуют, а сами потом хихикать надо мной будут. Уж я знаю... Сама не далеко ушла. Простите, а вы, конечно, женатый?

— Почему — «конечно»?

— Ну, такой... ухоженный, модный, я бы сказала. Добротный.

— Женатый, женатый... Как же.

— И дети есть?

— Дети? А знаете что? Давайте-ка я вас отведу!

— Куда, собственно?

— А к Витьку... Домой. Нечего вам по кинотеатрам ошиваться. Только сначала ответьте мне откровенно: там, в кинотеатре... ну, стало быть, коленкой меня — случайно? Или — специально, озорничали?

— Сперва случайно. А во второй раз — нарочно. Поняла, что с вами поговорить можно... Что вы добрый... Вот и решила в этом убедиться.

— Да почему, елки-палки, добрый обязательно? С какой такой стати? Ангела, понимаешь ли, нашли...

— Думаете, наивная? Понятия о жизни не имею? Ясно, что у людей хорошее с плохим попеременно. Но чего-то обязательно чуточку больше. Или того, или другого. Вот мне и показалось, что того...

— Показалось! И это — в темноте зала. А если не «того», а «этого» больше? Мы, знаете ли, не в антеке,

мы на улице находимся. Тут можно и... промахнуться.

— Как вам будет угодно, только я при своем мнении останусь. Позволяете? При хорошем, добром мнении. Мне так сподручнее. А теперь... Ведите! К законному.

Покидали кафе успокоенные. Дождя на улице давно уже не было. Основательно парило, хотя и намечался послеобеденный спад жары.

Теперь молодая особа сама взяла Почечуева под локоть и вела его к своему дому. Несмотря на теплую погоду, голова женщины оставалась наглухо закутанной.

— Сняли бы платок. Духота такая...

— Я неудачно покрасила волосы. А перекрасить не успела: начался конфликт, то есть — Витя озверел. К тому же так уютнее, когда... без Вити: одиночество переносить удобнее в такой упаковке. Будто в гнездышке сидишь...

В Почечуеве тем временем, обратная волне энтузиазма, волна сомнения к сердцу подступила. «Ввязался, — размышлял он. — Домой вот теперь дамочку спровождаю, которая мужу изменила... А муж, хоть и с брюшком, а мастер спорта. Возьмет да шваброй и перекрестит! И правильно сделает. Не лезь.. со своим кувшинным рылом в наш огород! То есть не в свое дело не суйся».

— Живете в коммуналке или в отдельной?

— В отдельной.

— А дети?

— А детей нет... Шестой год отношения выясняем. Откуда им взяться?

— Значит, однокомнатная.

— Она самая. Мужу от института дали.

— Тогда понятно, почему... и-ёги...

— Что вы сказали?

— Теперь, говорю, понятно, почему и-ёги разные, а не семья. Деток нету... Вот причина. А не потому, что муж блины печет. Деток вам необходимо завести. Сразу все образуется. По себе знаю...

— То есть вы предлагаете забыть о себе и переклочиться на ребенка? Подумать, не мыслить, не разгадывать тайны бытия..., а полотенки каждый день стирать? Склонив голову?

— А чего мыслить-то, чего разгадывать? Для этого академики есть. С мировым именем. А нам с вами, мадамочка, не разгадывать, а жить необходимо успевать. Пока в Парголово не свезли... Муж, то есть Витя, дома сейчас находится?

— По идее — дома. Выходной сегодня. Наверное, обед приготовил, меня дожидается.

Подожли к светлону, облицованному кремовой керамической плиткой шестизатжному дому, который был втиснут в пространство в ряду старинных, петербургских еще, застроек. Поднялись в лифте на пятый этаж. Позвонили. Дверь открыл симпатичный малый двухметрового роста. Блондин. Румяный, растерянный. В руках книга толстая. Десятый том собрания сочинений то ли Данилевского, то ли Достоевского.

«Смотри-ка, — приятно удивился Почечуев, — не детективы заглатывает, а серьезную, можно сказать, литературу переваривает».

И тут же Иван Лукич от самого себя в восхищении тайное пришел, от живительного задора, который в крови все это последнее время ощущал. «На такого, можно сказать, мордоворота нарвался, — хихикнул про себя Почечуев, — а вот поди-тко, не страшно ничуть! Хорошо бы Витя в драку полетел... Пихнул бы меня в грудь! Уж я бы ему улыбнулся... Или поймал бы руку Витину на лету... и в кулак его огромный, спортивный — бац! поцеловал бы! За боль-обиду — хрясть! — получай ласку... Да он бы тогда сквозь дом безо всякого лифта так бы и прошел до земли — от стыда... Вот как с ними воевать нужно...»

Малый с книгой отступил в глубь помещения. Винозато голову опустил. Как бы поклонился. На лице улыбка счастливая, не наглая. Так в прихожей молча и затолтались все трое... Почечуев из японского плаща шикарный носовой платок достал. Чуть ли не квадратный метр материи клетчатой. И обстоятельно высморкался. Громко и с разглядыванием содержимого. И вдруг! — на тебе... безо всякого предупреждения блондин и дамочка бросаются друг на друга! И обнимаются как попало... Она ему головой в грудь тычется, а сам он, то есть Витик, верста коломанская, по голове ее ручищей трогает. И оба от восторга чуть не плачут.

Забытый Почечуев вежливо кашляет в кулак, кряхтит для приличия, а потом к двери лицом позорачивается, благо она незапертая, и давай бог ноги, без всяких последствий прочь убирается.

VII

У себя в парадном из обожженного детьми ящика для корреспонденции Иван Лукич извлек вечернюю газету,

поднялся поспешно в свою берлогу, аккуратно, на «плечиках», повесил в стеной шкаф немецкий пиджак и японский макинтош, вздернул на специальном креплении брюки за штанины и туда же их — в шкаф. Изнемогая от нетерпения, все же не кинулся шарить в газете происшествия. «Я хоть и русского происхождения человек, — комментировал эти свои движения Почечуев, — не германец дотошный, а порядок соблюдаю неуклонно. Цифирь приучила...» В конце концов влез Почечуев в тапочки и, пройдя на кухню, захлопотал над чаем.

Поставив перед собой на столе едва заметно дымящийся коричнево-красный напиток, развернул газету. И неожиданно повезло! Шикарное происшествие дали: «Рабочие ремстроя при разборке здания, подлежащего сносу, обнаружили в кирпичной стене клад: глиняный кувшинчик с золотыми царскими пятерками и десятками. Кубышка была замурована в последние предреволюционные дни, так как вместе с кувшином в стене найдена газета «Копейка» от 2 января 1917 года».

Вот какое славное происшествие подвернулось Почечуеву. И тут Иван Лукич сперва мягко, вкрадчиво, а потом дерзко, с вызовом, скользнул взглядом по заветной стене!

Почему не здесь, не у него в квартире кубышка обнаружилась? Вернее — почему бы и не у него? Такая нестандартная, неуклюжая, можно сказать, нелепая стена имеется в наличии... По форме своей уютю напоминающая.

Не утерпел Почечуев, в кладовочку ринулся. Извлек инструмент: зубильце, шлямбур, молоток и даже кувалдочку. Обвязал себя ветхим, еще Маниным, передником, отодвинул тахту от стены, газеты на полу настелил для порядку — принялся за дело.

Прежде долбил он преимущественно возле утолщения. Отверстия были разбрызганы по всей стене, но гуще — у основания «уютюга». Теперь же, поразмыслив, выбрал он нечто среднее, отступив метра полтора вправо от прежних скважин.

Сегодня он работал истощенно. Торопился, попадал молотком по рукам, ссадины уже местами кровоточили. Штукатурка вместе с куском обоев отпала в первые же минуты, обнажив красный, с малиновым закалом, звонкий кирпич. Почечуеву страстно хотелось внутрь стены пробраться. Хотелось, чтобы зубило наконец-то мягко ввали-

лось в пустоту. Он физически ощущал близость этой пустоты. Он весь зазвенел от напряжения!

Вот-вот кирпичи, среди которых он пробивался к заветной цели, по-человечески вздохнут или охнут, стена расступится, и рука Почечуева ощутит невероятную новизну. Недавняя встреча с женщиной в кинотеатре как бы омолодила его, потому и работалось вдохновенно, сладостно. Люди, не занятые в быту физическим трудом, иногда искренне, в охотку, с жадностью разминают свое тело, с упоением и дикими отрывистыми звуками. Почечуев увлекся. Два часа пролетели, как единый вздох. Напрасно Кукарелов отбивал у себя на четвертом этаже отвлекающую четку — Иван Лукич ничего, кроме биения своего сердца, не слышал.

И тут что-то случилось... Внутри Почечуева. Боль вспыхнула одновременно в голове и где-то в пояснице, скорей всего — в позвоночнике. Из глаз искры посыпались, а все тело от боли враз обмякло, как бы сварилось, и — тошнота. Откинулся Иван Лукич на тахту, благо тут же, за спиной, она была; простерся вверх грудью, лицом повернулся к свету окна. Довольно удачно откинулся. Даже маленькая подушечка «думка», Маней расшитая, под голову подвернулась.

Лежит Почечуев, лишний раз вздохнуть боится, чтобы страдания физические не дразнить, не вызывать из глубины, в которую окунулся. А в голове хоть и звон от удара, но мысли из нее не разлетелись, присутствуют, и вопрос такой копошится: «С чего бы это... звездануло по мозгам так? И в поясницу... А ну как желвак действовать начал?! Вот и доигрался, Ванюшка...» — назвал он себя почему-то стародавним, детским именем. Страх перед болью сковал Ивана Лукича цепче, чем сама боль. А боль, та, первая, взрывная, остыла, как бы рассосалась. Взамен нее тяжесть — глухая, мутная — обволокла. Постепенно Почечуев с положением свыкся. Приспособливаться начал. Если можно приспособиться к смерти...

Небо в окне опять захламилось дождевыми тучами, да и вечер вплотную приблизился. В комнате заметно потемнело.

«Забыл занавеску задернуть... А двери на запор защелкнул или нет? И газ на кухне? Крантик под чайником вывернул? — подумал и удивился, что такая мелочь в голову лезет на смертном одре. — Людей звать пора. На помощь. Хоть бы Кукарелова. Только как позвать? «Кара-

ул» крикнуть? Пожалуй, слишком... Это уж когда совсем убивают...»

Почечуев решил — осторожно, самую малость, хотя бы на миллиметр для начала — прилечь. Тело не повиновалось. Вдобавок проснулась уже знакомая боль — в спине и одновременно в животе.

«Неужели... капут?» — почему-то немецкое, военной поры словечко вспыхнуло.

— Помогите... — отважился крикнуть Иван Лукич. Но получилось невыразительно, едва слышно получилось. Почечуев, пожалуй, и погромче смог бы, да боялся дополнительный вред себе причинить.

«А вдруг — позвонят? Звонили же недавно... Тогда я сразу: «Войдите!» Что есть силы. И — «помогите!» — заодно. Для страховки, — размечтался Иван Лукич. — Пусть двери ломают, пожарников зовут. Чего стесняться? Да ежели для пользы дела — пусть хоть весь дом по кирпичику разбирают. А может, и вовсе не заперто... Пусть бы дедушка опять пришел. Который с веником. Вот и поквитались бы... Я его тогда — он меня теперь выручил бы...»

Почечуев закрыл глаза. Попытался ни о чем не думать и хотя бы ненадолго задремать. Вдруг да и отпустит во сне. Теперь сном лечат. Недавно в газете про такое читал.

И вдруг догадка в голову вошла — плавно, вежливо... Так же как, бывало, Маня с работы домой возвращалась... Тихая такая догадка: «Потому и погибаю, потому и жил во мраке, что обошла меня любовь. Не было ее... Как бога. У других была. А во мне отсутствовала. Или притаилась до поры. Как семечко хлебное. В щели каменной. Вот в чем корень, а не в шишке на животе. Душа у тебя, Почечуев, парожня. Там, где у людей любовь содержится, у тебя — ниша пустая... Ладно. Главное — в понятие войти. Жив буду — по другой колее поеду. Влюбляться мне, ясное дело, поздно. В смысле в бабу... А вот применение себе обязательно найду. И всего вероятнее — в детском доме. В воспитатели подамся. На общественных началах попрошусь. Денег мне от них не надо. Буду за так с детишками возиться. Ну и рацион... За общим столом. Теперь это модно: наставником. Как ветеран. На путь истинный наставлять. Книжки ребятам читать буду. Глядишь, и сам умнее сделаюсь...»

Была слышно, как где-то в доме спускали воду в уборной. Затем хлопнула дверь на лестничной площадке, выше этажом.

«Нохоже, Кукарелов зашевелился. Неужто уходит? А что ему дома делать? Ни жены, ни даже собаки. Сядет на лавку и уедет на гастроль. А ты тут кукуй!»

— Помогите! — выдохнул из себя Почечуев. Получилось мощнее, чем в первый раз. Но голос на нервной почве, сел, похух. Прозвучало рассыпчато. А для того чтобы тебя услышали, необходимо звук собрать, сконцентрировать, чтобы — как из ружья!

Открыл Почечуев глаза, а в окошке что-то светится. Звездочка какая-то зажглась. С красноватым оттенком. И вдруг эта звездочка, как маттник, раскачиваться начала. А затем и подпрыгивать. Вверх, вниз... Ба! Никуда, стало быть, Кукарелов не уехал. Подергавшись, фонарик медленно поплыл вниз, то есть по назначению, а именно к зазубке Кукареловой.

«Эх, родименькие! Что бы я тут без вашей почты делал, без сигналов ваших любовных? Такой славный огонек сообразить... Сразу полегчало».

— Помогите! — повторил Иван Лукич.

Фонарик вернулся снизу. Подергался, поплыл и вдруг, что-то сообразив, резко уплыл вверх. Напрочь из поля видимости убрался.

«Неужели услышал? О помощи крик? Стало быть, действовать сейчас начнет. — И тут Почечуев вновь засомневался. — Нет, не придет. Наоборот, затаиться может. Решит, что я от его хулиганства на крик сорвался. Что прикажете делать, товарищи дорогие?»

Затих Кукарелов. Четкую отбивать перестал. Решил, видимо, что долек старика.

— Где-то высоко в небе, примерно на седьмом этаже дома, в фарточку-пролазла собака. Почечуев знал эту собаку. Встречался с ней на лестнице. Морда такая добродушная — в бороде кудрявой. И самостоятельного поведения бобик. Нос куда пошло не сует. Не отвлекается, будто к хозяйской ноге привязанный идет.

«И чего бы собаке не учуять беду? Что одному из жильцов дома плохо сделалось? Так нет же, не учует. Шпиона или бандита уголовного мигом распознает, а тебя, которому срочная помощь необходима, сторсной сбейдет».

Неоднократно Почечуев впадал в полубабытье. Особенно когда за полночь перевалило. Отчаяние сменялось безразличием, невеселая озлобленность — скептически-ироническим отрицанием. Боль и страх не отпускали и на другой день. Не было никаких позывов. Да же самых естественных.

В один из просветов в сознании с потолка отчетливо прозвучали стихи Маяковского, вернее — одна только строчка: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» Чуть позже в окне в перекладину форточки царапнула коготком птичка. Скорее всего — воробышек шальной. Пискнул, чиркнул и прочь полетел.

«Комочек махонький, а захотел — и полетел! А ты лежи плашкой... Человек, владыка!»

Неожиданно крупный, застучал по окнам ливень — хлесткий, наотмашь! Над домами гроыхнуло. Гулкое эхо грозы отскочило от каменных стен кварталов и ввысь уплыло, к тучам.

«Ишь, грянуло как! Дождище какой... Весь мусор с тротуаров смоег. Сейчас бы в окошко высунуться. На миг. Для освежения лица. Дышать нечем».

Счет времени Почечуев потерял. Давно кончился завод в будильнике. Однажды возник странный момент, когда Иван Лукич до боли в желудке захотел есть. Ненадолго. Однако порадовало: жив, коли жрать хочется. Затем и это состояние притупилось, померкло. Кстати, и со зрением нелады происходили. Пелена мутная образовалась перед глазами. Должно быть, от застоя. Сколько уже суток не умывался, глаз не протирал — двое, трое?

«Поплакать бы... — пожелал Иван Лукич. — Слеза, глядишь, и смоег, разъест пленку. А то что ж получается: одни уши функционируют. А все остальное как травой заросло — не работает. Зрение, воля, движение... За что мне такое, мама?»

Ночью на лестнице собака лаяла. Другая. Беспризорная. Которую Почечуев пельменями угощал. Разбудила жильцов. На нее шикали, матюгались. Собака замолкнет на время, а затем опять гавкает. Пришлось Кукарелову, как самому жизнеспособному, выйти на лестницу со шваброй в руке. Чтобы прогнать крикливое животное за дверь, на улицу. Спускается Кукарелов, а дворняга возле квартиры Почечуева стоит и плачет, то есть воет, подвывает. И носом под дверь нюхает. Время от времени.

К утру только разобрались — что к чему... Что Почечуева удар хватил — выянили. Хорошо еще двери не полностью запертыми оказались у Ивана Лукича: на одну всего лишь цепочку. При помощи местного сантехника цепку быстро перекусили и в помещение проникли.

Марьяна Лилленталь уборку произвела. Почечуева раздели, перестелили под ним. «Скорую» вызвали.

Старик лежал с застывшей улыбкой; казалось, он вот-вот рассмеется вдребезги!

Стену он у себя в комнате очень лихо расковырял. Можно подумать, что в окно снаряд влетел и по стене треснул — такая солидная ворска, и всюду множество кирпичных осколков.

Потом, когда Кукарелов Почечуева в больнице навещал, Иван Лукич, взяв из рук артиста банку с компотом, громко сказал: «Бусибо!» — явно не узнав соседа, а затем, отвернувшись к белой холодной стене, добавил: «Растраляйте меня, пожалуйста. Я маму убил!»

VIII

На третий или четвертый день лежания, обросший по подбородку серебристой щетиной и в душе смирившийся с угасанием, Иван Лукич услышал далеко-далеко позади себя странное металлическое постукивание и такое знакомое, можно сказать, родимое пение, входной двери... Почечуев даже легкое движение воздуха кончиком носа уловил. «Неужели — чудо?! Открыли, откупорили!»

И вдруг встал вопрос: кто освободитель? «А не все ли тебе равно — кто?! Да пусть хоть бы и воры-грабители, людоеды сказочные!»

Почечуев напрягся, страстно пожелав голосу развернуть и хоть краем уха благословенные звуки, шорохи, неизбежные с появлением живого человека, ухватить.

Похоже, кто-то чихнул. На далеком расстоянии. Будто за стеной, в соседней квартире. «Не иначе — пыль кому-то в нос попала. Воздух в помещении спертый. Сам-то я к своему воздуху притерпелся, а свежему человеку небось так и бьет по ноздрям».

И вдруг по комнате прошли на высоких каблуках: характерная женская походка с твердым постукиванием.

«Женщина! — испугался Почечуев. — А я в таком положении... грязном. Может, Маню бог послал? А кого же еще? Не маму же?»

И решил Иван Лукич позвать Маню. Губы расклеил:

— М-ма... — А вторую половину слова не осилил. Вернее, опять «ма» вышло. А в итоге — ма-ма.

— Кош-шмар-р! Кош-шмар-р! — летало по комнате лохматое слово, пока ушей Почечуева не коснулось.

— Ма-ма...

«Может, и не Маня вовсе... Может, милиция прибежала. На сапогах подковки».

— Когда Почечуев в очередной раз очнулся, в комнате произошли некоторые перемены. Оба окна были открыты настежь. С улицы доносился драгоценный шум дождя. Приятный, прохладный и в то же время ласковый воздух циркулировал в комнате. Лежал Иван Лукич в несколько ином положении. Голова его покоилась на большой подушке. Был он весь прикрыт чистой простыней, поверх которой лежало байковое, военной поры, то есть совершенно ветхое, одеяльце Ивана Лукича.

«Похоже, раздел... Верхнее сняли, и теперь я под простыней голый или всего лишь в трусах...»

Но пелена с глаз не сошла. И голову поворачивать на подушке было по-прежнему трудно, почти невозможно. И тут сдавило Ивану Лукичу кости на груди, дышанье вовсе перекватило, а нижнюю челюсть, как пружиной, отбросило!

«Все-таки... помираю...» — сложилась в голове фраза.

Почечуев как можно шире распахнул глаза, стараясь напоследок разорвать пелену и небесного света зачерпнуть взглядом. И глаза разлепились! Не полностью, но некая трещинка в пелене образовалась. То, что он увидел в следующее мгновение, повергло его в окончательный трепет, заворожило весь хрупкий, подтаявший его мирок — сладким ужасом, не позволявшим захлопнуть веки или отвернуть лицо к стене, которую он долбил последние несколько лет, желая пробиться в неизвестное.

Почечуев увидел... смерть. Такая женщина с черными распущенными волосами и с той самой косой, которой в деревне траву косят. Вот, пожалуйста, возле окон прошлась, орудием труда помахала, теперь к стене за тахту заходит. Газетами зашуршала, которые он под кирпичную крошку подстелил. И знай машет сплеча!

«Однако не умер, если газеты слышу, — заулыбался не губами, а там, внутри себя, Почечуев. — Эвон, часики пошли, будильничек. Завел кто-то. Кажись, бульоном куриным пьют». Повеселел Почечуев. Понял, что пронесло мимо пустоглазую. А тут ему и зрение промыли. Раствором каким-то освежающим. И уколы — сперва в ляжку, затем в руку — произвели. И человек в белом перед Иваном Лукичем нарисовался.

«Доктор... — еще больше обрадовался Почечуев. — Ну, теперь пойдет дело. Теперь-то уж я не дамся!»

Открыл Иван Лукич промытые глаза пошире и говорит доктору:

— Спасибо.

— Не за что, — отвечает доктор, молоденький такой паренек, серьезный и деловой.

— За спасение души — спасибо. Вот за что. Не чаял уже...

— Лежите, не разговаривайте. Мы вас в больницу транспортируем.

— А как же... — продолжает шевелить языком Иван Лукин, — а где же та... которая с косой?

— Женщина? Которая вам бульон сварила? Не знаю. Собралась и ушла. Ее сосед с верхнего этажа призвал. Он и «скорую» вызвал. Хотя мог бы пораньше догадаться. Вы тут мхом уже обросли.

— Да я не про то... Сперва тут вроде другая путалась... Косой махала. Или — видение мне? Пожилая... Как мама.

— Какая еще другая? Молчали б уже. Сейчас вам противопоказано...

— Та-ак... А другой, получается, не заметили? Вона что...

— Она вам уборочку навела. Штукатурки вон целое ведро. Зачем же вы при своем давлении такой тяжелой работой занимались? Нишу, что ли, решили продолбить?

— Нишу, нишу, сынок. Ее самую.

Лежит Почечуев, отдыхает от гибели. А вадно и: соображает помаленьку.

«Неужто Маня приходила? А Кукарелов-то! Вот и составляй мнение о человеке по... сосискам да по чечетке его... Век не забуду! А как же мамаша? Выходит — померещилось? И не мама, а Маня. И не с косой, а со шваброй».

Врач уехал. Сиделку приставили. А потом Почечуева в больницу свезли, положили. Палата сносная, пятиместная. Народ в основном пожилой, равноценный. У всех организмы подорваны. Один, правда, выделяется. Самый дорожный, приглаженный — Кункин по фамилии. С остатками важности на лице. Этакая сонливая небрежность в разговоре. Дурак непроходимый. Взгляд очей имел приподнятый и безразличный. Слова из себя вытягивал, как червонцы из кошелька. Директором крупной торговой точки до инфаркта состоял.

У нашего Почечуева после месяца лежания в палате так и не отошла, не оттаяла левая рука, словно мороз ее изжевал. И ножка левая испортилась, слегка волочилась теперь. Едва заметно. Это ему от инсульта последствия. «Инсультпривет!» — как шутили в палате. Зато инфаркт

у Ивана Лукича только наметился: самый микроскопический рубчик на сердце схлопотал. Хотя в этом повезло. Самую ничтожную трещинку сердце дало. И тут же срослась материя. Так что виды на жизнь Почечуеву были обещаны самые реальные.

В больницу Почечуеву несколько раз приносили передачи. Апельсины, венгерский компот «Ассорти», соки. Кто, за что? Записок не оставляли. Однажды только на пакете с апельсинами что-то такое нацарапано было карандашом, а что именно — никто в палате разобрать не смог, даже Кункин, который посовокупнее всех. Одного посетителя все же расшифровать удалось. Дежурная сестра усекла: такой, говорит, настырный молодой человек с усиками. А из усов — улыбка. Ясное дело: Кукарелов! Его «Ассорти».

Ходячих в палате к моменту выписки Почечуева из больницы было уже трое: Кункин, который директор торговый, сам Почечуев и еще один доходяга тощий, аж светится, дядя Валя, служащий системы коммунального хозяйства, помещенный на игре в «Спортлото». Остальные двое, мужики лет пятидесяти, лежали пластом. Их заставляли по новому методу двигаться, ходить сразу после инфаркта, однако на такое они наотрез не соглашались и лежали дружно, боясь шелохнуться.

Однажды Кункин ухватил Почечуева за пояс халата и начальственным тоном объявил:

— А тебе, папаша, советую немедленно, в приказном порядке, брак с первой попавшейся гражданкой оформить. Иначе, при повторном ударе, сплнешь в своей однокомнатной заживо.

«Самому лет не меньше моего, почернел вон, как есть от коньяка, а туда же — «папаша» и за кушак берет», — обижался молча на вальяжного Кункина Почечуев.

— Сами не маленькие, — произносил Иван Лукич, отстраняясь от мягкого, рыхлого Кункина и вежливо поднося фаянсовый помилник с клюквенным морсом к голубому рту одного из лежащих.

— А это как в лотерее! — вспыхивал прозрачный дядя Валя. — На кого выпал номер, тот и помер. А не выпал — живи, ожидай. Тут везенье наоборот. Берем хотя бы Луку Иваныча. Это ж надо: человека, единичку малую, в захлопнутой отдельной квартире инсульт вместе с инфарктом к стене прижал! И хоть бы хрен. Везучий ты, то есть везучий наоборот, Лука Иванович!

— Иван Лукич!

— Не имеет значения. Главное, в точку не попали, не выиграли! А угадай вы номерок, сойдись серия.. и где бы вы сейчас отдыхали? Скорей всего в Парголово.

— Ешьте как можно больше травы, — брал Почечуева за кушак Кункин. — Как вот грузины и прочие народы в горах. Они там дольше всех советских граждан живут, понятно? А почему? — строго спросил Кункин. — Травы потому что. И ягоды. Лучше всего — черноплодная рябина. А про свои пельмени забудьте. И про чай крепкий — тоже. Траву заваривайте: ромашку, зверобой.

Перед самой выпиской, в один из дней показали Почечуева хирургу. А на другой день хирург Ивану Лукичу желвак удалил, который элементарным жировиком оказался.

IX

Из больницы Почечуев помолодевшим возвратился: десять килограммов весу сбросил; улыбка к нему во время удара приклеилась и теперь солнечным зайчиком блуждала по лицу.

— Чему радуетесь, Иван Лукич? — спросил его Кукарелов.

Почечуев сперва было застенялся: походку свою с отяжелевшей ногой показывать не хотелось, а затем как бы развеселился даже, столкнувшись на лестничной площадке с Кукареловым.

— Оторочку, Игорек, получил... Вот и радуюсь! Тебя опять вижу, вот и ликую. В деревню теперь съезжу. Рябину увижу, под которой мамаша носки мне вязала. Чтобы я в городе ноги не застудил. Уцелели ноженьки. Зато сердчишко поморозил... Душеньку. Поеду, теперь отогреюсь. У нас там речка теплая, церквушка над ней старенькая... Такая бабушка каменная. И — детство там... Могилку мамашину поищу. Реставрацию ей наведу.

— Скажите, Иван Лукич, страшно было умирать?

— Понятное дело — страшно. Только ведь и к страху привыкаешь. Человечийско — он ведь всю жизнь свою боится то одного, то другого. С крыши упасть, в речке утонуть, ремня батянкиного боится, слез бабьих, пули военной, решетки тюремной... А уж смерти! Это ведь только напоследок, когда с ней в солидных годах носом к носу сойдешься, то вдруг и понимаешь: не страх от нее, а чары чудесные исходят. Тайна великая. Для смерти созреть необходимо. Молодым умирать негоже. Ибо — ужас великий

ничего более. А в моем состоянии не ужас — тайна. И благодаренье за то, что посетил, что сеньишком пользовался да всякими разными дождиками. За то, что Маню видел на турнике... в розовом.

Старик после больницы явно сентиментальнее сделался. И словоохотливей. Но почему-то слушать его было приятно.

И события жизненные после больницы от Почечуева не отвернулись. Едва на лестнице с Кукареловым распрощался, а уже новая встреча наклеывалась. В квартиру проник, как в склеп каменный: темно, прохладно... И тут, пока в дверях колошился, пока одной рукой запоры в действие приводил (к капризам второй руки еще не приспособился), — тут кто-то двери вовнутрь пихнул, и сразу загородом лесным запахло.

— Есть кто, али нету никого? — зашамкал полужнакомый голос. — Никак жив, Лукич? Тогда подвинься хорошенько, — и, оттеснив Почечуева дверью, в прихожую пролез тот самый дед с веником, любитель бани.

— А-а... Это вы! Хотя бы постучались, что ли... Едва знакомы, — сприбился, сморщился Иван Лукич.

— Шишкин мое фамилие, али не признал? А звать Никодим, — шелестел дед, как веник. — Слыхал, будто кондрашка тебя прижала хорошенько... А я тебе в больничку апельсинов отнес. Десять штук. Дашла ль передача?

— Были.. апельсины. Так это вы на кульке нацарапали что-то? Не разобрать что...

— Карандашик обломился. Хотел привет тебе передать. А ты не робей шибко-то... Не мы первые, Лукич, не мы последние. Главное — подготовиться туда!

— Куда «туда»? — Почечуев не заметил, как нечаянно улыбнулся забавному деду. — На тот свет, что ли?

— И нет... Про местечко я... На кладбище. Два года пороги обивал. У меня сестрица на Красненьком. И мамаша. Так я и себе там местечко отвоевал. И тебе, друг, советую заранее, чтобы все... хорошенько!

— Станный вы какой-то... Да разве об этом при жизни думают? При жизни о другом соображают, — продолжал снисходительно улыбаться Почечуев, не переставая своему терпению удивляться: прежде, что есть до болезни, он бы того деда в шую с такими разговорами вытолкал бы... А сейчас улыбается.

«И откуда возник такой заботливый? Расторопный такой? Место, вишь ли, заранее себе забронировал. Устро-

...мися! В баню бегают, парятся, как ненормальный. На де-вятом-то десятке. Нет, что ни говори, уезжать надо из го-рода. Плохо ли в Почечуйках-то? Там и церковка, помнит-ся, приятная и вообще уютный погостишко: березки, ря-бинки, акация. А бузины... Почему беспрерывно в Парголо-во ехать с этим делом? Или на Красненькое — почему?»

Размечтался Почечуев, даже про гостя забыл. А гость спортсменки с ног сковырнул и в комнату проходит.

— Хотя бы венчик в прихожей оставили. Натрясете, убирай тут. За внимание, конечно, спасибо. За то, что не забываете, благодарствую. Только лишнее все это... И со спасением вас от смерти загвоздка. Выскочило из головы, потому как давненько... А по части жизни один я привык. От меня вон женка и та ушла. Поняла, что со мной каши не сварить, и давай бог ноги. А вы наседаете... К тому же и нельзя мне в баню после болезни. Противопоказано. От врачей...

— Ну, то врачи... Много они понимают в tych болезнях. Банька — она покоя веку любую хворь из нутра выскре-бала... хорошенько! Иного, бывалочи, на закорках туда не-сут, скрюченного... А, глядишь, обратно — безо всякого даже батого — сам бежит.

— Не пойду я, товарищ Шишкин, в баню! Нечего меня соблазнять. Какой из меня парильщик нынче, если я, мож-но сказать, с того света возвратился? На этой вот тахте помирал. Да... чудо произошло. То ли дверь опять незапер-той оставил, то ли Маня своим ключом отворила. А скорей всего (про это и врач поминал) — сосед, жилец, который надо мной проживает, арцыст, по фамилии Кукарелов, доб-рая душа — сообразил, что к чему. Во всяком случае, кто-то побывал у меня... Полы подметены были... И «скорая» вызвана. Спасли, отходили. Чудо, и только! Хотя помнит-ся... сквозь туман болезни, что женщина приходила.

— И никакое не чудо, — убежденно откликнулся Шиш-кин, — и никакая не женщина, а самый что ни на есть на-туральный ангел прилетал!

— Кто-кто?!

— Ангел твой. Хранитель. Прилетел, посмотрел. Опре-делил, что ты еще не полностью от грехов почернел, и — не позволил. Не дал согласия на твою смертушку. А в ка-ком он обличье в тот миг состоял, в женском или муж-ском, то есть в жилища обернулся или в жилищку, — не имеет значения.

— Вот это дак — теория! Сектант ты, дедушка...

— Какой я тебе дедушка! Внучек нашелся... У самого песок... А туда же! Оба мы дедушки — с рожденья. И ты даже старше меня теперь, потому как на краю побывал. Геены понохал...

И тут Шишкин неожиданно смешался, смутился... Начал бородку растопыренную, запущенную чесать. Осклабился добродушно.

— Извиняй, дорогуша... А кричу я оттого, что рад за тебя, за спасителя мово... — И старик, пригорюнившись, даже слезу с бороды смахнул. — Отдыхай хорошенько... Кака там баня...

— Да вы не огорчайтесь, — в свою очередь засуетился, зачесался Иван Лукич. — Бог даст, еще сходим попаримся... И случай тот военный, кажись, припоминаю... Так что и проходите, садитесь. Очень рад...

— Рад, говоришь? — встрепенулся дедок. — Это дело. Нельзя нам друг друга забывать. А чего пальцы-то ломаешь, за нос хватаешься? Али забота какая подступила? Мы, Ваня, с тобой на заслуженном покое. Пусть за нас Пушкин волнуется.

— Вот вы говорили, что я-де... выручил вас в войну. На хорошие поступки способен был.. И получается, что большие во мне перемены произошли с тех пор. В худшую сторону. Потому как плохой я теперь. Доподлинно знаю. Вот и скажите: а в лучшую сторону возможны перемены? Еще разок перемениться, только в другом направлении? Нереально? Чтобы, значит, в моем возрасте и положении... и вдруг все сначала? С чистой совестью? Можно?

— Допустимо.

— То есть не тело... Не морщины, не седые волосы, а — понятие? Можно?

— Еще как! Знамо дело, можно. И не с тобой первым такое. Сам я прежде другим человеком был. И прозывался иначе. Это теперь я Никодим. А до второго-то рождения — просто Коля Шишкин. До реинмации-то...

— Шутите... А я к вам серьезно...

— Вот и библейский Никодим так же... Шутите, говорит, владыко... Это каким же я способом вторично родиться могу? Оказывается, другим способом. Потому как человек — это не только мясо на костях, не только вода соленая, а и прежде всего дух, то есть не газ, а душа, сознание... А сознанием переродиться в любом возрасте не возбраняется. Была бы охота. Про того же Пушкина слышал? Он, когда помирал... на смертном одре всех своих обидчи-

ков и убивцев простить изволил. Это — как? Дрался, доказывал, и вдруг — нате вам, простил. А почему? Потому как переродился. Смерть, она не только в яму бросает, но и возвышает... Некоторых. Взять хотя бы героев... Которые добровольно во имя идеи... Ну, мне пора. Кому что... Кому второе рождение, а мне банька предстоит.

Обул дед спортсменки, веник под мышку закинул. Почечуев занервничал. Понравился ему дед: крутой, напористый; живой ветерок от него так и веет, бодрость вселяет.

— Может, того.. чайку?

— Нет уж, Лукич... Какой чаек. Ежели б рюмочку, тогда другое дело. Дак ведь... противопоказано тебе! Угадал?

— Чего нельзя, того нельзя. Беса дразнить...

— Тогда поцелуемся, что ли? Ты откуда родом-то? Чай, из деревни?

— Из деревни.

— Русской ты?

— А какой же еще?

— Ну, можа, мордва какая... Или — фин. Я это к чему? А цела ли деревенька?

— Неизвестно. Редко я там появляюсь...

— А ты почаще! Отгуль тебе успокоение. А ежели бог велит помереть, то есть когда срок подойдет, там бы и местечко подготовил, возле костей родительских. Заранее бы расчистил... Все спокойней жить, когда все улажено.

— Да что вы, право... Хороните меня раньше срока! Сами-то на себя полюбуйтесь!

Шишкин в бороду хмыкнул, из одной подмышки веник в другую переложил и, повернувшись к двери, на площадку лестничную вышел.

— Необходимо, чтобы порядок во всем. И в этом деле тоже. Тем более что не отвертишься... Вот как валенцы на зиму или дровишки — загодя их заготавливают. Так и с этим. А по части второго рождения... Хоть в сей секунд. Пошепчу, перекрещу и — на здоровье. Я, Ваня, гипнозом владею. Слыхал про такое? Не страшно?

— Ладно уж... Ступайте. Веселый вы человек, прямо диву даешься: в таких летах, а как на пружинах!

Захлопнул Шишкин дверь и словно улетел сразу, как воробышек: ни шагов на лестнице, ни других звуков. Выглянул Почечуев на площадку из любопытства — пусто, никого. Тогда попил Иван Лукич чайку в одиночестве и лег спать на раскладушку. Дивана он как бы побаивался теперь.

Утром, по старой привычке, после чая с бутербродами, решил прогулку совершить. До Соловьевского садика. Пешком, как прежде, не пошел. Затесался в небольшую толпу на остановке, которая мигом втиснула Почечуева в троллейбус. Иван Лукич возбужденно осматривал пассажиров, заглядывая им в глаза. Принискивался к живым запахам, шевелил ноздрями, как молодой конь.

Какая-то старушка, определившая в нем послепослеулытника, с хитреньким понимающим видом принялась уступать ему свое место, от которого Почечуев с возмущением отмахнулся здоровой рукой.

Толпа в троллейбусе волнообразно шарахалась из стороны в сторону по мере торможения экипажа, набиравшего скорость, в отличие от автобуса — единым махом.

Из троллейбуса Почечуева выпихнули на Большом проспекте Васильевского острова. Далее, до садика, Иван Лукич не Первой линией, широкой и многолюдной, двинулся, а мрачной безлюдной улочкой имени художника Репина потесал. И все оттого, чтобы походку его новую, инвалидную, поменьше глаз встречных увидело. Стеснялся: как же, во всем импортном, интеллигентном, и на тебе — как утя придавленная ныряет.

Здесь, в порожней улочке, повстречалась ему собака, та самая, знакомая, что весной к нему под зонтик становилась и которую он впоследствии не единожды пальчиками потчевал. Сейчас она из-за помесных бачков унылой подворотни вышла и следом за Почечуевым устремилась. Он задержится, и она притормозит.

— Чего тебе? — спросил. «Ясно чего, — сам себе ответил. — Во всяком случае — не хлеба. Хлеб собаки теперь не едят. Колбасы желают. Или пельменей, на худой конец. А пельмени — кто же с собой по городу носит во время прогулки?»

Пошарил Иван Лукич в карманах, отыскал завалявшийся леденец, даже под оберткой табачными крошками весь облепленный. Постеснялся грязной конфетой угощать. Вспомнил, что хорошо бы закурить. Дружки по палате, особенно Кукин, курить бросать не советовали. Сейчас, мол, теория новая: клин клином вышибают. Однако Почечуев врачей послушался, второй месяц терпел, обходился без дыма.

Скамью в садике выбрал подальше от центра, от фонтана с обедником, вокруг которого, как заводные, кружились молодые мамашы с колясками. По небу шли белые дышны

белые облака, кое-где подсиненные, как бы с подзакопченными боками.

... «От таких барашков запросто можно и дождика дожидаться. Не заржавеет у таких... Вотobelisks отдельные людям ставят, — бросал он отрывистые взгляды на теряющийся в ветвях штыкообразный камень, воздвигнутый в честь старинного полководца Румянцева, — а ведь того не знают, что все это — мутатá... Вон, дядя Валя в больнице рассказывал, тот, который в «Спортлото» играет. В астрономическом будто журнале вычитал. Что-де солнцу, светилу нашему, всего пару миллиардов лет гореть осталось. А затем — пшик! — и готово. Погасло. И никаких тебеobelisks: — И тут же Иван Лукич подумал дополнительно: — И зачем про такое пишут, печатают для чего? Людям настроение портить. Ну, подсчитал ты у себя в кабинете, открытие сделал и тут же закрой, пока не поздно. И никому не показывай. От себялюбия все, от гордыни. Вон я какой небывалый, глядите на меня, люди добрые! А кто ты такой на самом-то деле есть? Обыкновенный организм. Оборвался сосуд, жилка малая, и лети... в Парголово!»

И тут Почечуев сморщился, головой дернул, будто комар его укусил: «Да почему, дьявол его задери, непременно в Парголово? К маме поеду. В Почечуйки. Могилку разыщу, уборочку произведу, окопаю, песочком вокруг обсыплю. Разве я зверь лютый, чтобы мамашу свою, Гликерью Матвеевну, позабыть, из души вычеркнуть? Крестовенький закажу сколотить. Напрасно меня мамой порекзуют. За то, что я ее в город не взял. Слабак, сознаю... Но разве — подлец? Подлец... — кивнул про себя Почечуев: — Такой же, как все или многие, но — подлец. Анимсим, брательник, еще до войны письмо прислал. Грамоте не обучен, а нацарапал. «Во первых строках своего письма сопчано что есть ты Ванька потлец!» За маму... А сам-то ты, братишка, почему, когда она помирала, из баньки ее не вынул и домой не отнес? Так-то вот... Все одним миром мазаны, то есть грязью одной. А потом еще через день три конверта: в каждом конверте бумажка, а на бумажке всего лишь одна буква. Ругательная. Как будто я собаками мамашу затравил. Манька и та впоследствии брякнула: «Запарил ты, Почечуев, маму свою в бане». Даже вот дед приبلудный, Шишкин этот с венником, и тот, когда банился, подьелдыкнул. Он-де свою честь по чести спровадил, а как будет с вашей мамашей, Иван Лукич?»

Задумалось сверху по листьям деревьев. Так и есть! Од-

на тучка не удержалась, брызнула. Пошел дождь, резвый, ровный, сплошняком. Почечуев зонт раскрыл. И сразу к нему собака подбежала и под зонт запросилась. Такой уж у нее рефлекс, видать, отработан был. Аж приседает от нетерпения, а хвост пропеллером вращается.

— Заходи, кабыздох, не жалко... Грейся. Это злые языки обо мне слух распространяют, что я плохой, эгоист... А кто в природе себя в первую очередь не оберегает? Нету таких, которые о себе не помнят... А ежели и есть таковые, то знаешь, где они живут? На Пятой линии. В сумасшедшем доме. Согласна?

Собака промолчала. Хотя могла бы и поддакнуть, пасть свою скучную раскрыть. Ладно. И тут вспомнил Почечуев про «табачный» леденец, замусоренный, в кармане. Опять на него пальцами наткнулся. Отклеил от конфетки бумажку, в урну ее бросил, а зеленое сладкое лакомство стыдливо протянул псу. Тот вежливо, явно сдерживая себя, вывалил из пасти длинный язык, розовый и рыхлый, лизнул, попробовал. Почечуев пальцы разжал, и жалкое угощение исчезло в пасти.

— Одинокая? — обратился Иван Лукич к собаке. — И я вот одинокий. Бездомная? Сочувствую. Но к себе в квартиру на жительство не возьму. Извини-подвинься... От меня женка и та ушла. Да чего тебе объяснять, шелудивой. А теперь ступай... Дождь вроде реже пошел. Вот и двигай. А то от тебя козлом воняет. — И собака, как ни странно, послушалась. Два раза оглянулась в недоумении и на улочку имени Релина побежала.

Еще через мгновение в небе выпыхнуло солнце. Лизнуло Ивана Лукича по глазам. Он даже зажмурился от неожиданности.

«Не все же дождики... Пускай и солнышко. Тоже красиво».

Проехала женщина с коляской. Когда с Почечуевым поравнялась, заплакал ее ребенок. Да так пронзительно, с остервенением заскулил, если можно так выразиться. «Ну и характерец у человека намечается!» — подумал Иван Лукич.

Молодая мамаша над коляской замешкалась, поправлять что-то начала. А ребенок пуще прежнего надрыдается.

— Желудок, должно... — посочувствовал Почечуев. — Ромашки ему, травки бы... Травка любую дрянь выпрямляет. По себе знаю...

Румяная, крепенькая; широкой кости родительница долго, с нескрываемым удивлением смотрела на Ивана Лукича, а затем, видимо что-то уяснив для себя, несколько не смутилась и, прежде чем дальше поехать, с вызовом бросила:

— Сидел бы уж! Трава... — И сразу ребенок притих. Наверное, голос матери услышал и заткнулся. Уехали.

И вдруг птицы налетели. Откуда ни возьмись. С десятков воробьев, затем голуби, жирные, как поросята. И даже ворон штук пять. Закружились клубком над деревьями. И тут на зонтик Почечуева сильно так капнуло. Вернее — стукнуло даже. Шлепнуло. — Что-то основательное сорвалось. Отвел Почечуев от себя зонтик на расстояние, чтобы на его поверхность взглянуть, и увидел, что на материю птица белым брызнула.

«Вот и хорошо... Пометили! В старину говорили: к счастью, к деньгам. Кабы не зонтик — прямо на голову ляпнуть могло».

А вслух произнес:

— Уезжать надо. В деревню. В тишину.

Отщипнул от ближайшего куста лист зелени, смахнул им с зонта птичий «привет», кряхтя, приподнялся. Удаляясь из садика, продолжил соображения на предмет отъезда в деревню.

«Спишусь с братцем, у него и поживу для начала в Свищеве. Будет заедаться, матерью попрекать — в почечуйскую баньку переберусь, если цела еще. А чего ей делается? Для себя рубили, не для дяди. А за пенсией в город наезжать буду. Все разнообразие... А могу и вовсе договориться, чтобы на книжку денежки слали. Короче говоря — отгороджанил... Смываться необходимо из этого склепа, пока не поздно. Машины воняют, камни кругом, толкотня, голуби обнаглели, витаминов нехватка... Отсюда и желваки всевозможные, и нервы не выдерживают, в голове сосуды почему зря рвутся! А газеты с чаем и на селе завести можно. Не говоря уж о бане с паром. И дождиках...»

На обратном пути, уже дома, на лестничной площадке повстречался Почечуеву Кукарелов. Принаряженный, весь в коже коричневой, стоял он возле дверей Ивана Лукича и нажимал на кнопку звонка. В глубине площадки, ближе к помойному бачку, скрестив руки на груди, как Наполеон перед походом на Россию, стояла маленькая стриженная девушка в высоких сапогах и кожаных гусарских брюках.

— Познакомьтесь, Иван Лукич... моя невеста.

— Неужели ко мне?.. В гости? — выпучил глаза Почечуев.

— Да мы на секунду. На гастроли отбываю... Вот и решил показать вам... будущую жену. Она в мое отсутствие в квартиру ко мне заглядывать станет. Чтобы знали, если шум над головой почувте, что не воры там, а вот она... При желании она и вам помочь может, уборочку там... и все остальное.

— Такая-то, кожаная?.. — засомневался Иван Лукич.

— А вы не глядите какая. Лишь бы — добрая.

— И то верно... Стало быть, в гости? А я, грешным делом, подумал: озорничаете! Сейчас, думаю, позвонят и — деру!

— Да нет же... Поздравить вас необходимо. Все-таки не уехали... В длительную командировку по направлению к Могилеву. И ваще, натурально! Ну и как вы после холодных объятий?

— Решение принял. В некотором роде и я на гастроли отбываю. На родину к себе, в Почечуйки... Да вы проходите, проходите, — распахнул Иван Лукич двери как можно шире.

— Гениальное решение. Сами догадались или врачи надоумили? Кстати, и я вам нечто подобное советовал...

— И сам, и врачи, и дедушка тут один, Шишкин по фамилии, — тоже рекомендует. Одним словом — еду. Да вы проходите...

— Нёкогда, Иван Лукич.

— Понимаю. Хотя спешить с энтим медленно нужно...

— С чем?

— А с энтим... С обзаведением семейным. Чай, не на гастроли...

— Второй год присматриваемся. Друг к другу. И еще хотим у вас, Иван Лукич, прощения попросить. Мешали мы вам своей перепиской... Веревочной. Больше не будем.

— Извините... — подала ребячий голосок невеста.

— Досаждал, каюсь... — положил руку на сердце Кукарелов.

— А мне нравилось даже... Особенно с фонариком, помните?

— Иронизируете? Справедливо, разделяю... На вашем месте я бы в суд подал... Скажите, Иван Лукич, когда я зам доску мемориальную прибил — обиделись?

— Да нет... К тому времени я уже созрел.

— Скажите... В окопе, на передовой... Во время войны... Застрелили бы меня при случае?

— Положа руку на сердце?

— А хоть на живот. Только чтобы натурально... и ваще!

— Не застрелил бы. Сейчас уже нет.

— Неправильно поняли, Иван Лукич. С глазу на глаз... Ни единой души вокруг, то есть без последствий. Застрелили бы?

— Опять же — нет. Сейчас — нет. А тогда, на войне, или хоть до болезни моей недавней, — мог бы... Обидеться. Не застрелить, конечно, а так... укусить. За ногу. Потому как злой был. Теперь же и думать нечего. Поеду, рыбку в Киленке половлю, в бане деревенской отмякну...

— Счастливого пути. Только деревня деревней, а и про город не забывайте. К зиме чтобы как штык! И ваще... С гастролей приеду, шефство над вами возьму. За дельменами ходить буду.

— Спасибо на добром слове. Выходит, вам действительно меня жалко?

— Сомневается... — обратился Кукарелов к невесте: — А ну, поцелуемся, батя, и ваще, на прощание... Чтобы натурально!

Расстались друзьями.

Несколько позднее выяснилось, что Почечуев Марьяне Лилленталь, мягко говоря, не нравился. И не по мелочам, не из-за его личных качеств. Она его целиком как явление не принимала. Могла, конечно, по просьбе Кукарелова уборку в квартире старика произвести, белье перестелить. Иными словами — жертву принести могла. Стерпеть Ивана Лукича, как необходимый укол в палец, когда кровь на анализ берут. Не более того.

— Таких дяденек бывших нужно в особые дома объединять. Вот как прежде — в богоугодные заведения. Потому что от их одиночества могильной стужей отдаёт. И я после этого три дня улыбаться не могу.

Кукарелов тогда, после высказывания Марьяны, внимательно посмотрел на девушку. Вспомнил, что бабка её во время войны в Освенциме пеплом в небо улетела. И какая-то трещинка по его чувствам к Лилленталь пробежала. Как по цельному стеклу во время нечаянного удара.

Забегая вперед, скажу, что ничего у них серьёзного, в смысле брачного союза, не получилось. У Кукарелова отрешение произошло в дальнейшем.

И действительно, разве от Почечуева могилой отдает? Ничуть. Углубившись взглядом в Почечуева, как в озерцо заросшее, удалось Кукарелову не водоросли да тину, но ключки донные, чистые разглядеть.

Тревога у него, помимо гемоглобинов всяких, в крови содержалась, у бухгалтера нашего. Внешне дряблый, ущербный, а в глазах беспокойство участника, а не зрителя. Скажем, на перекрестке уличном молоденькая воспитательница никак со овоей детсадовской командой на ту сторону перескочить не может. Только нацелится, а грузовики как зарычат, она и осадит... И тогда Почечуев на проезжую часть выйдет и своим зонтиком японским движение перекроет, как регулировщик жезлом. А наивный до чего, в смысле образования, то есть — восприятия знаний. Как-то в планетарии на звезды посмотрел, расстроился страшно... Хоть и двадцатый век, и ясно, что земля круглая, бездной ограниченная, а все будто не верилось до конца... И вдруг воочию убедился: никакого царства небесного, одни камни в пространстве висят, и вся разница — остывшие или горячие... Помнится, рассказывая об этом, Иван Лукич невинно хихикал. «Напился я тогда... В отрезвильовку попал, в органы... Прямо в нарукавниках!»

Нет, живая душа — Почечуев, что ни говори. Не то что технократ какой-нибудь самоуверенный, отрицающий сомнения идеалистические. На такого глянesh в трамвае, сидит, глазами в мудреном журнальчике копошится, схемами шелестит. Бровки свел. Ни дать ни взять — вращением земли руководит. А пробьет час, потускнеет на нем кожа, старость чугунной плитой навалится, и ах, глядишь, — растерялся математик, топчется у порога, который непременно всем и каждому перешагнуть надлежит... Загрустит, обидится... А все почему? — духовной жизнью пренебрег. Все аналитическими выкладками, кудрявыми формулами поигрывал, а душа тем временем и сопрела в пустоте, как картошка в глухом подвале.

Х

Почечуев уехал в деревню в самом конце августа. Как ни рвался, как ни торопился он туда в последнее время, а собрался только теперь, перед осенью.

Купил чемодан с ремнями, шоколадного цвета. Урвал на него из денежек, отложенных на тот самый срок, на который принято откладывать среди одиноких и пожилых людей. Чемодан по душе пришелся, мягкий. Глаз радует.

Сложил в него несколько пар белья, рубашки, носки, полотенца. Пальто дурацкое в клетку («Надо будет попроще, серенькое, заvestи...») поверх всего постелил и поехал на вокзал. В плаще и с зонтиком. И в теплой шляпе. И уже не в чешских сандалиях, а в русских башмаках, «скоороходовских», на липовом меху, приятно пахнущих каким-то незнакомым химическим составом.

Порадовали рука с ногой: справлялся он с ними теперь без особого напряжения. Похоже, их скованность рассасываться как бы начала (ходил на массаж в поликлинику), мышцы в повиновение вошли. Хотя и не полностью. По крайней мере, зонт ущербная рука держала довольно цепко и нога не волочилась, как перебитая, а лишь чуть не дотягивалась до прежнего размаха. И хромота, если и наблюдалась еще, то весьма незначительная, как бы от приобретенной мозоли.

Перед самым отъездом Иван Лукич даже шлямбуром отважился поработать. Дырочку хоть и не глубокую, но продолбил-таки в заветной стене. Чисто символически приложился. Для утверждения руки. Ранку на стене газетой занавесил при помощи кнопки. И, улыбнувшись стене на прощанье, покинул квартиру.

В поезде Почечуева обступила та невероятная, по его прежним понятиям — какая-то книжная, неправдашная компанейская атмосфера, возникновению которой Иван Лукич внутренне обрадовался, но всерьез ей не доверял. Было для Почечуева в братании попутчиков что-то незрелое, детское, неоправданно радостное и даже как бы безумное... Возбуждение зрелых людей считал он или наигранным, в целях подлаживания друг к другу, или же искусственным, вследствие алкогольного опьянения.

«Заговаривают друг с другом, как в бане... Будто всем им уж и терять нечего. Подумаешь, событие! В дорогу человек собрался, в какую-нибудь Пензу или Читу. Отсюда не вытекает, что теперь кричать нужно и в глаза соседям бесцеремонно заглядывать, а также пирожки самодельные в посторонние рты совать. И чего это люди, в кучу сойдясь, возбужденными враз делаются и как бы рады, что вот наконец-то они все вместе? А рады ли? Вот вопрос...»

Почечуева отъезд ошарашил. Да и понятно: из года в год сидел он безвыездно в своей норе, и вдруг — понесло...

В купе, где, как по лотерейному билету, выпало ехать Ивану Лукичу, находилось три человека: работяга, парень лет тридцати, рыжий и уже с плешью на маковке, далее—

тетка колхозная с городскими покупками и какой-то дядя с официальной миной на лице и со стиснутой галстукон бычьей шеей, похожий чем-то на Кункина из больницы палаты.

Малый, как только тронулся состав, выпил в одиночку стакан водки и с места в карьер начал рассказывать анекдот, уверяя всех, что это случай из жизни и что оторвите ему язык, если он врет.

— С буфетчицей в Бадайбо познакомился. Веселая, с золотым зубом, а главное — замужняя.

Почечуев сперва хотел отвернуться от рассказчика, но побоялся обидеть присутствовавших, так как все слушали с интересом. Вагон хоть и плавно передвигался, но колеса на рельсах громыхали вовсю, и поэтому рыжий рассказывал на полную мощь голосовых средств.

— Пригласила в гости. Сидим, чай пьем. Вдруг — звонок! Муж. А муж у буфетчицы на бойне в Семипалатинске бойцом работал. Мордоворот и выше меня на метр.

— Вы бы такие случаи где-нибудь в туалете рассказывали, а не в обществе дам, — улыбнулся отважно рыжему анекдотчику Почечуев.

Но скучный, у которого галстук, пожелал дослушать историю.

— Не имеете права человека затыкать. Пусть рождает до конца. Не так ли, гражданка? — обратился мордастый к колхознице.

Женщина растерянно улыбнулась. Достала из кошелька яйцо, сваренное вкрутую. Громко им щелкнула об стол. И поспешно принялась лущить личко, бросая на мужиков испуганные взгляды из-под платка.

Рассказчик, который молодой и с лысиной, немало не застеснялся происшедших дебатов; извлек «беломорину», кинул ее в рот и заодно, подмигнув Почечуеву, прикурив, подбросив спички и неожиданно поставив коробочку на пол.

— Буфетчица мне говорит: «Перейди с кровати на диван. И спи, как пьяный вусмерть». Входит муж. Боец этот... Я как глянул на него краем глаза, так и закосёл: страши-ла! А буфетчица: «Здравствуй, Вася. А я не одна». — «Кто там опять?» — спрашивает Вася. «Да Верка с мужем, официантка новая, с вчера приперлись. Так этот нажрался... До сих пор атмосферу лежит отравляет». А Вася тихо-мирно: «Вечно ты, Манька, всякое дерьмо при-важиваешь». И берет меня за воротник. А потом дверь от-

крыл и — бац! — коленкой под зад. Хорошо отделался еще...

— Анекдот, — усмехнулся Почечуев.

— Не верите? Могу синяк показать. Который от колена остался.

Позднее, когда проводница чай принесла, пожилой, с лицом заведующего, галстук на дубовой шее ослабил и со своей стороны какую-то расхожую байку запустил. Из другой серии. Почечуев демонстративно громко размешал в стакане чай с сахаром и так, со стаканом на ладони, в коридор вагона вышел.

— Не понравилось... — развел руками рыжий. — А в дороге чего и делать? Знай травы!

— Сурьезный мужчина. Видать, переживает... — вежливо, отдуваясь от чая, прешптала женщина.

— Вот попадет такой «сурьезный» в соседн... — задумчиво произнес не улыбающийся, который при галстукке, — попадет такой хорек, и полжизни — как не бывало. Отзаниднит. Сразу видно — болячка, ни колупни, ни почешн...

Тем загадочнее, непонятнее для Почечуева было то невероятное радушие, которым его встретили обитатели купе, когда он к ним с пустым стаканом возвратился. Парень мягкими сладкими таблетками угостил. Называются «Холодок». Легко так угостил, без принуждения: протянул, не глядя, и Почечуев клюнул, взял лепешечку, под язык ее положил, как валидол. Сосет, вроде дышать легче. Колхозница смородины черной, мытой, мокрой, в блюдечке на стол поставила. Всем предлагает, и в первую очередь — Почечуеву. Даже мрачный мужик начальственного вида заедаться больше с Иваном Лукичем не стал, а наоборот — лечь на нижнюю полку Почечуеву предложил. Самому-де ему на верхней даже сподручнее: быстрее укачивает, а он спать в данную минуту как из пушки хочет.

Раскатал Почечуев тюфячок на нижней полке, постель застелил, лег. Лежит, диву дается.

«Супротив всех выставился сдуру... А, поди ж ты, не заклевали. Не истребили. Может, и вправду в дальней дороге народ обходительнее делается? С чего бы это они меня пожалели? Где-нибудь на кухне коммунальной давно бы уже кипятком обзарили. А тут, в пути следования, ручными все страсти станвятся. Он, конечно, тоже хорош гусь. Молчал бы в тряпочку. Так нет же — вразрез пошел. Культурным хотел показаться, а людей-то и обидел... Несходимо перед уходом всех за компанию поблагодарить.

А лучше — извиниться. За глупое поведение. Вообще что-нибудь ласковое предпринять. От килограмма воблы, что брату вез, пару рыбин на общий стол в купе положить. Пусть лакомятся», — улыбнулся Иван Лукич мечте, засыпая, хорошо улыбнулся, как в детстве.

Оказывается, от железнодорожной станции до Почечуек ничего не ходило. Автобус в том направлении бежал, но в самые Почечуйки и даже в большое село Свищево, что за Почечуйками, не заезжал. Усеянная желтыми лужами глиняная грунтовка огибала родные места Ивана Лукича на расстоянии пяти километров.

На развилке из автобуса, кроме Почечуева, слезла подвижная, тепло одетая старуха с двумя сумками-кошелками, связанными воедино полотенцем. Перекинула поклажу через плечо, быстро-быстро повертела головой на все стороны, как воробышек, и — полетела по направлению к лесу. Бежала бабуля не грязным, искромсанным тракторами проселком, а гладкой боковой тропочкой, на которой там и сям торчали сморщенные листочки подорожника, а также белые, с ржавчинкой, голозки позднего сорного клевера.

— Слышь-ка, маты! — громко позвал Почечуев, обращаясь к прыткой пожилой женщине, так легко подхватившейся, несмотря на завьюченность и основательную жару одного из последних августовских дней. — Обожди, говорю! Вопрос к тебе имеется. Бежишь, как физкультурница... Догнать невозможно.

Старуха то ли глухой поначалу притворилась, то ли действительно, обвязанная платком, не сразу в толк взяла, что именно ее зовут, и по инерции после Ивана Лукича зова еще метров пятьдесят пронеслась, а затем все-таки обернулась, и тут запыхавшийся Почечуев уцепил взмахнуть зонтом, призывая женщину остановиться.

— Али меня? — скособочилась бабуля под грузом в поلوобороте.

— Не бойсь! Не съем! Спросить хочу... Тропочка данная до Почечуек или куда в сторону уходит?

— До Почечуек, сокол, до Почечуек, тоись до Свищева, миленький. Потому как в Почечуйках не живут. А до Свищева пять верет напрямиком, если тропкой. А если дорогой, то восемь.

Старуха, отвечая, не останавливалась, а ебок, на ходу, отрывисто бросала слово за словом.

«Ишь, тязкает, как собака. Чемодана, что ли, моего испугалась? Или шляпы? И баба-то вроде знакомая. Почечуйковская. Что-то в лице характерное. Нос утиный, козырьчком. Порода такая особенная получилась на их речке Киленке. Даром, что ли, в Питере меня утконосом обзывали? В очередях...»

— А ты-то, чай, почечуйковская? — постепенно настигал бабу Иван Лукич, прихрамывая и выбиваясь из сил. Хорошо еще, чемодан не перегрузил, сносная ноша получилась — одни тряпочки легкие; самый тяжелый предмет — бритвенный прибор с лезвиями. Да колбасина дубинкой, ну иazole...

— Я-то чья? Почечуйковская! А то какая ж еще... Знамо дело.

«Вот егоза. Хотя бы притормозила малость. Прет и прет, как с цепи сорвалась!»

— А говоришь, не живут в Почечуйках... Куда же они сбежали все, жители-то?

— Укрупнились, известное дело. В Свищеве теперича усадьба, там и народ, где гармонь у ворот.

— А звать-то как? По фамилии? Чья, слышь, была в Почечуйках?

Наконец бабка как бы смиловилась, поубавила ходу. Далее двигаться старалась врознь с Иваном Лукичем, но постоянно на шаг вперед вырывалась, не позволяя Почечуеву приблизиться вплотную.

— Горшкова я... Тимофеевна... Выходит, не признал?

«Горшкова?.. — насторожился Почечуев. — Тимофеевна... Акулина, что ли, Тимофеевна?! Неужто на тещу нарвался? На Маннну маму?» — однако отступать было некуда.

— Акулина... Ты, что ли, Тимофеевна?

— Да батюшки! Да не признает-то чего? Ах, Лукич, Лукич! Или голова у меня другая? — старуха поклажу с плеча миглом свергла, кулачки свои костлявые черненькие на груди судорожно свела, головку птичьёю запрокинула, истошно так на хромого Почечуева уставилась. — Да ты ли это, батюшка? Хромаешь-то чего? А красивой, нарядной какой! Не приведи господь. Ажно страх берет. Испугалась я тебя... Одна-то на дороге. — Старуха неожиданно заплакала. Концами платка слезы из глаз выковыривать принялась. — Беда-то какая... Разминулись вы с Маней: ведь я их этто со Славиком в поезд нынче посадила. В шесть утра по-московски. Славiku в школу послезавтрево...

— Это какой же у нее Славик?

— Да наш, свой... Какой же еще?.. Сыночек. А, господи! Да-к ты и не ведаешь, пооди! Да приютский-то, детдомовской... — И шепотом добавила, осмотревшись по сторонам: — Взяла ведь она... Младенцем еще. Так никто и не ведает, что приютский... Мотри, не ляпни где...

— Они что же... Дачничали тут?

— Да Славик-то кажинное лето при мне. Летом у нас народищу! Даже в Почечуйках пустых — и там огороды обихаживают. Зато уж зимой — тишина. Собак и тех не слышно, помалкивают. Волки их запугали.

— Откуда волки? — засомневался Иван Лукич. — Да волков-то нынче разве что в зоопарке встретишь...

— Ан не скажи! Не скажи... Объявились. Зимой-то, слышь, так воют, так воют... Чего ж это мы стоим, Лукич, миленький? Пособить тебе? Хримаешь-то почему? Али покалечило?

— Да, маленько... Отдавило.

— В городе — известное дело... И под трамвай сунуться долго ли, и так просто кирпич с крыши обвалится... Не приведи господь! — перекрестилась Акулина Тимофеевна, проворно водрузив поклажу. — А то давай пособию живо! Палку вон сломим да в ручку вденем; и... помогай бог?!

— Спасибо; не суепись... Доволоку помаленьку. Мне приятно... Я ведь не бегать приехал, а смотреть, радоваться. Только ты не лети сломя-то голову, как реактивная!

Тропа сквозила возле дороги, затем едва заметно начала забирать влево, рассекла невзрачный ольховый кустарничек, листья которого были изъедены синекрылым жуком до кружевной прозрачности. Далее стежка окунулась в овражистый смешанный лес, терзавший Почечуева на протяжении трех километров. Неожиданные острые сучки лезли в глаза, осенняя вязкая паутина липла к потному лицу и шее, сырая и скользкая в низинах тропа валила с ног, попутно перемазав черной жирной грязью новые башмаки Почечуева.

Но вот лес выровнялся. Пошли стройные березы, выросшие, как бы по команде, в определенном порядке. В стволах явно прослеживалась некая система. Не было привычной, извечной хаотичности, что сопутствует всякому, без посторонней помощи возникшему лесу. Наоборот, в белых, ярких стволах ощущался некий ранжир, что-то городское, парковое мерещилось в позлащенных осенью крапинах.

Как ни крепился Иван Лукич, как ни заставлял себя не пасовать перед превратностями дороги, пришлось-таки ему послушать совета Акулины Тимофеевны: подобрали они чистенькую изгибистую просохшую палочку, протерли ее под кожаную ручку заграничного чемодана и далее шли рядышком, крепко держась за дрючок, который, пусть временно и не очень надежно, однако связывал теперь этих малознакомых родственников. Почитай, со свадьбы, когда Маня и Почечуев в деревню приезжали, с тех самых пор и не виделись. И перед тем лет двадцать, а то и тридцать не встречались. Но и когда встречались, то есть в далеком детстве Почечуева, внимания друг на друга не обращали, не было такой потребности. Потому, видно, и не запомнили один другого, а если сейчас, спустя столько времени, и догадались, с кем судьба на дороге столкнула, то, можно сказать, чисто интуитивно догадались. Или как звери, которым для этого всего лишь обнюхаться нужно.

— Чего березы-то рядами? Как в парке... Или — посадки? — не удержался от разговора Иван Лукич. — Давай, мать, котомки свои... У меня плечи шире. Упиралась ты, гляжу...

— Котомки порожние. Булочка тута да сушки-баранки. Совсем вовсе без весу поклажа. Не переживай, жилистая я! А ты вон какой сдобный. Порозовел на воздухе чуток. А с автобуса сошел — краше в гроб кладут: белей простокваши.

— Я тебя про березы спрашиваю... А ты мне — простокваша!

— Березы, говоришь?... Не я их сажала, сами выросли. Здеся прежде поля пахотные были. Али не помнишь?

— И таким лесом заросло? Вот это да... И береза потому ровная, что на борозде пахотной поднялась. Культурный лесок.

— Колхоз нынче на другом месте объединили. Верстой выше по Киленке. А наши леса да овраги обошли. Да и народ — кто разъехался, а кто и просто умер, состарился. В Почечуйках-то четыре всего избы держится. Подлетние дачи. Когда укрупняли, многие с постройками переехали. И твоего дома нету. Перевезли дачники — поближе к магазину...

— Нету?...

— А ты и не знал? Вот те на... Лет десять, как раскатали.

— Ну, а брательник мой... Анисим? Этот как?

— Анисим? — Тут старушка будто загнулась в разговоре. Бросила короткий взгляд на Почечуева. — Единоналичник. Пасекой обзавелся. Весь участок заставил, роев, почитай, тридцать жужжало у него. А потом... Али не известно тебе про Анисима?

— Да что там... потом?! — дернул Почечуев старуху за палку. Оба остановились.

— Да-к... этто... Запил он, братец твой. Распушил все как есть. Али не слыхал? Дети кто куда разъехались... А женка...

— Что женка? С Наташкой что?

— Да ничего такого... Обнаковенно. Живут, оба двое.

— Недоговариваешь... Бьет он ее, что ли?

— Случается... Но чаще — она его.

— Оба, что ли... пьют?

— А как на соревнование!

— Теперь все ясно... Спасибо. — Прикусил губу Почечуев и начал в карманах шарить, пытаясь закурить. Вспомнив, что с этим баловством покончено, поугрюмел.

— Остановишься у меня? — встрепенулась Тимофеевна, когда за благообразными березами по гористому берегу Киленки высунулась горбом к небу полуразвалившаяся церквушка святых Козьмы и Демьяна, что в Почечуйках. — У Анисима неспокойно тебе будет... А я одна проживаю. Молочко, опять же, у меня... Двух козочек содержу...

— Спасибо, Тимофеевна... Для начала на пепелище сползаю. Может, банька моя сохранилась?

— Банька? Кажись, уцелела... Да разве в баньке житье?

— Ты вот что... — перебил Акулину намеренно, не желая продолжения разговора о баньке: чего доброго, мать ему припомнят... — Ты вот что, Акулина Тимофеевна... Или не знаешь, что мы с Маней того... врозь? Что ушла она от меня?

— Знаю, как не знать.

— А приглашаешь тогда чего? Чужой я...

— Ты-то чужой?! Да господь с тобой, миленький, чего говоришь-то?! Свой, чай, почечуевские... И не ты от нее сбежал, а она, чума болотная, вильнула... Говорила я ей тогда, да рази образумишь?

— Ну, и как? Мальчик этот... Славик, — ничего оказался? Живут как?

— А золотой мальчонко! Слухмяный, тихой... Как на веревочке. А живут. Понятно, как живут: одне. Без отца.

Расстались в Почечуйках возле заросшего пыльной кровавой бузиной кладбища, из которого, как пенек трухлявый, торчала облезлая, полуразвалившаяся колокольня.

Акулина Тимофеевна вверх по берегу Киленки припустила, туда, за лесок незнакомый, молоденький, — к новым белым домам, к шуму жизненному.

У Почечуева не было телевизора. Денежки, которые он не проедал на пальмениях, уходили на импортную одежду. Зато чаще, чем некоторые в его возрасте, посещал Иван Лукич кинематограф. Фильмы нравились ему остросюжетные, с детективной начинкой. Проглотит Почечуев такую возбуждающую пилюлю и вроде сам отчаянней, энергичней делается и свои мускулы как бы выпуклее ощутит — в том числе и духовные. Но для самых сокровенных корешков души предпочитал Почечуев картины из сельской жизни смотреть. Благо за последние годы их одну за другой выпускали — по произведениям талантливых сценаристов-«деревенщиков». Смотрит такую ленту Иван Лукич, какие-нибудь «Печки-лавочки», и откровенно плачет, легкими, светлыми слезами исходит, наткнувшись на ласковый пейзаж с березкой и церковкой, на теплую ситуацию со старушечьими морщинами на завалинке избы, с босыми ребячьими пятками в луговых травах... Невозвратное детство, встреча с его отражением, — вот что волнует нас там, под уклоном, за горой жизни...

И вдруг Почечуев не в кино, а в натуральную, так сказать, величину ощутил себя в родном, далеком...

Что такое есть малая родина? Конкретная величина нашей привязанности к земле, к жизни, к вечности. Иллюзия бессмертия именно в плакучей березе, с ветвей которой увидел ты даль заречную; она — в заросшем овраге, куда прятался ты, чтобы отведать дрожи первого поцелуя; она в тропе лесной, которая могла увести на край света... Бессмертие земное, явственное, еще не развенчанное свежими могилами близких, не обворованное болезнями плоти и увяданием духа.

Глядя вслед суетливой Акулине Тимофеевне, вспомнил Почечуев и свою маму Гликерью. И вдруг подумалось ему: «Насколько прочней, постоянной в привязанности к жизни, ко гнезду, к семье, а в итоге и к родине, эти русские бабы, эти птицы неотлетные, воробышки серенькие, дождливые... И в каждой, как песня в горле застрявшая, — любовь недопетая, печаль невыплаканная, краса недорасцветшая...»

Когда-то Почечуйки разбегались застройками по берегу Киленки на три рукава. В центре, на самом высоком, сухом месте, — церковь. От нее две улицы, или, как раньше говорили, два порядка, изгибались по-над берегом реки — одно вверх, другая вниз. Киленка здесь, возле церкви, делала резкий изгиб, колено. А третья улица шла, отклоняясь от реки, в сторону леса и теперь, к настоящему времени, полностью захирела. Здесь-то, на этой засохшей ветви, на этой, растворившейся в зелени трав и одичавших садов, улице когда-то и стояла крепкая изба Почечуевых.

Теперь, когда бабка Акулина умчалась вверх по берегу реки, туда, в свое Свищево, Ивана Лукича первым делом к родному пепелищу потянуло.

Палисады разгорюжены. «Зимой на растопку пошли колышки», — догадался Иван Лукич. Не узнать было места, где он когда-то на свет божий появился. «Раньше надо было приезжать, — шевельнулось сожаление в старике. — Мертвое тут все... Без хозяина».

На участке Почечуевых кусты дремучей, уже бесплодной, выродившейся смородины торчали. Доживало несколько старых яблонь с надломившимися, но так и не отвалившимися, в землю упершимися нижними сучьями. На одной яблоне даже несколько пятнистых, замухрычатых плодов антоновки болталось.

Никакого дома на участке действительно не было. Даже фундамент красного кирпича майор разобрал и вывез. «Что же, дело хозяйское, — невесело улыбнулся Почечуев. — ...Да и с какой стати жалеть все это, рухлять, труху непотребную?! Все равно бы ты здесь не прижился, в бега бы утек и, покуда вдосталь синего городского дыма не нахлебался бы в странствиях, — не вернулся бы».

Поставил Почечуев чемодан возле тонкой рябины, растущей прямо из пня спиленного дерева. Вспомнил отчетливо, что здесь прежде шумела птицами, краснела ягодой удачливая статная рябинушка, под которой у Почечуевых скамейка была вкопана и под которой мать его, Гликерья, любила поздним вечером, после трудов праведных, посидеть, подышать прохладой. Дотянулся Иван Лукич до кисточки с терпкой оранжевой ягодой, сорвал, раздавил зубами одну кругляшку... Сморгнулся.

«Да... Прошла эта жизнь, слиняла с лица земли. Лишь тоска по ней осталась. Горькая, рябинсовая. Не выветри-

лась. А все почему? Радость жизни — детство лупоглазое по берегам этой Киленки носилось... Вот почему тоска, а не потому, что деревня лучше города. Святое здесь начало всему. Исток... И живи я здесь постоянно — наверняка менее злым, менее нервным получился бы... Хотя — кто же его знает? Может, от скуки-то здесь еще пуще озверел бы. Как получилось, так и хорошо... И спасибо за то, что вижу все это...»

Продвинулся Почечуев по сваявшейся, осевшей под дождями траве в глубь участка. Неожиданно — как с человеком полузабытым, некогда близким, потерянным в суете жизненной, — столкнулся на задах огорода с банькой родимой! Которую с отцом строили и в которой парились каждую субботу чуть ли не до покраснения волос.

«Продержалась... Не порушили. Ведь только она и не продана была. Под жилье матери оставлена. Стало быть, материно последнее убежище передо мной...»

Серое, седое строенье обросло, как бородой, высокой ржавеющей крапивой. Скособоченное, осевшее на ту именно сторону, где водой мылись, где больше мочили дерево, сооружение это уже как бы и не стояло, а прилегло, будто уставшее дряхлое домашнее животное.

«Странно, почему на дрова не раскидали? Те... которые топят? Ну, Почечуев, а теперь возгордись, так как твоя это банька, то есть собственность единственная! Все, чем в мире владеешь. Квартира и все прочее — это совсем другое дело. А вот банька, шалишь... банька — твоя! И гляди-кась, двери сучком подперты. Может, в баньке живет кто? Или, по крайней мере, — мается время от времени?»

Почечуев убрал березовую рогатину, развилкой улиравшуюся в заржавевшую ручку дверную, а острым концом проткнувшую еще зеленый, в шелковистой мелкой траве, дерн. Вошел в предбанник. Сладко запахло банной неиссякающей сыростью, гнилым деревом, щелоком, еще чем-то... Ах, да! Веником... Слабенько, но пахло. Дверь в парную рассохлась, но в петлях держалась еще крепко. Помнится, толстая пятидесятка пошла у них материалом тогда.

В самом срубе банном щелей не было. Не просматривались. Подогнали они тогда бревнышко к бревнышку на совесть. И законопатили — мышке не подкопаться. Конечно, нижний венец позади каменки и под полком, под его нарами, сгнил, но ведь и то не рассыпался прахом, а только сплюснулся как бы.

Квадратное маленькое окошко прежде состояло из четырех стеклышек, два из которых теперь выбиты и заткнуты — одно травой, то есть сеном сухим, другое — ничем не заткнуто. И все-таки два-то замурзанных звеньшка в раме держались — и это с тех самых родительских времен! — и создавали своим наличием некий даже уют.

К подоконнику присохла старая, отбеленная мочалка из рогожи. На чистой широкой лавке, на которой еще до войны Иван Лукич своим перочинным, первым по счету ножичком неприличное слово вырезал, сейчас на этой лавке стояли пустая поллитра из-под водки, а также консервная банка из-под ставриды в томате. Крошечек или других «съедобных» следов трапезы не отмечалось. «Должно, мышки подчистили», — почему-то пришло в голову.

Присел Почечуев на незанятый край лавки, предварительно сдунув с нее пыль и проведя по дереву ладонью. И тут взгляд его устремился чуть вверх, туда, в самое темное место, где почти под самый потолок поднимались две коричневые от березовой заварки ступени, ведущие на пол.

«Вот, значит, где моя родительница преставилась... В каком помещении неказистом. Прежде-то здесь будто все покрупней выглядело, посolidней. А сейчас... Да разве бы он позволил сейчас сунуть ее в такое место?!»

В голове неприятно зашумело. Как тогда, перед болезнью... И вдруг Ивана Лукича как бы шатнуло туда, на черные доски прокопченного ложа, бросило! Стукнулся Почечуев коленями о ступеньку, обхватил холодные доски, прижался к ним лицом. Минут пять не отрывался, сопел, даже как бы плакал... И все ж таки встрепенулся, опомнился.

«Нет, ни к чему теперь волноваться, — соображал. — Матери не поможешь, а себя свалишь не за понюх табака...»

И опять Ивану Лукичу закурить нестерпимо захотелось. Повернул он голову к свету, ухватился глазами за окошечко. А потом, словно кто взгляд его подтолкнул туда, опять — в тьму-тьмущую! Зыкнул глазами: не лежит ли кто на полке? Встал, доски ощущал...

В бане Почечуев просидел около часа. Вспоминал, плакал. Потом, когда к темноте притерпелся, постучал кулаком в стену, о бревнышки, которые самолично водружал в молодые годы... И отпустило в груди. Даже валидол не стал принимать. На губах улыбка затледа. Как будто

чего тайного отведал, некаждодневного, дефицитного. Затем придирчиво, со вниманием каменку с вмазанным в нее котлом осмотрел. Приподнял, отодвинул тяжелый, сколоченный из досок кружок, прикрывающий чугунную пасть котла. На дне его поблескивало немного воды.

«Значит, пользуются... Это хорошо. В бане и должны мыться. А не вот это...» — передел он глаза на консервную банку из-под ставриды.

Уходя, старательно прикрыл обе двери, а наружную аккуратно подпер рогатиной. Не переставая слабенько улыбаться, подхватил чемодан, оставленный возле рябины, и не спеша двинулся к брату в гости — берегом в Свищево.

Вообще-то Иван Лукич брата о своем приезде оповестил. Телеграммой. Только вот добралась ли депеша в такое заросшее место?

В почечуйковских домах, расположенных над рекой, кое-где шевелились люди. Даже большой трехосный грузовик урчал в одном из дворов: должно быть, дачники в город отчаливали.

Почечуйки окончились незаметно, потому что как бы и не начинались. Еще в бывших ее огородах возник дикий кустарник, постепенно перешедший в настоящий рослый лесок, за которым на новом взгорке бугристого берега Килёнки открылись глазам Ивана Лукича коренастые, свежие избы Свищева. Будто гнездо веселых боровичков после дождя на свет божий вылезло.

Почечуев без труда отыскал несуразный, нестандартный Анисима пятистенок, обшитый не досками, а прямо по бревнам, по стенам — крытый железом, некогда окрашенным в ярко-красный вызывающий цвет. Дом Анисиму достался от Натальиных, умерших давным-давно, родителей. Краска теперь потускнела, облупилась, но все же строение и сейчас нагло выпяливалось из общего ряда новостроек.

Предупрежденные Акулиной Анисим с женой чинно сидели на лавочке перед домом. Тяжелые, деформированные трудом и временем руки свои держали в трогательном послушании — на коленях. Далеко не сразу, не в первый момент опознал Иван Лукич родственников, приблизившись. Казалось, лица их претерпели полное перерождение. Такая же круглая, как у Почечуева, физиономия Анисима взбугрилась и одновременно запала глубокими морщинами; кожа лица одрябла, черты смазались. Вдобавок ко всему Анисим зарос грязно-желтой, местами как бы вылиняв-

щей от седины бородой-мочалкой. На голове у братца ни к селу ни к городу торчала мягая, темно-зеленого велюра шляпа. «Ишь, принарядился... Меня встречает», — зашевелился Иван Лукич неожиданную слезу веками глаз, как губам. Наличие такого экстравагантного головного убора Почечуев отметил иронически.

Огромная голова Анисима Лукича чудом держалась на тонкой, давно не мытой, сморщенной, такой же утиной, как и нос, шее. Мятые, в полоску, костюмные брюки заправлены были в бежевые от глины кирзовые сапоги.

Наталья сидела полностью закутанная в платок, так что лицо ее не просматривалось. На плечах женщины торпорила курточка красная, капроновая, молодежного фасона, но краски этой случайной здесь вещи давно выцвели и сейчас сливались с такими же красками дома в одно беспокойное для глаз пятно.

— Здравствуйте... — поставил Почечуев перед ними шикарный чемодан. — Не ждали, выходит? А я телеграмму отстучал...

— Ш-штали, ш-штали, ротимый... Ф-фторой тень ш-тем не таштемся! — просипели супруги простуженно.

— А что же вы... или нездоровится?

— П-полеем!

— Ха-фараем!

— М-мда... — Иван Лукич понимающе вздохнул и безнадежно, как на луне, осмотрелся по сторонам. — А я тут нам... гостинец привез. Воблы килограмм, колбаски копченый. Наталье кофточку трикотажную. А тебе, брат, ковбойку осеннюю, теплую. Байка! И с рукавами.

— С-спаси-п-по, миленький! Рат-ты мы, рат-ты тале! П-приехал, не ам-мма-нул! Заш-штались... Фыопу пошли! — схватила Наталья мужа за рукав пиджака, стала Анисима от скамейки отрывать.

Прошли в избу. И вдруг Почечуева качнуло от неожиданности: едва занавеску тюлевую откинули, из кухни в комнату проходя, увидел Иван Лукич посреди «зала» — стол накрытый! В честь его приезда. Это ж надо! Как на праздник. Две нетронутые, нераспечатанные бутылки водки, какой-то розовый напиток в графине; тарелочки неглубокие на каждом краю стола, и возле каждой тарелочки — вилка, из манер прибора закускогого. Правда, вилочки неодинаковые подобрались, разных эпох как бы: старинная серебряная — возле прибора Почечуева, да еще — довоенная, с деревянной ручкой — рядом с Натальиной тарел-

кой, а в руке у Анисима — послевоенная, «диуралевая» четвертого, «ничейного» прибора — тяжелая стальная вилка, покрытая налетом несдираемой ржавчины.

В плетеном берестяном кузовке — лук, чеснок головами. На полотенце сала кусок. В эмалированной миске квашеная капуста дух по комнате пускает, а в трехлитровой банке огурцы в свежем рассоле плавают.

«Это что же получается?.. — растерялся Почечуев. — Выходит, они и впрямь меня дожидались? У самак зуб на зуб не попадает, больные оба, а смотри-ка...»

Достал Иван Лукич воблу свою вяленую из чемодана, колбасы палку, целлофановые мешки с кофтой и рубашкой. Отдал, протянул родственникам. Хотел Иван Лукич перед едой за речку сходить, ополоснуться с дороги, и вообще — старинной атмосферы деревенской нюхнуть на воздухе, да пожалел родственников, уж больно они истерпелись, ожидаючи, по всему видно. Сдал Анисим Почечуеву водички прямо из ковшика, колодезной, кусачей. И — за стол!

Анисим рубаху новую присдел, прямо с фирменными стрелками. Вокруг стола заходил, целоваться к брату набибался. Наталья в стареньком «Рекорде» рукоятку повернула, на фортепьянную музыку Рахманинова и Прокофьева наскочила; искать что-либо другое не стала. Выпили по одной. Почечуев всего лишь язык в вине обмочил. Тогда на него жалобно так Анисим посмотрел: «Мойш-нет, по-последней, а-драт-туш-шка? Ув-а-а! Когда еще?» И прищипать выпить. Однако на второй не настаивали. Получилось в общем — по-божески. Хозяйка, измученная болезнью, вскоре крепко уснула прямо за столом. Тогда Почечуев аккуратно поднялся с лавки, бесшумно, как ворюжка, взял свой чемодан с зонтиком и попятился к двору. Про себя он давно решил, что будет ночевать в баньке.

На обратном пути к Тимофеевне заглянул. Позаимствовал у нее лопату. Полулитровую баночку молока, плотно закрытую полиэтиленовой крышкой. Даже вместительную кошелку, в которой лопата и зонтик остриями уместились. Все это ласково навязала ему. Акулина Тимофеевна. А чайники с жестяной кружкой он у нее сам попросил. И такой вот нагруженный, но довольный, бодрый, потянулся обратно в Почечуйки.

Через полчаса, подравшись к своей баньке, оставил в ней чемодан и вещи, позаимствованные у Тимофеевны, вооружившись одной только лопатой, пустился на поиски материнской могилы.

Из чисто гуманных побуждений наблюдал я за Почечуевым все эти долгие дождливые страницы моей повести. Однако дождь рано или поздно перестает, небо светлеет. И пора мне с Иваном Лукичем наконец распрощаться, так как на сердце его вместо болезненных рубцов возвышающиеся крылышки Веры, Надежды и Любви появились! Да, да... И это в его-то годы. Ходил он теперь хотя и по земле, и прихрамывая малость, но зато как бы и вовсе не касаясь почвы, потому как с души его (не от ног, не от тела) некий груз гнетущий отпал. И конкретная цель мозги обуяла: отдохнуть в Почечуйках и заявление в детдом подать.

Кукарелов, этот смешной «арцыст», как его Почечуев величал, узнав о намерении Ивана Лукича в детдом податься, решил, что старик в дом для престарелых оформляется. Специально переспросил: «Шутите, в детдом небось? На букву «д» упор? Оригинально, остроумно и ваше!»

А Почечуева к детям влекло. Как к отдушине. Вот и сейчас смотрел он в просторы, стоя на берегу Киленки, и соображал: «Здесь бы не детдом, а целый детгородок спроворить! Благоустроенный. Чтобы дети сюда, скажем, со всего Большого проспекта Петроградской стороны на лето съезжались. Купались бы, загорали, огороды копали, ягоды ели... А попутно старые добрые места от захирения возрождали!»

Да, полетчало... И не только Почечуеву, но и мне. Оказывается, из мрака безнадежного, из тоски заунывной, из жизни неправильной выйти никогда не поздно — выйти, выползти, выехать, вылететь, воспарить! Лишь бы брешь в стене собственного равнодушия прособачить! Щелочку, экважину пробуравить, в которую луч солнца, то есть любви, на сердце к тебе проникнуть мог бы!

XII

Кладбище сгруппировалось вокруг церкви. Заурядные, простонародные кладбища возникали, как правило, несколько на отшибе, позади селения. Как бы прятались от глаз живых, веселых. Но случалось и так: вокруг церкви, прямо в центре селения, начинали себя хоронить церковнослужители, затем местные господа-дворяне. Нахлобучивали мраморные или гранитные плиты на могилы, а то и памятнички утверждали. И все это тесно, бок о бок с церковушкой. Простых смертных — на общем погосте, там, за

рекой, в сосновой или березовой роще, а родовитых персон — возле «бога», под его как бы крылышком. Будто не всех одинаково мухи едят на земле...

Козьмодемьянское кладбище в Почечуйках утвердилось, когда уже ни помещиков, ни просто господ в округе не было. Хоронили возле церкви потому, что — близко, потому, что — можно, и еще потому, что место высокое, песочек. В данный момент кладбище, как и сама деревня, пришло в полный упадок. И не оттого, что людей стало меньше помирать, а оттого, что уехали люди — кто в Свищево, кто поближе к городу передвинулся. От церковной ограды остались пеньки кирпичных столбов. Старые, полузасохшие деревья торчали из общей копны зелени, где преобладала сплошняком разросшаяся бузина, а также глухая сирень пополам с крапивой да ломкий малинник.

Подступил Иван Лукич к замшелым камням церкви, хотел внутрь заглянуть, посмотреть, что от бывшей «веры» осталось, и вдруг на совершенно чужого, внезапного человека нарвался! Высокий, тело удлиненной формации, лицо, а также и нос клином вниз вытянуты; борода светлая, кудрявая с висков ниспадает; длинные волосы на голове ленточкой засаленной синей перехвачены; из глаз небесная синь льется. Прямо-таки персонаж киношный... И ежели б не блокнот для рисования в руках, такой дешевенький, да не фломастер пузатенький, на карандаш непохожий, баллончик с жидкостью от клопов напоминающий, если б не все это, то и неизвестно, что об этом человеке подумать можно?

Схватился Иван Лукич за черенок лопаты обеими руками, а сам глаз не может от того человека отвести. Потом уже догадался, спустя несколько мгновений, что перед ним — художник. И стоит художник на поросшем травой каменном крыльце, то есть на паперти церковной, где в прежние времена якобы нищие и всякие странные юродивые люди стоять предпочитали. Стоит художник и что-то срисовывает, поглядывая отрывисто на нечто чуть выше дверей храма. А чего уж там срисовывать? — одному богу известно; так как все облезло, облупилось, непогодами вместе с дождем и снегом наземь сошло.

Это уже после, основательно прищурившись, разобрал Почечуев, что над дверью какой-то рисунок, фресочка какая-то просматривалась, едва уловимая.

— Приветствую вас, молодой человек! — бодро приветствовал Иван Лукич.

— Садитесь. Чего это вы тут с лопатой? Червей, что ли, чинить решили? — Малый, не отрываясь от фресочки, кивал своему блокноту, размахивая баллончиком, как сигарой. На Почечуева он не смотрел, но видеть его видел. Так как на приветствие ответил и лопату... уловил. Скорей всего — боковое зрение у художника развито.

— Могилку вот ищу... Материну.

— Могилку матери ищете? А что, разве такое потерять можно?

— Видите ли... На похоронах не присутствовал... Обстоятельства, — послушно объяснял Почечуев молодому человеку, одетому в вельветовую куртку и обладавшему такой же, под цвет вельвета, светлой бородкой.

«С чего бы это я перед ним... исповедуюсь? — удивлялся Иван Лукич. — Сейчас бы и уйти... От греха подальше. Однако — влечение ощущаю. Потому как пусто вокруг, а тут — живая душа».

Иван Лукич лопату в землю воткнул. Носовой платок достал, тщательно, культурно руки от внезапного пота обер.

— Может, познакомимся?.. Почечуев Иван Лукич. Из Ленинграда.

— По фамилии — вы местный. И что же, из Почечуек все, что ли, в Ленинград переехали? Геннадий, из Москвы.

— Я до войны еще переехал. За остальных не ручаюсь. А вы, что же, извиняюсь, художник будете?

— Почему извиняетесь? Словно выругались?

— Это я к слову... У меня над головой в Ленинграде тоже... артист живет. Кукарелов, не слышали?

— По документам я, может, и художник... А вот по сути — это еще будем посмотреть, как говорится. Инвалид я, а не художник...

— Это как же? Молодой, приятный.. Сочувствую. На какой же почве инвалидность, если не секрет? Потому как я теперь тоже инвалид, вторая группа. Хромаю вот...

— На нервной, дядя, то есть на духовной почве. Вот такая, дядя, хромота у меня... Всего лишь.

— Что-то незаметно, однако... Чтобы на нервной, — заискивающе улыбнулся Почечуев.

— Да вы не беспокойтесь! — в свою очередь ослабляясь Геннадий, а затем строго, внимательно посмотрел на Ивана Лукича. — Я не кусаюсь. Чтобы вы знали... А из Москвы я сюда, в Почечуйки, — временно. Чтобы нервы отдохнули, а не потому, что меня за пьянство-тунеядство

на сто первый выселили. Ясенько? Да и хорошо тут... А в городе у меня голова болит.

— Это чего говорить! — согласился сразу же Почечуев. — В городе и у меня голова — не приведи господь! Сосуды так и лопаются...

«Дурака валяет... А может, и натурально — припадошный... — подумал о художнике Иван Лукич. — С таким ухо остро надо держать...»

Геннадий захлопнул блокнот, убрал в куртку толстый, как сарделька, фломастер. Заинтересованно глянул на собеседника.

— Вот вы... господа помянули. Сказали: «Не приведи господь!» Вы что же, в бога веруете?

— Да что вы, дорогой?! — испуганно отпрянул Иван Лукич от такого вопроса. — Да с какой стати... Да за кого вы меня принимаете?!

— А испугались-то почему? Вопросы? Побледнели... Не верите, и ладно. Не вы первый... А если, к примеру, жизни молиться? С большой буквы которая? Разве ж она не бог — Жизнь?

— Жи-зень? — засомневался Почечуев. — Нет, отчего же... Такому не возбраняется. Только разве это — бог? Жи-зень, она и есть жи-зень. Существование...

— Култ Жизни! — заметно воодушевился Геннадий. — Разве плохо? Только и это ново... Было уже такое, товарищ Почечуев. Поклонялись огню, солнышку. А что из этого получилось? Вот то-то и оно! — выпучил Геннадий глаза. Затем лопату из рук Ивана Лукича взял и с паперти в высокие ржавые лопухи застарелую кучку навоза откинул. Возвращая лопату, строго сказал: — Так что все это блажь, челухенция. А сейчас пойдем могилу искать. Помогу вам, если хотите. Это ж надо: могилу матери забыть! Вот где фантастика... Кстати, вы хоть во что-нибудь сверхъестественное верите? Ну, хоть самую малость? Скажем, в значение снов?

— Нет... Как ответить? Сны-то я вижу. А вот придавать им большое значение — не придаю. Да и забываю их, как правило...

— А теория Эйнштейна, а тарелки? Может, сейчас, рядом, возле нас, только в другом измерении, неведомые существа на скрипке играют. Или водку пьют. Вот на той плите...

Почечуев посмотрел на замшелую плиту, словно и впрямь кого-то на ней обнаружить предполагал.

— Оно конечно... Сейчас наука далеко пошла. Мы-то еще учились, когда на лошадях ездили.

— Я не о том. А вот, если серьезно. Безо всякого шарлатанства... На научной основе. Возьмут и докажут, что в другом измерении жить несколько не хуже... А? Согласитесь переехать туда?

— Это почему же? Мне и тут неплохо... Чего не знаю, того не знаю. А вот, скажем, заболел я недавно. Свалило меня ударом. В запертой отдельной квартире. Шевельнуть ничем не мог. И вдруг женщина подходит. Со шваброй... Я сперва — был грех — подумал, что смерётушка прилетела; косой машет!

— А я другого мнения, — перебил Почечуева Геннадий. — Никакая не смерётушка, а это к вам из другого измерения гости были. Из других полей магнетических.

— Вот уж не поверю, чтобы... из других. Приборку произвела, бульоном куриным напоила. Это как же? Из другого измерения — с курой?

— А хоть с колбасой! Важно, чтобы человек осмыслил, что ему знак подается, сигнал! Опомнись, остановись!

— А я и опомнился... через некоторое время. Сигнал, говорите? Были и сигналы. Перед самой болезнью размышлялся я... Мать вспомнил, детство. Вот эти, стало быть, Почечуйки захиревшие... И вдруг — звонок! В двери. Бегу открывать, а за дверью — никого. Хоть шаром...

— Все ясно, — убежденно сплюнул Геннадий на траву и вновь со значением ухмыльнулся, сверкая белыми зубами. — Тут и к бабушке не ходи. Сигнал, знамение! А... второй звонок был? После первого?? — дотошно поинтересовался художник, безо всякого юмора и ужимок. И вот тут Почечуев малость струхнул — по-настоящему. «Откуда ему известно?» Однако увиливать не стал и про второй звонок поведал.

— У нас там жилец в доме... Кукарелов. Может, слышали? Иногда он как бы... пошалить любит. И вообще. Думал, застукаю на месте. Ан, шалишь... Не он звонил. Потому как я арцыста из ванной голого вызвал. Не мог он в таком виде на общественную лестницу выходить.

— Ясно. И продолжать не стоит. Оттуда звоночки... — и показывает пальцем в небо.

Почечуев попробовал хихикнуть. Не получилось.

— Откуда «оттуда»?

— Из другого измерения, товарищ Почечуев, сколько вам объяснять? Из другого временного полса.

— Это что же... вполне серьезно? — И вдруг Почечуев вспомнил, что парень в начале разговора про инвалидность заикался. «Вон какие глаза у него, как чернила синие. Ясное дело — блаженный. А я с ним чирикаю...»

— Да в наше-то время атомное разве кто в такую премудрость верует? — Попытался отшутиться Иван Лукич.

— И оправдана премудрость чадами ее.

— Это как же понимать?

— Иными словами: отойдите, непосвященные! А теперь погилу матери искать! Хоть на карачках! — в приказном порядке, будто Кункин из больницы, распорядился опять Геннадий.

— Да нет уж...—осмелился возразить Почечуев. — Знаете что... Не извольте беспокоиться, — перешел почему-то Иван Лукич на лакейский тон с художником. — Могилку я сам разыщу. Дело-то лично меня касается, деликатное, частное...

Почечуев пятиться начал. В кусты. На которых, созревшая, кровью сочилась ягода бузины.

Удаляясь, Иван Лукич сквозь кусты услышал какое-то непонятное слово в свой адрес — то ли ругательство, то ли на иностранном языке что-то, но обижаться не стал. На что обижаться-то? То есть — на кого?

Как бабка Акулина, так и Анисим с женой на одну кладбищенскую сосну указывали, у которой ствол рогастиной раздвигался, как бы от тулова две ноги вверх тормашками уходили. В районе той сосны предлагали могилу искать.

Иван Лукич тщательно все вокруг сосны облазил и даже шире забирал, можно сказать — все кладбище обшарил, но с материнной фамилией, а также именем могилы не нашел. Большинство уцелевших крестов, обсосанные дождями и снегами, надписей на себе не сохранили. Все с них начисто смылось, улетучилось, заржавело, грибом заросло, плесенью.

Почечуев после некоторого колебания остановился на одном из бугорков правильной формы; на нем даже какие-то цветочки пытались произрастать. Опрокинувшийся, вмятый в траву деревянный крест с отгнившей ножкой, под которым, когда его приподнял Иван Лукич, замороженная, сплюснутая тяжестью креста зелень пресмыкалась, — пришелся Почечуеву по душе. Аккуратно вкопал он его в землю, предварительно срезав «штыковой» все лишнее по

бокам холмика. Принес с берега десяток лопат красного сырого песочку. Распределил вокруг.

«Может, и не мама тут лежит вовсе... А может, и в самую точку попал. Во всяком случае, где-то поблизости покойся. Сейчас не это главное. Важно, что вот приполз он, посетил в конце концов... А чьи тут конкретные косточки, поди разберись. Земля все скушает, всех успокоит, примет. На то она и земля — всему начало, всему и конец. Вот бы у Геннадия того чекнутого фломастер попросить. Такой он у него здоровенный. Шикарную надпись на кресте таким-то оставить...»

Почечуев простенькую школьную ручечку шариковую из-под плаща извлек, начал на неотсыревшей стороне крестовины имя, отчество и фамилию Гликерии выводить, проставлять... Шкрябал, шкрябал. Что-то несерьезное в итоге обозначилось на древесине. А нужно сказать: точной даты рождения матери Иван Лукич не помнил. Приблизительную писать не хотелось. В итоге поставил только одну дату — смерти.

Поразмыв таким необычным занятием свои сонные мышцы и опираясь, как на японский зонтик, на Акулинину лопату, вышел Почечуев по тропе с кладбища на берег Киленки. Высокий он тут был, обрывистый — берег. И если глянуть со стороны реки — красный, песчано-глинистый. Сотни стрижей в начале лета кружат здесь над своими гнездами-пещерами с веселым верещанием. На той стороне, за Киленкой, — луга заливные. На них островками-клумбами кустарник, ивушка-вербушка, а далее — лес невырубленный, входящая в рост гущера звериная.

Присел Почечуев на замшелую глыбу кирпича, отколовшуюся от одного из столбов кладбищенской ограды, руками черенок лопаты обнял, подбородком о него оперся.

«Вот и вернулся ты, Ваня, в свои Почечуйки... Как ни старался подальше залететь, как ни пытался на искусственный городской манер пожить, от себя самого улепетнуть, — ничего существенного из этой затеи не вышло, не получилось... Вот, даже закурить и то нельзя в итоге, возбраняется теперь... — покачал головой, обращаясь к возникшим мыслям, Иван Лукич. — Стало быть, здравствуй, мать, и прости меня грешного... И не обижайся. Молодой был, беспощадный, сердце в железном футляре содержал... Как вот очки теперь. А ныне я и сам старый. И одинокий. Так что и квиты, выходит. Сравнились. Не поминай, если можно, лихом. Плохой я у тебя получился, но

сердце... Сердце еще живое... имею. Болит! Теперь называть к тебе буду. Почаще. Зимой в детдоме детишек общаживать, а на каникулы — к тебе».

Прибодрился Иван Лукич, словно зарядку по системе йогов проделал. Исподволь и лицо у него просветлело, будто нежданная амнистия человеку вышла. Приподнялся с кирпичей на ноги, головой повертел туда-сюда. Голод в желудке ощутил. Сейчас он в баньке чаю закипятит, булки с колбасою да сыром навернет или — нет: молочка козьего, для легкости на ночь... А завтра чуть свет — на рыбалку. «Подышу недельку свежестью, молочком отпоюсь... А там видно будет. Не понравится — руки в ноги, то есть наоборот, и на шоссе: трешницу шоферу покажу — и до свидания!»

Опираясь на лопату, Почечуев к земле нагнулся, осколок кирпича поднял, размахнулся, швырнул камешек с обрыва в воду. Только не долетел рыжий обломочек до реки, шлепнулся на прибрежный песок.

«Необходимо добросить! — решил, загадал про себя Иван Лукич. — Иначе помру...»

Опять наклонился при помощи лопаты, насобирал щебня. Стоит, бросает. В азарт вошел, потому как серьезно загадано. Однако же, сколько ни бросал, ни разу так и не добросил: резвость в руке не та, мах короткий, да и в плече заняло моментально.

«Ладно, пусть... Я же не загадывал — когда именно? А так, вообще только... А ежели вообще, тогда оно любому и каждому предстоит. В том числе и тем, кто добросит!»

И все же боевое настроение, возникшее в процессе метания, сразу и поостыло, будто на него ветром северным подуло. Нелепый, невесть откуда взявшийся задор, пыл рассосался по закоулкам сознания Ивана Лукича. К тому же всегда оградный, желанный дождичек, начавший занудно накрапывать, настроение отнюдь не приподнял. Осенний, он и есть осенний — гнетущий, в лучшем случае — усыпляющий, но — не оживляющий. Да и шел он сейчас не над Васильевским островом...

Почечуев вспомнил, что у него есть жилье, какая-никакая, но своя «берлога», хоть и банного предназначения. И его стремительно повлекло под крышу. По дороге несколько палок сушняка из ничейной изгороди надергал. В полутемном предбаннике накрошил, нащепал лопатой растопки. Здесь же, в темном углу, нашарил холодную охапку давнишнего покола до звону просохших поленьев.

На лавке возле порожнего поллитра поставил баночку мелака. Вспомнил лицо Акулины: «А баба-то добрая... Тещей всю жизнь была, а я и не знал какая? Дай бог здоревья старой...»

Дохлым веничком-голичком помещение подмел. Выбросил наружу сор, в том числе баночку из-под ставриды и пустую бутылку. Затопил плиту-каменку, поставил прямо в топку, рядом с огнем, чумазый Акулинин чайник с водой. (За водицей пришлось топать в центр Почечуек, где все еще действовал глубокий колодец-журавль.)

«Хорошо, что они с батькой тогда чистую баньку затеяли, — подумал. — С дымоходом. В Почечуйках исколон веков бани по-черному топили: пока истопишь, дыму, как пожарник, наглотаешься!»

Через определенное время тепло в баньке сделалось. Снял с себя Почечуев все лишнее. Бритвенную снасть на подоконнике раскинул. Пока свет в окне не истаял, решил побриться. Зачем, почему такой марафет к ночи — объяснять себе не стал. Просто почиститься захотелось. Выпил молочка с городской булочкой. Ополоснул банку молочную и чаю в ней заварил под махровым полотенцем. Золотого, душистого, любимого. Залез на полоч в одних трусах. Ноги свесил. Сидит, чай из Акулининой кружки хлебает с конфетой.

По крыше старенькой, латаной-недолатаной, по доскам сереньким все сильнее дождик стучит, ударяет, на горячую, ожившую баньку напирает, наваливается сверху.

Закрыл Почечуев двери поплотней, а потом, когда в печке прогорело, дымоход круглой чугунной задвижкой прихлопнул в трубе. Вытряхнул из чемодана тряпичное содержимое. Пальто клетчатое небрежно на досках расстелил. Под голову пару веников, которые прежде с чердака баньки извлек, приспособил. Покрыл березовую пахучую сушь бельишком растеребленным, вынутым из пакетов прозрачных, городских. Лег поверх всего этого, плащом японским накрылся. Принял таблетку демидрола. Попытался ни о чем не думать, уснуть...

Сон долго не шел. Но вот уже где-то перед рассветом (на часах время к шести подбиралось по фосфорным цифиркам) почудилось Ивану Лукичу, будто лежит он у себя на Петроградской стороне, в своей однокомнатной, лежит, ждет чего-то. И вдруг откуда-то издалека, как бы с очень большого расстояния, появляется и начинает сверлить ему слух... звоночек! Сперва не громче комариного

пенья, а затем все ярче, назойливее, тревожней. И как бы встает он радостный, довольный, что дождался того звончка, сползает с тахты и безо всякого кряхтения идет открывать на ранний этот благовест дверной. Потому как предчувствовал, догадывался, кто звонит... Отвел дверь, а на лестнице не архангелы вовсе, а — мать, то есть Гликерья. Еще не старая, в летнем голубом платье ситцевом и с букетиком травки какой-то полевой. Таковую он ее, мать свою, и не видывал никогда прежде. Моложе была — помнил, и старухой последние годы — знал. А такой — сильной, ядреной, матерой — и не предполагал увидеть.

— Здравствуй, — говорит, — Ваня. Молодец, что побрился. А то бы я тебя и не узнала. Состарился, сынок. На-ко вот, понюхай цветочки... Зверобоею моего... — протягивает, сует букетик цветущий такими крохотными желтыми цветочками-искорками. Прямо в нос Почечуеву тычет. — Ну, миленький, скажи, чем она пахнет, трава моя зверобой?

Почечуев силится ответить, что ничем-де, то есть травой-зверобоем и пахнет скорее всего... Силится ответить, а губ никак не разомкнуть. Словно ремешком их, как собаке чешусти, перетянуло.

А Гликерья молодая, строго так продолжает:

— Ошибаешься, сынок. Не «ничем», а солнышком пахнет. Ты ведь таких запахов и не нюхал никогда. Живых да сильных. «Ничем» только смерть пахнет, а эти мои — солнышком! Зорькой утренней, рассветом... На-ко, нюхни еще разок, а то и впрямь уснешь, не проснешься более.

Хотел Иван Лукич, перед тем как нюхнуть, спросить маму о двух предыдущих звонках, да постеснялся, промолчал. А мама ему:

— Свечку, Ваня, поди поставь в мою память. На кладбище. А за могилку — спасибо. Угадал: мою обиходил. За лесочек спасибо, свеженький...

«А где ж я свечку-то поставлю? — подумал Почечуев. — Храм-то разрушен, заброшен...»

— А ты в себе поставь, — опять угадала его мысли Гликерья. — Душа человеческая — тот же храм. Ну, а теперь нюхни, дорогой...

И тогда нюхнул Почечуев мамино зверобоем, нюхнул и тут же проснулся. Очухался. Во рту как с похмелья... В висках стучит. И вот что странней всего: звоночек! Не перестает, звенит! Знай себе надывается. Что, почему?

Здесь-то, в Почечуйках? Может, коза Акулинина приплелась — с колокольчиком?

А звоночек звенит, сверлит мозги Ивану Лукичу.

«От вина выпитого или от жары, — начинает соображать Почечуев. И вдруг спохватывается: — Угораю! Наверняка головешка в печке спряталась, завалилась за кирпичик отпавший. Угораю, помру тут! А мне еще в детдом непременно... Книжки читать... Ах ты ж, господи! Вставать пужно всенепременно! Ну, мама, ну, спасибо тебе, роденькая... Предупредила...»

Сполз Иван Лукич с полка на пол и на карачках — к печке. Кривым сучком принялся в топке ковыряться, затем передумал и вверх к дымоходу карабкаться решил, вялыми руками задвижку нашарил, отбросил на пол чугунную тарелку. Далее — к дверям на карачках же, ползком, позвериному устремился. Обе двери распахнул, выбил чуть ли не головой — на дождь выкатился. Стал воздух крупными глотками глотать. И воду языком лизать. Стошнило. Малость очухался...

Перевернувшись на спину, глазами небо искать начал и где-то на краю неясный намек на утро — жиденький мазок рассветный — всем существом своим воскресшим зачерпнул. Голова его, чудом уцелевшая, и сообразить в тот момент не могла, не хотела, что это он из угара прежней жизни своей выполз, вывалился. Теперь, когда его дождь малость отрезвил, — не понял, а почувал он Жизнь новую, бесконечную. И не важно было, сколько он дальше проживет — миг, пятилетку или еще какой срок, — не имеет значения, ибо дальше теперь только — вечность, слияние с миром всеобщим — пылинки со звездой, звезды со Вселенной...

Через полчаса, весь мокрый, дрожащий, к чемодану подполз, мешочек с лекарствами добыл, принял от простуды, от головной боли... И вновь на полочку забрался. Долеживать сумерки.

Светало. Проносной дождь перешел в обложной, длительный. Неустанным сеянцем опадал он на дряхлеющие деревья бывшего сада, на чернеющую зелень лопухов и крапивы, что кольцом окружили покосившуюся баньку, на коньке которой с полминуты посидела мокрая, блестящая ворона, а затем, подбросив крылья, тяжело поплыла по воздуху в сторону своего гнезда.

ЗАБЫТОЕ СЛОВО

I

С благодарностью вспоминаю тот день и час, когда, не вняв «голосу разума», перебрался на постоянное жительство из Ленинграда в бревенчатый одноэтажный Зотов. Городок как городок. Ничем особенным от подобных ему северных городков не отличается. Правда, в местном озере все еще водится рыба снеток, карликовый подвид то ли салаки, то ли сига.

Северные надбавки к зарплате в городишке не полагаются: не дотянул нескольких миллиметров до определенной отметки на карте. Хотя зима в этих широтах напоминает запущенную, неизлечимую болезнь — так она за свои восемь месяцев надоедает с непривычки, ну, просто смертельно надоедает. Однако не расканиваюсь. Скорее наоборот: благодарю судьбу за то, что надоумила с накатанной дорожки свернуть и совершенно незнакомой жизнью пожить.

Говоря откровенно, человек я на сегодня весьма значительный, неперспективный. В смысле карьеры. Ни жарптицы, ни журавля в небе так и не поймал. Отвлекали синички, а то и вовсе — воробьи. Таких, как я, зауряд-товарищей в энциклопедии Брокгауза и Ефрона, содержащей сведения о предметах и понятиях устаревших, а то и вовсе исчезнувших, к категории мелких чиновников относили.

Что касается многотомного словаря, то попал он ко мне в жилище недавно вместе с Викторией Скоропадской, женой (в качестве приданого!).

Служу я в конторе. Точнее, заведу конторой. Образ жизни веду сидячий. За наиболее драгоценное качество в людях почитаю отзывчивость. Чтобы душа — с отзвуком. Как фарфор: ударят карандашом по нему — он тебе и запоет, фарфорец. Ежели без трещины.

С некоторых пор, а мне уже пятьдесят с гаком, отмечаю в себе одну странность, а именно: вспоминаю. Не от забывчивости, но как бы — от беспокойства. На первый взгляд ничего удивительного. Все этой самой «странно-

стью» пользуются. Только у меня тревожной дело обстоит, оно как бы уже хроническое, неотвязное. Люди на земле что делают? Живут. То есть работают, едят, отдыхают, иногда вино пьют, ругаются, читают, да мало ли... А я чаще всего вспоминаю. Скажем, просыпаюсь утром по звонку будильника и сразу же вспоминаю, где прежде такой знакомый рассыпчатый звук слышал? И тут же соображаю, что вчера в это же время, в этой же обстановке и слышал. И сразу как бы дышать легче. Ноги в дырявые тапочки суну и радостно так вспоминаю, где приобрел эти тапочки и какой от них специфический запах тогда исходил.

Но это — частности. Мелочишка. Такими воспоминаниями не похвастаешь. Главные предметы моих воспоминаний описаниям не поддаются, ибо они, как дыхание жизни, незримы, неосязаемы. Попробуй-ка вспомни, скажем, волнение, охватившее тебя при встрече с женщиной! Женщину вспомнишь, а волнение... Какое оно? Сколько его, к примеру? Вот тот-то... Однако вспоминаю, тчусь. Тем и живу.

А началось, как всегда, с пустяка. Забыл слово. Хотелось один жизненный зигзаг самому себе объяснить, растолковать. Знал, что в языке нашем для обозначения той, нужной мне, ускользающей мысли единственное слово имеется. Без дубликатов. Знаю, а вспомнить не могу. Как бы пальто с перегруженной вешалки в сотый раз срывается, падает... Нацеплю на крючок, ну вот, сейчас, мол, все образуется, вспомню сейчас. Руку от крючка осторожно отвожу, а пальтишко — шасть! — опять на полу валяется. И ощущение такое, что забыл не звук, не слово, а нечто для себя сверхважное, уводящее в надежный бункерок если и не от смерти, то от весьма больших неприятностей.

Отпустило меня это слово, правда, не на все четыре стороны, а как бы всего лишь поводок связующий на несколько сантиметров удлинился — с появлением в моей жизни Виктории Скоропадской. Слово отпустило, а привычка осталась: вспоминал с тех пор все подряд и прежде всего, глядя на свою Викторину, одну замечательную девушку из невозвратной юности воскрешать порывался... Ксюшу-мученицу, сердечко пылающее.

Но уж так заведено: прежде мы себя вспоминаем, о себе печемся. Вот и в данном рассказе начну от себя танцевать.

Самое-ходовое-слово в моем послужном списке — контора. В современном жизненном обиходе полузабытое, а в моей судьбе главенствующее. Были конторы по найму, по распространению, обмену, нотариальная имела место, а также страховая; знаменитые ЖЭКи чередовались со сплавной конторой глухого леспромхоза, и даже одна погребальная промелькнула. А теперь вот — заготовительная. И не просто служил, а заведовал. Всегда, пусть маленькая, но автономия, крошечный, однако начальник. С кабинетом, графином; чернильным прибором и, ясное дело, креслом.

Оглянувшись на прожитые годы, вижу, как вся моя биография жирной чертой на неравные две части поделена: до распределения с юрфака — молодость; после распределения — конторы, служба, одинокое существование. До черты — кипятилок: школа, первая любовь игрушечная, война, фронтовые огненные годочки, послевоенное, с поджатым животом студенчество; за чертой — все остальное, вплоть до нынешних дней, когда от второй, скучной, жизненной половины отграничилась еще одна, третья по счету, биографическая долька, протяженностью в два календарных года, может быть самая существенная, хотя и самая нелепая, неожиданная; такая посреди ночи вспыхнувшая полоска, по глазам бьющая, появившаяся на закате моей судьбы одновременно с Викторией Скоропадской.

Работая в конторах, на одном месте долго не засиживался, потому что скребло. Душу. От силы пару лет выдерживал. Наведу порядок в заведении, отлажу машинку, в ритм войду и заскучаю. Потому что не на своем месте всю жизнь. Да, да... Теперь-то я много про себя знаю. А прежде думал: не везет. Думал, вот бы мне философом каким работать: тихо сидеть, вспоминать, размышляя, что к чему, до смысла жизненного своим умом добираться. Но разве такое возможно? Кто тебя хлебом кормить будет, не говоря о масле?

Сослуживцы меня частенько за оригинала принимали, дескать, чудит этот Сысоев. Напускает на себя задумчивость многозначительную. Откуда им было знать, что не живу я, а вспоминаю всего лишь, что у меня образ жизни сложился своеобразный, потому как прислушиваюсь постоянно к себе.

Опять же — у меня очень красивая жена. Согласитесь, далеко не каждому такое «чужачество» выпадает. И не за-

хочешь, а задумаешься: за что, почему? Красивая и достаточно молодая.

Иногда от бессилия чего-нибудь срочно вспомнить буквально из себя выхожу, несносным делаюсь, суетливым, смешным наверняка. А главное, как правило, по незначительным пустякам дергаешься. Блажь подступит несбыточная, вроде неперменного желания представить, вспомнить, скажем, внешний вид сердца, которое в груди работает. А как ты его вспомнишь, ежели никогда не видел моторчика того беспросветного, солнца лишенного?

Правда, однажды в сорок четвертом вражеская пулька продырявила мне бочину, да так, что хирургу в полевом госпитале пришлось мои ребра на короткое время маленько раздвинуть, доставая из нутра «посторонний предмет». Однако в тот день, помнится, дождь по брезентовой госпитальной крыше стучал, пасмурно было, во всяком случае, солнышко в грудь мою все равно бы заглянуть не успело, потому что хирург быстренько меня обработал, зашив прооперированное место, а две проворные сестрицы так ловко и плотно перебинтовали, не то чтобы солнце — кровь и та сквозь их упаковку просочиться не могла.

Жена у меня очень красивая. Не я первый такое мнение составил. До меня многие. И прежние ее мужья в том числе. Не говоря о друзьях.

Наскочил я на Викторию Скоропадскую в общем-то случайно. Как на светящуюся гнилушку в лесной темноте. Об этой встрече поведаю как-нибудь подробнее. Скажу одно: объединяясь с ней в семью, рисковал, ибо видок имею грустный, симптоматикой меня уже не назовешь. Да и во цвете лет, годочков сорок тому назад, носом владел не греческим и даже не римским, а самым что ни на есть великолукским, с излучинной седлообразной и некоторой прищипнутостью вдобавок. Глаза имел популярного в России, но весьма поднадоевшего девушкам, серого цвета. Рост средний. Отсюда и все остальное: обмер ноги, головы, фигуры — все самое стандартное, невыгодное и, прежде всего по причине приобретения экипировки, обременительное: обувь, одежда, головной убор — все подавай ходовое, идущее в магазинах нарасхват.

Выражаясь литературно, наиболее приличным из всего мне принадлежавшего были волосы на голове. Их и сейчас у меня достаточное количество. И что приятно — не лезут. По крайней мере, пачками не выпадают. Захватишь горсть, разожмешь пальцы, а на ладони один волосок валяется. А

то и вовсе ни одного. Сединой побиты самую малость. Как был русак, так и остался. И Виктория, когда в приятное расположение войдет, непременно по голове меня гладит. А я сижу и бога благодарю. Улыбаюсь. Сияю. Не слишком часто, зато искренне. Чаше: улыбаться воспоминания мешают: они у меня грустные и с некоторых пор серьезные.

Изъявляясь на бумаге, впадаю в распылчатость и даже пышность. Есть грех. От конторской многозначительной задумчивости идет. А также от некоторой возвышенности духа над телом, которая русскому человеку на исповеди присуща. И еще — от гордости: такая эффектная женщина даром досталась! Перед отплытием в космос.

О чем бы теперь ни думал, ни вспоминал, неизменно к Виктории Скоропадской мыслями возвращаюсь. И конечно же соображаю: элементы моего риска не задрипанной внешностью обусловлены, но прежде всего — разницей в годах. Скоропадская на двадцать пять лет моложе. Так что от меня, помимо волос и прочих атрибутов жизненных, для такой необдуманной женитьбы немалая отвага потребовалась.

Но есть и не в пользу Скоропадской доводы. Без оных-то разве бы досталась она мне? Такая красивая, тридцатилетняя? Никогда. Понимаю, смекаю и помалкиваю в тряпочку. А при наличии минусов, изъянов даже первоклассный товар, претерпев пересортицу, зачисляется в категорию уцененных.

Но прежде о себе.

До войны школу окончил и заявление на юрфак в Ленинградский университет подал заблаговременно. С возникновением всеобщей военной угрозы пришлось в темпе повзрослеть, а с юриспруденцией повременить.

Перед самым началом военных действий угораздило меня из Ленинграда в деревню, к дальним родственникам, под Великие Луки проскочить. Заявление военкому подаю! А как же иначе? Все тогда на фронт рвались, и конечно несовершеннолетние.

Война быстро разрасталась. Призваться в красноармейцы возрасту не хватило: мой год на очереди стоял следующим. И тут я вынужден был пережить много приключений, порой унижительных (переодевался в женское, чтобы немцы за девушку приняли), порой печальных, когда своя, отбившиеся от воинской части окруженцы, за вра-

жеского лазутчика посчитали и чуть в болото живьем не затолкали... Один стрюцкий мне тогда и говорит:

— А ну, ругнись матом! Чтобы с переборами.

А я засомневался, потому что матом ругаться не приучен был. Бабушка староверка, и вообще некрасиво. Тогда я окруженцам все, что знал и помнил из школьной программы, наизусть прочел: Пушкина, Некрасова, Маяковского. Включая бабушкины притчи, которых с детства вдоволь наслушался и которые намертво застряли в моей голове, словно известь в сосудах мозга. Поверили... Потом я не раз чтения эти устраивал. В приказном порядке. Командир на привале шепотом распоряжался: «Читай, Олежка». И читал. «Внимая ужасам войны», «Стихи о советском паспорте»... И внимали. Возле костра.

Однако, когда спать в лесную траву валились, клали они меня всегда посередке, а для страховки проводочком телефонным тот самый стрюцкий, Фома неверящий, мою ногу к своей на ночь привязывал. Эх, да что там. Взрывное времечко, все на взводе, на пределе, любое сердце заминировано: пошевели неловко — хлопот не оберешься.

Вышли к своим. Меня сразу в Ленинград попутной машиной отправили. С тем самым угрюмым сопровождающим. Похоже, взял он тогда надо мной шефство, в этикие тимуровцы великовозрастные играл.

В Ленинграде мои показания с официальными данными сверили; слава богу, сошлось. Тут я опять заявление — бац. Меня — бах! — на курсы младшего комсостава, и пошел я по военной дорожке.

О последней войне много написано: и воспоминаний и просто романов приключенческих, а также стихов. А писем сколько! А песен! И все почему? За живое взяла. Железной рукой кровавой. Вопрос жизни и смерти на повестку дня поставила, а не разную там скукоту повседневную. Каюсь, принимался и я неоднократно бумагу марать. Втихаря, естественно. Однако и слог у меня несерьезный, кудрявый, и заносит меня постоянно в отвлечения. А рассказать, выудить кое-что из памяти хочется — во как! Дабы факты, а с ними и ощущения всевозможные в памяти не истлели, взаперти не задохнулись. Ну и набросал я от руки, не удержался, несколько случаев из биографии личной.

Один эпизод, правда уже из сорок пятого года, поведал я знакомому писателю Аркадию Портнягину (приезжал к нам в Зотов в творческую командировку, заодно сметка по-

кушать, ухи натуральной похлебать), так я ему этот неповторимый эпизод даром отдал: пиши, освещай, только чтобы со смыслом, а не так — рассказал анекдот и пасть в ожидании смеха разинул.

Когда он про этот эпизод что-то литературное сочинил и мне на следующее лето под ушницу и подо все иное прочел, решил я этому писателю (член Союза, профессионал!) отдать свои каракули, то есть всю тетрадочку с эпизодами, всю эту археологию из раскопок памяти. Бери, Портнягин, употребляй. Для меня забава, а для писателя хлебушек: матерьялец из первых рук.

Потом, когда от тройной ухи душа писателя золотыми кружочками блаженства подернулась (слог-то какой!), Аркашка (это писатель-то) мне и говорит:

— Послушай, Сысоев. А давай-ка мы, старичок, объединимся с тобой на время. В смысле повествовательного сочинительства. Не будешь ли ты, старичок, против, если я твои воспоминания о знакомстве с Викторией Скоропадской оставлю как бы нетронутыми? В первозданном как бы виде? Улавливаешь — «как бы»? А давнишний железнодорожный эпизод с девушкой Ксюшей расчешу своим перышком, иными словами — обработаю. Напишу о тебе как бы со стороны, как бы от третьего лица. Чуешь, какая тут оригинальная возможность в смысле жанра вырисовывается? Мы с тобой, Сысоев, в новаторы пробьемся. Ты о себе, сегодняшнем, от первого пишешь, я о тебе, вчерашнем, от третьего лица сочиняю. А в результате неподражаемая повесть о ветеране войны и труда! Даже как бы две повести об одном и том же человеке, как бы слившиеся в одну. Этаким сандвич, выражаясь не по-русски. Ну, как, лады? Как бы?

Сперва я, конечно, на дыбы! Какой из меня писатель? Как из пенсионной жилы тяж. А затем согласился, поразмыслив минут пятнадцать. Аркашка — человек грамотный. Деловой, хваткий. Пробивной. Книжки на пару с «источником» писал неоднократно. Обработывал литературно. Пусть и моего лиха отведает. Я поддержу. Мне такая затея по сердцу: кровное вспоминать. А главное — на пользу: не так скоро умом заскучаешь, то есть рехнешься.

Излагать материал решили в порядке очередности: отрывок — я, отрывок — он. Общий контроль над сочинением договорились осуществлять одновременно, хотя и с разных позиций, в перекрестном плане: Аркадий писательским глазом наблюдает за моей половиной, я — с чисто люд-

ской, обиходной позиции — за его текстом слежу. Чтобы никакого надувательства и нехороших последствий, а главное, чтобы людям после того, как съедят они слоеную нашу стряпню, в глаза можно было смотреть.

— А теперь ответь ты мне, старичок, — заявляет напоследок Аркадий, разделавшись со шучьей головизной. — Как детище окрестим? В смысле названия повести? Лично я, как соавтор, предлагаю назвать книгу «Страсти по Сысоеву». А? Звучит? И на бумаге красиво. Мы ведь, контора, из всего тобой пережитого выбрали только два эпизода. О чем они? О любви к женщине, понятно. О самом интересном. Точнее, о любви к двум женщинам. Не густо для средней биографии, зато выпукло! Все, что угнездилось в твоей судьбе, старичок, меж двумя этими эпизодами, жгучего интереса для читателей не представляет, уж поверь моему нюху, папаша... Только страсти! И только любовные. А уж вокруг них чего хочешь наворачивай. Договорились?

— А не слишком ли «того»? Страсти, понимаешь ли, мордасти... Торжественно как-то.

— Ну и что же ты предлагаешь? — выплюнул Аркадий косточку рыбью и высокомерно так, с прищуром закурил.

— Было у меня, понимаешь, словечко одно, торчало в уме, как заноза. Да и по сей день торчит, ощущаю. Только вот беда: вспомнить не могу. Заколodило — не дай бог. Чую сердцем: есть такое словцо разлюбезное, а составить его из буквочек нет никакой возможности. Извелся весь. Теперь вот даже старинную энциклопедию, чуть ли не сотня томов, обрабатываю, листаю. Слово, то самое, забытое, ищу... Надеюсь.

— «Стоп» себе думаю! — ударяет писатель ложкой по столу. — Слово, говоришь? Забытое? Годится.

С названием было покончено.

2

Перед самой войной ясным и свежим утром по не обсохшей от ночного дождя дороге возвращался юный Сысоев в дедовскую деревню Починки со станции Мгла, где гостил у родной (по отцу) тетки.

В Починки Сысоев приезжал чистым воздухом дышать, отдыхать от школы, от города индустриального. А нынче еще одна заботушка: предстояли экзамены в Ленинградский университет, на юрфак. И здесь необходимо пояснить, почему именно в этом направлении Сысоеву обучаться выпало.

Отец Сысоева, уроженец Починок, после революции перебрался в Питер и какое-то время работал на заводе. С первой же полочки случилась у него неприятность: погрозился в закуской с мазуриками. После этого решил готовить сына к учебе на юриста. Постоянно подбивал, склонял его в эту самую правовую сторону, скорей всего, с определенной целью потаенной: чтобы сын его, Олежка Сысоев, непременно на прокурора выучился.

А младший Сысоев, впервые войдя раздумьями во что-то конкретное, нерасплывчатое, неожиданно и сам заинтересовался возможностью сделаться юристом. Он безо всякого стеснения часами расспрашивал отца о пережитом процессе, о нюансах судопроизводства, бесстрастно взвешивал все «за» и «против», попенял отцу за инертность в деле, за неиспользованную возможность подачи кассационной жалобы и тому подобное... Словом, человек как бы нашел себя. Заранее. Сидя, если и не на младенческом горшке, то — во всяком случае — за школьной партой.

Возвращается юный Сысоев из гостей со станции Мгла, а до родимых Починок топтать еще без малого двадцать километров ухабистой, осклизлой после дождя грунтовой. Новенькие галоши на выходных полуботинках уже не блестят, их попросту не отличить от бежевой, с навозной прозеленью, грязи, покрывшей дорогу будто жирным кремом, о который он нелепо вымазался в поселке Мгла на молодежной вечеринке, куда затащили его двоюродные сестры и где пили в заключение посиделок чай с тортом, каждому огромный кусок.

Сысоев тогда мучительно долго не мог справиться с кушаньем, беря торт руками и широко разевая рот (про чайную ложечку, торчавшую из чашки и мешавшую глотать раскаленную жидкость, Сысоев за все время расправы с тортом так и не вспомнил, а надоумить его о применении ложечки никто из деликатности не посмел).

Возвращается юный Сысоев по непотребной грунтовой и вначале изредка, а затем все чаще начинает оглядываться и одновременно прислушиваться: не урчит ли перегретым мотором попутная трехтонка или полуторка? Автомобиль в те годы на сельшине — явление уважаемое. Дорога зимой белая, в зеленых отметинах лошадиного происхождения; по краям дороги сено натрушено, которое хоть и вяло, тускло, но тоже зеленеет... Одним словом, было в ней, в дороге тогдашней, немало примет первозданности, родства с природой, чего не скажешь о дорогах нынешних, об

этих асфальтированных коридорах, рассекающих страну с неумолимой лихостью.

Возвращается Сысоев — в одной руке саквояж брезентовый, на сгибе другой руки пиджак первого в жизни личного полушерстяного костюма, справленного на вырост, в котором, отдохнувший и покрупневший за лето, он должен к первому августа явиться на приемные экзамены.

Припекать начало. Грязь на брюках подсыхать стала; на порчицах, словно на фотобумаге, погруженной в проявитель, изображение появилось. Неприятно. А тут еще подводы, одна за другой, целых три, обогнали, мимо проехали, и не в одну из них Сысоев не попросился, следы свежего удобрения на тележных досках отвратили. На последней подводе подросток пузатой кобылой управляет и, когда с Сысоевым поравнялся, решил скорость продемонстрировать: погнал отяжелевшую будущим жеребенком лошадку вскачь и та, поравнявшись с Сысоевым, ударила по луже широким, разношенным копытом и здорово жидкой грязью окатила его по штанинам.

Наконец-то позади себя уловил Сысоев чарующий голос догоняющего грузовика. Парнишку в жар кинуло. Неужели не возьмут? Наверняка льнозаводской, из Мглы «газон» за снопами долгунца в Починки чешет. Полуторка, габина тряпочная на два лица, и кузов величиной с почтовый ящик.

Когда полуторка к Сысоеву метров на пятьдесят приблизилась, встал он посередине дороги. Шофер сигналил залиvisto, петушком: отскочи, мол, с дороги, блондинчик! А Сысоев не испугался. Характер проявляет. Тогда шофер грузовичок свой из колеи выдернул, стороной Сысоева обходит, но Сысоев позиций не отдает, грудью путь разгоряченной технике заслоняет. Рублевку, которая у него от билетных, дорожных денег осталась, как боярыня Морозова двуперстный крест на известной картине Сурикова, высоко над головой приподнял. Водитель в последний момент по тормозам, дверцу отпихнул, на дорогу выскакивает, с длинной заводной ручкой, с такой кочергой коленчатой. Чтобы с Сысоевым драться.

— Ты ш-ш-што-о?! Жи-ить, папааа-с-скуда, надоело?!

— Подвезите. Вот... деньги плачу! — защищался Сысоев мятым рублем от заводной ручки. — Позарез домой надо.

— Ему домой надо! — кипятился шофер, хотя и не так

бешено, как секунду назад. — Ему домой... А другим — в гости? У меня маршрут! У меня лист путевой...

— До Починок подбросьте.

— Подбросить бы тебя! По одному месту... Вон энтой штучкой! — перекинул бойкий, еще не старый шоферишко железяку с ладони на ладонь. — Залазь в кузов, зараза... Ходят тут в галошах. Вози их тут за здорово живешь...

— Вот вам рубль. Берите.

Шофер мгновение колебался, но бумажку почему-то не взял, отвернулся от нее, словно от чего-то незначительного, хотя и раздражающего.

Швырнув заводную ручку на пол кабины, дюжий водитель, согнувшись, полез в машину. Хлопнула дверца.

Сысоев, не отошедший от знобящего возбуждения, в которое повергла его им же накликаемая ситуация («Почему он меня не тронул, такой здоровенный?»), проворно запрыгнул в кузов. Поехали.

Постепенно у Сысоева как бы пелена с глаз сходить начала и прозрение наступило: в кузове машины, накрывшись капюшоном плаща, сидел человек! И наверняка наблюдал за происходящим. Вот почему водитель по соплям ему, Сысоеву, не дал. Потому что в кузове посторонние люди имелись. Вот по какой объективной причине повезло ему в итоге. Даже рублевка в неприкосновенности осталась.

А из-под капюшона голос, не очень серьезный, повизгивающий на ухабах, раздается:

— Взял он у вас? За проезд?

— Пока что не взял... — неуверенно отвечает Сысоев, демонстративно отворачиваясь от голоса, наверняка молодого и женского.

Сысоев в своем, хотя и городском, полушерстяном, однако изрядно извоженном, помятом костюме выглядел далеко не кавалером, как того желалось ему, а все тем же пацанчиком, если не просто ребенком. Правда, имелась у него некая одухотворенность в лице (про «одухотворенность» шепнула ему на посиделках во Мгле одна из его двоюродных сестричек). А также фигура четкая, спортивная. И что особенно радостно для Сысоева — никаких юношеских прыщиков по щекам разбросано не было. Вот только румянец дурацкий, слегка преувеличенный препираниями с шофером, на кой он сдался, девчоночный такой?

— А вы... смелый, — несуетливо, буднично, без тени восторга выдала из-под капюшона незнакомка. — Мне

кажется, — добавила она масляным голоском, — из таких вот решительных людей героические натуры получаются. Чкаловы, Папанины, Карацупы. Я, конечно, улыбаюсь, сравнивая вас с Карацупой или Папаниным. Только ведь беззлобно улыбаюсь. И не над вами. А над своими мыслями. Хотите познакомимся? Меня Оксаной зовут. Оксана Журавель. — И рука из-под плаща высовывается, пухлая ладошка, с более густым, нежели у Сысоева, загаром.

Сысоев ткнулся пальцами в протянутую ладошку. У девушки ногти подстрижены по-мальчишески, безо всякого маникюра городского.

— Олег, — выдохнул, приходя в себя.

— Как, как? Не расслышала....

— Олег! Сысоев! Не все ли равно... — добавил он в сторону, пытаясь вежливо выдернуть руку из посторонних пальцев.

— А вот и не все равно! — расслышала она «добавочные» слова парнишки. — Я рада... Мне приятно! Вы его здорово остановили... Ну, этого, который в кабине. Я тоже его не забоялась. Вернее, забоялась, конечно... Однако не струсила.

— А почему он вас в кабину не посадил?

— Сажал! Только я оттуда чуть на ходу не спрыгнула! Он мне руку на колено положил! Опытный, гад... Сразу видно.

3

Перечитал на днях первые странички, сочиненные Аркашкой Портнягиным. Профессиональный писатель, собаку, как говорится, съел в этих вопросах, а что-то не очень меня потрясло. Так себе пишет. Без надлежащей строгости. Не менее расхлябанно, чем я. Не напечатают. Заметил я Аркашке про такое свойство его письма, а он мне:

— Сысоев, старичок, не vznikай. Специально под тебя работаю, чтобы, значит, органично обе половинки повести намертво склеить. Здесь, контора, почву необходимо умом долбить, а не лбом. — Это он так вместо «ломом» выразился. Сострил. Ну да бог с ним. Малый он бойкий, столичный. Хватка у него подходящая. В беседе «под уху» пиджачок на его груди настезь так и распахивается с полным откровением.

А в городке у нас, в пропахшем мелкой рыбешкой Зотове дремучем, тем временем идет крупный весенний

дождь. Я сижу под крышей старинного деревянного дома, двухэтажного, казенного, чуть покосившегося, но еще непродуваемого, не пробиваемого ни дождем, ни градом шрапнельным: еловые бревешки, из которых рублено здание, не рассыпались прахом, как всякая живая плоть после жизни, а, наоборот, приобрели свойство неорганической прочности, в некотором смысле окаменев.

Сижу я в своем уютном кабинетишке, заведу заготконторой помаленьку. За двумя избытыми окошками кабинета огромное пространство территории заготконторы, выложенное по забору четырехметровой стеной из разнообразных предметов древесного происхождения и прежде всего — тары: ящики, корзины, бочки, бочонки, лука, рогожные мешки и просто доски, дощечки, щепы, лучина, прутья, лыко, мешки матерчатые... Все это выложено так искусно и так давно, что образовавшееся нагромождение напоминает нерушимую стену древнерусской крепости, возведенную во времена Ферапонта и богомаза Дионисия. Все, что в этой стене еще пригодно к употреблению, находится под навесом, все, что устарело, — под открытым небом.

Заготавливает контора в основном так называемые «дары леса»: грибы соленые, грибы сушеные, ягоду клюкву, бруснику, малину, травы лекарственные, кору-лыко, шкурки зверьков, крольчатину, орехи да мало ли что — мох и тот принимали, плетеные разные, в смысле корзины, лукошек, берестовых туесков, кузовков. Корешки, почки, цветы-бутоны, мед лесной, воск и даже пергу. В урожайное время картошка и прочая овощь, способная возле Полярного круга тело свое морковное или брюквенное нагуливать, поступала. Да боже мой! От одного леса, подсчитано, кормиться можно всем населением, ежели с умом. И сыт будешь, и пьян, и нос в табаке...

Служба в этой душистой конторе меня устраивала. Во-первых, тихо. На отшибе. Во-вторых, воздух, дышать легко и не вредно. А ведь я за годы жизни устал, умаялся. Но главное — в-третьих: Викторину от соблазнов столичных увез, припрятал. От ее развеселого прошлого отгородил. Пусть отгадет, отдышится. Заботу о себе ощутит мужскую. Прежде-то с нее только брали. Оброк бабий. Красотой, лаской, молодостью. А теперь сама хоть чуток этой ласки получит. В виде компенсации или возмещения убытков, гозоря юридическим языком. От «сладкой» жизни пусть оклемается и к жизни натуральной, неподлой приле-

пится. Как-никак, гоже ведь на четвертом десятке девушка. Пусть на ветру-то пообсохнет. Заиндевел, поди, душенька в переулках сырых, кирпичных. Пусть ее дождями свежими омает, ароматами земными, на травах настоянными, обееет. Красоту ее оскорбленную, помятую во снах утешающих разгладит. А я помогу. У меня опыт терпения. Ум закаленный. Кому и повлечь на растерявшегося путника, как не мне? Взамен-то я много не попрошу. Разве что нежные чувства воскресить поможет в «остывшей груди». А также слово, над которым быюсь, вспоминая, из забытья выведет поспособствует.

У всех она своя, квинтэссенция пресловутая, и камень у всех свой, краеугольный, за пазухой. А как же! Малость и мы подкованы, начитаны-наслышаны. И вся, значит, соль для таких беспокойных воспоминателей состоит в отыскании нужного термина: нашел словечко, извлек из тысяч одно-единственное, обозначил им боль свою, насытил ее мыслями и вроде как заново родился. Восторжествовал духовно. То есть без претензий земных, светлых нашел разгадку себе. А то, что разгадка пришла поздно, скажем, за год или даже за час до отплытия в мир иной, не важно, не имеет теперь значения, ибо свершилось!

Я ведь и контору эту принял не как наказание или пострамление: вот, мол, глядите, чего в итоге человек добился, какую карьеру незначительную к закруглению жизненной синусоиды соорудил, нет! Принял я эту последнюю точку (а может, запятую?) в своей биографии как награду, как светлое утешение. Почему, спросите? А потому, что ради Виктории принял! Ради победы, иными словами. В переводе на русский язык. Ради победы над самим собой. Вот. И не угасаю на пороге последнем, перед пенсией, а горю. И выход у меня не на покой наметился, а как раз на нечто противоположное, восхитительное.

Когда тебе пятьдесят семь и ты не сегодня завтра в старичка превратиться обязан, одним из самых приятных для тебя чувств не чувство собственного достоинства делается, а всего лишь так называемое чувство уюта, выражаясь языком наших дней — душевного комфорта, коммуникбельности. (Словечки-то какие соорудили! Как ни крути, а заменитель, он и есть заменитель: эрзац. Все равно что паюсная икра из нефти или халва из глины.)

Не знаю, что именно в благодатном смысле влияло на мою психику, когда я в заготконтору приходил (не лыко же, не рогожа, не запахи чего-то родного, хотя и далекого,

деревенского? А почему бы и не они?), так вот, не знаю, что на меня умиротворяюще действовало, когда я на службу являлся. Может, кресло, в которое неизменно каждое утро погружался, опускаясь в него, будто в ванну с теплой, успокаивающей водой; может, пустяки, расставленные на столе в определенном порядке, гармонию в помыслы вносили; чернильный прибор у меня оригинального облика: вещь не казенная, не пластмассовая, а каменная, даже малахитовая, которую я за собой из конторы в контору перевозил, так как принадлежала она мне и не подарком от сослуживцев числилась, а военным трофеем, доставшимся мне в районе боевых действий. Вместо чернильниц — два зеленых ангела, словно два попугайчика. Кудрявые головки откидываются. Внутри ангелочков емкость: хочешь — чернила туда заливай, хочешь — коньячок прячь. В каждого хранителя грамм двести пятьдесят умещалось.

Приду в контору, окину бревенчатые стены помудревшим за годы жизни взглядом, фикус в кадучке, вернее, в ушате живущий, из графина уборщицей Шурой напоенный, поздороваюсь мысленно с растением. В окна, сперва в одно, затем в другое, попеременно гляну. Двор «крепостной», от мира древесными нагромождениями отгородившийся, взором окину. Далее несколько дыхательных упражнений по индийской системе произведу, расслаблюсь в кресле на пять минут и — за работу!

А главное, чувство уверенности не покидало. Уверенности в правоте. В правильности выбора. И чувство обретенной силы — мужской и людской вообще — вдохновляло. Дома — жена, пообещавшая сыном или дочкой наградить. В конторе — присутствие духа. Чем не жизнь? И это в Зотове. В заготконторе. В пункте, расположенном в стороне от железной дороги, правда имеющем крохотный аэродром, откуда в хорошую погоду можно было в небо подняться и в областной центр слетать.

И вот что удизнительно: прежде-то в каких только заведениях сниживать не доводилось — и в юридической консультации и в конторе по распределению карточек «Спортлото», в жилищно-коммунальной, нотариальной, административно-заводской, транспортной и даже похоронной, однако нигде не было так хорошо, как в Зотовской заготконторе, нигде так весело, склеписто, я бы сказал, молодежато, естественно так и вместе с тем торжественно, словно и не рогожей заведовал, не дарами леса, а, к примеру, дарами неба или недрами Земли; нигде я себя не чувство-

ван так приятно, как здесь. Почему? Лет так двадцать тому назад сознался бы в одночасье. Так бы вот и ляпнул: влюбился, граждане, вот почему над землей порхаю, как те попугайчики с чернильного прибора. И даже не влюбился, а полюбил! Не заржавело бы, сорвалось бы с языка. А нынче остерегаюсь таких заявлений.

Говоря о внешней стороне дела, не побоюсь повториться, скажу: тело свое, организм, совершающий механические действия, а также функции, не запустил, телесной энергии полностью не израсходовал и даже как бы наоборот: укрепил ее по возможности, закалил и в некотором роде усовершенствовал, вследствие чего не только, скажем, не простужаюсь, животом не болею, суставами не маюсь, но и давление в сосудах поддерживаю юношеское и никаких там отложений излишних — ни на животе, ни в сосудах — не ощущаю. Бодрость сия, конечно, возникла не вдруг. А именно в смешении с бодростью душевной. Первая звездочка, окрыляющая еще на заре туманной юности, засветилась, а именно с окончанием Великой Отечественной войны. Такая страшная бойня, насланная на человечество, рухнула. Сломали мы фашизму и руки и ноги. И позвоночник стальной — в дугу — обоими концами к земле прижали. Это ли не радость? Радость не просто уцелевшего, но и справедливо победившего, когда, повинувшись восторгу, можно упасть в траву на спину, и показав небу язык, и плюнуть в бескрайнее пространство, скулить, ныть и тут же, устыдившись поступка, прослезиться, затихнуть блаженно. И ежели в тот момент на губу тебе сядет какая-либо тварь безобидная, мошकारа или божья коровка, а то и кузнечик сухощавый, прыткий, то и терпишь его, не гонишь, а даже как бы ликуешь вместе с этим кузнечиком, глядя на солнце и дальше, в беспредельность, а затем куда-то в себя, то есть в беспредельность еще более глубокую, непрозрачную, неизведанную.

Не завидую Аркашке Портнягину, который обо мне до военном, глупом, неопытном, никаком, что-то художественное сочинить пытается. Напрасный труд. Писать нужно об интересном, а интересное в мужчине появляется исключительно после того, как он женщину на своем пути повстречает. Ту или иную, но женщину. Носительницу огня любовного. До встречи с ней мужчина обладает анкетными данными, не больше. После священной встречи он — человек. О нем тогда не только романы, но и музыку можно складывать.

Бывает, проснешься, глаза промоешь, из дома выйдешь, на подступивший к порогу день глянешь — день как день, один из многих, подаренных тебе жизнью, светлый или пасмурный, черно-белый, или цветной; праздничный или будничныи... И все же какая-то в этом очередном дне подчиняющаяся особенность прослеживается! Какая-то главенствующая нота звучит! Тревога, обволакивающая сердце, сквозит в воздухе. И не только у тебя лично ощущения подобные, но и у всех они под рукой, вернее, под сердцем. Помните, песенка довоенная, а в ней слова: «...в воздухе пахнет грозой!» Не озоном, не электричеством, запах которого весьма эфемерен, а именно грозой-тревогой, а то и вовсе бедой. Всеобщим потрясением основ отдает, и не от воздуха атмосферного — от воздуха бытия...

Не только у пожилых, умудренных граждан предвоенной поры предчувствия подобные в головах роились, но и к юному Сысоеву они тоже в психику проникали. И жилось ему в эти предвоенные денечки жадно, взахлеб, с необыкновенным возбуждением в крови и в помыслах. А все почему? Чуткой «аппаратурой» обладал паренек, немеренной, бесконтрольной энергией духа владел, отчего и страдал впоследствии неоднократно.

А в тот день, когда Сысоев со станции Мгла в деревню пробирался, помимо ощущения глобальных перемен посетили его ощущения перемен личных. Еще утром у тетки выскочил на крыльцо и разволновался не на шутку. Так и затрепетал почему-то! Могло и от погоды передаться: ветрено было, и наверняка перепад давления в атмосфере произошел. Сысоев тогда не задумывался слишком, жил без оглядки. Однако ветер разглядел. Ибо зрелище завораживающее. Вершины деревьев раскачиваются помаленьку, затем все сильнее бросает их в шат, трава в поле и вода в реке рябит, прогибается, в щелях и сквозных отверстиях всего, что высится над землей, начинают зарождаться всевозможные, не лишённые определенной гармонии звуки, словно огромный многотрубный орган всосал в себя этот пенящийся в движении воздух, этот дух мускулистый, постепенно наращивающий ярость, подчиняющий себе все остальные звуки, подминающий под себя помыслы всего движимого и недвижимого, растущего, спящего и даже мыслящего.

Таким возвышающим и одновременно подминающим ветром явилась для юного Сысоева встреча с девушкой по имени Оксана, встреча на пороге огромной войны.

И не потому так победно взметнулась над Сысоевым эта встреча, так потрясла его бесцеремонно, что не испытывал он до нее хотя бы малюсенькой любвишки, хотя бы школьной «разминки» чувств с бросанием глупых взглядов на обожаемый предмет, с вручением «предмету» нервных любовных записок, со свиданиями без прикосновений, а затем и с первыми касаниями рук, а то и губ, нет, не потому. Были у Сысоева «взгляды», были и «касания». Но все как бы не свое, заимствованное, бутафорски-кукольное... И вдруг (чаще всего — вдруг!) возникает на обрызганной дождем дороге полуторка, а в кузове девушка! Ослепительно новая, небывалая.

Самолюбивый шоферишко, словно почуяв спиной зарожденные там, в кузове, чужой, не принадлежавшей ему радости, гнал запарившийся грузовничок по раздолбленной колее со всевозрастающим остервенением. В воздухе пахло грозой, проникающей в закоулки людских душ. А неосознанная тревога еще мучительней язвит мрачные сердца, ярит их, возбуждая в крови, а также в помыслах, помимо элементарного беспокойства, ядовитые чувства зависти, неприязни, слепого гнева и прочих испарений дьявольских.

А за спиной шоферишки в нещадно трепещущем кузовке двое счастливцев, взявшись за руки, колотились друг о друга, но чаще о доски бортов, о предметы, мятущиеся в ничтожном пространстве кузова: запасное колесо, полупустая бочка с бензином, лопата и еще что-то, менее различимое, однако не менее осязаемое!

— Оксана... — шептал Сысоев в солнечное пространство, обволакивающее полуторку синевой небесной, освободившейся от недавних туч. — Можно, я... посмотрю на вас подольше? Минут пять? Откиньте брезент. А можно, вечером под окно приду? Письмо написать можно? Ответишь на письмо?! На «ты» с вами можно? У меня такое состояние странное! У вас тоже?!

Оксана молчала терпеливо, словно ждала чего-то, более интересного. Так книгу, затаив дыхание, дочитывают, кинофильм досматривают. Рук своих от Сысоева не прятала, не уводила. Очи ее карие, кукольные, особенно когда их на ухабе подбрасывало к небу, казались неживыми, стеклянными, нарисованными на фарфоре. И вдруг стано-

вилось заметно, как глаза эти, а с ними и все лицо девушки теплело, оживляясь, словно от Сысоева к ней по руке одушевляющее средство передавалось.

По мере того как солнце сушило дорогу, позади полуторки пушистым хвостом начинало возникать пыльное облако; при малейшем торможении облако это наваливалось на кузовок, целиком накрывая собой парочку, заинтересовавшуюся друг другом.

В итоге произошло сердечное возгорание. Двухстороннее, обоюдное. Знакомое состояние, не правда ли? Не успел по сторонам оглянуться, а весь ты уже в плену какой-то сладостной пелены, пусть даже пополам с пылью перемешанной. И пелена сия, обволакивающая блаженством, пометила восторгом не только романтический кузовок, в котором тряслись вы на случайной дороге, но и весь предстоящий день, месяц, а то и год грядущий.

Так что, если непредвзято «принюхаться», то и пахло в воздухе для моих героев не столько грозой и тревогой, сколько радостью и новизной предстоящей близости, которая рукой в руке лежала, и взять ее можно было, как яблочко с тарелочки, единым махом, а можно и без спешки: вдыхать ее по атому благоговейно, глотать по крупинке малой, воспитывая в себе чувства, а не отдавая сердце на растерзание прихоти.

Однако, чаще всего влюбленность безоглядна. Так и у моих знакомцев. Они торопились. Они тянулись друг к другу, как тянется трава к дождю, чтобы затем еще стремительней вознестись к солнцу, а значит, и к лезвию косы, которая где-то уже отбивается молоточком настырным, правится оселком кремневым.

Не мной первым замечено: обстоятельства, в которые залучила счастливых судьба, нередко податливы, зачастую с охотой идут навстречу людской радости, щедро способствуют ее вызреванию и... прозрению. Так и в нашем конкретном случае.

Шофер, спиной уловивший электричество чужого восторга, не получивший за подвоз ни рубля, внезапно, после очередного ухаба на грунтовке, перекосившего несчастную полуторку так, словно ей челюсть боксерским ударом из «пазов» выбило, категорическим нажатием тормозной педали останавливает «газон» и, распахнув дверцу и распрямившись на подножке, с перекошенным лицом заглядывает в кузов, смотрит иронически на заболевших друг дру-

дом ребятнишек и тут же предлагает им покинуть транспорт:

— Валите отсюда!

Ребята даже как бы обрадовались обороту дел. Обнявшись, они плавно приподнялись над кузовом во весь рост. Затем, как нечто принижающее их восторг, отбросили за спины пропыленный брезент, которым до этого момента машинально укрывались от пыли, от всего постороннего. Ни на секунду не прерывая рукопожатий, стали выбираться из машины.

Сперва слез Сысоев. Девушка, доверившаяся его рукам, все так же плавно, словно в забытии, на парашюте платья опустилась с борта в придорожную траву.

Шофер, сообразив, что разговаривать с бывшими пассажирами, учитывая их состояние, бесполезно, молча вернулся в кабину. Мотор по-собачьи остервенело залаял, засипел, потом даже как бы завизжал. Хлопая расхлябанными бортами, полуторка мгновенно растаяла в клубах пыли.

— Здравствуй, Олежка... — прошептала девушка, входя в себя. — Можно Олежкой? Олежка и Оксана... Как два колечка имечки.

— Откуда ты, нездешняя такая?

— С Украины. К тетке приехала.

5

Виктория Скоропадская, когда на нее затмение находит, когда она со своей болезнью в очередное единоборство вступать изволит, прежде всего, до появления главных симптомов недуга, начинает невесело препираться со мной. Скорбно так и скучно нападать на меня пытается. Словесно.

— Ты, — говорит, — Сысоев, кто? Конторская крыса. Хотя и не дурак. Я с тобой, Сысоев, не случайно сошлась. Меня бог пожалел и на тебя, уснувшего, вывел. Чтобы я разбудила тебя. А для чего, думаешь, разбудила? Чтобы ты рюмку мне налил, шляпа! Думаешь, я тебя полюбила уже? За бескорыстие — да... уважаю! Но, понимаешь... Хочется иногда плюнуть тебе в душу, напакостить туда. Так и подмывает! Потому как не жалей! Или жалей, но не каждый день! Не всякий миг спасай! Не утону. Такое не тонет! — И, глядишь, завелась девушка.

«Конторская крыса...» Что ж. А по мне, как ты думаю-

щего человека ни изнуряй, как ни уродуй с внешней стороны, как ты с его биографией сурово ни обходишь, не страшно ему. Ибо — думает. Размышляет. А не просто растительный образ жизни ведет. Вот и Скоропадская данного факта не отрицает. «Хотя, говорит, и не дурак».

Для таких, как я, субъектов, голова с ее содержимым не столько центром вселенной является, сколько буйком спасательным на поверхности жизненного моря. Сам держусь, на дно не иду, и другим не отказываю: хватай, спасайся, кто может.

Виктория Скоропадская, если ее с чем-то предметным, вещественным сравнивать, всегда мне белоснежный, тонких очертаний, изящный трансатлантический лайнер напоминает. Подорвавшийся на ржавой, времен войны, мине. И причаленный навечно к замшелой стенке. В тихой гавани. То есть ко мне. К моей конторе. К моему затрапезному образу жизни.

Прежде чем о Скоропадской подробности рассказывать, небольшой мыслительный перекур сделаю. Так вот, лично я считаю появление возле меня этой женщины наградой, увенчанием, милостью, а не каким-то случайным зигзагом или иным прихотливым коленцем так называемой судьбы.

Не я поддержал Скоропадскую, как заявляет она в минуты, мягко выражаясь, вдохновения, но, пожалуй, как раз наоборот: Скоропадская продлила мне интерес к жизни, ибо возвысила меня в моих же глазах. Утешила в холостяцкой невесомости. Речи ее, порой хриплые, взоры ее — сие, порой под лоб закатившиеся, движения ее нескромные, порой беспомощные, все, все, до единого проявления усталого ее существа, — как пластырь, ласкающий на заструпившую изнанку нутра моего, ошпаренного войной.

А теперь простыми словами о первой нашей встрече.

Между прочим, я — ленинградец. Не помню, сообщал я об этом факте? Однако и повториться иной раз не помещает. Ленинградец я в смысле рождения. По духу же, по корням — другой, попроще, то есть починковский, великолукский. А вот поди ж ты — родиться угораздило в самой гуще питерского пролетариата, в заводском общежитии, в пространстве, ограниченном от остальной части жилья двумя закопченными простынями. Это я к тому, что перебраться в одноэтажный Зотов после полувекового общения

с городом на Неве — шаг с моей стороны всесторонне обдуманный.

По выходным дням, и особенно пребывая на природе, скажем, в старинном Павловском лесопарке, склонен копошиться в своих недостатках, вспоминать всевозможные проколы, изъязны в поведении. Выяснить: принадлежу ли я к одиноким или всего лишь к замкнутым типам? Многие люди и даже писатели в произведениях литературы лелеют в себе чувство одиночества, держат его на руках возле сердца, как дите спеленутое. А я своего одиночества стыжусь. Да и какое одиночество? Какая замкнутость? Серьезность! Не врожденная, а приобретенная. Так я считаю. Начало моей серьезности положила встреча с женщиной. Точнее, с девушкой. Которая в любви сильнее меня была. Сильнее и страшнее. Любовь ее глубока и темна, непроглядна, как омут. И еле я отдышался, занырнув в этот омут по неопытности... Отсюда и серьезность на долгие года.

А всякая серьезность порождает в человеке странности. И замкнутость в том числе. Мало того что вспоминаю, то есть задумываюсь, как ненормальный, по малейшему поводу, теперь вот за перо взялся. Или еще странность: переезжаю. С квартиры на квартиру. Такая побочная страстишка образовалась: обменом жилой площади баловаться. Почти во всех районах огромного города пожить довелось. Отсюда как следствие холостяцкий отпечаток на всем. Домашнего скарба — минимум. Ибо знал: рано или поздно перемещаться.

И тут же следующая странность: от суеты обменной радости не ощущал. Всего лишь облегчение скоротечное приходило. И сразу таяло. Как будто в баню схожу. Не больше. Вещички распакую, гляну в окно и тут же скоренько привыкаю к новому пейзажу. И, глядишь, затоскую, заболею опять передвижением. Контору новую подыскивать начинаю... и — шашты! — перееду в другой район.

И вдруг чудо: два непрерывных северных года в деревенном Зотове проживаю — и ни одной перебежки с места на место не сделал, хотя бы на близкое расстояние. Впервые основательно, плотно зажил. И никуда не тянет. Как отрезало. А почему? Виктория потому что... Скоропадская пригвоздила. Но я отклонился.

Встреча с Викторией произошла на улице. На Васильевском острове, возле больничного сквера, на лавочке.

Возвращаюсь я к себе на Карташихину из конторы по распределению карточек «Спортлото», где в последнее перед уездом из Ленинграда время служить изволил, и вижу: на лавочке замечательное существо кемарит. В богатейшего бархата домашнем халате изумрудного цвета и с золотистой театральной бахромой по отворотам и подолу. Не женщина — цирк! А на дворе осень. Прохладно и дождик. Правда, мелкий. А на голове у замечательного существа мешочек полиэтиленовый, прозрачный, прикрывает золотые, коротко стриженные волосы. Лица не видно, потому как съежилось существо, колени к голове поджало, домашними тапочками в рейку лавочки уперлось. И только сигаретка незажженная наружу из халата торчит.

Поравнялся я с лавочкой, как вдруг существо довольно жизнерадостно, бесцеремонно сигареткой в мою сторону торк! Дай, мол, огоньку, дядя.

Отмахнись я тогда, захлопни себя в футляр, вбери голову в плечи и мимо скамейки той безжалостно протопай, кем бы я жил и умер впоследствии? Так, Сысоевым, крысой конторской, гнидой сушеной. Но что-то сработало, какой-то жар старомодный, несовременный в сердце забродил, будто вулканчик проснулся. И как же тем огоньком чудесным не поделиться было? Со страждущим человеком?

И еще одно подспудное движение в мыслях, посетившее меня в тот момент: лихорадочно соображаю, кого мне существо это напоминать может? Из какой дали непроглядной? И тут же ответ пришел: Ксюшу! Из того девического эшелона послевоенного, который всю мою психику мужскую за один месяц передвижения по узкой западноевропейской колее железнодорожной перекорежил, бога лишил.

Дал я девушке огоньку. Закурили. На край лавочки присел аккуратно. Жду. Зацепило меня что-то, не отпускает. Понравился мне халат, мешочек на голове, короче, весь ее облик возмутительный так и брызнул кипятком на раскаленные камушки моего воображения! «Сидю, как говорится, куру».

Ну, думаю, все. Конец скуке! На приключение нарвался. Дамочка скорей всего от мужа убежала. Или еще откуда-нибудь, если не прямоком из больницы. Сижу, присматриваюсь к лицу ее замаскированному, сердце у меня от жалости заходится: красивая! Еще молодая, можно сказать, необыкновенная женщина передо мной сидит.

Правда, стриженная, словно тифом недавно переболела. Глаза безнадежные, гулящие, без берегов. И как бы смеются надо мной. Зато уж кожа на лице уставшая, безрадостная, бледная. А так, ежели вообще, то облик у нее дерзкий, до последней крайности отчаявшийся, и как бы говорит: «Ну, что же ты, дядя, бей, удары! Ботинком пни!» Аж захолонуло у меня под ложечкой. А мадам в профиль от меня развернулась. Смотрю, а профиль у нее, как у богини мифической! И что совсем в дурака превращает — доступна! Беря, приобретаю, хочешь, в музей неси, славай, хочешь, сам коллекционируй, частным образом. Не женщина — драгоценность. Кем-то на улице обретенная.

Вот только движения у «богини» вялые, безразличные. Как бы надоело ей все до чертиков, обрыдло. И никакой надобности от жизни, кроме как сигаретку разжечь, не имеет. Говорю ей тогда:

— Может, еще какая помощь требуется?

— Требуется, — отвечает, хотя лица в мою сторону не поворачивает, все куда-то вбок всматривается.

— Вот... — добавляет нерешительно и протягивает мне все так же нерешительно паспорт в целлофановой обертке, вынутый откуда-то из-под халата.

Раскрыл я машинально паспорт, читаю: «Виктория Викторовна Скоропадская». А моя новая знакомая торопит:

— Вы адрес, адрес читайте. Место прописки. Известна вам эта улица?

Читаю дальше. Штамп регистрации брака с каким-то Зиновием Ильичом Бутыркиным. Я сперва Бутыркин прочел, а затем, как бы споткнувшись, перечитал фамилию заново: Бутыркин. Забавной мне она показалась, фамилия эта паспортная. Что-то в ней неудовимо знакомое ощутилось, далекое-предалекое, только вспоминай знай. Так, бывает, в повседневности заунывной на какой-то запах носом наткнешься — и сразу этот запах, пусть даже неприятный, воскресит в вашей памяти или событие, или человека, некогда рядом жившего. Ладно, Бутыркин, стало быть, Бутыркин. Не все ли тебе равно, думаю. И еще одну страничку в чужом паспорте переворачиваю. Улица Кропоткина — значится на другом штампе. И где же такая в Ленинграде находится, соображаю? В Москве именем этим станция метро названа. А также улица. В Москве. А в Ленинграде? Всматриваюсь в штампик: Петроградское УВД. Ага! Вот и ориентир появился.

— Виктория Викторовна, миленькая... — ласково обращаясь к женщине, чтобы не вспугнуть ненароком больную в халате. — Заболеете, чего доброго, в таком-то спальном виде. На октябрьском дождике.

Жалко мне ее стало. Как ребенка. И нежность к ее облику ощущаю неподдельную. А Скоропадская смеется:

— Мертвые не болеют...

— То есть какие же это мертвые?

— Я уже в морге была. В холодильнике... Да оттаяла.

— Страсти господни! — подлаживаясь к бабенке, пытаюсь в свою очередь улыбнуться. — А почему за вами не приехали? На транспорте? Не забрали? Хотя бы этот Бутырский?

— Кто, кто?!

— Ваш муж. По паспорту.

— Как, говорите, его фамилия? Бутырский? Ничего себе.

— Понимаю. Не хотите иметь с ним дела?

— Нет, просто не знаю никакого Бутырсина. А вы-то кто такой будете? Я сама управляюсь. Только подскажите, как мне улицу Кропоткина разыскать?

— Я — Сысоев. А вы что же, места жительства своего не помните?

— Забыла. В морге... И не смотрите на меня, как на психопатку! Выпадение из памяти. Симптом. Допускаете? Неужели никогда ничего не забывали?

Я так и вздрогнул. Откуда ей про мои воспоминания постоянные известно? Значит, одним миром мазаны?... Во всяком случае, не только беда людей объединяет, но и странности. Не знаю почему, но захотелось мне с этой женщиной дружить. Захотелось не терять ее, от себя не отпускать.

Народ, который мимо нас время от времени проходил, почему-то ничего предосудительного в нашем поведении не замечал, на халат и прозрачный головной убор Виктории не реагировал. Ну, думаю, дела... А потом вспомнил: больница рядом! А больница — что? Прежде всего — крайность. Испытание болью. Вот люди и не обижаются на разные там мешочки. Снисходят.

В субботу в тряском, шальном кузове полуторки познакомились, а в воскресенье началась война. С вечера до рассвета просидели на завалинке. Молчали. Приноравли-

вались друг к другу, взявшись за руки. Привыкали к новизне сидения парочкой. Изумлялись. Ничего не успели: ни в верности поклестся, ни поцеловать друг друга. Радость, как и беда, способна оглушать, повергать, вышибать. На длительный срок. От удара, нанесенного по психике радостью, человек расслабляется и даже смакует свершившееся, продлевая удовольствие: тогда как, наскочив на огорчение, на очередную неприятность, моментально собирается, принимает оборонительную стойку, во всяком случае, спешит избавиться от угнетения и его последствий, закаляя тем самым сердце и разум.

На прощанье Оксана подарила ему простенькое колечко самодельное, сооруженное из светлой денежки. Налезло оно Сысоеву на самый маленький палец мизинец. Не найдя в карманах карандаша, заставил себя запомнить адрес Оксаны.

На другой день провожал Оксану до станции, куда она помчалась со своим красным фибровым чемоданчиком. Было ей не до Сысоева. Гнал ее страх, излучаемый словом «Война». Явилось оно уже не газетное, привычное, не официально-абстрактное, не просто слово, но слово-факт, мгновенно впитало в себя кровь будущих жертв, слово-существо, слово-чудовище. Страх этот животный, подлый гнал девочку прочь от всего постороннего, случайного, непрочного, гнал в сторону родимого угла, где она увидела белый свет, где была она золотым звеньшком, связующим миры двух дорогих ей людей — отца с матерью...

На станции Мгла сидели, опустошенные, в привокзальном сквере возле огромной красной клумбы, между двух гипсовых бюстов. Оксана, как нечто сверхдрагоценное, сводящее пальцы судорогой панической, держала в руках картонный прямоугольник железнодорожного билета.

— Напиши... напиши мне... — канючил Сысоев.

Оксана согласно кивала головой, не размыкая губ, не произнося ни слова вот уже с полчаса, с того самого момента, как завидела платформу, рельсы, ощутила гаревый запах дороги, дух паровозного нутра.

— Все-таки возьми адрес... ленинградский... — попытался вложить в ее пальцы бумажку, на что Оксана далеко в сторону отвела руку с билетом, затем, как бы опомнившись, приняла, но уже другой рукой, записку Сысоева.

— Значит, не увидимся больше? — вслух предположил. — Неужели?

Оксана зябко передернула плечами, глядя ему в лицо и наверняка не видя его.

— Неужели... — выдохнула, то ли вопрошая, то ли соглашаясь.

А затем они бежали, неслись по платформе, словно ветром подхваченные, на свист подскочившего к станции составчика, и Сысоеву почему-то все время, до последней их совместно прожитой на земле секунды, казалось, что это она от него убегает, видеть его больше не хочет... Но, когда в самый последний миг перед исчезновением, уже с подножки вагона свесившись, чмокнула его в руку, ввысь протянутую, понял: не от него — от войны бежит, лишенная воли, ориентируясь на полюс собственного возникновения, как какая-нибудь рыбка-горбуша.

Пришла война.

Молодой Сысоев, недолго раздумывая, подал заявление в военкомат. Однако, не боясь разочаровать энергичного читателя, спешу сознаться: по личной просьбе Сысоева, который, кстати, недремлющим оком следит за моей писаниной, редактирует дотошно, короче, учитывая пожелания беспокойного ветерана, ничего из военных пождений Сысоева рассказано в этой повести не будет. По мнению Олега Иваныча, это отдельная книга, написать которую пером или на машинке отстучать невозможно, потому как это «от запекшейся раны бинты с мясом отрывать» и что книга сия останется при нем, как, скажем, контузия при контуженном. Кстати, военных ранений у Сысоева было три.

Почему-то Сысоев не доверял некоторым, пишущим о войне: они-де, писатели, «обрабатывая» тему войны, чаще о показе войны заботятся, нежели о человеке на войне. Отсюда, мол, и однообразие, если не занудство. Тогда как, скажем, по разумению в меру начитанного Сысоева, надо освещать людские хитроумные отношения, в том числе и любовные. Отсюда, мол, и успех будет.

Короче говоря, не доверял мне Сысоев выстрадавшего, бинтов от ран не давал отрывать. Знал, что я не только не Петрарка, но даже не Говоруха-Отрок. Потому-то я и с пожертвованной мне «любовной» темой один справляться не пожелал, настояв на двойном авторстве.

Случилось так: молодой, а главное жизнью Сысоев до-

служился за время войны до капитанского звания. (Сысоев, с его теперешней страстью вспоминать, пропуская события через восемьдесят шесть затхлых томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона, выразился в беседе со мной несколько иначе: «До капитанского чина».)

Не столь давнее ранение, то самое, с раздвиганием ребер над «областью сердца», а также некоторое оцепенение в душе и всеобщая нервная усталость, навалившаяся с приходом мирного времени (усталость, но не унылость!), настрадавали молодого Сысоева, посеребренного наградами, если и не на демобилизационный, то, во всяком случае, на отпускной лад. Предвкушалось, как поедет он туда, на Оксанину Украину, обожженную, истерзанную, но ведь живую! Поедет в разведку всего лишь. С целью напомнить о себе. А там видно будет. Вдруг да и не забыли его, белобрысого?

По освобождении Украины написал он письмишко Оксане. Потом другое. Однако — молчание. Что ж, решил, придется после войны нагрянуть самому. Для сердечного успокоения.

И надо же такому произойти: вместо отпуска — приказ! Заворачивают бывшего комроты из госпиталя санаторного типа, расположенного в Прибалтике, где Сысоев под синим кварцевым огнем шрамы свои грел, и отсылают не домой в Россию, не на желанную Украину отпускают, а как раз в противоположную сторону шлют, обратно, в бывшее фашистское логово, чтобы согласно предписанию явиться там, куда положено, и, получив назначение, кого-то зачем-то сопровождать. В общем печаль и разочарование. Однако приказ. А на плечах погоны капитана. «Кру-угом! Ша-агом ар-р-рш!»

Собрал Сысоев чемоданчик деревянный, обитый дерматином. Положил в него вещмешок фронтового происхождения (для человека, перемещающегося в даль неизвестную, приспособление крайне необходимое), заглянул на прощание в канцелярию госпиталя, где добродушная бабуля в старшинских погонах раскладывала по кучкам утреннюю почту, и тут ему неприятный сюрприз вышел... От этой старушки, недемобилизованной до сих пор.

Оказывается, Сысоеву письмо. С Украины.

«Уважаемый... незнакомый... Нету у нас Ксаночки больше. Угнали ироды... Будь они прокляты все... Извиняйте, ежели что...»

Даже теперь, по прошествии двух лет, не могу с уверенностью сказать: прикидывалась Скоропадская, заявляя, что не помнит улицы, на которой проживала, или же натуральным образом настолько ослабела после болезни?

Однако таксист, человек молчаливый, скептически ухмылявшийся, и, по всему видно, тертый калач, улицу Кропоткина мигом обнаружил. Где-то в районе Сытного рынка. Там еще рядом баня, потому что, пока квартиру Скоропадской по ее же паспорту искали, множество румяных, распаренных людей встретили.

Один из таких краснокожих жрецов парилки, когда Виктория из такси наружу высунулась, посчитал Скоропадскую за своего поля ягоду, объявив ей, не замедляя движения, будто пароль:

— Веники в чемодане у старухи в желтом платке!

Оповестил и, не оглядываясь, прочь устремился. А залепетал мужичок посторонний, скорей всего обалдевши от халата шикарного, что на Викторин в тот момент малость распахнулся, приоткрыв банную белизну кожи зазубленной дамочки.

Дом, который значился в паспорте Викторин, оказался неприветливым внешне, каким-то зачуханным, из тех старых питерских, от которых весной после холодов, когда процесс оттаивания идет, дурно пахнуть начинает, чем-то затхлым, изжитым, нежилым.

Сунулись сперва в одно парадное, затем в другое. Стали подниматься на пятый, предпоследний этаж. Лифт, понятно, не работал. Даже кнопка включения отсутствовала. И вообще ни звука в доме. Некоторые двери в чужие квартиры настежь открыты, и в глубине этих квартир как-то странно ничего не было.

— У вас тут что? — спрашиваю. — Переезжают, что ли, куда?

— Не знаю, Сысоев, — устало отмахнулась Скоропадская. — Ты мне, Сысоев, лучше про другое скажи, не соври: женат? Разведен? Или вдовец, на худой конец?

— Не угадала. Холост я.

— Кому врешь, Сысоев? Человеку из морга.

— Не вру. Как говорится, вот те крест!

— И что же, никакой отметины в паспорте не имеешь... по этой линии?

— Не имею.

— Ничего себе. Жених! Ой, мамочки!

Однако поднимаемся выше, на пятый этаж. Стекла в лестничных окнах выбиты, хотя уже дело к зиме, и дождь с ветром в обнимку порой так и вваливается на площадку.

Возле дверей разыскиваемой квартиры стоял пожилой человек в оранжевой каске и в одежде, что носили во времена войны или сразу же после нее: ватная стеганка защитного цвета, такого же цвета брезентовые штаны, заправленные в кирзовые сапоги.

— Здравствуйте, — слегка поклонился человек, жуя глазами Викторину в халате. — Я к вам по просьбе трудящихся!

Скоропадская пошарила в сумочке, которую содержала где-то под халатом в районе левой подмышки, извлекла из сумочки небольшую связку ключей на колечке с брелоком, протянула мне.

Не зная, каким ключом воспользоваться, стал я поочередно втыкать их в отверстие замка.

— Кстати, — заговорил опять незнакомым и потому неестественным голосом человек в каске. — Когда надоест, сообщите. Могу ломик предложить. Вместо ключа. За милую душу открывает! Тем более что двери тоже будем менять.

— Что вам нужно от нас? — негромко обратилась к нему Виктория. — Разве не видите: я больная. Можно сказать, с того света.

— Знаю. Хотя и непохоже. Нам в ЖЭКе объясняли. Предупредили: ждите у дверей. Сейчас и машину подадут: вещички вам бесплатно погрузим. И — на новое место жительства.

— А что, собственно, происходит? — решил и я вступить в разговор, тем более что дверь наконец отошла вовнутрь и в образовавшуюся щель из квартиры что-то со свистом вынеслось, что-то такое выперло оттуда с натугой и как бы со вздохом облегчения. Какой-то порыв то ли воздуха, то ли другого газа. Во всяком случае, ничего телесного, твердых очертаний, а вот именно прозрачный дух вырвался, будто пузырь или шар надувной лопнул. Солидных размеров.

— А вы что же, не в курсе? — проскрипела каска ме-

ханическим голосом. — Капремонт. Вот вытряхнем вас из квартиры и все здесь до основания! А затем...

Квартира у Скоропадской — будь здоров! Двухкомнатная, с высокими потолками; обои на стенах свежие, импортные; пол паркетный отлакирован; рамы в окнах белые, двери тоже. А вещей мало. Даже никаких, можно сказать, вещей нету. На кухне табуретка, немного посуды на полке. Одна комната совершенно порожняя, в другой — раскладушка распластанная возле паровой батареи под окном. На раскладушке шкурка какого-то существа потертая. Посреди комнаты круглый стол старинной работы, дерева красного. Под вторым окном — штабелем книги. Также старинные. С позолотой на корешках. Как выяснилось позже, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. На столе записка, пронзенная железной блестящей кнопкой. И — все. Простор. Словно в данном жилище не так давно произвели конфискацию имущества в присутствии понятых.

Пока Скоропадская привыкала к обстановке, трогала пальцем пыль на подоконнике, машинально листала вынутый из книжной поленицы том, а также ощупывала на раскладушке плешивую шкурку, я тем временем осторожно, краем глаза дотянулся до металлической кнопки, прижавшей к столу записку, пожелтевшую от летних солнечных лучей, проникавших в комнату беспрепятственно, ибо занавески на окнах отсутствовали, как, впрочем, и все остальное, дорисованное моим воображением.

«Привет тебе, Вика, от Бутырсина. Почему молчишь?» Вдавленные в листочек бумаги «шариковые» зеленые слова начертаны были широкими печатными буквами, отчего послание выглядело несерьезно. Далее в записке значились такие малопонятные слова: «Не вздумай слинять. Собери Бутырскину кешер: чай, сигареты. Съезди к бабушке Фене, гипнотизерше. В подарок ей отвези чемоданчик «дипломат». Она о нем всю жизнь мечтает. Салют, детка». И ни подписи четкой, ни закорючки символической.

Когда Скоропадская прочла, а затем раз пять перечитала отшпиленное от стола послание, мне показалось, что Виктория что-то вспомнила! По крайней мере, частично. В глазах ее бирюзовых после отчаянного недоумения вспыхнули гневные огоньки, и как бы ухмылочка нервная губы ее красивые, еще цельные, морщинами не измятые, мраморные посетила! Этакая дьявольщина роскошная по лицу электричеством прошлась. Ох и женщина, скажу вам!

Императрица! Богиня... с пьедестала. Из Летнего сада. До сих пор робею, когда Скоропадская таким вот беспощадным выражением своего великолепного лица по моим глазам жажнет! Не-ет, это вам не какая-нибудь кинозвезда суетливая, поджарая. Здесь осанка на колени тебя ставит, формы на брюхо кладут, ползти хочется навстречу такой фигуре. Это сам блеск! Хотя и без шика. В одном халате. Это дворец! В котором картошку держать пытаются. Ах — нельзя! Ибо кощунство. Несоответствие.

И такую-то царицу беломраморную какой-то Бутырский — или кто там вместо него? — запросто Викой именует. Это Викторину-то! В храм-то нерукотворный с грязными сапожниками?! Да как же можно?

— Вот что, родненькая... — говорю ей, внезапно решившись на отчаянный шаг. — Не бойся! Теперь никого не бойся. Поехали ко мне. Вдвоем оно безопаснее жить. Соглашайся, не глядя! Потом сообразишь на досуге, что к чему. Забираем энциклопедию и — айда! На Карташихино. У меня там попроще будет, всего лишь однокомнатная, зато тепло, уютно. Отдохнешь, оттаешь. Забудешь их всех. Вот ей-богу! Сейчас за такси схожу.

— Сходи, сходи. Только не за такси, — улыбается Виктория из раскладушки, где свернулась калачиком, подобрала под халат зазябшие, в тапочках, ноги. — Такси, Сысоев, по телефону вызвать можно. Там, в коридоре, на полу, аппарат, я об него споткнулась, когда мы входили. Послушай, Сысоев. Я тебя не спрашиваю, кто ты? Зачем? Мне и так ясно: ты — Сысоев. Хороший человек. Хотя и старый. А главное, неженатый, одинокий, если верить первому встречному. Одинокий Сысоев! Ой, держите меня. Умру от... жалости. Мне тебя жалко, Сысоев. А тебе жалко? Меня?

— Жалко, — говорю.

— Вот и сходи в магазин, — посылает она меня. — Купи чего-нибудь. С тобой все ясно. Ты — Сысоев. А кто — я? Помоги вспомнить.

— На то документ имеется, где черным по белому: Виктория Викторовна Скоропадская. И — фотокарточка.

— Ну, хорошо, допустим — Скоропадская... А кто такая? Что от нее ожидать в дальнейшем, если предыдущее неизвестно?

— Да не все ли равно? — пытаюсь легкомысленно отмахнуться от ее бредовых речей, чтобы хоть как-то возбудить в дамочке интерес к происходящему. — Думаете, я

про себя все знаю? Ничего подобного. Ну, кто я? Сысоев, бывший юрист, конторский служащий? Это все фикция, анкетные данные — не больше. А по высшему измерению, так сказать, по гамбургскому счету? Кто — я? Неужто кусок мяса живого, и все? А ведь ощущение такое, будто *знал*. Но забыл. Кто я? Попробуй теперь сообрази. Когда сосуды в мозгу песком забило.

— Не прикидывайся, Сысоев, не надо. С тобой все ясно. Все-то ты помнишь. А вот у меня отшибло. Потому что меня убить хотели. Да не получилось. Не на сто процентов сработали.

— Кто же это? Неужели Бутырский?

— Не знаю. Не помню. В больнице сказали, что в луже валялась. С пробитой черепушкой. А из больницы я за день до выписки сбежала. Потому что мной интересовались. Какой-то молодой человек в кожаном пальто и в темных очках. Жалко тебе меня, Сысоев?

— Жалко, — подтверждаю.

— Вот и сходи.

— А как же... — теряюсь я моментально. — Как же с отъездом нашим? Такси...

— Такси я сама вызову. Купи колбаски... грамм сто. И хорошо бы пивка! Бутылочку. Ты ведь поешь со мной за компанию, Сысоев? Как-никак из больницы пришла, с тобой вот встретилась. Отметить надо!

Отметили скромно. А-ля фуршет, говоря культурно. Постелил я газетку на пыльный стол. Поклевали, бормотушки глонули.

Потом приближаюсь я к ней по лакированному полу, будто к богдыхану китайскому, чуть ли не по-пластунски. А Виктория к тому времени опять на шкурку легла покойфозать малость. Поднимаю глаза на нее, за раскладушку двумя руками держусь.

— Виктория, — говорю, — Викторозна. Смилуйся. Дозволь тебя от этих гадов, — киваю на записку, — от этих Бутырских, сию минуту забрать. Пока они не расчихали, что из больницы ты убежала. Разреши, миленькая? Спрячу я тебя, укрою. Любить буду, клянусь! До гробовой доски. Осчастливь.

Свесила она голову свою роскошную за борт раскладушки, окатила меня взглядом, как морской волной. И говорит:

— Ну, вот что, Сысоев, пора занавес опускать. Комедия

окончена. Спасибо за помощь и все такое прочее. Только нам с тобой разбежаться предстоит. И чем быстрее, тем дальше. Ты ведь, небось, кто? Бухгалтер? Под плащом у тебя небось нарукавники сатиновые?

— Я — игрок! — отвечаю с неожиданной для себя опрометчивостью, одновременно поджимая под ребра живот и малость выпячивая грудную клетку. — Ставлю на карту время от времени. Угадаю — живу, не угадаю — существую.

— Кто, кто?! Ой, боженьки мои, это ты-то, Сысоев, игрок-рок?! А что... — засомневалась внезапно... — В тихом болоте... А ты знаешь, Сысоев, что я актрисой была? На сцене. Дездемону играла?

— Догадывался. Внешность у вас подходящая.

— И не боишься? Не страшно тебе, Сысоев?

— Наоборот! Радостно как-то и привлекательно.

— Вот видишь, Сысоев, какой ты распутный, можно сказать, гуляка какой. Да раньше-то тех, которые с актерами связывались, родители наследства лишали, проклинали.

— Я сам кого хочешь прокляну, ежели что... Тем более ни родителей, ни наследства...

— Вот видишь, какой ты ненадежный, Сысоев. Дырявый какой: ни средств, ни покровителей. А я женщина дорогая: минимум, десятка на день требуется. Где ты ее со своими нарукавниками раздобудешь? Ах, да... Я и забыла. Игрок! Ха... На пару голодать, выходит, заманиваешь? Рисковый ты дядя, Сысоев. Одно слово — игрок!

— У меня про черный день — сбережения... — выкладываю ей, как до трусов раздеваюсь где-нибудь в трамвае. — И зарплата сносная.

— Ты что же, Сысоев, хочешь этим сказать? Что вместе со мной к тебе *черный* день пожаловал?

— Светлый! — кричу ей со слезой в голосе. — Самый денек! Вот как, например, день ангела! Или День триц. День защиты детей, морей, женщин! От скуки, зависти, войны, от злодеев разных... вроде Бутырскина!

— Только — чур! — условие одно. Согласен, Сысоев, на одно условие? Обещаешь выполнить просьбу?

— Хоть на десять условий согласен!

— А ты не спеши. Взрослый человек, а расхвастался.

— Какое такое условие? — интересуюсь, несколько поостыв.

— Из города Ленинграда уехать сможешь?

— К-куда? — спрашиваю. А у самого в голосе как бы струнка оборвалась, одна из семи. — И надолго ли уезжать? — уточняю.

— Навсегда. Причем в неизвестном направлении.

— Согласен! — выпалил вдохновенно, хотя в животе, ощущаю, так и вздрогнуло, так и пошло волной, словно всю мою требуху на ребристую стиральную доску выбросило и к доске той прижало.

— Вызывай, Сысоев, такси.

— Правильное решение! Книги связывать?! Раскладушка твоя?

— Для себя вызывай. Нравишься ты мне, Сысоев. Жалко мне тебя разочаровывать. Потому как сейчас расскажу я тебе такое, любезный! Не устоишь. Прими, дядя, валидол. Можешь присесть на краешек, — собралась Виктория на раскладушке в еще более компактный миниатюрный клубок.

8

Лето сорок пятого в России останется в памяти народной самым ослепительным, самым звонким, самым ликующим летом двадцатого века. Позади война.

Молодому Сысоеву хотелось являться миру нараспашку, не по форме одетым, и вообще, перемещаться не ногами, а каким-то другим способом, скажем, при помощи символических крылышек...

Но счастливо уцелевший Сысоев носил на плечах суровые капитанские погоны, которые обязывали трезво и достаточно серьезно воспринимать происходящее. И тогда взъерошенный Олежка в считанные минуты превращался в офицера Сысоева, застегивал доверху пуговицы на гимнастерке, приводил в порядок белобрысую растительность на голове, нахлобучивал фуражечку и, поскрипывая новенькими, пахучими ремнями портупеи, впрягался в дорожный чемоданчик, следуя дальше путем, однажды уже преодоленным, то есть на запад.

Ко всему еще эти прохладные, знобящие дождики, загоняющие под плащ-накидку, сковывающие радость в теле.

Потолкался Сысоев по приграничному городку, развороченному войной, получил по аттестату подкрепление своим пищевым запасам, приспособился было ночевать в зале ожидания, сколоченного из неструганых досок вокзала, утвердившись в сидячем положении на выносливом чемоданчике, но в самый разгар спанья народ из помещения

попросили какие-то люди в белых передниках, которые тут же стали опрыскивать станционные полы и стены ядовитой и очень вонючей жидкостью. Многие из ожидающих вышли наружу, под ночной дождь. Но многие, притерпевшись к убийственному запаху дезинфекции, остались на своих насиженных местах.

Сысоев предпочел мокрую улицу.

Пассажирский состав, которым Сысоева обещали отправлять дальше, на запад, прибывал на станцию утром. Ехать в товарном было ему как бы не положено: все-таки боевой офицер, вдобавок — следует по распоряжению вышше.

Однако заблут в летней, изящно облегавшей фигуру гимнастерочке Сысоев не пожелал (плотный суконный китель оставил он в каптерке у бабушки-старшины, прикрепив к одежде бирку с некоторыми анкетными данными ибо вернуться из командировки намеревался туда же, откуда выбыл). На путях станции, озеянных паровозным дымком, стояло в тупиках, дергалось, совершая маневры, множество товарных вагонов, платформ, груженных и порожних, заплombированных и с настежь распахнутыми дверьми, а то и с вооруженной охраной на тормозных площадках.

Сысоев выбрал тупичковый составчик, от которого, помимо прочих запахов, тянуло душистым лошадиным сеном, навозом и вообще как бы некоторым уютом, нажитым хотя и лошадьми, но все равно призывно манящим под металлическую крышу вагона, столь благостно озвученную затяжным незлобивым дождем.

Проснулся Сысоев... в другом государстве.

Но самое удивительное: в его командировочном предписании стоял официальный штампик погранвойск, стало быть, документы его были проверены, личность установлена, и все это как бы во сне, потому что Сысоев ничего из ночных событий не помнил. Крепкий, молодой, недавно оправившийся от ранения человек, с плеч которого неохотно, с зубовным скрежетом и гримасой яростного бессилия сползла, струпьями отпала война, мог и не такое проспать за милую душу... Да и проверяли наверняка деликатно. Скорей всего он и языком потихоньку ворочал, и даже голлову от охапки сена на пару сантиметров приподнял, но все это во сне, не размыкая слишком века, не включая сознания...

Где-то на польской земле, на одной из станций, с названием, ничего не говорящим Сысоеву, а потому и не застрявшим в мозгу, в окно плацкартного вагона, в котором Сысоев передвигался теперь к месту назначения, увидел он множество взволнованных, суеющих и вместе с тем как бы испуганных девушек. Целый поезд! Что-то было в их облике неуловимо наше, русское, точнее, советское, несмотря на окружавшую их, так сказать, чужеродную действительность. Какие-то жесты, улыбки.

Сысоев с молодецкой удалью ухватился за брезентовые ремни оконной рамы, потянул сперва вверх, затем вниз. Открыл, откупорил оконце, через которое в купе сразу же ворвался хлесткий станционный гомон, девчешеские голоса, редкий, и оттого отчетливый, смех и, наконец, профильтрованная настороженным слухом Сысоева, именно русская речь! Ожидаемое не обмануло... «Наши! — всколыхнулась в Сысоеве напористая незнакомая тревога, бьющая из сердца. — Похоже, из Германии домой едут! Так ведь и она, Оксана, тоже угнанная... Необходимо спросить, немедленно. Может, кто и слышал о такой?!»

Сысоев опрометью кинулся из вагона. Скрипя подошвами о шлаковую засыпку перрона, одернул гимнастерку, прижал ладонями волосы, так как фуражку забыл на крючке. Выбрал, наметил себе для разговора одну, стоявшую поодаль от стайки подруг, коротко стриженную темноглазку.

— Здравствуйте!

Девушка изумленно уставилась на курного паренька в офицерской форме. Простодушное лицо Сысоева располагало к общению, тогда как погоны его капитанские озадачивали...

Девушка не сразу нашлась, смутилась, промолчала. На приветствие офицера только нервно, судорожно дернула головой, едва заметно присев в так называемом книксене, но тут же и выпрямилась, вспыхнув, покраснелась. С губ ее, трепещущая, словно птенец неоперившийся, слетела улыбка.

— Русские?! — напирал Сысоев. — Свои, что ли?! То есть наши?

— Да, да! — поспешно закивала, соглашаясь.

— Зовут как?!

— Меня? — удивилась. — Валя. А что? — испугалась опять, заозиралась, ища взглядом поддержки у себя за

спиной, у своего эшелона, у своего временного дома, простертого на рельсах.

— Значит, Валя?! — разочарованно переспросил Сысоев. — А случайно, Оксаны в вашем поезде, ну, хотя бы в вашем вагоне нету? Меня Олегом зовут! — протянул размашисто, привычно загрубевшую на военных погодах пятерню.

Девушка сперва отпрянула, неотрывно глядя на протянутую ей руку, затем нерешительно дотронулась до этой веселой, настырной руки своими тощенькими краснокожими пальчиками, то ли обваренными, то ли обмороженными в не столь давнее время.

— Ой! У нас, точно, есть Оксана! Вам ее позвать? Я мигом!

Девушки, топтавшиеся у дверей ближайшей теплушки, давно уже притихли, наблюдая за Сысоевым и Валентиной. Тревога передалась по цепочке: ненадолго притихли и остальные девчата, щебетавшие возле соседних вагонов.

К Сысоеву Валя возвратилась, ведя за руку усталую, пожилую женщину, так, по крайней мере с точки зрения капитана, выглядела эта очередная незнакомка.

— Вот! Ее Оксаной зовут... — старалась, возбужденная поручением, Валя. Сюда же, вплотную к Сысоеву, незаметным образом придвинулось еще несколько самых бойких девушек.

А юный капитан смутился, почувствовав себя неловко: предстояло отказываться от этой чужой, к тому же еще и некрасивой, рано поблекшей Оксаны; и, чтобы как-то разбавить смущение, скрасить разочарование, попытался держаться беспечным, разбитным, не теряя при этом природного добродушия.

— Ошибочка произошла! — обратился он к унылой женщине, пританцовывая в своих зеркальных, мягкого хрома саломокках. — Вот сестренку разыскиваю. Вашу, стало быть, тезку.

— Не похожа я на сестренку? — невесело справилась Оксана. — Ну, тогда хоть папироской угостите.

Сысоев хлопнул себя по карманам, ловко выхватил из правого крыла диагональных галифе початую пачку «Беломора» со спичками.

— Угощайтесь!

— Ой, «Беломор»! Фабрика Урицкого... — поднесла к губам папиросу хмурая Оксана.

Вся эта сцена произошла в довольно узком, вытянутом пространстве, словно в нескончаемом коридоре, стиснутом двумя составами, будто двумя гигантскими ладонями, сведенными так не до конца, не вплотную, не из какого-то расчета, а как бы застывшими в недоумении...

Однако паровоз пассажирского резко, высоким голосом вскрикнул: раз, другой, третий! Вагоны вздрогнули, пришли в движение. Сысоев, прощаясь, начал было созвать руку то одной, то другой из девушек, потом сообразил, что в руке у него зажата пачка с папиросами и что некрасиво получается... Поспешно оттолкнул он голубую коробочку от себя в сторону невеселой Оксаны, суетливо обнял Валью... Причем вышло так, что он зажал ее голову у себя под мышкой. В общем, задержался, замельтешил, а в результате — смешно, то есть не достойно офицерского звания, ежели со стороны посмотреть...

Уже с подножки вагона, удаляясь, окинул он жадным, самолюбивым взором девические лица и с облегчением уяснил для себя, что над ним не смеялись, даже вслед ему не смотрели. До того ли было?

Пока Сысоев с девушками на путях разговоры разговаривал, соседи по купе кипятком разжились и чай пить затеали.

Благодарушный интендантский майор достал с полки огромный саквояж, похожий на инкассаторский мешок с металлическими челюстями, куда вооруженные официальные люди выручку магазинную складывают, выудил из этого мешка белый хлеб, консервы, колбасу, жареную курицу, бутылку водки, запечатанную белым сургучом, и широким взмахом руки пригласил остальных офицеров к столу.

Мрачный, с пожелтевшими белками глаз, какой-то дерганый, резкий, чернявый узколицый и узкоплечий капитан (в прошлом, как выяснилось, проштрафившийся штабной офицер связи, не метавшийся, как другие, от КП до КП под пулями и осколками на изрешеченном «виллисе»), пожевав передними стальными зубами (коренные отсутствовали) жесткий кружочек копченой колбасы, неожиданно подковырнул Сысоева:

— А вы, капитан, оказывается, бабник! Вот уж не ожидал.

— Ну, это вы напрасно! — вмешался румяный, сдобный майор. — Сейчас, когда война позади, интерес к женскому полу закономерен. Я сам, когда за окном вдруг услышал

смех, едва к капитану не примкнул. Да как увидел их, несчастных, душа аж вздрогнула... Мало в них этого самого, — повращал майор раскрытой ладонью вокруг чего-то невидимого, — женственности, что ли...

— Какая там женственность, к дьяволу! — тряхнул узоколицей капитан головой, словно колуном по столу замахнулся. — Же-е-енственность ему подавай... Да ты хоть знаешь, кто они такие? Откуда их вывозят? — вскинулся бывший штабист на майора, почему-то заговорив с интендантом на «ты» и вообще держась с обитателями купе крайне раздраженно, даже небрежно.

Внезапно Сысоеву сделалось не по себе. Закусывать расхотелось. Злая физиономия капитана возмущала.

«Тоже мне, — подумалось Сысоеву. — Следил, хореk. В окно подсматривал». А значит, и все его, Сысоева, неловкие движения прощальные с «Беломором» в руках зафиксировал. «Ишь, как заговорил?» А вслух твердым голосом выложил:

— Это русские женщины... И не стыдно вам? Женщины, которых девушками угнали в рабство! Они в школе учились! Или студентки... Они думали, что их защитят...

— Вот-вот! К таким до войны и не подступись. Студенточки. А сейчас катят... Восвояси!

— Вы считаете, что они виноваты?! — привстал Сысоев с лавки, не желая больше разговаривать с ядовитым капитаном. — К тому же, повторяю, они — женщины, слабый пол... Постеснялись бы...

— Ох, ох! Держите меня! Сейчас в обморок стебанусь! Ох, ухти мне! — пропел, кривляясь, узоколицей.

Сысоев полез на верхнюю полку, где лежал его чемоданчик. Там Олешка вытянулся, как на скамье для наказания плетьюми, стараясь не считать ударов, наносимых ему капитаном, обжигающие фразы которого доставали Сысоева еще долго, покуда Сысоев не забылся трясимым, неверным, каким-то дырявым от несчислимых просыпаний сном. Последнее, что он отчетливо расслышал, да так, словно истязаящая раскаленная фраза капитана зашипела в его, Сысоева, мозгу: «Грош им теперь цена, студенточкам твоим...»

«Ах ты, сволочь...» — протестовал Сысоев, почему-то вспоминая фарфоровые глаза довоенной Оксаны, протестовал, но уже где-то далеко-далеко, за пределами досягаемого, в забытии.

Пообещав тогда, на пятом часу нашего с ней знакомства, рассказать мне что-то о себе интересное, Виктория исповедоваться передумала, однако от приглашения посетить мою однокомнатную не отказалась. Что-то наверняка зацепило ее во мне, в мою пользу, какая-то догадка смутная проникла в ее сердце, поняла: добра ей желаю, а не поживиться...

Сидит на раскладушке, поджав под себя ноженьки, как на каких-нибудь нарах казенных, а сама стриженная, утомленная, от переживаний недавних, таинственных, недоступных мне, неотмытая. В глазах — и страх, и вина, и раскаяние, соединенные с дерзостью и беззащитностью. Совсем как у тех девчонок, которые из фашистской неволи некогда возвращались...

Связал я в несколько увесистых пачек энциклопедию Брокгауза и Ефрона, перетаскал ее в багажник таксомотора, накрыл книги раскладушкой, поехали. Виктория в своем роскошном халате, я — в наэлектризованных чувствах. Запирать брошенную квартиру не стали, потому что за дверью терпеливо ожидал нашего исчезновения человек в оранжевой каске, давно мечтавший приступить к капитальному ремонту здания.

У меня на Карташихиной Виктория сразу же облюбовала тахту, задвинутую в нишу и отзанавешенную от летних мух, а также от взглядов гостей плотной материей темно-зеленого колорита, родственного халату Скоропадской.

— Сысо-оо... — зевнула Виктория в момент произнесения моей фамилии, — Сысо-о-ов... Забудь меня, Сысоев, минуток на триста. Дай в себя прийти. Обещаешь не шутить? — и одеялом моим, верблюжьей шерсти, накрылась.

А я ей подобострастно:

— Умер. Исчез. Спи, родненькая. Погулять схожу. В сквер. Сберкасса навещу. Не надо ли чего? Универмаг тут под боком.

А Скоропадская откинула уголок полога и грустно так, сощурившись, на меня одним оком смотрит. И вдруг слеза на ее небесном глазу вспыхнула.

— Ах, Сысоев, Сысоев... Неужто не шутишь? Откуда ты, Сысоев, такой старомодный взялся? Невероятный такой? Из какого запаса неприкосновенного выскочил? Ах ты, — говорит, — олух царя небесного! Решил меня приодеть? Во что, если не секрет, в какую ларчу-кисею? Не-

бось в нарукавники сатиновые? В пальтишко детдомовское? Сразу видно, Сысоев, что женщины тебя с кем-то пугали, не за того принимали. И чаще всего — за неодушевленный предмет, скажем, за молчаливое дерево в парке. Дрессировать тебя и дрессировать еще. Да чтобы живая женщина совсем без фирменных тряпок осталась?! Да хоть на острове Колгуев! Чтобы одежкой приличной не запаслась впрок?! Да ни в жисть! Уж поверь моему опыту. Есть у меня, есть! Припрятано кое-что. Но далеко. У одной надежной старушки. Только адрес... ха-ха, позабыла! Фантик все адреса мне из головы повышиб. Рассказывала я тебе, Сысоев, про Фантика, Фантомаса?

— Нет.

— И не скажу. Потому что опасно, Сысоев. Смертельно опасно. На этой, Сысоев, фантастической личности, как на высоковольтном столбе, черепашку с костями нарисовать хочется. Чтобы смертельный удар предупредить. Ты не смотри, Сысоев, что я в одном халате приперлась к тебе. Я — богатая невеста. Правда, не разведенная. Однако муж на меня, с некоторых пор, никаких прав не имеет. Потому что лишил его этих, а также и всех остальных прав по суду.

— А Фантика? — осмелился я уточнить и тут же пожалел об этом.

— Не дерзи, Сысоев. Не твое бухгалтерское дело негодьями интересоваться. Хотя почему же? Фантомас — это любовник, а Бутырский — муж. Все как у людей. Правда, оба теперь — бывшие. Один решил, что я умерла, другой — что умом повредилась. А теперь, Сысоев, протяни мне свою руку с аптечкой. У такого, как ты, потертого человека непременно солидная домашняя аптечка имеется. Угадала? Вот то-то... Ага, а вот и элениум! То, что нужно. — И, выдавив из упаковки сразу три зелененькие чечевички лекарства, затолкала их в себя, отвернувшись к стенке ниши.

Квартира у меня на Карташихиной аккуратная, ухоженная, пропахшая не дихлофосом от клопов, не пищевыми отбросами, а также окурками или нестираным холостяцким бельем, но прежде всего хорошим одеколоном французского производства, который я сам себе подарил на день пятидесятилетия, то есть энное количество лет тому назад, и который ко времени моего знакомства со Сколопадской иссяк лишь наполовину: таких внушительных размеров флакон подвернулся. Представляете, пол-литра

не чего-нибудь там, а настоящего фирменного одеколона! А еще в квартире кофеем пахло. В зернах. Словом, уютная малогабаритка. А главное, отдельная. Хотя и однокомнатная.

Путь к обладанию квартирой был долгим и тернистым. Вначале и не помышлял об отдельной. Просто менялся — куда кривая вывезет. Увлёкся. От скуки, от одиночества. Прятался за эти обмены, как вот за водочку некоторые. Но как-то само собой получалось, что «жизненное пространство», принадлежавшее мне, с каждым очередным обменом хотя бы на пару квадратных сантиметров увеличивалось или каким-то, пусть самым незначительным штрихом, улучшалось, в смысле котировки в обменных кулисах. То южная сторона подворачивалась, то потолок на десять сантиметров выше прежнего делался, то пол из дощатого в паркетный превращался, или численность соседей уменьшалась. Короче говоря, после двадцать первого обмена вышел я со своими приобретенными возможностями — на отдельную! А тут еще льготы участника войны. В итоге живи — не хочу.

Но вскоре в моей биографии очередное землетрясение произошло, после которого я из этой, можно сказать, «христовой пазухи» перебрался в бревенчатую берлогу городка Зотова. Причем весело перебрался, можно сказать, насвистывая, с благодарственной улыбкой на лице и помолодевшим сердцем в груди! Однако о пребывании в Зотове чуть позже. Теперь же самое время разобраться в судорожных поступках, дать отчет: почему я, такой пожилой и в общем-то не глупый человек, проживший жизнь холостяком, а стало быть, давно вошедший в определенную колею, неожиданно «взбрыкнул» (по выражению Аркашки Портнягина), связавшись напоследок с такой, казалось бы, растерзанной, беспорядочной женщиной, как Виктория Скоропадская? Причем познакомился с ней на улице, как самый отпетый бабник, цепляющийся к случайной юбке.

Во-первых, не знаю, почему я так поступил. Не знаю — и все! Не моей властью решение отдано. Первого движения своего навстречу Скоропадской ничем объяснить не могу, кроме как жалостью! Да, да. Глянул, и сердце зашлось. Это уже потом разглядел и всякие там нюансы ощутил. А вначале единственно из добрых побуждений.

Еще на подступах к скамейке, где Виктория после больницы отдыхала, почувствовал я... ну как бы прострел в поясницу: бац! — и вступило. А затем как бы легкое го-

ловокружение. Не такое, что от давления в сосудах возникает, а тила опьянения. Только в самой ранней его стадии. Безо всякого мрака последующего. И вдруг слезы на глаза так и навернулись: гляжу и что же вижу? Красота женская, радостная, питающая нас силой жизненной, унижена, дождем забрызгана, заплакана, в каком-то наряде неестественном, клоунском... Так меня и кинуло к ней, чтобы, значит, схватить ее в охапку и прочь с бульварной скамейки в укрытие нести!

Позднее, в разговоре с одним человеком по кличке Фантомас, поминался некий магнит, якобы имевшийся в организме Скоропадской, которым она всех без исключения мужчин к себе притягивала; только я к этому Фантомасу, рассуждающему про «магнит», относился тогда с недоверием, а теперь и вовсе с презрением отношусь: скользкий, грязный тип, способный на многое, в том числе и на убийство. Я мысленно уши затыкал, когда он о Скоропадской распространялся, а надо было «хлеборезку» ему заткнуть кулаком, а духу-то и не хватило. К тому же дьявольский интерес к подлым его речам возбуждался и душу сосал: дай, дай еще словечко впитать, пусть ядовитое, отравленное пакостным мозгом говорившего, но — дай. Скоропадскую-де еще студенткой показывали в комнатах общежития, как чудо красоты, на руках носили, млели, денежки сомнительные к ногам швыряли, коньяком пыль с ее обуви удаляли. И тот магнит ее любовный будто бы не выключался ни днем, ни ночью, создавая в атмосфере вихри и даже смерчи.

Лично меня в облике Скоропадской другое парализовало. И если честно, то красоту ее ощутил я не глазами, не умом, не приемником мозговым, хотя электричество от великой ее красоты источалось неповторимое. Нет. Ощутил я ее как... боль! Но не как свою боль, а как боль дорогого мне существа: матери, сестры, дочери, ежели б таковые имелись.

И еще — испугался я очень тогда. С непривычки. Живешь в рамках определенных, день от дня только по численнику отличаешь, и вдруг — на тебе! Такая встреча фантастическая. Сидит, милочка, на голове мешочек, на плечах халат вместо дубленки, и халат этот малость распахнулся; да так, что нога белая, круглая просматривается. Лицо прекрасное, хотя и бледное, озорная сигарка во рту, призыв подает, тянется. Ох и звезданулся я тогда об нее, как об столб фонарный! Лбом своим конторским, приспособлен-

ческим. Но, пожалуй, самое невероятное в Скоропадской, помимо красоты ее, душистой и язвительной, — это молниеносная вспышка незаурядного ума! Этаким разряд всепроникающей энергии мозговой! После первой же вспышки которого отвел я Виктории главенствующую, а себе второстепенную роль. В наших с ней, будущих, отношениях.

Понял я в тот пронзающий миг, что ничто хамское, обыденное, даже преступное, ничто женское, юродское, большое, навалившееся на эту, подмятую обстоятельствами, душу, не смогло вылущить, вытеснить, выдрать с кровью из этой мягкой фигурки благословенной воли разума.

Уловил я этот разряд, «усек», как выражаются грузчики нашей заготконторы (в основном бывшие студенты, солдаты, преподаватели бывшие), и что же меня поразило больше всего в результате этой вспышки? Что нес в себе этот дикий свет, полыхнувший в ее глазах? Не угадаете. А именно — мольбу. Да, да. Тишайшую, смиренную просьбу: простить, помиловать, не терзать ее больше, ибо устала смертельно. Вот почему руку мою, моментально протянутую, не оттолкнула. Устала! И как выяснилось позже, бескорыстные ощутила. В протянутой руке. А в результате — союз. Двух печалей. Двух усталостей. А что, разве не так? А вы представьте. И еще, может быть, самое решающее обстоятельство: состояние, в котором находилась Скоропадская, сама ситуация, суровая, уличная, дождливая, отчаянье, пронизавшее и одновременно унизившее женщину, напомнило мне тех далеких девушек-старушек из прокопченных эшелонов и барачков, подвалов и землянок войны, плена; девушек, молодость и красоту которых безжалостно обобрали, ничего не оставив взамен, кроме жизни на пепелище... И это в разгар их молодости, цветения! Увидел Викторию, а вспомнил любовь. Позабытую, раннюю. Не слово, не оболочку, но чувство всколыхнул. Оно ведь в нас, как кровь, не выветривается. До последнего шага по земле. Залито в сердце, в сосуды под кожу: колупни только, и — вот оно...

Заслышав тогда, у себя в однокомнатной, в нише, за тяжелой занавеской, легкое, можно сказать, прозрачное дыхание Скоропадской, решил я все-таки ненадолго и незаметно вывернуться из дома, чтобы посетить сберкасса, где у меня скромная сумма на лицевом счете поконлась, из отложенных различных составившаяся: премиальных, дополнительных, а также — неожиданных, из всевозможных «объ-

едков» бюджета, которые у нормального холостяка ушли бы на водочку или там на любовные игры, а у меня — выпали в осадок, осели, как соль в суставах, — от вялого образа жизни. Не от жадности.

Посетил я сберкассу, положил в карман пять сотен наличными и напрямик в универмаг «Василеостровец». Подхожу к одной пожилой, но весьма симпатичной продавщице, у которой вместо равнодушных или там бешеных глаз — внимательные и в меру добрые органы зрения имелись, и тихо так говорю:

— Мне, извиняюсь, посоветоваться с вами необходимо. Не откажите в любезности.

Нет, тетка действительно сносная попалась. Не отказала.

— Мне, — говорю, — вот какой от вас женский совет желателен. Представьте, что по ряду причин очутились вы одна в незнакомом городе. На лавочке, и в полном, так сказать, неглиже. То есть, помимо халата вечернего, ничего на вашем теле не имеется. Вот и спрашивается, что бы вы первым делом приобрели в данном универмаге для себя? Для первой, значит, необходимости?

Продавец на меня весело так посмотрела, без тени подозрительности, а потом и говорят:

— На какую сумму рассчитывать можно? Это раз. Какого размера, а также роста вещи собираетесь приобретать? Это два. Ну, а три... — засомневалась отзывчивая дамочка, на что я немедленноотреагировал банальной фразой:

— Будьте спокойны, в долгу не останусь!

— Да нет же! — нахмурилась женщина непритворно. — Я о другом. Что конкретно купить решили? Своей... обнаженной? Надеюсь, не меховое манто из норки? Что именно?

10

По прибытии к месту назначения Сысоев разыскал нужный ему особнячок, предъявил постовому документы, представил внутри помещения чемоданчик к стенке коридора, одернул гимнастерку и уже решительно направился было в кабинет, но возле дверей, ведущих к началству, наткнулся на хитроглазого, суетливого старлея, который сделал вид, будто узнал Сысоева, полез чуть ли не целоваться, шмякал мясистой ладонью по плечам капитана, словно таким приемом или способом вызывал новичка на запланированный скандал. Но самое неприятное: Сысоев

решительно не мог вспомнить, где и когда встречался он с этим старлеем?

Новоиспеченный «старый знакомый» по имени-фамилии Сысоева не называл, чувства свои бешеные проявлял скорей всего по причине всеобщего победного воодушевления — и еще оттого, что, когда рассеялся перед его суетливыми глазами дым войны, увидел он себя не где-нибудь в Ольховке или в Бердичеве, а именно за границей, в иностранщине, где все иное, где все возбуждает и побуждает.

— Ты вот что, — напутствовал Сысоева чернявенький, сдобный, с незатухающим румянцем на обширном лице старлей, одновременно подмигивая Сысоеву как-то по-крестьянски, левым плутовским глазом, и дыша в упор испарениями чеснока, — ты вот что, служба, ежели тебя сопровождающим кинут, старайся на недвижимость определиться. Разная там техника. Слышал про такую? С ней хлопот в дороге меньше. Нежели с живыми людьми. Я уже второй раз оборачиваюсь. Сейчас все назад хлынули, которые из неволи. Ужас! Меня один просвещал, который с ними в рейсе находился. «Нерва, говорит, живого не осталось! То слезы, то смех. Одним словом, капитан, желаю удачи!» — И покатился колобком по европейской брусчатке в неизвестном направлении.

Однако Сысоева никто предварительно не расспрашивал, каким образом хочет он служебное время провести? Ему просто приказали, его просто назначили. И «кинули» его или «бросили» именно на эшелон с людьми. Правда, у подполковника, который напутствовал, и у майора, который инструктировал, под рукой наверняка имелись варианты. Сысоев же, хоть и был в хорошем, солидном звании капитана, выглядел мальчишкой, в хозяйственных, вещевых делах походил на профана, вот его и определили к девушкам, тем более что комсомолец и вообще биография без изъянов, чего не скажешь о телесной оболочке, неоднократно продырявленной вражеским металлом.

Откровенно говоря, еще задолго до столкновения с «сообразительным» старлеем, Сысоев надеялся попасть именно к женщинам-возвращенкам; не в эшелон, так в эвакупункт заглянуть намеревался непременно. Особенно после того, как в Польше с одним из таких эшелонов повстречался. Заструился тогда в его мозгу ручеек надежды: а вдруг? Чем черт... нет, вернее, чем война не шутит? Память об Оксане, которую поцеловал он в первый и последний раз двадцать второго июня, ровно четыре года тому назад, не

потускнела. Наоборот, претерпев как бы шлифовку временем, встреча эта с веселой, звонкоголосой, обладающей теплой красотой девушкой сверкала в сознании Сысоева отчетливым кристалликом...

Майор, столбом торчавший над писарем, который печатал на «рейнметалле» сопроводилку для Сысоева, внезапно остановил свой служебный, утомленный текучкой взгляд на груди Сысоева, где небольшим штабельком высились одна над одной, прикрепленные к гимнастерке, нашивки за ранения (две красных, одна желтая), и тут голос майора теплым сквознячком сомнения пропитался:

— Ты что... из госпиталя недавно, капитан? Одна нашивочка свежая. Учти, женщин отправляем в товарных вагонах. Будешь, как все, на нарах. Пищу наши женщины, как правило, варят сами. На стоянках. Для этого им сухой паек выдается. Баня тоже под открытым небом. Вернее, в палатке. Чаше всего — в поле, в кусточках. Народ истрадавшийся, потому приспособится быстро. На формировке состава, если не будешь лопухом, можно и с «отоплением» пару вагонов прихватить (сейчас, летом, печки не положены). А может, тебя с техникой отправить, капитан? После ранения... и все такое прочее? Потому как с этими пассажирами, помимо терпения, душу надо иметь.

— Нет уж! — отмахнулся от побрякушки Сысоев, и так это у него поспешно получилось, что майор сперва бровями шевельнул, а затем сказал:

— Ну и... лады, капитан! Желаю... Погоди, чего я тебе желаю в первую очередь? Живым и здоровым до России добраться. Вот. А скучать, уверен, не придется. Бывай!

Не только скучать, но хотя бы элементарно задуматься над чем-нибудь своим, личным, Сысоев в последующие три дня перед отправкой эшелона не имел никакой возможности. Так его стремительно подхватило, так он беспомощно тыркался в разные стороны, не имея ни опыта, ни сноровки, ни призвания по административно-хозяйственной линии, что, не попадись ему в помощники пожилой оборотистый старшина Уполовников, неизвестно, как бы он выкрутился вообще?

В связи с загруженностью дороги время их следования в пути могло растянуться на неопределенное количество дней, а то и на весь месяц.

Прежде всего продукты питания, то есть паек на всю ораву: одного хлеба — для начала две тонны; потом в определенных пунктах хлебушек будут им подбрасывать. А крупа, а сахар, а жиры? А посуда!.. Баня, опять же... Мыло, дезинфекция, медикаменты, белье солдатское! Кальсоны с завязками. И все это для девчат в основном.

В самом конце появился в их команде еще один офицер, заместитель Сысоева — старший лейтенант Епифанов. У него был свой список «перемещающихся лиц» в планшетке. Епифанов производил впечатление очень мягкого, покладистого человека. И очень немногословного. Движения имел как бы гуттаперчивые, пластичные, вкрадчивые. Сразу и обязанности как бы поделились: Сысоев в эшелоне за доставку людей отвечал, Епифанов — за все остальное.

Бойцы, сопровождавшие эшелон, были в основном из нестроевиков, хозвзводники и даже из комиссованных подчистую, в том числе и старшина Уполовников, чья служба заканчивалась с прибытием на Родину.

Не обошлось без сюрпризов: фельдшером на эшелон приставлен был тот самый суматошный старлей, якобы узнавший в Сысоеве чуть ли не друга детства. Перед коммандантскими дверьми, где они скорей всего впервые в жизни столкнулись, запыхавшийся прямо с дороги Сысоев не разглядел тогда в петлицах старлея медицинских эмблем с «гадючками». В результате «старый знакомый» оказался старшим лейтенантом медслужбы Яшей Померанцем, с которым предстояло «перемещаться» в одном вагоне неопределенное количество суток. Померанец же, не в меру болтливый, был таким живчиком неутомимым и, как показалось Сысоеву, поддевался под простачка, под такого интеллигента «от сохи», где надо и не надо божьего, вставляющего сельские, отжившие словечки, скорей всего вычитанные в каких-нибудь книгах...

Накануне отправки, неостывшим после раскаленного дня, стоял Сысоев под дырявым, изрешеченным осколками навесом пакгауза. Возле ног струились рельсы многих десятков путей огромного железнодорожного узла Европы. В колее некоторых из путей, перебитых войной и пока что неотремонтированных, поднялась наивная, восторженная травка.

Над городом, от которого все еще несло удушливой

гарью; плавала, стекая к западу, жидкая, бледная, с преобладанием в окраске болезненной желтизны, размашистая вечерняя заря. На крыше пакгауза шевелились ворчливые тощие голуби, переминавшиеся с ноги на ногу от голодного нетерпения перед тем, как заснуть. Безмолвно, уже неспособные на залихватское чириканье, снимались и время от времени переносились с места на место станционные коробы.

— «Кажется, на сегодня все!» — с удовольствием отметил про себя Сысоев и старательно стал насвистывать какую-то веселую немецкую песенку.

Еще Сысоев знал, не предчувствовал, а определенно, через госпитальное начальство выведал, что скоро таких, как он, перенесших тяжелые ранения, демобилизуют. Армейской карьеры он не сделал, в том смысле, что в академию его не пошлют. Да и не хотел бы он туда. Всюду, где мог, подчеркивал, что желает домой, в Ленинград, что мечтает об университете, куда зачислен будет без всяких экзаменов, благо такое распоряжение вышло: прошедшую войну молодежь принимать всюду.

И еще штришок, пробуждающий в Сысоеве хорошее настроение: почему-то в юном капитане день ото дня крепла уверенность, что найдет он Оксану! Сама судьба распоряжается так, словно хочет ему долгожданную встречу подарить. Это теперешнее его назначение после госпиталя, и вообще Германия. Оксана ведь где-то здесь. Может, стоит только оглянуться по сторонам, поцепче всмотреться в происходящее, и вот она! Пусть не прежняя, исстрадавшаяся, даже покалеченная (может, ее по лицу плеткой били?!), пусть другая она, он все равно ее примет, к сердцу прижмет, согреет. Он теперь опытный, резаный, больно ученый. Защитит, не застесняется. А понадобится, так и вмажет, кому следует. Любому обидчику.

Сысоев резко оглянулся. По мощенному булыжником съезду с платформы сюда к нему, вверх, к пакгаузу, поднимался, размахивая руками, какой-то наш офицер в окружении трех солдат. В сумерках, когда этот офицер широко раскрыл рот, желая то ли зевнуть, то ли песню залеть, в последних отблесках зари дико сверкнули его стальные зубы. И тут же погасли. Потом голос резкий, брюзгливый и в то же время властный выкрикнул нечто похожее на приказание и одновременно как бы на предупреждение.

— Комар чтобы носа не подточил! Одна нога здесь,

другая — в корыте, ампутированная... — мрачно пошутил все тот же кусачий голос узколицего офицера вдогонку солдатам, которые, скатившись с товарного перрона, зашкрипели кирзачами о гравий, удаляясь в сторону блестящих путей, словно пешком по воде припустили, на другую сторону огромной, опутанной проводами, заставленной столбами и ажурными мачтами рельсовой реки, над которой висели мосты эстакад и пеших переходов.

Офицер с безразличным видом, словно мимо неодушевленного предмета, топал мимо Сысоева, как вдруг нерешительно приостановился, повернув к Сысоеву незаметное, замаскированное плоской кругляшкой фуражки остроносое, узкое, сточенное ветрами жизни темное лицо, лениво высвобождая правую руку из кармана галифе.

— Привет, начальник... Не отличил тебя от воздуха здешнего. Что-то мне карточка твоя напоминает, событие какое-то приятное в моей не слишком уютной биографии.

— Здравия желаю... — не шибко обрадовался Сысоев возникновению капитана, того самого, желтоглазого, ядовитого, недавнего соседа по купе.

— Ты это чего... не рад-то? Не нравлюсь. А я никому не нравлюсь. И почитаю данное обстоятельство за преимущество перед разными благообразными! Помнишь, какая ряшка с нами ехала? Окорок какой... румяный? А славно закусили тогда.

— Славно, говорите? А чего ж тогда... «ряшка»? Мужик как мужик. Добрый. Все выложил. Угостил, — не глядя в желчное лицо «попутчика», пробормотал Сысоев.

— А то и «ряшка» — а точнее, рожа! — что хапуга он обыкновенный. Вот у тебя — что в мешке? Горбушка хлеба да банка тушенки. А у такого прыщика — разносо-лы. Откуда?! От верблюда... Ловчить умеет, изворачиваться, за нос водить таких вот, как ты, телят. Ладно, капитан, не качай бровями. Тебя как окрестили-то? — протянул он холодную, шелком скользнувшую в ладонь Сысоева руку. — Зина... Бутырский. Зиновий.

— Олег... Иваныч. То есть капитан Сысоев.

— Ну и годится, Олег Иваныч. Ты парень теплый, губастый, без лукавого. Девоч любишь пуще матери родной. Помню, помню, как ты кинулся из вагона... Да не сердись ты! Я ведь к чему? Не обстрелянный ты в этом направлении, по губам видно. Я и старше-то тебя всего на пару лет. Зато на каких! Как на два столетия. Сколько всякого произойти могло бы! Стенька Разин пол-России замутить ус-

пел бы, Суворов с Кутузовым кой-кому прикурить дали бы. И еще куча разных прекрасных дел свершилась бы. Чувешь разницу? Между нами? А всего-то и делов: пара лет... По астрономическим понятиям — кот наплакал. Так-то, Олег Иванович. А ты не переживай. Хочешь, под тушенку рюмаху пропустить? Тогда пошли. У меня салон-вагон. Кстати, сам-то чего здесь, на станции? Или тоже на эшелон поставили? Как это я не догадался?! На двести лет опытной, а не смекнул. Небось девочек повезешь? По глазам вижу! Ну, вези, вези. У них там...

— Не надо, капитан! Умоляю...

— А что?

— А то. Ну, поймите. По-другому я настроен, иначе... Понимаете?

— Ох и фрукт вы, Олег Иванович. Все зубы об вас обломаеться — не раскусишь. А ведь они у меня стальные, зубки-то. Магнитогорские! Ладно. Вези уж. Разрешаю. Хотя после такой бойни не баб, а вот как раз мужиков бы в Расеюшку подкинуть. Миллиончик-другой... Для равновесия баланса. Дома-то небось работенки — непочатый край. А ты вон, гляжу, весь в нашивках: небось, и сквозные, и рваные. Не считая контузий. Хотя, опять же, извини: не знаю, куда тебя угораздило? Дай бог, чтобы не в брюхо.

— В область грудной клетки... — смущенно сказал Сысоев, как бы раздеваясь перед осмотром. — А также сквозное, в мякоть ноги. И вот рука поцарапана.

— Так-то вот, Олег Иванович. А ты этот эшелон все же выбрал. С такими-то ранениями. Ну, парень, ладно, замолкаю! Я ведь к чему? А к тому, что с техникой дело иметь куда спокойнее. С недвижимостью. Обнюхал пломбу, под брезент фонариком посветил — и ту-ту до следующей большой станции, где можно и чаю попить, а то и с вашими девчонками покалякать, на них, кстати, пломбу не поставишь, не опечатаешь.

— Заткнитесь. Я вас ударю.

— Ну, ну... Телок молочный. Смотри, как бы я тебе сам промеж рогов не въехал! Рассопливаются тут на всю Европу! — капитан громко отхаркнулся, сплюнул на булыжник, правда, не под ноги Сысоеву, а этак малость в сторонку, наотмашь как бы, и, скрежетнув трофейными подковками, медленно, словно враз очугуневшие, начал переставлять ноги, удаляясь куда-то во тьму складских помещений.

Вернулся я из своего похода в универмаг, неся под мышкой и в обеих руках свертки с одежкой и обувью. Теперь, по прошествии нескольких лет, рассказывая историю знакомства со Скоропадской Аркашке Портнягину, профессиональному писателю, услышал я от него скучный вопрос, обращенный ко мне:

— Ради писательской достоверности, ради всего святого ответь, Сысоев: неужели не жалко было денег? На совершенно постороннего, незнакомого человека потраченных? Ты только представь: возвращаешься в свою однокомнатную, а в ней — никого... Даже мебели нету — вывезли. Неужели не боязно было доверять?

Отвечаю Аркашке:

— Тебе, Портнягин, следователем в органах работать, а не книги о ветеранах войны писать. Мог ли я о деньгах размышлять? Да ни боже мой! Потому что вприпрыжку по земле передвигался уже. Потому что началось во мне... возгорелось... Потому что заозирался уже по сторонам, вспоминая то самое, главный смысл обозначающее. Потому что власть одиночества надо мной кончилась! Какие уж там, к дьяволу, денежки?! Дурья твоя голова.

— Не обижайся, — расщепляет себе рот улыбкой Аркашка. — Это я в порядке эксперимента... Анализирую. Такой, значит, уж прием профессиональный, ежели кого на откровенность вызвать необходимо.

— Ну и прием! — качаю головой, успокоиться не могу. — Да знаешь ли ты, миляга, про это самое?

— Про «это самое»? — переспрашивает, ухмыляясь.

— Про любви тайфун? Да меня знаешь как захватило?! Денежки! Глаз, да, да, вот этот серый, с признаками дальновзоркости, глаз — спроси она тогда со всей серьезностью — не пожалел бы, вынул не глядя. А ведь он у меня не протезный. Да и как иначе? Такой милостью осыпали! Только представь: у меня в комнате человек на тахте лежит, и какой человек! Красоты необыкновенной. А главное, доверившийся, беспомощный, что твое дитя, и мне ему — угождать предстояло! Делать ему радости... Да за такое не только глаз — душу не жалко потратить! Не говоря уж о деньгах. Эх, Аркашка, Аркашка, — говорю ему, — можешь потом вычеркивать эти строки, когда редактировать писанину станешь, только я тебе прямо скажу,

не постесняюсь: ужасный ты, Аркашка, жлоб! Казенная, стало быть, промокашка. Не трепетал ты, как деревцо на ветру или дожде, не бегал за бутылкой в четыре ночи куда глаза глядят; на фабричную трубу по скобам непрочным не лазал, не забирался от восторга непонятного. Встречных людей, куда-то спешащих, скорей всего на работу или в обратном направлении, не целовал безрассудно; постового, примчавшегося на зов этих людей, не хлопал по суровому плечу от того же восторга сверхъестественного, вошедшего в тебя с улыбкой женщины, доверившейся тебе и притихшей за твоей занавеской, в нише, на холостяцкой уродливой тахте... А я целовал! А я бегал, забирался, кипел и вообще сходил с ума. Как в молодости, как в свое, пусть очень отдаленное, время, когда я, полюбив девушку всего за несколько часов до начала войны — и какой войны! — любил ее все эти полторы тысячи кровавых дней и ночей, не уставая от такой грустной безответной морочки, ведомой только мне одному. Потом ее враз не стало, той якобы придуманной одиночеством, любви. Любви! Аркашка, а не греха молодости! Потом нашла, накатила жизнь. Отбросила меня с пути... в канаву, тем Ксюшиным эшелоном двинула в грудь! Едва очухался. И пошло, потекло времечко подоткосное... Учеба, служба, конторы, учреждения... Известкой на сердце посыпались минутки. И казалось, засохла во мне, вымерзла, выхолостилась сама по себе всякая радость. Даже имя ее позабыл, слово заветное, которым люди ее окрестили, в памяти растаяло...

А тут еще мнительность обуяла. Неуверенность в себе. Помнится, мне еще и сорока не было, мужик пружинистый, «молодым человеком», а то и «парнем» в очередях величали, как вдруг нарвался я, вот именно в очереди, перед прилавком овощного отдела, на пару помятых, смутного обличья девиц, стоявших впереди меня и с презрением, а также с превосходством поглядывавших по сторонам. К торговому прилавку после трудового дня сами понимаете, какая толпа примыкает: люди уставшие, издерганные, с тусклым цветом лица и голосами осевшими, далеко не веселыми; таким не до галстуков или там французских одеколонов. И в тот вечер выглядел хмуро, нервно. Изнутри меня подмывало сказать этим заносчивым без меры и повода, величавым девицам какую-нибудь колкость; словечко тепленькое, и я уже рот было открыл, как вдруг одна, которая постарше и поразухабистей, пре-

дупреждает меня и на какую-то секунду прежде моего в атаку идет:

— А ты, — говорит, — чего курятник-то открыл? Постеснялся бы к молодым приставать! Дед уже небось, вон какая ряшка одрябшая, неприятная... А туда же — одеколоном воняет!

Ну, я так и подавился слюной... и словами невыплюнувшими...

— Ах, ты... — говорю, а девица опять упредила:

— Зашнуруй варежку, кому говорят?! А то сейчас вызову куда следует, — и свисточек из сумочки достает. Такой пластиковый. В который футбольные судьи на поле сигналы подают.

Ну, я и затих. И сразу в себе копаться начал: немодный, запущенный, одинокий, плыву по течению; ради кого мне галстуки менять или кожу одеколоном смачивать? Конечно, выгляжу не ахти. Одеколоном прыщик прижег после бритья. Вот она и унюхала, стерва. Понятно, не Аполлон, не из мрамора. На висках вон белые нити. Правда, думаю, девицы те основных моих волос, хорошо сохранившихся, тогда не увидели. В кепке я тогда, как дурак последний, стоял. Но все равно, думаю, знай сверчок свой шесток! Не суйся больше не в свои сани. Для девушек юноши имеются. Даже для таких развязных, с раскисшими глазами. А ты, дед, сиди в своем дупле и не вертуйся.

И как подсекли они меня тогда, девицы эти противные, будто серпом по одному месту! С тех пор только завидую девушку — хоть в трамвае, хоть в лесу глухом, — отворачиваюсь, как от заразы. И так вот вплоть до встречи со Скоропадской, которая ко мне сама потянулась. Правда, всего лишь сигареткой незажженной. Однако революцию во мне произвела!

Вот так, пусть напоследок, но приключилась со мной замечательная катавасия в итоге. И простил я всех... как перед смертью. И тех девиц шальных из очереди в том числе. Пусть их! От женщины печаль, от нее же и радость. Живи — не хочу! И главное, забавно до чего: в начале и как бы в конце пути пофартило...

В первые дни своего со Скоропадской проживания я даже опасался: а не к войне ли опять такая восхитительная встреча, такой восторг сокрушительный? Но прошёл день, другой, затем и того больше — годы, а радость не выкипела, загустела всего лишь. Но я забегаяю... А тогда вот что на Карташихиной происходило.

Прихожу я домой, а Виктория, чую, еще не проснулась. Замер-я; затаял дыхание, слушаю. И вот улавливаю: дышит моя прищельца драгоценная. Сладко так посапывает. Дай, думаю, в щель занавеси гляну: как она там, может, чего нужно — подушку поправить, или одеяло сползло? И всего-то одним глазом зыркнул, второй от страха и напряжения сам закрылся; и тут я чуть навзничь затылком об пол не грянулся! Так далеко отпрянул, с таким ужасом неподдельным! Потому что никогда такой откровенной наготы не видел. Ну, вот ежели б с неба какой умелец звездочку одним махом снял и под самые гляделки вам и подсунул! А? Не зажмурились бы, не отпрянули? Не стебанулись бы пластом на паркет или там асфальт? То-то.

Скоропадская во сне одеялишко от себя отбросила, халат ее торжественный, с кистями да бахромой, разметался по обе стороны. И в такой она белизне ослепительной предстала, хоть очки, которые от солнца заслоняют, напяливай, чтобы глаза не расплавились и слезами восторга на рубашку не вытекли. Извиняюсь за высокий стиль, но как тут трезвыми словами обходиться? Такая красота беспощадная взору предстала. А ведь я отвык от чудес-то. Со времен детских, когда над каждой травинкой земной, над всяким жучком навозным, фиолетовым, вздыхаешь от восторга, с тех самых святейших пор красоте земной значения особого не придавал, суетился, существовал, как все, мигом единым, достижениями целей различных, житейских, повседневных занимался. И вдруг — ах! Только искры из глаз и дикий восторг через сердце в крови по всему организму...

Но — ша! Замолкаю. Не хочу даже словами к ее красоте натуральной прикасаться. А тогда на Карташихиной оклемался я немного от соприкосновения с прекрасным, отошел малость, очухался и на кухню выхожу. Из шкафчика сосуд чешского стекла достаю, дно которого лимонными корками выстлано, и, мысленно перекрестившись, стопку водки принимаю.

Неужели, думаю, семья напоследок составится? На пару заживем? Пусть негладко, с различными нюансами, сюрпризами, пусть без детишек (а почему бы и не с ними?!), но вместе, вдвоем! И тут же осаживаю себя: а выдюжишь? С потрепанными-то возможностями? Тебе уж вон сколько лет-то! А ведь после пятидесяти — страшно. Тело разваливаться помаленьку начинает. А за любовью-то глаз

нужен, догляд, одним словом. Виктория — девушка особенная. Хотя и тридцатка ей по паспорту набежала. Скорей всего, выпивает, ну там курит, понятное дело. Прищипки разные приобретенные, замашки. Куда ж от них денешься? Ясное дело, не грудное дите!

Ладно, думаю, пусть. Перво-наперво не отпугнуть ее от себя. Заскорузлостью своею. Кряхтением разным. Необходимо бодрее выглядеть. Хвост пистолетом держать. А там видно будет. Не мумие же пить или женьшень выращивать? Для поднятия духа. А то, что не разведенная она с этим, как его, Бутырскиным?

Бутырскин?! Кого же мне фамилия эта напоминает? И что это за муженек такой, которого жена вспомнить не в состоянии?

И тут на меня столько всяких вопросов навалилось в связи с началом новой полосы жизненной, столько разных разностей облепило мне мозги в одночасье, что я забылся, брякнув по столу кулаком! И временно запретил себе думать в этом направлении.

От моего, казалось, негромкого, интимного удара по столу в нише проснулась Скоропадская. Громко что-то сказала, по-моему, даже выругалась. И вдруг, не успев я к ней добежать из кухни, слышу: заплакала! Тихонько, скулежно, с повизгиваньем слабеньким, но довольно отчетливо.

Перед тем как на кухню уйти и по столу там кулаком жакнуть, сам не ведая, что творю, ибо в блаженном состоянии пребывал, развязал я веревочки капроновые на покупках, вещички приобретенные в кресло вывалил (у меня их пара имелась, кресел глубоких, мягких, на современном поролоне). Когда Виктория от моего удара по столу проснулась и, пробормотав что-то, в щель высунулась из ниши, то и увидела перед собой всю эту дребедень женскую: бельишко, платьишко, юбочку с кофтенкой, косянку с колготками, плащ с туфлишками венгерскими, увидела и заревела... Ну, как дите форменное! Даже у меня, глядя на всю эту сцену (тахта в нише, занавес зеленый — ну, театр, и только!), даже у меня под носом от подобного зрелища малость отсырело.

Короче говоря, спасибо той женщине из универмага: облагодетельствовала. А ведь я ей, уходя из магазина, как ненормальный, десятку в кармашек халата пихал. Иными

слезами — обижал, не желая того. Удивительная женщина! Все берут не глядя, а эта — шалишь! Ежели б не Виктория в нише раздетая и, как мне казалось тогда, беспомощная, задержался бы я у того прилавка, чтобы выяснить: как это обыкновенная, ничем сверхъестественным не отмеченная женщина смогла в себе сохранить столько благородства? Хотя, опять же, ежели б не Виктория, вряд ли я осмелился на такой дерзкий поступок — с незнакомой женщиной в разговоры пускаться...

А Скоропадская тем временем туфли венгерские из коробки вытряхнула, ноги свои с тахты на паркет опустила, примеряет обувку. Примеряет и плачет себе от души, склонив голову стриженую к коленям.

Примчался я из кухни, страшный, должно быть, от испуга, потому как Скоропадская сразу и плакать перестала, взглянув на меня. Ну я, конечно, в душу к ней не стал лезть. Попятился. Сообразил, что во дворец в смазных сапожищах — с рожей своей отцветшей — ломиться мне ни к чему. А про себя все же подумал, как идиот ненормальный: а что, если ей туфлишки не пришлись, не сгодились в смысле размера, вот и плачет. Хотя опять-таки: идя в магазин, снял я на бумагу шаблон с ее босоножек, с подошвы каждой карандашиком рисунок обвел. Нет, не из-за туфель слезы.

— Сысоев... — позвала Скоропадская. — Где ты? Не прячься. Подойди, в кресло садись. И отвечай: зачем ты все это... совершил? Потратился, говорю, зачем?! Думаешь, если я голая, значит, любую шмотку на себя напялю? Ты что это понакупил? Да я сроду отечественное не носила. Промахнулся ты, Сысоев. Разве можно с твоим образом женщине угодить?

— У меня университетское, кстати... Юрфак.

— Вот, вот. Университетское! А мое — театральное. Уличное. Постой, постой... Юрфак, говоришь? А работаешь кем?

— Не следователем, успокойся.

— А кем же тогда? На адвоката не тянешь. Судя по обстановке комнатной.

— Защитником.

— Ой ли?!

— Защищаюсь в основном. От выюг жизненных.

— Ладно. Не все сразу. Дай женщине высказаться. А промахнулся ты, Сысоев, почему? С покупками, и вообще со мной? Потому как из другой ты эпохи, Сысоев. Из сред-

них веков. Из невозвратной дали. Приодеть меня решил. А того сообразить не смогла доисторическая твоя головушка, Сысоев, что голый-то мне, может, всего сподручнее?! Не смеялся про это?

— Так ведь не было. Ничего другого, которое фирменное. Которое, чтобы взял и пошел... Торопился я. А за импортным очередина! Хотя как же? Обувка-то венгерская. Мне ее, можно сказать, по благу сделали.

— Какой же ты, Сысоев, прелестный дурачок! — улыбнулась Скоропадская мокрыми глазами и сигаретку из халатного кармана выуживает и в рот ее себе вставляет. А затем, как тогда на лавочке возле больнички, в мою сторону вытаращилась — сразу всем: подбородком, губами, носом! Огня просит. Ни слова не говоря при этом. Да и как тут заговоришь, ежели рот куревом заткнут? Правда, жест у нее этот самый, с просьбой огонька, весьма красноречиво отработан был: стоило ей выпятиться подобным образом, как руки ваши сами моментально за спичками устремлялись. А спичек под руками не окажись — первобытным способом в два счета добудешь! Треннем или высеканием, а хотя бы и лбом о стенку! Такая энергия от этого жеста ее умилительного во всем вашем организме незамедлительно появлялась! Так и вспыхивала.

Дал Скоропадской прикурить и вежливо в одно из кресел, порожнее, приземляюсь. И приказаний жду.

— Вот что, Сысоев. Не обращай на мои словесные выкрутасы внимания. Я не только женщина, но и сумасшедшая. От рождения. Для начала ты мне пивка налей. А потом я тебе что-то скажу. Интересное.

Налил пивка, приношу из кухни. Приняла, вздохнула облегченно. На подушки откинулась.

— Что скажешь-то? — спрашиваю.

— А, спасибо.

— На здоровье, — говорю.

— Спасибо тебе, Сысоев. Не за пиво, за это самое... — и в грудку себе указательным пальчиком стучит. И тянет меня с кресла двумя пальцами за штанину к себе. — Дай-ка я тебя пожалею, по голове поглажу. Хорошая у тебя голова, сообразительная. Дай поцелую в макушку.

Потом я и говорю ей.

— Вика, — говорю, — если хочешь, пойдем с тобой в загс? Не откладывая? С тебя там прежний брак снимут, а

легкий, со мной, зафиксируют. Бутырский гаверьяка в тюрьге. Правильно угадываю?

— В колонии. В исправительной. На строгом режиме.

— Большой у него срок?

— Семь лет.

— С конфискацией имущества небось? Это я как юрист соображаю.

— С конфискацией, дедушка. И с последующим запретом занимать денежные должности.

— Значит, не убил все-таки? Не ограбил в шайке?

— Нет. Заведовал предприятием. «Умел вертеться».

— А кто же тогда записки пишет? Пугает кто?

— Он и пугает, Бутырский. Дистанционное управление. Слышал про такое, папочка?

— И в больницу спровадил он?

— Он. Его приказание.

— Так его что же, по выходным выпускают, что ли? Со строгого режима?

— Дружки стараются. Говорю тебе, дистанционное управление.

— А... — заикнулся я по инерции, продолжая «допресс», но Скоропадская по губам моим ладошкой — хлоп! Нежно так. Однако потом и надавила плотней. Так что и вовсе говорилку мою намертво прикрыла. И, готовая расплакаться, закричать, улыбается неожиданно:

— Все, милый Сысоев. На сегодня достаточно.

12

На вокзал, туда, к запасным путям, к пакгаузу, к сформированному из разнокалиберных товарных вагонов составу, подвозили их санитарными фургонами, трофейными автобусами и просто крытыми воинскими грузовиками.

Девушки (а в основном эвакуировалась молодежь) заполняли огромное складское помещение пакгауза, где их поименно, с бухгалтерской скрупулезностью пересчитывал, сверяя со списком, Епифанов и тут же повагонно направлял в распоряжение Сысоева и Померанца.

Первое впечатление от толпы женщин на Сысоева — это осознание факта, что перед ним женщины. Именно они. А не просто люди...

Несмотря на общую безликость людской массы, присутствующая женщинам пестрота одеяний. Множество разноцветных косынок, платков и даже беретов на головах. Много оживленных, суетящихся глаз, не прячущихся под тя-

жестью дум и обстоятельств от действительности. Много слов и даже выкриков, даже всплеск короткого, вовремя укрощенного смеха, взлетавшего над толпой... Мелькали солдатские одеяла, шинели, ранцы, стучали и шуршали о булыжник солдатские ботинки и сапоги, боты цивильные, румынки, реже — туфли, а то и вовсе галоши, легкие сандалии, тапочки, спортсменки. Из-под ватников, пальтишек, бушлатов, кофтен и стареньких штопаных свитеров опускались к ногам всевозможных материалов юбки, сшитые из тех же одеял, шинелей, портьер, обивочной ткани и даже клеенки; имелись юбки, сооруженные из мужских штанов. Брюк женщины тогда не носили. Так Сысоев применил одну, правда уже не первой молодости, тетку, обряженную в офицерские, серо-зеленого сукна галифе немецкие, с кожаной вставкой на зад, упрятанные порчинами в довольно высокие резиновые сапоги, а сверху прикрытые летним застиранным сарафаном в горошек.

Поначалу Сысоев внимательно присматривался к лицам, замешанным в нечто цельное, однородное, вытекающее из широких ворот пакгауза, но задержаться взглядом на каждом лице отдельно просто не было никакой возможности. Все в этом живом потоке неумолимо смешалось, бурля и вспучиваясь, уплывало прочь, мимо... А чтобы ощутить отдельное лицо, к нему необходимо мозгами «приклеиться», привыкнуть, пережить его, извлечь (пусть ненадолго) из однородной массы, отъяз от толпы, подключив его к своей памяти; необходим короткий контакт, замыкание нервов, когда зрение этого лица и ваше — пересекаются... Но где тут? Сысоев мысленно отмахнулся от напвн-ной потребности узнать в толпе Оксану, решив заняться этим позднее, хотя бы в пути следования.

Сысоев стоял в стороне от людской реки, на булыжнике перрона в нахлобученной по самые глаза фуражке, в наброшенной на плечи плащ-палатке. Дождь, дребезжавший по крышам вагонов всю ночь, сейчас хоть и не шел, не досаждал, но висевшая над городом облачность не позволяла полностью забыть о дожде, отделаться от ощущения сырости.

Из толпы в Сысоева изредка выстреливались короткие взгляды, как выстреливались они по всему живому и неживому, что сопровождало нынче девушкам в их движении, теперь уже в движении к утраченному дому, к отпечаткам детства, оставленным где-то там, на родной земле, под родными березами, птицами, звездами...

Сысоев не уловил момента, когда от общей струи, вытекающей из огромного железного сарая и рассасывающейся на путях, отделилась легкая фигурка, чем-то вся туго стянутая, плотно повязанная по голове зеленым платком. Изумрудная эта головка возникла возле его плеча вдруг. Глаза у нее были направлены куда-то вбок и вниз, на землю, к ногам Сысоева, но зеленые искры на золотистых зрачках незнакомки почему-то моментально обеспокоили юного капитана, обеспокоили не залором, не лукавством, не кокетством, а некой отрешенностью, что ли, непричастностью к происходящему, какой-то смиренной тупостью даже. А та, на первый миг веселая, зелень в огненных ее зрачках представлялась через секунду налетом печали, если не затаенной болью и просто ненавистью...

— Здравствуй, капитан. Не меня ли высматриваешь?

— Здравствуйте. Слушаю вас.

— Вас, вас? Карабас Барабас! — нарочно невыразительно, занудно запричитала зеленоглазая, меж тем как лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, даже надменным. — Мы с тобой ровесники, что я, не вижу? А туда же: «Чего изволите?» По-немецки «вас?» — это «что?». Меня Ксюшей зовут. Возьми в свой вагон. Не хочу там ехать. Належалась на досках. Приюти, приглубь. Чего тебе стоит? — Горько, с каким-то вызовом произнесла она.

— Откуда вы знаете, что я с вами поеду? Кстати, Олег я... Сысоев. Капитан Сысоев.

— Здравствуй, Олег, Олежка. А про «с вами поеду» прочла в утренних газетах. При помощи фельдшера. Ну и типчик, между прочим. Кого-то он мне напоминает? Скорей всего соседа по нашей квартире. Маточкина. Который меня пугал постоянно, в детстве. Пробегает, бывало, по коридору в темноте, и вдруг тебя — хват! — рука чья-то. Оказывается, Маточкина щупальце. Ущипнет или пощекочет и опять в свою нору втянется. Ладно, капитан. Не хочешь ты мне руку дружбы протянуть. А вот Маточкин протягивал. Хотя его и не просили об этом. До встречи в пути, Олежка.

Ушла она так же неожиданно, как появилась. Сысоев глянул только, а Ксюша уже в десяти метрах от него в пальтишке коричневом, достаточно приглядном, приталенном, прослеживающем фигурку девушки. На ногах чулки тонкие, шелковые и туфельки желтые, на венском полу-

низком плоском каблуке. В руках чемодан фибровый, на ремне баульчик с плеча свисает бревешком, вернее, полешком круглым, из чистой мешковины сооруженный. Походка у Ксюши какая-то неживая, сонная, таинственная. «А лицо?! — вспоминал Сысоев. — Какое же у нее лицо? Красивое? Да, да. Очень. Но, опять же, как бы неживое, еонное, вернее, усыпленное. Такое лицо у искусственно спящих после укола с морфием: сон навязан, мышцы лица скованы принудительно; не забылись, не оттаяли, не расслабились после усталости дневной, не отошли, а все так же напряжены, хотя и спят... Отсюда наверняка и впечатление, что словно и нет его, лица. А есть маска. Остается узнать, что под ней?»

Когда все возвращенки разместились по отведенным местам и визгливый, тонкоголосый, стрекотливый их гомон стушевался, закупоренный в вагоны, Сысоев решил пройти вдоль состава без сопровождающих, лично поинтересоваться настроением девчат, выслушать претензии. До отправления оставалось больше часа. Старшина Уполовников собрал старост вагонов, провел с ними последний инструктаж, в частности о распределении пайков, о пользовании в дороге ведрами под воду и под отходы, о соблюдении противопожарных правил; пообещал на ближайшей большой остановке баню; нижнее белье рекомендовал с нашитыми на него фамильными бирками сдать в дезинфекционный вагон, где уже дымилась, топилась металлическая печь-камера, а в просторечии — «вошебойка». Потом Уполовников раздал старостам обыкновенные мешки типа картофельных, только чистые, под хлеб и занялся выдачей пищевых продуктов, а также мыла настоящего, не эрзац — хозяйственного, «нашего»! Кусок на четверых.

Сысоева возле дверей вагонных встречали в общем-то радушно: и то — молодой, свежий, светлый. Теперь ему важно было, не конфузясь, вступить в разговор. Заговаривали с ним по-разному: то всем вагоном сразу, то поодиночке, делегируя на вступление в «толковище» тех, которые поразвязнее, поострее на язык. В одной из первых от паровоза теплушек приветствовала его ранее отмеченная им в толпе тетка в немецких галифе.

— Гляньте-ка, девоньки. Какой у нас начальник молоденький! Херувимчик писанный... курносенький. Как зовут-то, родненький, тебя? Не обижайся за-ради бога на болтовню нашу. Намолчались. Теперь не остановишь!

— Капитан Сысоев. Олег Иванович... Какие будут вопросы, пожелания, претензии?

— Олег Иванович! Золотко! Дай на тебя посмотреть! Вот и вся наша претензия. Хлебушек получили. А вкусный! А пахучий! Свой, одним словом. Водичей тоже запаслись. Супешник сварим на стоянке. В ведерке. Плохо ли? Вези только — вот и вся просьба. С этой земли окаянной скорей бы съехать — вот и пожелание!

Близились вечерние сумерки. Помогали им в затемнении местности дождевые облака, нет-нет да и швырявшиеся ветровым сыпучим хлестким дождиком.

— Дождит на дорогу. Примета хорошая, товарищ капитан! — подмазывалась все та же бойкая женщина. — Ой, ведь и впрямь «товарищ»! Не господин, не герр! — обернулась она к нутру вагона.

— А что, товарищи женщины, случайно среди вас нет ли Оксаны? Фамилия Журавель?

— Жура-аве-ель? — протянула тетка вопросительно, наведя глазами как бы ревизию своему молчаливому коллективу. — Нет, Журавель, помнится, нету. Недавно, это, выкликали. Запомнила бы такую... птичку! — улыбнулась староста Сысоеву.

Возле дверей следующего вагона Сысоеву послышалось пение! Жалобное, трогательное и довольно дружное, однако как бы придавленное, приглушенное, не на всю звень голосов выплеснутое. Пели явно украинки... И песня была украинской. Не раз он ее слышал прежде. Доносились только отдельные слова. Пели ее девчата где-то в глубине вагона, скорей всего на верхних нарах.

Карие очи... очи дивочьи...

Где же вы, очи, плакать наивчились?..

Не стал Сысоев песню ломать, дальше проскользнул вдоль состава. Да и дождик подгонял. И в каждом вагоне, поговорив о деле, непременно про Оксану Журавель справлялся. Так что, еще до отъезда с чужой земли, вся подчиненная ему женская рать, настороженная и пришибленная, измаявшаяся и пытавшаяся робко торжествовать, звонкоголосая и безмолвная, верящая, уповающая и безнадежная, знала, что молодой начальник ищет среди их невеселой сестры какую-то Оксану, а зачем ищет — каждый вагон домысливал этот факт по-своему.

— Упорхнула небось пташка!

— В другом направлении улетела.

— На юг! Август месяц. Журавлям в Африку скоро.

— Может, родственницу спрашивает или знакомую какую?

— А вдруг жену?

— Куда-а! Жену-у.

— А вдруг любовь у них? Вот беда-а...

— Почему это «беда» сразу? Может, как раз наоборот — радость, веселие предстоит?

— Дак-к ведь нету... Не искал.

Когда к себе в вагон возвращался, где-то ближе к голове состава опять на песню наскочил. Пели, и довольно громко, «Тонкую рябину». Особенно один иступленный, надрывный голос выделялся.

Я б тогда не стала-а-а
гнуться и качаться-а-а!

Голос этот, достаточно звонкий и сильный, с подвывом, пел не печально, плаксиво, как принято петь в обиходе эту песню-плач, эту вечно не выплаканную историю разлуки с любимым, но пел он, голос этот напористый, как-то даже гневно и в то же время бесшабашно, как поют знаменитые певицы романс Даргомыжского «Старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня!...».

Поравнявшись с этой песней, Сысоев отрывисто глянул в черную пасть разинутых дверей. И тут песня неожиданно как бы рассыпалась по частям, словно высохшая от вечной женской тоски до звона и хруста.

В дверном проеме Сысоев не без раздражения, а также испуга успел разглядеть шелковые чулки над желтыми туфельками и машинально втянул голову в плечи, словно чего-то непотребного ожидая сверху, оттуда, из вагона, какой-то пакости по отношению к себе... И тут же попытался улизнуть.

— Не узнаешь, капитан?

— Почему же...

— Не по нутру я тебе?

— Послушай... как тебя?.. Ксения...

— Ну?

Сысоев отважно прошелся взглядом по стройным, запечатанным в шелковистую упаковку ногам и туда, выше, к зеленому платку на голове. Из-под платка, нависая над правым глазом, дыбилась золотисто-каштановая прядь волос.

— Песню вот... пела, — отметил Сысоев.

— А что, нельзя? Не положено, что ли?

— Я не о том. Хорошо пели. Можно в пути; если время позволит, концерт организовать. Где-нибудь в поле... На травке. Под насыпью... Я вам новых, теперешних песен... подброшу. А то поете... душа разрывается. А «Катюшу»-то разве позабыли? Наши, советские? «Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...»?

— Нет, почему же... Это мы пожалуйста. Как-нибудь потом. Когда пообвыкнем. Только я сейчас о другом хочу тебя спросить, капитан.

— О чем же?

— Все ищешь? Оксану свою?

Сысоев вздрогнул. Губы его сжались плотно, собрав мышцы лица как бы «в кулак», черты заострились, кожа поспветлела.

— Не лезли бы не в свое...

— Успокойся, капитан. Я тебе о чем хочу сказать-то? Найдешь ты свою Оксану. И очень скоро.

— Откуда вам известно?! Что найду?

— А ты повнимательней, капитан. Поприспальней. И не так сурово. Помилосердней. Мы ведь — пуганые. Ты нас приветом, лаской. Любовью. Слово-то какое! Любовь! Любовью... — повторяла, как бы вспоминая смысл высокого слова. — Мы тогда и расступимся. Как тучки перед солнышком. А как расступимся, тут тебе и Оксана...

13

После неуклюжего с моей стороны эксперимента с передеванием, когда Скоропадской, хотела она того или нет, пришлось вместо прежней утраченной оболочки, обретенной в основном на чеки, дорогостоящей, замшевой да вельветовой, джинсовой голубой или песчаных оттенков пустыни, облачиться во временную, невзрачную, общедоступную, притихла она ненадолго, как бы обиделась даже; из ниши моей почти не вылезала неделю. И вдруг ожилá! Как бы в понятие вошла, прочь с лица хмурь откинула, гримасу вынужденного смирения мылом яичным (вместо изысканных шампуней французских!) извела напрочь, волосишки золотистые, на пару миллиметров за время лежания в нише удлинившиеся, на головке своей бесподобной в порядок привела решительно — и так ко мне обращается (а я в описываемый момент из конторы возвратился и пачку пельменей на кухне в кипятке собираюсь окунать):

— Вот что, Сысоев. Слыхал небось песенку «Начни сначала, все начни с нуля»? Это обо мне, Сысоев. И если

ты не расквашаешься в содеянном, в знакомстве со мной, то и о тебе эта песенка дурацкая. Начнем сначала?

— Начнем, — соглашаюсь я не раздумывая, одновременно посыпая пельмени солью и лавровым листом. — Сначала, но... не с нуля! — глубокомысленно и одновременно жизнеутверждающе откликаюсь я на ее призыв. — Какой же, извиняюсь, нуль, когда за спиной у меня пятьдесят шесть годиков обосновались? Это у вас, Виктория Викторовна, за плечами не густо. Можно сказать, подлесок всего лишь позади. А у меня — лес! Дебри, чащоба. И начинать нам, ежели сообща, есть с чего. Навалом опыту.

А Скоропадская, стоя в ванной комнате перед тусклым квелым зеркальцем, в которое вот уже тридцать лет разглядывал я свою шетину перед ежедневным бритьем, продолжала развивать фантастическую мысль о возрождении из пепла, ловко доводя при помощи помады, пудры и еще чего-то, известного только ей, лицо свое до умопомрачительного совершенства.

— У меня, Сысоев, план. Да, да, Сысоев, план — это все. У кого есть план, у того есть будущее. Пусть в тумане, в дымке, но маячит. План, Сысоев, — это рычаг, при помощи которого первый в мире академик по фамилии Архимед нашу землю с круга сдвинуть собирался. Да не сдвинул почему-то. Отвлекся, должно быть. Не нажал на рычажок. Нажмем, Сысоев?!

— Нажмем! — крикнул я бедово, одновременно осеняя квартиренку свою залихватской улыбкой и вытряхивая пельмени в дуршлаг. — Нажмем, милая вы моя, еще как! Но прежде давайте-ка пельмешек похлебаем. Так-то оно естественней будет, а главное — надежней.

Пельмени проскочили у нас галопом. У нее со сметаной, у меня — с уксусом. Взялись за чай. И тут я вспомнил о том, про что непонятным образом запомнила Скоропадская, а именно о... рюмочке. «Странно, — думаю. — Чего это она? Или — застеснялась так быстро? Напомнить или сделать рассеянный вид?» А Скоропадская чай молоком разбавила и культурненько его употребляет, заедая конфеткой «Старт».

— А план у меня, Сысоев, интересный и, как пишут в газетах, грандиозный. И то, что ты молчишь, не спрашиваешь о нем, понимаю тебя так: из деликатности безмолствуешь. Угадала?

— Угадали, — соглашаюсь торопливо и тут же свою линию провожу: — У меня план попроще, не такой гран-

диозный, с одним пока что пунктом, а именно: вас, Виктория Викторовна, не потерять из виду.

— Разве это план? — усмехается Скоропадская. — Это желание всего лишь. Как вот... пельменей поесть. А в моем плане, Сысоев, выражаясь твоим конторским языком, этих самых пунктиков сразу несколько намечилось. И прежде всего: из прекрасного города Ленинграда как можно дальше уехать! Второе решение: за тебя, Сысоев, замуж выйти. Почему так уверенно говорю «решение», потому что этот пункт с твоим, Сысоев, единственным пунктом совпадает. Третий пункт: сходить к гипнотизеру. Есть у меня знакомый гипнотизер. Отговаривает от водочки. Четвертый пункт — к прокурору, ну или там, вообще, к юристу на консультацию. Пятый: на работу устроиться. Ну, а шестой: тебя, Сысоев, как следует отблагодарить. Не жеманничать на себе, не стиркой бельяшка твоего, холостяцкого, не лаской элементарной, а чтобы ты с восторгом, с ясной улыбкой всегда меня вспоминал, если раньше твоего в космос полечу. А сейчас, Сысоев, давай с тобой ну хотя бы в кино сходим! Под ручку. А? Не испугаешься? Уважишь?

А ведь про испуг-то заговорила она неспроста. Вы, наверно, заметили, что не спешил я Викторию на откровенность вызывать, все эти восторженные денечки не торопил Скоропадскую исповедоваться? Не тянул из нее клещами: кто такая, чем занимаешься, почему на лавочке объявилась? С самого начала в наших с Викторией отношениях немало таинственного намечилось как бы. Почему-то ни я, ни она разгонять эту защитную дымку, туманец некий, завесу от правды жизненной, не спешили. Вот и сообразила Скоропадская, что оробел я, что от невысказанных ее секретов перетрухал смертельно. И потому-де помалкиваю в тряпочку. Как бы не так! Лично я дыхнуть на Викторию боялся, не только там ревизию в биографии ее наводить по причине, смешно сказать, влюбленности. Да, да, вот так. На шестом десятке... Понимал или чутьем чуял: неловко дерни за какую-нибудь ниточку, и все напроць развяжется, распухнет, поминай как звали! Неосторожным словом брякнешь — и не видать красоты, как своих ушей. Хотя что она, красота? Не в ней, единой, радость. Главная задача: не спугнуть в девушке птичку, которая радостью именуется. Ибо — как тогда жить? Ведь поманила-то радость собственной персоной. Теперь уж только за ней по пятам, след в след... И весь смысл отныне — к сер-

дечку се, на тахте отдыхающему, прислушиваться. Мне это прислушивание — ох! — как по нраву пришлось! А слугни, что тогда?

Спал я на раскладушке в кухне. Вернее, какое там спал, опять, ни живой ни мертвый лежал, руки по швам, подбородок задрал: «рады стараться, вашбродь!»

На седьмую ночь моего сиротского спанья задает Скоропадская из ниши вопрос:

— Ты что, Сысоев, боишься меня, что ли? Или — презираешь? Смотри, дядя, я ведь уже отдохнула. Могу и воссояси податься. Нашу сестру прежде всего заарканить как следует необходимо.

Подпускает мне Скоропадская угрозу подобную, а я, понятное дело, пугаюсь непритворно. Это уж потом, через пару лет, понял я, что не убежала бы никуда, ибо какие там «воссояси»: домик на капремонте, и необходимо ей, прежде всего, в разные конторы стучаться. Чтобы в маневренном фонде квадратные метры получить. К тому же мебели у гражданки никакой. Раскладушка и та подо мной теперь скрипит.

«Ах ты, думаю, в какое интересное положение попал ты, Сысоев! Необходимо что-то предпринять...»

И тогда говорю я Скоропадской слова:

— Виктория Викторовна, ангел вы мой, не обращайтесь на меня, старого бармалея, внимания. Отдыхайте для начала, радость моя. Вы ко мне откуда? Прямо из больницы. Да вам сейчас, по правилам, в санаторию сердечную первым делом. Да для меня-то, знаете, одного вашего дыхания предостаточно, чтобы счастливым лежать и небо благодарить.

— Не понимаю тебя, Сысоев... Прикидываешься или цену себе набиваешь? Хотя, опять же, непохоже. Глаза не скользят, и походка медвежья, наивная. Неужто тебе и впрямь возле меня хорошо?

И тут, граждане, ощущаю, как мне всю эту систему «ухо-горло-нос» перехватило моментом, сперло, из глаз слезы сыпанули, однако помалкиваю. Но Скоропадская, похоже, догадалась, что меня как следует пронашатырило, и вопросов больше задавать не стала, а только вздохнула и, пожелав спокойной ночи, пробормотала: «Везет же людям...»

Что она этим хотела сказать, не знаю. Только и я вскоре отключился, предварительно положив себе на лицо, на всю голову полотенце лохматое, махровое, которым хралеп-

ние свое грубое надеялся укрыть, замаскировать, дабы не-
взначай пташку золотоволосую непотребными звуками не
вспугнуть, не разочаровать окончательно.

И вот по прошествии «карантинных», ознакомительных
дней решили мы выйти на улицу. Вдвоем, совместно. Про-
сто воздухом подышать, а затем, если желание вспыхнет,
в кинотеатре «Прибой» французскую кинокомедию посмот-
реть или мороженого в буфете вкусить культурным обра-
зом.

Ну, снял я с вешалки реликтовый, береженный, чисто
шерстяной костюм, пропахший нафталином и одиночеством
(на работу ходил я в другом, немнущемся, искусственного
волокна, как бы из нержавеющей стали пошитом). Плащ
непромокаемый надрючил и шляпой кожаной накрылся.
Посмотрела на меня Виктория бегло, усмехнулась.

— Что ж, — говорит, — вполне элегантный мужчина.
Только черных усов не хватает.

А где их взять, черные-то, если растительность на мне
от рождения сивой была, а теперь, в настоящее время, и
вовсе седая. И тут я незаметным образом загрустил ма-
лость, потому что не только черных усов, но и много чего
другого не обнаружит во мне и на мне Скоропадская. При
ближайшем-то рассмотрении личности моей, при более, так
сказать, тщательном со мной ознакомлении.

И тут Виктория, покорно одевшаяся в вещички, куплен-
ные в универмаге (свитерок, джинсовая юбка, туфли вен-
герские, а сверху плащик серенький с едва уловимой голу-
бизной в оттенке, под цвет как бы глаз, только в глазах у
нее этой самой голубизны куда больше, нежели серости),
до крайности удивляет меня чуткостью женской.

— Послушай, — говорит, — Сысоев... Ну, ради всего
святого, не обижайся. Зачем тебе усы? Да еще черные? Ос-
тавайся прежним. Так интереснее. Единственным в своем
роде. Если б ты знал, Сысоев, как мне приятно с тобой,
безусым, погулять пойти. Какой невообразимо трогательный
у тебя вид! Пошли они знаешь куда, усы эти черные! К
дьяволу к самому. Да я тысячу лет не была такой счастливой.
Такой покорной. Нет, не то говорю. Такой, что ли, спо-
койной не была миллион лет! Господи! И это за так, без
процентов... Как снег, как дождик... Спасибо. Не забуду! —
И тут Скоропадская — бах! — в щеку меня целует! Хоро-
шо, что побриться успел.

Выходили мы с ней под синее субботнее небо бодрым

шагом. Она чуть впереди, я следом. Сдерживаю себя, что бы не побежать и всему городу не поведать хвастливо глядите, вот они — мы! Ощущаете, как Сысоев устроился. Однако сдерживаю себя, как жеребца необъезженного осаживаю. И еще один посторонний импульс, этаким зна кабальный, резвиться мне на полную катушку не позволя ет, а именно: фамилия Бутырскин. Кто они, все эти Бу тырскины, Фантики да и сама Скоропадская, ежели трезв рассуждать? И чем все это кончится для тебя, Сысоев. Несерьезно как-то началось. И все ж таки окрыляет! Жит: хочется. Смеяться. И не в тряпочку, а как в детстве — от крыто.

Посмотреть бы на себя самого со стороны, как шел : тогда по городу легко и мощно, солидно шел, уверенно. И конечно же смущался, когда на Скоропадскую заглядыва-лись мужчины и с некоторым недоумением обнаруживали возле нее меня. Я знал, что не имею права на обладание таким ярким сокровищем, и все же нес свое тело гордели во, плавно и даже как-то пружинисто, словно зверь во мне проснулся, не дикий, не злобный, нет, скажем, зоопарко-вый или цирковой, спортивный. Та квот и шевельнулся азартно зверек тот симпатичный, в мускулах моих зашнде-вевших, разочарованных в жизни.

А сама Викторія Скоропадская несла вокруг себя по ле, заряд энергии, пусть не те банальные киловатты, от ко-торых мы лампочки свои зажигаем да всякие там мотор-чики в ход пускаем, нет! Несла она в себе заряд энергии не менее чудодейственный, энергии женской красоты! Ко-торая, по словам великого писателя Достоевского, спасет мир. И все мужчины от мала до велика (в смысле роста), попавшие в это поле, моментально начинали вибрировать. Их буквально начинало трясти и колотить от зависти, что не они, а какая-то шляпа зачуханная сопровождает сие чу-до природы, эту молнию простоволосую, златоперую.

Вообще-то, если быть объективным, Скоропадская не всех подряд задевала, проходя по улице; не всех сплошня-ком радовала ее красота. Некоторые, особенно женщины, демонстративно отворачивались, делали скучное лицо. Бы-ли и просто зазевавшиеся, отвлекшиеся на незначительные встречные пустяки и пропустившие видение или явление Скоропадской мимо сознания, и мне таких людей было ис-крепне жаль.

Когда проходили сквером, на выходе из него, под ста-

рыми, дереволомными деревьями, пивной ларек встречался. Народу возле него — уйма. Может, целая рота. И все, как один, отреагировали, вся очередь так дыбом и встала, словно волосы на голове. И даже те, кому птицы пиво употреблять мешали, роняя с ветвей и сучков различный мусор в кружки, даже эти зачарованно, совершенно парализованные увиденным, смотрели нам вслед.

И тут меня Виктория Скоропадская с небес попросила:

— Послушай, Сысоев. А ты драться-то небось разучился уже? Да и умел ли? Защитить меня сможешь?

— От кого? — вздрогнуло во мне что-то слеза, скорей всего, поджелудочная железа.

14

Сысоев пытался уснуть. Под шум колес он долго ловил дрему, приближаясь к ней осторожно, как дошлый охотник, в надежде ухватить за хвост и не отпускать, но звучный полупустой вагон бросало на стрелках, монотонный стучащий гул от колес прерывался бешеным лязганьем, и дрема ускользала, как вода из пальцев.

Всего лишь вторую ночь проводил Сысоев в купе вагона, так удачно им доставшегося при формировании эшелона. А все Елифанов! Невзрачный, немногословный мужичонка, смотревший чаще в пол, в землю, нежели перед собой, не говоря уж о небе, а вот поди ж ты, деловой. Незаметный, однако незаменимый. Опытный. С кем-то поговорил, объяснился, пошептал доверительно и, пусть расшатавшийся, с наполовину выбитыми стеклами в окнах, пусть неудобный, необычный, иностранного происхождения, с диванами для сиденья вместо привычных полок, но все же пассажирского назначения вагончик отхватил! Под «офицерское собрание»...

Вторую ночь тряслись, а чаще тянулись по чужой, взрыхленной недавними сражениями сторонке, беспрерывно останавливались, тащились то назад, то куда-то как бы вбок, в сторону от цели, на запасной тупичок, где стояли, выжидая чего-то часами, и вдруг, без оповещения, с грохотом снимались с места, проскальзывая под приподнявшуюся к небу культяпистую руку очередного семафора.

Вчера днем Сысоев успел надергаться до крайности, про себя, тайком испсиховаться и даже кое-какой опыт в обращении с женщинами приобрести. В одном из вагонов девушки костер на полу развели. Воду под чай кипятили.

Вагон, конечно, через некоторое время загорелся... Пришлось останавливать поезд, стреляя по направлению к паровозу красными ракетами. На третьем выстреле машинист пустил воздух в тормозное устройство.

Затем на одной станции отстали сразу двое. Две подружки. Из одной теплушки. Бежали за кипятком. А машинист и рванул после первого гудка. Станционных сигналов в колокол спецпоезду не подавали. То, что девушки отстали, выяснилось только после очередного перегона на остановке. Из вагона в вагон не перейдешь, не сообщишь о случившемся. Покричали растерянно, руками из дверей вагона помахали в пространство, но никто этих сигналов, посылаемых попутчицами отставших, не расшифровал. На следующей станции пришлось эшелону забраться в тупичок, а Сысоеву звонить с переводчиком на предыдущую, дожидаться, пока потеряшки на попутном товарняке прибудут. Словом, ЧП. А что по мелочи, разные там склоки вагонные, то в основном разбиралось все это на местах, своими силами, без привлечения официальных чинов, разве что старшина Уполовников наведается в горячую точку, дабы «заять для ясности» тот или иной конфликт. Правда, спустя некоторое время о случившемся в любом, даже хвостовом, вагоне узнавал и Сысоев. Не сразу, но узнавал. От фельдшера Померанца или через того же старшину Уполовникова, а то и просто из летящей фразы по ветру, случайно оброненной той или иной женщиной на остановке. Смысл происшедшего неизменно улавливался капитаном, а в результате — не уснуть.

Сысоев уже давно задул уменьшенный поворотом кралика огонек в карбидной лампе (электричеством состав не обеспечивался), как вдруг сквозь утрамбовавшийся привычный шум движения до него донесся какой-то посторонний звук. Что-то новое, необычное в устоявшемся звуковом оформлении бытия почудилось Сысоеву. Приподняв голову от диванного валика, накрытого шинелью, капитан так и вонзился заострившимся слухом в пространство ночи.

Стучали. В дверь. Негромко, но довольно ощутимо и настойчиво. Что это? Кому-то не спалось? Неужто Елифанов на сближение пошел?

— Да, да! Войдите! — выкрикнул Сысоев, приподнимаясь в темноте с дивана и садясь там, босой, так и не снявший с себя галифе на ночь, в белой нижней рубашке, лохматый, с лицом, только что тщательно прилипавшим к подушке, дабы уснуть; ощущавший на себе как бы личину бес-

сонницы, противно пахнувшую галошами, словно безуспешно всю ночь втискивался в противогазную маску меньшего, чем нужно, размера...

Дверь незримо и бесшумно отошла вовнутрь вагона; более прохладный, чем прежде, воздух и накат новых звуков говорили за то, что дверь именно отворилась. И тут же замкнулась. Так же бесшумно.

Сысоев потянулся к карманам галфе, шаря рукой в поисках зажигалки. Потом вспомнил, что она где-то на столике, возле пахнущей чесноком газовой лампы немецкого происхождения. Наконец высек небольшое пламя.

У входа, окутанная полумраком, создавшимся от нервного мечущегося огонька, прислонясь к дверному зеркалу затылком, спиной, всем существом, стояла женщина. Ксюша стояла. Вот она решилась на что-то, резко приставив к своим губам палец, предупреждая тем самым Сысоева, чтобы он не шумел, не возмущался. Затем плавно метнулась к нему чуть ли не на колени! Сысоев резко отпрянул, ударившись затылком о стену купе.

— Тс-с! — зашипела одним дыханием, без голоса. — Не бойтесь. Я к вам по делу, — шептала, склонившись над ним, одной рукой держась за столик, другой — отводя зажигалку от лица Сысоева. Потом дунула на огонек — раз, другой, и стало темно.

— Разговаривать будем очень тихо... — шептала, ища его ухо. — За стеной у вас кто? Елифанов. Наверно, не спит, подслушивает. Не различаю его совсем. С другой стороны фельдшер. Этот храпит вовсю. Я их двери обнюхала перед тем, как сюда постучать. Подвиньтесь ради бога. Я зачем пришла-то? Хочу вам немного... о себе рассказать. Можно? Знаете, мне показалось, что вы добрый. Ну или... покладистый. Хотя и молодой. Вы женаты?

— Еще чего! — запротестовал Сысоев с необъяснимой для себя горячностью. — Скажете тоже...

Тем временем в голове Сысоева не гнев, не возмущение и даже не страх роились, стальной пружиной один-единственный вопрос выгибался: как же она сюда попала? В другие-то вагоны во время движения ходу нет. Может, заранее спряталась где-нибудь? Скажем, в туалет на стоянке забралась? Хотя, опять же: в туалете он был не так давно...

— Как вы сюда попали?

— По крыше. Я в бельгийском вагоне еду. У нас в потлке — люк. Небольшой, но я пролезаю. Всего-то три

крыши пробежать до вашего вагона. А на вашем — лестница сверху вниз. Вот я и тут. А трёхгранником на остановке запаслась: проводница встречного в дверях ключик оставила, ну я и не растерялась. Плохо, да? Украла... Так ведь к тебе, начальничек, в гости собиралась...

— Черт знает что... — прошипел Сысоев и вновь высек из зажигалки огонь. Открыл краник в лампе, поджег струйку газа в горелке — бело-стальной, с голубым ореолом, вспыхнул яркий язычок пламени, осветивший нутро купе. — Вы могли сорваться! Погибнуть. Ночью по крышам! Неужели не боязно?! — шипел он горячим шепотом чуть в сторону, по касательной от ее, пугающе близкого, мраморно-спокойного лица...

— Боязно было в детстве... Когда ночью отец во сне кричал. Проснусь и жду, когда он опять закричит... Страшно. А потом его куда-то отправили. В длительную командировку, как говорила мама. А я все равно каждую ночь прислушивалась: не закричит ли? И только, когда война началась, прошло... Не прислушивалась больше. Очнись, капитан, не молчи, скажи что-нибудь. Скажи, неужели нам с тобой всего лишь по двадцать лет?

— Мне уже двадцать два скоро, — уточнил Сысоев.

— Двадцать два?! Какой ужас... А мне сто двадцать два. У меня мох на голове растёт. Вместо волос. Пополом со ржавчиной. А на теле — зеленая кора. Как на Медном всаднике. Не веришь? Погладь. Стриженный мох. Меня хозяйка каждый месяц под машинку стригла. Чтобы я не соблазняла ее мужа. Фон-барона. Ему шестьдесят лет. А мне сто двадцать!

С приходом в купе Ксюши Сысоев никак не мог прийти в себя. То ему казалось, что она пьяная, потом, что она сумасшедшая, потом — несчастная и, наконец, — невероятная. И красивая той безумной, безрассудной, грешной красотой, о которой он знал столько неправдоподобного, книжного; той артистической красотой, к ногам которой бросали кто состояние, кто честь, а кто и жизнь, бросали без рассуждений, без оглядки... И вдобавок считали себя счастливыми.

— Я в Ленинграде родилась. Отец у меня — чех. А мама — умница. Если я пересеяду напротив, на другой диван, — ничего? Так лучше видно друг друга.

Сысоеву было неприятно, что притаившийся Епифанов мог сейчас судить о нем с ехидцей: «Не успел в поезд сесть, шашни с девицами завел». Завтра днем глазки на-

верняка от земли поднимет, чтобы одним этими глазками и ухмыльнуться! А может, он спит без задних ног? За день-то набегался. А ведь он старше меня, старше Померанца, который храпит сейчас, как — «катюша», залпами. Аж сквозь стенку слышно... с подробностями. Ребята из сопровождающей команды дрыхнут в двух первых, от начала, купе, где выбиты стекла и где окна теперь заложены, заколочены картонками от немецких упаковочных ящиков. Уполовников, тот у себя в каптерке, в хозвагоне, возле вошебойки. Так что никто, кроме Елифанова, подслушивать не мог. Ну и пусть!.. Имеет он, Сысоев, право на отдых, на индивидуальный контакт с людьми, или нет?! Имеет. Никто не запрещал. Тем более что война кончилась. А он ее, войны этой, нахлебался сполна. Так что никто, даже Елифанов с его тишиной и примкнутом, себе на уме, выражением лица, даже он не посмеет упрекнуть Сысоева в чрезмерном шиковстве, в гусарстве. Три ордена, четыре медали. И все тело в рисунках, то есть шрамах. Может, он, в конце концов, забыться на момент?! Тем более что девица сама пришла. Не побоялась. По крышам ночью. Это ж надо, отчаянная! Какой-нибудь Померанец мускулистый ни за какие коврижки подобный рискованный путь в добровольном порядке не проделает. Разве что по приказу Верховного. А Ксюша проделала. И такую — прогнать? Да и куда прогнать-то? Опять на крышу? А если она — того? Отвечай тогда за нее. Не-эт уж, товарищ Елифанов, или кто вы там есть на самом деле... Не пойдет! Да и не я ль тут начальник, мать меня родила, не хотела? Не я ль старшой над всем этим населением колесным? А там пусть отстраняют, когда домой вернемся. Университет — моя планида, а не пушечная академия. Так что, Сысоев, очнись и не порти о себе впечатление. Девушка перед тобой, хотя и сумасбродная, однако симпатичная. Из всего эшелона двухтысячного только она осмелилась в глаза тебе посмотреть. Где ты, дубье стоеросовое, встретишь потом такое или подобное? Только в снах или воспоминаниях. А то, что Оксану искал, да не нашел, бывает. Кто в детстве сказок не употреблял? Да и найти попробуй молнию промелькнувшую. Разве она уцелела в мясорубке такой? А если и уцелела, чем она от этой вот Ксюши отличаться будет? Ничем. Одеждой, прической всего лишь...

— А знаешь, капитан, как меня на Украине звали бы? Оксаной.

— Что?!

— Тс-с... Разбудишь Померанца. Хорошо еще фельдшер храпом своим нашу беседу от посторонних ушей заглушает. Расскажи мне, пожалуйста, про свою Оксану, Олежка. Не жадничай, поделись. Кто она такая? Может, она — это я, только постарела малость? Потом и я тебе расскажу кое-что. Вдруг да сойдется? Только прежде ответь: я тебе не противна? После... немецкой стрижки?

— Ну и чума ты, Ксения! — опять в полный голос прокричал Сысоев, мгновенно проникаясь жалостью и нежностью к девушке.

— Тогда не найдется ли у тебя чего-нибудь закусить? Домой все-таки едем. И вообще, дорога, ночь косматая. Сторонка растреклятая! Отметим нашу встречу? Я ведь русского парня, такого вот светлого, бодрого, не униженного, ой, сколько лет в глаза не видела! Боже ж ты мой... Аж не верится, что рядом сижу! Родименький. Потрогай меня по голове. Ну, как сестренку, погладь, прошу тебя... Чтобы я успокоилась.

Сысоев погладил, протянув руку через купе, а Ксюша голову на стол, на руки себе уронила, затихла, сжалась, в комок спеклась, в камушек горячий. Минут пять не отрывалась. Потом она глаза свои, в черной синеве подглазий плескавшиеся, устремила на него, благодарно улыбаясь. Затем, виновато сморщившись, поведала:

— А я стихи сочиняю... иногда. Когда мне очень плохо или очень хорошо. Смешно тебе про такое слушать?

— Не знаю. Может, и не смешно.

— А я тебе потом чего-нибудь прочту. Только вот, может, все-таки отметим? — передернула Ксюша озябшими плечами, на которых белела легкая, сшитая, должно быть, из парашютного шелка, кофтенка. — Прости, я и не спросила. Может, тебе все это слушать противно? Про всякие там стихи и прочие фантазии? Мальчишки чаще без сантиментов обходятся. Особенно такие, как ты, боевые, в орденках...

Ксюша как-то по-детски улыбнулась, обнажив довольно чистые, крупные зубы... с окошком зияющей карзубины почти по центру верхнего ряда. И вдруг, словно опомнившись, погасила на лице свет улыбки, губами запечатала рот накрепко. Взгляд принял первоначальное выражение отрешенности, словно девушка обалдела внезапно. Рука ее метнулась ладонью к губам, защищаясь от незримого удара.

— Сс-стерва, — выскользнуло из-под ладони свистящее

словечко. — Выбила, гадина, зубик на самом видном месте! Подсвечником. Ревнивая крыса. Хорошо еще губу не рассекла. А то бы — шрам. Повезло, можно сказать. В момент, когда Блюмельша подсвечником замахнулась, я улыбалась, вот губа и задралась, уцелела. У меня, Олежка, родители вежливые и начитанные, — переменяла Ксюша тему. — Я их стеснялась всегда. Стихи любила, сколько себя помню... А вот сочинять стеснялась. Понимаешь, родители очень грамотные и красивые, важные. Потом я стеснялась меньше. Только наполовину.

— А ты прочти... Не стесняйся. Про любовь.

— У меня про себя в основном. Про свою беду. И про маму с папой.

Сысоев нырнул под столик, растеребил, расслабил горловину вещмешка, в котором была у него снедь — хлеб, консервы, сухари, шоколад имелся, колбаса ароматная по запаху улавливалась... Там же в мешке пряталось и спиртное: фляга с чистым «аптекарским», а также пара бутылок немецкого «ротвайна», кислятина сухая. И какая-то, с экзотической наклейкой, тоже трофейная бутылка то ли рома, то ли портвейна, на которой были изображены два румяных старикана и надпись по-немецки «хальб унд хальб»: «половина и половина»; а ежели по-нашенски написанное толковать: бутылочка на двоих.

15

На Садовой улице Скоропадская отлучилась, нырнув по ступенькам вниз, в подвальное общественное заведение. Подождав ее минуток несколько, я вдруг сам пожелал опуститься ниже уровня.

Изображавшая из себя глухонемую старушенция решительно отвела мое тело костлявым плечом от дверей и тут же повесила на два стальных колечка огромный амбарный замок: обед!

Стою, ожидаю Скоропадскую, а ее нет и нет.

«Все! — соображаю по прошествии времени. — Покинула тебя Вика. Сбежала от старичка...»

Мне как-то и в голову прежде подобный вариант не приходил. Хотя чего уж там. Ясное дело: не пара мы. Только вот почему некрасиво так? Не открыто, не откровенно: так, мол, и так, прошевай, Сысоев! Но — будто крыса — шмыг! И куда? В туалет... прости господи. Наверняка в этом склепе черный ход имеется, проходняк. Куда-нибудь во дворы, а то и в универмаг «Пассаж» прямо-

ком. Теперь ниши ветра в поле. Обидела. Ох обидела!

И тут Скоропадская наружу выходит. На голове шапочка вязаная, незнакомая мне, в руках — пакет иностранный с изображением неодолей загорающей женщины. И еще какая-то кладь, не считая сумочки кожаной, с которой не расставалась.

— Заждался, Сысоев?! — берет под руку, переложив на меня часть приобретенных вещей. — Извини. Так уж необдуманно вышло. Негаданно.

— Может, того, в аптеку заглянем? — предлагаю.

— А что случилось? — настораживается.

— Ну, может, того, с животом какие неприятности? Для профилактики травки какой заварим дома?

— Чудной ты, Сысоев. Извини, забыла тебя предупредить: по данному адресу, ну, где я сейчас была, знакомые у меня имеются.

— Так вот... прямо там?

— Не все ли равно — где? Да, Сысоев. Купила тебе джинсы! Фирма. «Леви страус».

— Джинсы? А на кой они мне сдались, пенсионеру? Погодите, погодите. Да где купили-то, где? Там, что ли, внизу?

— Вот именно.

— А этого... того... — потер я пальцами о пальцы.

— Деньги? Милый Сысоев, лопушок восхитительный, беспросветный. Даже в сумочке моей не покопался... Когда я храпка задавала в нише. Ты что же, решил, что я и впрямь в одном халате вынырнула? Посреди моря житейского? Нет уж, пардон! Не так страшен черт, как его малютки! Хоть меня и попробовали спихнуть, однако удержалась. Не соскользнула. У меня притяжение к жизни будь здоров! Вот глянь сюда... — открыла она сумочку, а затем и кошелек с блестящей защелкой раскупорила, набитый денежными бумажками разного достоинства, в основном четвертными. — А как же! Тебе-то я покажу, ничего не утаю от тебя... Вот, смотри сюда, — и Скоропадская поддела ногтем подкладку, приклеенную к коже незасыхающим клеем изоленты. Под подкладкой зарыбила захватанными страницами распечатанная пачка денег.

— Откуда денежки?

— От верблюда, Сысоев. От верблюда, по фамилии Бутырскин. Трехгорбого, трехслойного, трехдонного и вообще — многосекционный. Вот так-то, милый ты мой майор, по фамилии Пронин.

— А... заявляли, будто адреса своего не помните, — решил я как-то невольно в разговоре с Викторией на официально-казенный лад. — Местоположения улицы Кропоткина якобы не знали... Выходит, притворялись?

— Нет. В себя пришла. Отоспалась. Голова-то у меня и впрямь с приветом. Не веришь? Посмотри. — Вика сдернула шапочку, подставила свой золотистый кочанок под мои глаза, никого не страшась, не стесняясь, прямо на тротуаре, в толпе, на углу Садовой и Невского. Дуновением ветра откинуло прядку медовую на сторону: открылся розовый У-образный шрам.

— За что же тебя так?

— За чемоданчик. Плоский такой.

— И где же он, то есть чемоданчик?

— Много будешь знать, Сысоев, кандидатскую раньше времени защитишь. До срока на тот свет кандидатом сделаешься.

— А по мне, так — лучше его сдать куда следует. Чемоданчик ваш. В органы.

— Ишь ты, какой сообразительный. Нет, Сысоев. Для начала тот самый чемоданчик руками необходимо потрогать. То есть вспомнить, куда он запропастился? А затем уж все остальное. И прежде всего в руках его удержать. Потому как тяжелый он. Ох какой тяжелый.

— А эти, которые в сумочке... Они разве не из чемоданчика?

— Нет. Эти — мои. Отначила. Еще при Бутырские. Сэкономила. Семейные, одним словом.

— Ничего себе. Видать, не скучно жили.

— Хватало. Только не завидуй, Сысоев. Не будь занудой. У меня головка болит. Пожалей. Потом вместе будем вспоминать, как и что... А сейчас пожевать требуется. Зайдем-ка... ну хотя бы в «Баку»?

— Не привык я по ресторанам. Да и сами на днях говорили: третий пункт — к гипнотизеру.

— А ты меня и расстроил, папаша! Допрашиваешь... А я не помню! Хоть убей. Может, и отнесла уже куда следует. Только не помню. Неопределенно все как-то, зыбко. Потом как-нибудь сходим вместе, заявим.

В ресторан их пустили беспрепятственно, как своих. Без предъявления хрустящих «документов». Скоропадская на швейцара только глянула, и тот в сторону от дверей отскочил, приседая, будто дрессированный тигр.

Посетителей в зале много, однако не гуляют — просто

обедает. Скорей всего — завсегдатаи, любители острых блюд, объединившиеся на время ремонта ресторана «Кавказский» с «бакинцами».

Завладеть с ходу отдельным столиком не удалось. Пристроили их к интеллигентного обличья пожилой паре, вежливо жевавшей что-то птичье, держа в руках по какому-то умильному крылышку, и беспрерывно промокавшей свои искусственнозубые жизнерадостные рты салфетками.

Возник официант. Скоропадская с ним пошепталась и, не советуясь со мной, заказала обед. Меня успокоила улыбкой: «Так надо».

Остатками улыбки прошла по унылой, иссякшей физиономии старичка, обрабатывавшего крылышко, и данный дедок, обложенный салфетками, как дитя пеленками, решил напоследок вспыхнуть лицом, воодушевившись Виккиной улыбкой настолько, что незаметно для себя произнес слово, вернее, издал звук, отдаленно напоминающий междометие «ура».

«Эк, думаю, как тебя просквозило, любезный. От одной всего лишь улыбочки свежей, коварной, как мартовский ветерок».

Скоропадская пищу принимала с откровенным аппетитом. Не обращая внимания на медлительных старичков. Тогда как я нервничал: жевал вяло, иногда с отвращением, даже злобой, мучительно стесняясь интеллигентных соседей по столу, тягостно выжидая ухода этих симпатичных пожилых людей, скорее всего супругов, не так давно справивших свою бриллиантовую свадьбу. И стеснялся-то я не их вышколенных манер, отшлифованных жестов, не своей даже мешковатости, нет. Я панически трусил по другому поводу, а именно: мне все казалось, что старик, обаятельно он, а не его нафталиновая половина с косицей вдоль усохшей спины, именно дедушка востроглазый, дожидая наконец-то комариное крылышко, возьмет да и ляпнет что-нибудь этакое наивно-безрассудное, и непременно во всеуслышание, что-нибудь про отца с дочкой, которая «ну просто вылитый родитель»...

Однако пронесло. Старички благополучно осилили своих жареных жучков и вежливо, с достоинством удалились.

Скоропадская, подозвав официанта, сунула что-то в его руку, и за наш столик, пока мы обедали, никто уже не подсаживался.

— Сыгров! Мне хорошо... А тебе?

— Хорошо, — соглашаюсь после некоторого раздумья,

одновременно провожая подобострастным взглядом официанта, уносящего с собой «за кулисы» два стула от нашего столика, словно двух подвыпивших малогабаритных граждан за шкуру выдворяя.

Вернулся официант с преображенным лицом и небольшим белопенным букетом хризантем — пять кудрявых головок, рубль штука, в целлофане и — страшущая нитка вокруг стеблей. Глаза официанта плавали в умильном восторге. Возле Скоропадской он прошелся по дуге и галантно, в каком-то ненынешнем, «историческом» поклоне вручил ей цветы.

— Приказано обратить ваше внимание на записочку... Вот здесь, под целлофаном.

— Господи! От... кого? — жалобно пискнула Скоропадская, а я моментально весь так и напружинился, будто перед прыжком с парашютом (бывало и такое по молодости, а точнее — однажды на войне).

— От молодого человека цветочки. А вы, извиняюсь, не артистка? Лицо знакомое.

Скоропадская выскребла ногтями записку, треща целлофаном так громко, что многие оборачивались в нашу сторону, прочла текст, потом, стиснув зубы и хлопнув гневно ладошкой об стол, подхватила куда-то скорым шагом, приказав:

— Жди меня здесь, Сысоев! Я мигом...

Ослушаться я не посмел. К тому же на столе, торчащую из-под Викиного прибора, обнаружил записку, ту самую, из букета. Читать мне ее никто не запрещал. Дай, думаю, вникну. А то не ясно, как себя вести? Может, в самый раз караул кричать или в свисток милицейский свистеть?

В записке печатными буквами значилось: «Отправь своего козла куда-нибудь в аптеку. Необходимо покалечить. Только не вздумай слинять: бесполезно. Я у вас на хвосте. Ф.».

Человек я, можно сказать, солидный, в костюме, при галстуке, к тому же возраст. Однако по прочтении текста едва сдержался, чтобы не побежать следом за Скоропадской. Сижу, смекаю, что предпринимать? Записку на прежнее место зачихал, под тарелку.

Возвращается Скоропадская. Пригляделся я к ней: веселая! Не только там не плачет или не унывает — смеется во весь рот! Аж глаза мокрые. Принюхался: э-э, думаю, никак оскоромилась девушка? Хлебнула горяченького? Втихаря?..

— Сысоев, — усаживается Вика за стол как ни в чем не бывало, не переставая улыбаться. — То, что ты, Сысоев, неженатый — ладно. Допустим. Как говорится: каждому свой крест нести. Ты мне вот про что поведай, Сысоев: любил? Нашу сестру? Влюблялся, чтобы, значит, по уши? Приходилось?

— Приходилось, — отвечаю, а сам о другом думаю, в частности, слово «козел» не дает мне равновесие душевное обрести. — Приходилось... Правда, однажды всего лишь.

— Когда?

— Сразу после войны.

— Кого любил-то? Помнишь?

— Помню. Девушку одну хорошую. Ксюшу, — отвечаю так Скоропадской, а сам понимаю, что зубы она заговаривает мне, и, как бы от нечего делать, добавляю: — Записку Фантомасову прочел. В аптеку не пойду.

А Скоропадская прежнюю линию выводит.

— Чем же она взяла, Ксюша твоя курносая? Скорей всего, лаской. Пригрела солдатику. Уютная небось, теплая? Не то что я, в одном халате подвернулась. «Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал».

— Ошибаешься, Виктория Викторовна, — улыбаюсь беззлобно. — Во-первых, не курносая. Городская, питерская...

— Что, в Питере курносые не водятся?

— Образованная даже... Для своих лет. Стихи писала. А главное — на тебя похожа.

— Это чем же?

— Красивая.

— А еще чем же? Стихов я не пишу. У меня от них головка болит.

— Ну, такая... Забыл подходящее слово. Короче — приятная. И как бы с пыльцой.

— С какой еще пыльцой?!

— С обыкновенной. Которая на ушах как бы... Блаженная.

— Чокнутая?! Ну, Сысоев, даешь! Это я-то блаженная? Да я просто несчастная! Не всегда, конечно. Во всяком случае, не с тобой. Тебя вот встретила, слава богу. Скажи, Сысоев, а сатана есть? Среди людей? Бога, допустим, нет, а сатана?

— Ежели есть, то оба вместе. Как глаза на лице.

— Не угадал, Сысоев. Может, как раз один-то глазик и выбили. Сатана есть. И фамилия у него — Бутырскин.

Расплатились. Официант, сыпая в карман сдачу, которой поначалу хотел я его лишить, да Скоропадская помешала, посмотрел на меня с охотничьим интересом, как на обреченного глухаря. Высокопарно, с трагической надрывцей в голосе пожелал «всего наилучшего».

Возле вешалки, в момент подачи Скоропадской плаща, тернул меня плечом и тут же в туалет прошмыгнул какой-то тип, кожаный весь, словно литой, металлический, тяжкий. Так от него энергией беспощадной и повеяло! Как будто от машины уличной, целенаправленной, промелькнувшей возле вашего тела в миллиметре.

16

Сысоеву нравилось видеть Ксюшу. Все нравилось Сысоеву в поведении этой девушки. И то, как ела она без напряжения, свободно, будто между делом, играючи пережевывая пищу, яркими, веселыми (минус один, выбитый подсвечником) зубами, уцелевшими в разбойное время войны и даже не почерневшими от ее смертного смрада; и то, как смотрела Ксюша в глаза ему восторженно, безрассудно, с величайшей жаждой общения и верой в щедрость нахлынувшей любви, и то, как прислушивалась она к движению, к железному клетоту колес, как скользила глазами по темно-серому, графитно-матовому стеклу ночного окна, за которым улавливалась жизнь, земля с ее существами, предметами, звуками, запахами и предназначениями...

Как бы надломленная улыбка большого ее рта нравилась. Да и вся она — дерзкая, с нестнятой, хотя и разбавленной гордостью женской, разбавленной болью, криками сердца униженного, прижатого грубым сапогом войны, молодая и уже умудренная страданиями, несущая на лице своем бледность вместо света, тревогу вместо радости, беспомысленность вместо кроткого забытья; вся она — женственная и колючая, судорожная и бесшабашная, отчаянная — манила, влекла и захватывала дух Сысоева, как бесплотная героиня взрослого, но случайно доступного ребенку «тяжелого» фильма захватывает взбудораженное сознание подростка.

— Ну вот... Спасибо, наелась. Теперь хорошо. Спокойно. Как дома. Шнапсу белого я не пью, Олег Иванович. А вот красенького — с удовольствием. За наше с вами знакомство. Теперь не молчите только. Спрашивайте. Буду отвечать, балаболить. Иначе усну. А от спящей-то, сами по-

нимаете, толку немного. Хотите, перейду к вам на диван? Ты... ты ведь меня стесняешься? Боязно тебе? Знаю, что боязно. Успокойся, не перейду. Здесь вот и посижу, на своей половине... Иначе рассказать ничего не успею. Не до того будет. Спрашивайте.

— Да о чем спрашивать? Я не следователь.

— О чем угодно. Ну хоть о том: любила ли я... кого? Из этих самых? Успокойся, не любила. Я их терпеть не могла! И боялась постоянно. Потому что в любой момент обидеть могли. Больно сделать. Все время такое ощущение, будто ночью ты одна на большой дороге или в темном переулке. И тебя в любой момент ограбить могут. Не убивают, но захотят и убьют. В любой момент. До любви ли тут? В тебя-то я влюбилась от нетерпения! Сколько лет терпела, глаза на красивое закрывала. Ждала. Может, тебя ждала? А чего? Симпатичный, чистенький. А главное — наш! Свой. Имею право. Рассказать тебе, из-за чего я в Германию попала? Думаешь, напрасилась? Черта с два...

— Не думаю. Что я — с луны свалился? Чтобы на картогу, и — добровольно?

Ксюша взглядом своим полыхающим, цепким изловила в полумраке глаза Сысоева, помучила их огнем своим, сколько хотела, а затем ласково и одновременно снисходительно отпустила дышать.

Со вздохом облегчения повернулся Сысоев лицом к реденьким, случайным огонькам, скупно разметанным в ночном заоконном пространстве чужой страны. Потом заерзал, засуетился. Неуклюже плеснул из трофейной бутылки в стаканы, звякнув при этом ощутимо — стеклом о стекло. Со škодливой опаской глянул на дверное зеркало, словно боялся, что второй, более правильный Сысоев, смутно отразившийся в этом зеркале, вот-вот погрозит из своего «четвертого измерения» осуждающим пальцем.

— С чего бы начать? С моего дня рождения? Нет, нет, не подумай: не с самого первого, а с шестнадцатого. Предвоенного. Я и мама. Семья крошечная: двое. Поэтому всякий раз пекли уйму пирогов и приглашали ребят из моего класса. Пироги пекли девочки, руководила мама. Пироги сладкие, с первыми ягодами. Ой, про что это я?! Про какие-то пироги... Родилась я двенадцатого июня... Затем пироги рыбные, мясные. Ватрушки тоже. Слойки. Соревновались, у кого лучше, вкуснее. Веселиться начинали с середины дня. А вечером всей толпой провожали меня, самостоятельную и еще всюю праздничную, на Варшавском

вокзале. На дачу. Долго галдели перед вагоном, ра-дражали отъезжающих «на природу» старушек. Потом я высывалась в окно, в щель приспущенной рамы. Целовала всех подряд. Затем в последний, самый острый, миг целовала маму, ударялась головой обо что-то и, оглушенная разлукой, весельем, гудком паровозным, падала на лавку в купе. И так каждое лето... с тех пор, как не стало в семье отца. Уезжала в тишину, к маминой сестре. Одинокой задумчивой женщине. Учительнице немецкого языка. В Порхов на Псковщине.

Тетушка Юлия ненавидела мужчин. Мама объясняла это ее свойство так: Юлию обманул один негодяй. Лично я считала Юлию сумасшедшей. Так было сподручней считать: сразу все ее странности получали оправдание, как бы становились законными. Тетушку Юлию казнили на городской площади у знаменитого в Порхове вешательного столба телеграфного. И вот что укрепило мнение обывателей в наличии у нее душевной болезни: во время казни тетушка Юлия не плакала и не смеялась, не кричала, не призывала, а всего лишь тихо улыбалась куда-то поверх голов. Теперь-то я знаю: никакая она не сумасшедшая была. Просто подпольщица. И еще — мученица. Хотя и не такая, как все. Оригинального поведения. Грустная подпольщица. Работала у немцев переводчицей. И в школе работала. Русским детям — немецкий язык, немецким офицерам — русский преподавала. Меня Юлия держала чуть ли не под замком. В школу, организованную оккупантами, не пустила. Все внушала, что немцы меня непременно по дороге в школу изнасилуют. Если разглядят получше. Сиди, мол, и не высывайся. А я высунулась, конечно. Не без помощи соседского Юрки Ширнина. И еще осенью сорок первого ушла с ним в лес. Скитались по дождю и болотам, прятались в деревнях, болели: умирала я от воспаления легких. Но все-таки вышли на своих. Отряд, правда, только организовался. Неопытные все. Злые, горячились. Юрка Ширин командарма из себя строил. Лампасы на галифе красные нашил. Потом успокоились. Появилось настоящее, не самодеятельное руководство. На задания стали ходить в приказном порядке, а не соревнуясь в озорстве, в удалестве мальчишеском. А меня в отряде теткой попрекали. Продалась, дескать, учительша... Интеллигенция тухлая. Потом поостыли: комиссар позатыкал ротики. Наверняка у него сведения на Юлию имелись. Особые. Это я теперь так понимаю. А тогда косо на меня смотрели в отряде. Пожало-

валась я комиссару. Он и защитил. На задания меня с тех пор самолично снаряжал. И каждый раз перед выходом в город одевал меня сам. Как нянька. Контролировал. В штабной землянке заходила я за ширму брезентовую и там, в полной темноте, надевала верхнюю одежду, всякий раз новую, то есть другую: ватник или плюшевое полупальто, полушубок овчинный, а то и с воротником лисьим что-нибудь модное. Обувку тоже меняли. Варианта три-четыре имелось. Теперь-то я знаю, да и тогда догадывалась: зашивали мне «почту» в наряды. А дома Юлия извлекала. И наверняка вкладывала что-либо свое. А на словах — так, какую-нибудь чепуху молчала: «Знаю, знаю, куда тебя черти носят. Смотри, девонька, подскользнешься, досватаешься... Хотя по советским законам тебе уже паспорт положено иметь. А по немецким законам на елочку могут подвесить. Вместо игрушки новогодней».

От командования отрядного было мне задание: по городу днем ходить, за передвижением военных людей наблюдать. Эмблемы и номера частей запоминать. С выброшенных на помойку конвертов адреса считывать. Листовок или там самодельных каких воззваний ни в коем случае не расклеивать и вообще — не выпирать, не соваться не в свое дело. Теперь-то я знаю: главная моя работа — одежду на себе в лес приносить. С Юлиной почтой зашифрованной. Когда ее казнили, я в городе была. Домой сразу не пошла: семечек прежде захотелось. Прихожу на базар, а там слух: учительшу, которая переводчицей в комендатуре, повесили, Юлию Мамонову! Я и задрожала. Тут меня и осенило! О всем теткинском сумасшествии героическом догадалась в момент.

А я... Ну, со мной все куда проще, удачливей, нежели с Юлией. Тогда же на базаре, с тыквенными семечками в орту, попала я в облаву. Похватали, кого им нужно было, остальных отпустили. Молодежь крепенькую, без явных изъянов, повязали и в Германию, эшелонами. Уже здесь, в имении у Блюмельши, нашла я в рукаве пальто, за прохудившимся швом под мышкой, бумажечку тонюсенькую, пожелтевшую. Однако, что именно в бумажке значилось, не разобрала: зашифровано, да и потерялось, истлело послание... Интересно тебе, Олежка?

Сысоеву было интересно. Не только Ксюшин рассказ воспринимать, но вообще интересно так ехать в отдельном мягком купе, с девушкой, вином, закуской. Ехать с войны по чужой территории. Ехать домой. На какое-то время си

даже забыл, что является казенным лицом во всем этом ночном передвижении, что с него могут что-то спросить, куда-то вызвать, за что-то потребовать; что он в какой-то мере отвечает за эти две тысячи душ, затиснутые в вагонную скорлупу и мчащиеся на колесах в определенном, заданном свыше, направлении... Сысоеву было хорошо. Время, уносящее с собой частицы людских горящих жизней, как бы и вовсе не проявляло себя в эти ночные вязкие минуты.

Неожиданно дверь их купе отошла, и на том месте, где привычно поблескивало зеркало, нарисовалась заспанная физиономия Епифанова. Качнувшийся от возникновения ветра огонек на ламповом ниппеле в момент вызвал из дремотной задумчивости (или бездумья?) непрошеного гостя.

— Извиняюсь... — только и произнес промахнувшийся дверьми замполит и тут же исчез. Словно единым махом отпрянул в ночь.

Сысоев долго, с незамаскированной укоризной смотрел куда-то в глубь океанскую металлического стаканчика-стопки, затем, приняв решение, напрягся и, балансируя растопыренными в локтях конечностями, стараясь перехитрить швырки мчащегося вагона, принялся осторожно переливать содержимое стаканчика обратно, в горловину флаги.

— Испугался, Олежка? — покровительственно усмехнулась мгновенно сникшая, как бы уставшая вдруг Ксения. — Не переживай шибко-то... Сейчас я уйду. Епифанова боишься? А ведь напрасно. У Епифанова глаза безвредные. Не ядовитые.

— При чем тут Епифанов?! Еще чего... — все-таки не удержался, вздрогнул Сысоев, оглушенный собственным голосом.

— Не бойся, Олежка... К тому же Епифанов ничего не понял, не разглядел ничего наверняка. На лице у него — личка темная, осенняя...

— Нашептать может кому следует.

— Про что? Про нас с тобой? А что тут такого? Все естественно. Да и побойтся он «шептать». Ты ведь — начальник для него. Епифанов — зам.

— Язычок у тебя, Ксения, прямо скажем, острый. А Епифанов... Тихий он какой-то. Чужой весь. Не раскусить его никак! Доложит кому следует... Что я с тобой выпивал.

— А что, разве нельзя со мной? Я — совершеннолегкая. Русская.

— Тебе — можно. А мне... Я при исполнении...

— Значит, мне уйти все-таки? А вдруг я с крыши сорвусь?

— Да, да... Сиди, конечно. Куда ты пойдешь? На станции я тебя отведу. Провожу.

— А ты... трус, Олежка.

— Ч-что?! — переспросил, замирая от гнева.

— Я не о том. Не о солдатском совсем... Герой, знаю. Грудь в орденах. Я про любовь. Любить стесняешься. Боишься. Приказа ждешь. В письменном виде. Могу расписочку выдать: так, мол, и так... В добровольном порядке. Желая любить Олежку-капитана...

Сысоев не знал, смеяться ему или обижаться? Он уже совсем было уважать себя перестал за трепет, вызванный вторжением Елифанова, как вдруг на очередном разъезде, на расхлябанных стрелках вагон их изрядно встряхнуло, раскачав на рессорах, будто лодчонку на волнах. Ксюша, привставшая на замлевшие от недвижимого сидения ноги, уже направлявшаяся к двери, неожиданно попятилась, запрокинулась в сторону Сысоева и, не удержав равновесия, полетела к нему на руки. И все было забыто в одну секунду: и Елифанов, и земля за окном, и небо чуть выше... Потому что нет для души людской страждущей более желанного и радостного приюта, нежели встречное сердце, открывшее бескорыстные объятия; нет приказа выше, категоричней, безоговорочней, священной, а значит, и действенной, нежели приказ Любви.

Теперь уже перепугались оба. Сидели, обнявшись, окаменевшие и одновременно ртутные, ждущие друг друга, оцепеневшие от счастья и страха потерять это счастье при малейшем неосторожном движении.

И все-таки женщина оказалась необъяснимей. В решающий момент в каких-то немислимых закоулках воли Ксюша нашла в себе невероятно мудрые силы, способные воскрешать в человеке помертвевший разум. Она ласково оттолкнулась от Сысоева, плавно, с кричащей о милосердии улыбкой на лице увела гибкое тело сперва — от готовой взорваться, ликующей и одновременно раскаленной плоти юноши, а затем и вообще от поглотившего их было состояния, туда, прочь, в спасительное отрезвление и одновременно за двери купе, в ночь, на крышу, в свистящий воздух, охлаждающего душу Бытия.

После того, как отобедали в ресторане, напала на меня вялость, сонливость. Запросился я у Скоропадской домой. Не тут-то было! Виктория после отсидки в «Баку» словно очумела: за рукав моего плаща ухватилась мертвой хваткой, так и брызжет энергией! Закружила по дворам-переулкам, по магазинам да ателье. Бешеным аллюром по городу провела, две голстых книги у каких-то хмырей полунинтеллигентного обличья попутно скупила и мне под мышку затолкала: автор — Монтень. Прежде я ничего подобного не только не читал, в глаза не видел, в руках не держал. Поначалу решил, что мемуары какого-то поэта, но Вика поправила: не поэта, а философа. Короче говоря, еще одна забота прибавилась: необходимо теперь вникнуть на досуге в Монтеня данного. А то юрист по образованию, и — на тебе... Божий дар с яичницей перепутал. Для начала у Брокгауза с Ефроном справки наведу. Хотя чего уж там хорохориться: может, и знал по молодости, да забыл. И не такое напрочь из мозгов вылетает, только держись. Слово-то вон сколько в словаре, не одна сотня тысяч. Освой попробуй муравейник этакий. Поименно каждое запомни... Да и ни к чему. Забыл, стало быть, не твое. Не имеешь права на данное понятие. Каждому слову, я так понимаю, своя голова. А забытому — своя память.

Часам к четырем дня очутились мы где-то возле Московского вокзала, на тесной Пушкинской улице. Я уже ног под собой не чувал, и вдобавок стало мне казаться, что Скоропадская не просто так кружит по городу, петли бездумные вьет-плетет, а скорей всего, как лиса на снегу, следы свои хвостом замечает, путает. От кого бы это?

Зашли под арку, во дворы каменные глубокие, голову задерешь: небо далеко, будто в трубе подзорной синее.

И тут я спрашиваю разлюбезную свою:

— Куда идем?

— К специалисту, — отвечает. — Который гипнозом лечит. От этого самого... — и глазами объясняет мне, от чего именно специалист лечит, закатывая гляделки под лоб так основательно, что в глазницах один только белый цвет остается, а то и вовсе как бы обратная сторона глазных яблок появляется.

Дом старинной постройки. Лестница широкая, можно сказать, шикарная. Только по углам бессовестно намочено и художественного стекла витражи навывлет давным-давно

пробиты каким-то хулиганом довоенным, которого и в природе-то наверняка уже нету. Тут же на лестнице, только не в пролетном пространстве, а сбоку, в стене имелся лифт. Однако настолько миниатюрный узенький, словно в канал дымохода вмонтированный, что подниматься в нем на пару со Скоропадской я не решился.

Лезу на последний этаж в девятнадцатую квартиру. По дороге какой-то странный, наверняка загипнотизированный человек попался: под ноги не смотрит, со ступеньки на ступеньку как вода стекает. Меня в упор не увидел — хорошо, что я отстранился вовремя, а то бы он сквозь меня так и прошел бы, паскуда подтаяя.

Потом, где-то уже на сотой ступеньке, старушка востроглазая, любопытная повстречалась. На голове у бабули молодежная вязаная шапочка, гребешком торчащая, правда рваненькая, бросовая уже.

— Здравствуй, сынок! Не к Киве ли нашему? Голнитизеру?

— А что? Вам-то какое дело?

— За килечкой услали, сынок. Да за капусткой провансальской. Обожают. На посылках я у Кивы-то нашего. На побегушках. Как рыбка золотая... Эхе-хе...

На предпоследней площадке, то есть на самой верхотуре дома, где во фрамуге окна, выходящего в глубочайший двор, целиком сохранились цветные стекла витража с заклепленным вековой пылью орнаментом, напоминающим орнамент с обложки старинного журнала, повстречался мне еще один человек, молодой мужчина в кожаном пальто, тот самый, из ресторана, литой, только в надвинутой на глаза шляпе черного фетра, широкополой и противной, как гриб поганка.

Мясистый этот архаровец заученным движением тернул меня плечом так, что я малость ошешил, прекратив подъем. Стоя ниже меня на целых две ступеньки, малый все-таки оставался выше меня на голову, возмущая мой взгляд наглыми глазами, губами, носом.

«Это сколько же в нем росту? — подумалось. — Никак не меньше двух метров».

— Познакомимся, дядя... Вынь, вынь пальчик-то из кармана... — и протягивает руку в черной перчатке.

Я руки его, понятное дело, не беру и взволнованно ему заявляю:

— Глупо, молодой человек. Я ведь без шума не дамся. Вляпаться захотелось? В неприятность?

— Ладненько. Тогда в двух словах. Где чемоданчик? — и в лоб меня тихонько перчаткой — толк! Чую лбом: в перчатке у Фантомаса (а я уже догадался, с кем дело имею), в кулаке его разбойничьем наверняка гирька грамм на двести зажата. Потому что шляпа на моей голове от прикосновения черной перчатки так и подпрыгнула.

— Не знай про чемоданчик... — выскочило из меня.

— Узнай. Через неделю наведуясь.

— А я... с милицией встречу. И вообще, парень, я тебя сфотографировал намертво. Поостерегись. Мне ваш чемоданчик до лампочки. А вот Викторню Викторовну в обиду тебе не дам. Тут уж — коса на камень...

— Втюрился, дед. Бывает. Продуй мозги своей новообрачной. Пусть не валяет ваньку. Дурочку из себя не стряп.

— Вы ей «продули» уже мозги. Да, видать, перестарались. Уж я-то уговорил бы девушку — сдать. Куда положено, чужое, точнее, государственное. Однако не вспомнит никак. Перехватили, одним словом. И эта ее забывчивость на вашей с Бутыркиным совести. Когда на суде станут вам бабки подбивать, за все содеянное, то и шрамик на Викиней голове учтется. Такой, букву «у» напоминающий.

— Выгворился? Теперь меня послушай. В чемоданчике денежки законные, правильные. Понял?! Ни кровушкой, ни слезой, ни соплями чьими не запачканные... Силком их никто ни у кого не забирал. Сами дались. Это — сбережения. Личные. Товарища Бутыркина состояние. Он их прежде в сберкассе содержал. Как все честные люди. А перед тем, как в зауральский курорт поехать, в чемоданчик сложил, припрятал. На улице Кропоткина. А теперь их там нету. Виктория вынула. А денежки очень нужны. И нужны эти денежки не мне, а товарищу Бутыркину. Чтобы потом поскорей на ноги встать. Смекаешь, дядя? И велено сообщить Скоропадской: ежели она пайнкой будет, то и оделить ее малость, процентов пяток отчислить — на обустройство в ее новой семейной жизни.

— Врешь! Ничего нам от вас не нужно! — возражаю Фантомасу, распаляясь и одновременно всодушевляясь, порываясь наверх идти, к гипнотизеру, ибо Викторню наверняка уже усыпляют в девятнадцатой квартире, а где гарантия, что все это не шарлатанство?

А Фантомас меня за пуговку на плаще берет.

— Договорились, дед? В противном случае — пенсию

маленькую получать будешь. По инвалидности всего лишь. Вместо ста двадцати — шестьдесят.

На прощание тернул он меня плечом кожаным по лопаткам вдгонку, и тут я сорвался: кричать начал, руками на бандита махать, так что Фантомас в первые мгновения моей атаки на одну ступеньку вниз отступил. А я знай словами поливаю, веером, будто из «дегтярева» — от живота!

— Викторию не отдам! Ни за какие денежки! Она — дитя. Она — добрая ко мне. Плакать может. Я на войне и не таких в Могилев отсылал! У меня три ранения! Я старый, ничего не боюсь уже. Я тебя, гаденыш, живьем съем! Не гляди, что зубов нет, целиком заглону! Вместе с чемоданчиком!

— А мы не тебя... Мы твою «добрую» потревожим. Мы ей такую буковку промеж глаз поставим — черепахе позавидует впоследствии. Красотка безмозглая. Мужа законного выручить не хочет. Тварь неблагодарная...

И тут поджилки у меня затряслись и одновременно от гнева и отчаянья в глазах потемнело. Кинулся я на мазурика, да... напрасно: его и след простыл.

Уперся я в стену руками, голову промеж рук опустил, шляпа отвалилась, к ногам упала. Стою как перед расстрелом или обыском где-нибудь в горячей точке земного шара...

На дверях девятнадцатой — старинная металлическая бирка: «Доктор О. Н. Кива». Чуть ниже кнопка звонка. Единственная.

«Наверняка отдельная, без посторонних свидетелей, квартирня», — смекаю.

Позвонил.

Открыла бабушка. Та самая, которую «за килечкой услили». Успела обернуться. Должно быть, на лифте мимо меня прошмыгнула, шустрая. Покамест я с Фантомасом отношения выяснял.

— Кого тебе?

— К доктору. О. Н. Кива, гипнотизер, тут проживает?

— Тот Кива, что на дощечке, давно помер. Еще в блокаду. А наш Кива — зубной техник.

— А женщина? Такая симпатичная, в шапочке лыжной, заходила?

— А ты, батюшка, часом, не милиционер?

— Нет. Я — муж.

— Ейный?

— А чейный... еще?! — начинаю злиться. — Врача-то вашего как зовут? Инициалы?

— А Кивой и зовут. И деда, который на дощечке, Кивой звали. Никто их, инициалы эти, не поминал... Заковыристые больно уж.

— И как же? Так вот, с порога, незнакомого человека... и просто Кивой? Невежливо получается... — топчусь я в нерешительности, как вдруг бабушку вытесняет огромный бородатый мужик в дорогом костюме-тройке, при галстукке и белой рубашке, с цепочкой на груди, возле жилетного кармашка для часов.

— Не возникай, Феня, — благородным, сбереженным, удивительно сохранившимся без трещиноватостей и пухляков, хрустальным голосом отторгает старушку от дверей, медвежьей лапой похлопывая меня по плечу и одновременно пропихивая мою фигуру мимо своего гигантского живота, в глубь квартиры. Накидывает тяжелый крюк на петлю в дверях и становится вместе со мной ближе к свету под лампочку коридорную.

— Имени моего все равно вам не произнести, не запомнить, дорогуша. Анемподист Нафанаилович. Ну, как? Повторить можете? Вот то-то, дорогуша. Отца моего звали полегче. Нафанаил Онасифорович... А на табличке дверной — дед. Онасифор Ноевич. Куда уж доступнее! Что ни говори, а в старину проще жили. Без неоправданных претензий, дорогуша. Так что, права Феня — Кива я, просто Кива. Зубной техник.

— А как же... того, гипноз?

— В свободное от основных занятий время, дорогуша. Хобби, иными словами. А вам от меня что понадобилось? Вставить или заговорить? Зубки-то? — хихикнул холодным, как мартовская сосулька, голосом Кива. — Проходите к дивану. Ваша жена — в кресле. Засыпает помаленьку. Феня, займи товарища.

С этими словами Кива толкнул плечом белую, тяжкую дверь, ведущую в одну из комнат обширной квартиры, зашвырнув на какое-то время мощной спиной дверной просвет. И тут из рук Кивы что-то выпало. То ли инструмент какой-то, то ли рубль металлический. Во всяком случае, брякнулось что-то и покатилося, описывая на паркете круги. Кива нагнулся, и на какое-то мгновение, стрельнув глазами поверх Кивы, увидел я Скоропадскую, сидящую в специ-

альном зубном кресле. Золотая головушка стриженная запрокинута на белую салфетку «подзатыльника».

«Ну и ну, — соображаю. — Какой уж тут гипноз. Не иначе, чудит опять Виктория Викторовна, веселая девушка... Наверняка коронку меняет прохудившуюся».

Дверь Кива за собой прикрыл довольно-таки небрежно. Меж створок щелочка зиять продолжала. Феня усадила меня в старинный диван, задвинутый в самый конец коридора — под бронзовое бра с одной тусклой лампочкой. Тут же курительный столик с телефонным аппаратом, пепельницей, спичечницей.

— Сынок, — обращается ко мне Феня. — Не хошь ли чайку с провансальской капусткой? А можа, в картишки перекинемся? В «подкидного дурачка» али в «пьяницу»?

Торопливо, хотя и вежливо, отказываюсь. До моего слуха в этот момент начинают долетать слова. Разрозненные. Как бы стеклянные дребезги. Резкие, бескровные, прозрачные в своем занудстве и бездушии.

— Вам хорошо. Всюду простор, легкость. Печень не пучит. Прежние мысли вытекли. Музыка. Покой. Плен. Сон. Родились заново. Полет. Дышать фибрами. Расслабиться. Воскрешение из мертвых. Бежать из прошлого. Захватив веру в радость. И чемоданчик. Где чемоданчик? Облегчение. Абсолютная свобода. Избавление. От опухоли в душе. Отсечь! Где, где чемоданчик? Чемоданчик? данчик? чик?

Затем что-то замычало, завсхлипывало. Это уже Скоропадская! Или прикидывается, или впрямь уснула и во сне бормочет. А что — не разобрать. У нее речь глуше Кивинной, расплывчатей, рыхлее как бы.

— Чего это они бормочут? — обратился я к бабушке Фене, как бы не понимая, в чем дело.

— А беся он из яе таперь гонит, Кива-то наш. Способный по энтой части, не приведи господь! И не захошь, а вытянет, будто клещами, из тебя всю нечисть, тайны гиблые, темные, вред всяческий мерзостный. Всею, значитца, скверну так и выскребет, так и вывернет наружу. Ему бы, сынок, тых самых шпиенов опрашивать... Он бы их миготом раскошеллил.

«Ясененько, — приучаю себя к мысли, что все понял. — Значит, Кива и Фантомас из одной компании. Оба про чемоданчик выведывают. Засадил в кресло и... обрабатывает. А вдруг он пытки применяет? Теперь главная наша задача — выбраться отсюда подбру-поздорову».

— Как бы от нечего делать, поднимаю трубку телефонную. В трубке нормально гудит. Значит, в любой момент позвонить можно. Скажем, в милицию. Успокаиваюсь постепенно. Опять снимаю трубку и вдруг слышу Фенин голос:

— Ну, чаво балуисси? Хошь позвонить — звони. Хапают, цапают! Карасинем апосля не отмыть, так заляпают!

«Ага, — соображаю, — спаренный телефончик. А старуха на стреме: подслушивает клиентов, службу несет. Не смотри, что с виду муха сушеная...»

Поднимаю голову от аппарата, а старуха надо мной зависла, как вертолет. Только скрючилась вся.

«Фу-ты! — думаю. — Неужели померещилось? Выходит, не из трубки голос, не по проводам, а живьем».

И тут из кабинета глыбистая фигура Кивы появляется. — весь дверной проем так и закрыла собой.

— С вас четвертной, дорогуша. За сеанс.

— Это вы... мне? — привстаю с дивана. — А где же... Скоропадская?

— В порядок себя приводит. После сеанса. Цела-невредима. Вздremнула чуток.

— Извините за откровенность, — напрягаюсь. — Вопрос имею: пить дамочка по-прежнему будет или теперь не захочет?

— Будет. Захочет. Как не захотеть. При таком образе жизни.

— Тогда почему же сеансы? Четвертной — за что?

— За услуги, дорогуша. За мое к вам участие. За приобщение к вашему безобразию, вот за что!

— А как же разговоры разные понимать прикажете? Про чемоданчик которые? Я ведь все слышал.

— А я и не скрываю ни от кого. Ни своих желаний, ни своих возможностей. А с чемоданчиком прояснилось, как мне кажется. Так что и успокойтесь. Чемоданчик ваша супруга в органы сдала. То есть — куда следует. По идее — с вас две четвертных причитается: за сеанс и за сведения о чемоданчике. Однако мне от жизни лишнего не надо. Тайну чемоданчика уже оплатили.

— Кто?! Фантомас?! Такой, в коже?

— Не имеет значения, дорогуша. Меня чаще не «кто», а «что» интересует. В частности, сто целковых. В виде задатка мною полученных.

— Да как же... Да вы! Вы... Чем это торгуете, товарищ Кива? Доктор называется!

— Не доктор, а врач, дорогуша. Зубной техник.

— Знахарь вы! А не техник!

— Знахарь. Ибо знаю. Кое-что... Согласен, дорогуша. В частности, про вас. Хотите, выложу?

— Выкладывайте! Плевал я на разные там штучки до- исторические! Колдуны, понимаешь, объявились! Откуда ни возмись...

— Четвертной. За информацию.

— Плевал я! Даром не надо! — возмущаюсь искренне, одновременно пытаюсь заглянуть технику в глаза, туда, ввысь, за бурьян Кивиной бороды.

— А что вы так возмущаетесь, дорогуша? У меня дача, у меня машина, у меня — расходы.

— Значит, по-вашему, все продается?

— Все. И везде. В Америке и в Европе. А также в Азии и Африке. Даже в Австралии, дорогуша.

— Чепуха! Не все и не везде! У меня... у нас — не так! Уверяю!

— Кому нужны ваши уверения?

— Насмехаетесь? — осуждающе качаю головой. А Кива достал зубочистку из верхнего кармашка пиджака и, саркастически ощерив рот, поковырялся в зубах. А затем и говорит:

— Вы, дорогуша, или с луны свалились... или того: алкогольный бред. Тогда и вам не лишнее будет с десятков сеансов вкатить. Хотя какое там! С таким-то интеллектом... К тому же, по всем приметам, вы не гипнабельны. Вас только химией усыпить можно. Или голодом.

Зазвонил телефон. Трубку сняла Феня.

— Каво тебе? Киву? А какогось Киву тебе? Анемподиста? Тогда вот он.

«Ага, — смеаю. — Имя как пароль идет. Попробуй такое вымолвить не по бумажке».

А Кива, не таясь от меня, выкладывает кому-то:

— Сдала, говорю... В органы. Вполне определенно. Абсолютно уверен. Убежден. Как пожелаете, дорогуша. Мой совет? Оставьте женщину в покое. И «козла» ее тоже.

Кива аккуратно положил трубку на место. Феня тут же обмахнула аппарат фланелевой тряпочкой.

В дверях кабинета возникло заспанное лицо Викторни. Увидев меня, Скоропадская вяло, детски смущенно улыбнулась; потупив отработанным способом взор...

— Это... правда?! — ликую навстречу ей.

— О чем ты, роденький?

— А про чемоданчик?! В милицию отнесла? — Ну и

«правильно. Зачем оно, чужое-то, нам? Обойдемся...

— В милицию, говоришь? Хорошо бы... Дался им чемоданчик этот. А тебе-то, Сысоев, не стыдно? Всякой глупостью интересоваться? Сказками разными? Слухами. Ведь не такой же ты, как все? Не такой, не такой. Не хочу дру-гого...

Лицо на ладони себе уронила. Неужто заплачет?

— Нет, нет! — кричу. — Не сомневайся. Не такой! Пойдем-ка скорее отсюда. Поехали прочь из города совсем! У меня в населенном пункте одном, провинциальном, задущевном, товарищ мировой имеется. Супиком звать. Он в любое время года приютит. Только не плачь, не рви себе сердечко, Вика, радость моя... невеселая!

Руки от безоблачных синих глаз отвела, смотрит с надеждой и озорством на меня, готовая прыснуть.

— Ах, Сысоев. Говоришь, невеселая радость подвернулась тебе? Но ведь — радость?

— Радость, радости! — кричу. — Восторг!

Кива добродушно крикает в бороду, направляясь к туалету, над дверью которого висит, черным по белому, казенная табличка с надписью: «Просьба соблюдать тишину», занесенная Кивой в квартиру то ли из озорства, то ли из страсти коллекционировать официальные мысли.

Затворяясь в туалете, Кива как бы смилостивился и бесплатно поведал «профессиональную тайну», высунув бороду в образовавшуюся дверную щель:

— Любви все возрасты покорны. Но — далеко не все организмы. За неимением женшениа, пейте настойку элутерококка. Три раза по одной поварежке в день. — Сказал эту глупость и захлопнулся.

Уже на улице, под дождем, Скоропадская, шаловливо повисшая на моей руке, зашептала горячо:

— Сысоев, дорогуша, дай слово — не вспоминать больше про чемоданчик!

— Хорошо, ладно... — соглашаюсь, слово даю, а сам ревниво про себя отмечаю: «дорогушей» назвала! Кивиним словом. Переняла уже, обезьяна. Эх думаю, женщины, женщины! Милые вы мои. Кто вы после этого? Пласталин хлипкий. Глина мягкая. Воск податливый. Не более того.

На одном из перегонов, после мучительно бездеятельной стоянки на путях узловой станции, в мешанине гудков, лязганья буферов, мельтешения маневровых паровозов, где

не только отдохнуть или там баню принять — из вагона выйти возможности не было, постучался, а затем и вошел к Сысоеву замполит Епифанов.

Был он старше Олежки годков на десять и в свое время, на гражданке, учительствовал и даже успел школой позаведовать. Правда, сельской всего лишь.

Сысоев хотел и не мог держаться с Епифановым на равных. В дороге они уже попритерлись друг к другу, но кто он такой, этот Епифанов, Олежка не понимал. Не ума, опыту не хватало. Знал, что Епифанов — человек образованный, в разговоре с ним необходимо ухо топориком держать, дабы чепухи не брякнуть. Подкупало в Епифанове, помимо его деловитой сдержанности, ласковая, трепетная манера произносить слова. И вот чудо: от епифановских уменьшительных значение тех слов не умалялось. Наоборот, собеседник, внимая тем словам, проникался к их содержанию повышенным уважением. Во всяком случае, Сысоев проникался.

Ксюшиного к Сысоеву визита Епифанов как будто бы не запомнил. Во всяком случае, никогда позже в разговорах с Сысоевым ни малейшего намека в этом направлении себе не позволял.

Содержалась в Епифанове, в его манерах, поступках, бесспорная основательность, такая безмускульная силушка, в улыбке тихой близорукой сконцентрированная, впитанная им из окружающей жизни, будто соки земные дровом, еще крепким, устойчивым на ветрах.

Сысоеву импонировала в Епифанове даже его хозяйственная крестьянская расторопность, вроде бы излишняя на политическом поприще, когда человеку вменялось прежде всего лекции личному составу читать, мораль на должном уровне блюсти, идейным словом просвещать и всех, скользящих по поверхности жизненной, подковывать, дабы у них ноги в разные стороны не разъезжались. А Епифанов прежде всего о «мелочах» пекся: о хлебе, бельишке, почте, неурядицах.

Вот сегодня в явном смущении от собственного неяркого голоса, от металлических, проволочных очков своих, лица деревенского, «картофельного», от недавней мальчишеской стрижки под «бокс», от рук своих тяжелых, постоянно прячущихся за спину, заговорил Епифанов отнюдь не о международном положении, а как бы о пустяках.

— Устали бабоньки, Олег Иванович. Сомтели девоньки наши. Передых необходим. Размяться, побаниться. На

твердую земельку упасть. Натряслись на стрелках, нанюхались друг друга до отвала.

— Что же вы предлагаете?

— Мне тут кое-что растолковали, на узловой. Примерно через часик езды, — с этими словами Епифанов выдернул откуда-то именные хромированные «кировские», — через часик с небольшим появится на нашем маршруте забавный разъездник. Каких много, и все ж таки забавный. На этом разъездике очередном запросто можно было бы постоять в тупичке часик-другой, не больше. Потому как выпрут безоговорочно в любой момент. И вот тут выручает нас некая странность...

— Какая же? Вагоны в поле на руках перенести?

— Зачем же на руках, тем более на женских ручках. Попробуем своим ходом...

— Что своим ходом?

— Отклониться с дороги.

— Каким же образом?

— В двух верстах от разъезда заводик порушенный. Частная собственность бывшая. И веточка туда в одну колею. Так что, ежели стрелочка не заржавела, ежели не покурочена она за время боев и ежели людишки шпалки на дровишки не разобрали, тогда мы на эту веточку и сядем. И посидим, сколько можно.

— А сколько можно?

— Я, Олег Иванович, покамест знаю, сколько нужно. Хотя бы сутки продержаться. Ситуация покажет.

Епифанов засобиравшись прочь идти, а Сысоеву почему-то захотелось побыть с ним подольше.

— Простите, капитан... — выдавил из себя Сысоев трепетно, а сам при этом головой так и встряхнул дерзко, так и повел телом горделиво и чуть ввысь. При этом медали на груди Сысоева так и задзинькали.

— Леонид я Фомич... — потянулся Епифанов к Сысоеву рукой. — Рад поближе познакомиться! — И, пожав руку Олежке, все-таки за двери хвататься продолжает, из купе выскочить норовит, но медлит.

А Сысоеву опять-таки отпустить зама неохота.

«Чем же, — думает, — разогреть тебя, батя? Каким словечком восхитительным, драгоценным? А ведь есть, наверняка имеется, вроде «сезама» восточного, только нашenskое, расейское».

— Выпить не желаете?

— В данный момент не желаю, — отрицательно сверка-

ет очками Елифанов, поведя ими плавно, однако решительно, куда-то себе за спину.

— Ладно. Потом как-нибудь побеседуем, чего уж тут... — начинает сердиться Олежка.

— О чём, ежели не секрет, побеседуем? — ускользая, тянет резину Елифанов.

— А так. Обо всем. О жизни! — усмехается, подбадривая себя ухмылкой, Сысоев. — На войне задумываться некогда было. Сами знаете...

— Не знаю, не знаю... На войне-то, может, только и задумались многие. Лично у меня в военное времечко самая густая задумчивость образовалась. К тому же смотря что под словом «жизнь» подразумевать?

— Как это что? — продолжает нервно Олежка, уже не только на себя одного обижаясь. — События... Война, страдания... Борьба. Откуда Гитлер взялся? В такой умной, в такой, можно сказать, культурной стране?

А Елифанов на эти слова Сысоева в свою очередь усмехнулся, но как-то ласково и, не отпуская ручки дверной, шепчет как бы про себя:

— Война — что... Война — бедствие. Войну объяснить ничего не стоит. А человека, единичку смертную, объяснить, к примеру, куда сложнее. Война-то, если на нее не в лоб с разгону, а с конечного результата посмотреть, весьма даже поучительным уроком обернуться может. Ибо горе, печаль, беда всеобщая способны побуждать нас к чему? К возмездию? Не только. И не обязательно. Прежде всего, к милосердию. Народ, страстотерпец, устал от ужасей. И наш, и ихний тоже. И это неправда, что «кровушка кровушки просит». Это вначале, до девятого глоточка. А затем содрогание душеньки происходит. И, смотришь, все мы, кто страдал, не только мудрей, но и добрей сделались. Хотя бы на миллиметр...

— А я говорю — злее сделались! На километр! Нетерпимее ко всему бессовестному, ко всему фашистскому! Теперь бдительнее будем! Яростнее, если хотите!

— По части бдительности — правильно. Душенька народная, от страданий заструпевшая, спекшаяся, после того как кровушкой-то умылась — не сразу помягчала. Уж я-то знаю. Нагляделся в глазыньки солдатикам. И смеяться после войны, и плакать откровеннее стали. Радоваться веселей и петь громче! Думать ярче.

— Это, может, под стопочку... да. Поют! И плачут.

— Не в стопочке дело. А потому что отпустило. Отмякло. Судорога прочь вышла... Из души. Убийственная. В гордке снем развороченном-покуроченном, в Бёрлине ихнем сумрачном, все и завершилось.

— Не в Бёрлине, а в Берлине... — продолжал задирать-ся Сысоев.

— А как хочешь, так и называй. Хоть логовом, хоть вертепом. Только опустошили гнездышко наконец. От разазы... И гнездышко, и сердца людские — от страха, от перенапряжения смертного. Вот погодите, лет двадцать — тридцать войны не будет... и затоскует в некоторых людях звериное начало. Опять кое-кому страшенького захочется. Ибо заскучают, подзабудут, успокоются. За давностью бед. Вместе со слюной бешеной, злобышкой накопившейся наружу выбрызнется! Однако, прощеньица прошу. В размышления курьезные ударился. А ведь у нас банька на носу. Хлопоты. Так что — до скорого.

На прощанье Елифанов то ли засмеялся, то ли кашлянул и вдруг умиротворенно, себе под нос, начал напевать что-то, не слыханное раньше Сысоевым:

Поздно, поздно вечерами,
Как утихнет весь народ
И осыпается звездами
Необъятный небосвод...

Далее Сысоев не разобрал, но и того, что поймалось, было достаточно, чтобы проникнуться к Елифанову еще большей симпатией и удивлением. Даже изумлением.

Затворил Елифанов дверь за собой, и тут Сысоев, взбодороженный явлением непредугаданного, не такого, как прежде, неповседневного замполита, ребячески закатил под лоб глаза и, упав лицом в соломенную, хрусткую подушку, зашелся в судорожном, со слезой смехе.

За лето в колее поднялась дикая, сейчас, в конце августа, бурая заматеревшая, трава. Бездействующие рельсы покрылись ржавчиной. Эшелон загоняли на ветку хвостом вперед. Колеса на изгибе отчаянно скрипели. Со стороны могло показаться, что поезд, сойдя с предназначенного ему железного пути, пятился теперь полем, целиной...

Предварительно Сысоев вместе со старшиной Уноловниковым прошлись по шпалам заброшенного ответвления чуть ли не до упора, уткнувшись в развалины покурочен-

ного питейного предприятия. Как ни странно, рельсы на всем протяжении ветки были в идеальном порядке. Шпалы тоже пребывали на своих местах.

Паровоз, задвинувший вагоны с девушками в тупик, незаметным образом отцепился и, весело ухнув, умчался прочь.

К этому времени небо, весь день дождлившее, освободившись от туч, как бы раздалось вширь и вглубь, и в воздухе, несмотря на приближение ночи, заметно посветлело. Одновременно похолодало, и вся хлынувшая в поля из теплушек звонкоголосая толпа, моментально сориентировавшись, принялась в спешном порядке разводить костры. Никто не отдавал на это приказа, но и никто не запрещал. Диктовало тело, оголодавшее и мгновенно зазябшее на стальном занатном ветерке. Кинулись врассыпную по обе стороны от состава собирать «горючие материалы», не дрова в привычном понимании этого слова, откуда им тут, в чистом поле, быть, а подряд все, способное возгораться и не обязательно гореть, но хотя бы тлеть: обрывок ткани, отломок мебели, клочок бумаги, превращенный дождями в бесформенную лепешку, каблук от распавшейся обуви, корпус эбонитового выключателя и, естественно, старая трава, листья, веточки... Чуть позже, когда самые пронырливые из девчат добрались до развалин спиртзавода, появились и настоящие дрова, точнее — натуральная древесина оконных рам, дверных переплетов, половых досок и даже — разрозненные брикеты бурого угля.

Вся эта пища для животворных костерков, которые незамедлительно разгорелись вдоль состава, была разметана войной, будто гигантским катаклизмом, по всей близлежащей безжизненной территории. За первые же полчаса стоянки эшелона добровольно была произведена гигантская уборка, причесан каждый метр взлохмаченной, захламленной, запущенной земли.

Воздух над вечерней, еще недавно нежилой долиной сперва пропитался запахом дыма, дыханием огня, а менее чем через час потянуло душистым ароматом приварка — в основном кашей, приправленной жирами, а то и консервной мясной тушенкой.

Но самое удивительное: над кострами, сперва робкая, сизым дымочком поднялась, качнулась и поплыла песня.

Сысоев, организовавший дежурство, расставил людей с оружием из команды Уполовникова по обе стороны от эшелона, четыре солдатика нестроевых, неполноценных,

завершающих службу, пусть прохаживаются: не все фашисты с окончанием войны превратились в обыкновенных граждан, враги оставались врагами, иногда постреливали и даже убивали...

Переходя от костра к костру, Сысоев толковал девушкам о завтрашней всеобщей помывке, о предстоящем точном отдыхе, разъяснял «права и обязанности» граждан, готовящихся к встрече с матерью-Родиной... (Епифанов действовал самостоятельно и чуть в стороне от передвижения Сысоева).

Внезапно Олежка наткнулся на довольно шумный, певучий костерок, возле которого, помимо девчат, сидело несколько мужчин, в том числе незнакомых Сысоеву и явно подогретых, не столько снаружи костровым пламенем, сколько изнутри — парами Бахуса.

— Начальнику наше с кисточкой! — резанул по ушам Сысоева наглый, беспощадный, до отвращения знакомый голос. — А ты, начальник, ключик-чайничек, не смотри так косо... Приземляйся, капитан. Своих, что ли, не узнаешь?

«Зиновий! Зна... Тот самый, с желтыми пятнами в глазах...» — пронеслось в Олежкином мозгу, моментально ощутившем если и не беду, во всяком случае — неприятель. Голос Бутырсина, этого не в меру разбитного, бесцеремонного капитана, казалось, по пятам, как гиена в пустыне, брел за Сысоевым по дорогам поверженной Германии. Голос этот, занозистый, саднящий и одновременно как бы смердящий, ударил Сысоева не по ушам, а словно бы по носу, будто и не голос вовсе, а запах тлетворный, к которому никогда невозможно притерпеться, смириться с ним.

А Зиновий, сверкая металлическими зубами, отражавшими костровое пламя, продолжал привлекать внимание окружающих, пронизывая воздух хотя и членораздельными, однако весьма безжалостными звуками речи.

По обе стороны от Бутырсина, как бы под крыльями черного ангела, сидели и тлели, постепенно разгораясь, две безликие (лица за гранью освещения) девушки, мрачненькие, скованные в движениях, угрюменькие, помалкивающие.

Несколько военнослужащих из команды Уполовникова, а также лиц, сопровождающих Бутырсина, возле каждого притулилась неременная женская фигурка; — составляли смутноликий кружок, центром которого, безусловно, яв-

лялся огненноглазый, уколистый Бутырскин. А — не ко-
стер.

Откуда вы здесь... здоровья желаю... — как всегда,
растерялся, разговаривая с дерзким капитаном, спасовал,
дрогнув изнутри, ошеломленный Сысоев.

Откуда? От сырости, капитан. При помощи дождич-
ка выпал. На твою светлую голову. Не нравлюсь я тебе?
А я никому не нравлюсь. Кроме девушек. Мужчины мне
завидуют. Способностям моим ориентироваться в окружа-
ющей обстановке. мне ведь секунды достаточно, чтобы лю-
бого фрайера расколоть или сердчишко вялое всколых-
нуть! — замахнулся Зиновий шлепнуть по одному месту
казавшуюся возле него женщину, однако не шлепнул,
а сдержанно и даже как-то страстно подвинул на лице
женщины острым, словно заточенным пальцем растрепав-
шиеся волосы — со лба к затылку. — Вот ты, капитан
Олежка, в обращении с женщиной — кто? Сказать? Ска-
жу, не заржавеет. Только не задирайся. В обращении с
женщиной ты есть — тюфяк. Слыхал про такую постель-
ную принадлежность.

Кружок колошившихся вокруг костра существ одобри-
тельно крякнул, хихикнул, пришел в более ощути-
мое движение. Тускло лязгнули наполненные чем-то не-
прозрачным, густым солдатские кружки и крышки от ко-
телков.

— Ладненько, капитан. Шибко-то не переживай. Мои
на тебя наскоки. Ежели по большому счету — уважаю! На
одном огне созрели... подрумянились. Глотни-ка вот лучше
нашего. Завидую все же тебе. Можно сказать, впервые в
жизни. Две тысячи девушек в твоём распоряжении. Какую
хоть выбирай. Ладно, ладно! Чистюля, понимаешь
ли. Не нравится ему философия моя. Пошутил. А ну, под-
нять руки, кто обиделся?! Вот, то-то. Шутку в нашем на-
роде пуще всего любят, без шутки — ни-ни. На любую,
даже самую горькую, сморщатся, но ответят. Потому как
шутка пьянит. Возбуждает. И одновременно утихомирива-
ет. Кровь зажигает, а мысли тушит. Дождичком брызгучим
заливает. А что, капитан, прости, без разведки вторгаюсь...
Говорят, будто поздравить тебя можно? Довоенную любовь
повстречал? Ну и память у человека. Лично мне маму сей-
час покажи, не узнаю. Отшибло.

Притерпевшись к «наскокам» Бутырскина, Сысоев уже
рот приоткрыл, собираясь поставить Зиновия на место,
исбодить его не соваться в «запретную зону», когда из-за

кострового дыма, оудто бледная луна из-за тучи, к компании Бутырскина подступила отрешенно молчащая, задумчивая Ксюша.

На появление девушки Бутырскин отреагировал удалением со своей головы плоской фуражки, а также потряхиванием черной, цвета воронового крыла прической и, наконец, резким, ироническим взглядом-вопросом, предназначавшимся Сысоеву: «Она?»

Сысоев спрятал ответ за прищуром всполошившихся глаз, а затем и вовсе повернул лицо в сторону от Бутырскина, который, опираясь о склоненные головы подружек, лихо приподнялся над костром, приветствуя Ксюшу.

— О чем задумалась, сестренка? Проходи, располагайся, с пролетариями всех стран объединяйся! Не бойсь, красавица. Приземляйся, кому говорят! У нас тут не заскучаешь.

Ксюша на приглашение Зиновия никак не отреагировала. Она робко, даже как бы крадучись подобралась к Сысоеву, положила ему на руку, на кулак его, от переживаний побелевший в суставах, свою ладошку, ищущую опоры-участия, и, не ощутив ответного тепла, отодвинулась скоренько прочь, опять туда, за облако дыма, в темноту подступившей ночи.

— Какая-то она у тебя малахольная, капитан Олежка. Какая-то, прости господи, не такая! На приветствие не отвечает. Никого, кроме тебя, не видит. Плывет, понимаешь ли, по воздуху, как мышь летучая. Такую, извиняюсь, микстуру перед употреблением необходимо как следует взбалтывать!

Сысоев от лихих, с сабельным посвистом вылетающих слов Бутырскина не вздрогнул, не озверел, хотя и чуял нутром: не успела Ксюша далеко уйти и слова Зиновия наверняка расслышала. Нужно было в свою очередь как-то проявить себя, отбрызнуть нахала, и Сысоев начал уже слова нехорошие подбирать, типа «хамло»; «скотина»; «паскуда», однако вытряхнуть их на общественный костер из себя не успел, не изловчился, безнадежно запоздал; завязли бедовые словечки в зубах Сысоева, как смола; к тому же появление возле костра еще одного незнакомого, неожиданного человека помешало Олежке за себя и за Ксюшу (а, стало быть, и за Оксану) перед компашкой Бутырскина постоять.

В круг света, распыляемый шатким огнем костра, проник плутоглазый, на лице сплошное усердие, тощелищный,

румяноносый старичок, скособоченный под тяжестью металлической канистры. На голове пожилого прищельца торчала узкополая шляпа с тирольским перышком, сбита в горячке несколько набок.

— А-а-а... Привет, дедуля! Гутен, значит, морген, гутен, значит, таг! Притаранил?

— Яволь, герр гауптман! Цванцих... как это... тватцать литрен! О-о, шмект-гут! Скус-сно! Ликер! Бенедиктин!

— Кто это? — насторожился Сысоев.

— Это Алик. Альфред, по-ихнему. Дедушка мировой. Нашей ориентаций. Так что будь спок, капитан Олежка. А в канистре у него реквизированный бенедиктин. Я так понимаю.

Неожиданно дедок, сорвав с себя шляпу и обнажив обширную лысину, водрузил фатоватый головной убор на одну из подвернувшихся под руку женских головок, топнул оземь прочнейшим, окованным железками ботинком горнолыжника, горделиво при этом задрал морщинистое личико к небу, в непроглядную высь нацелив, а затем выдернул из кармана коротких штанишек-бриджей губную гармошку довольно внушительных размеров, напоминавшую толстую вафлю, и залихватски, будто лютый осласной, полоснул ею по своим ввалившимся губам.

Одной рукой дедуля управлялся с гармошкой, другой — хлопал себя по задникам альпийских ботинок, убыстряя ритм, и ну пошел, пошел вокруг костра гоголем, наигрывая нечто несуразное, смесь какую-то из русской «барыни», «цыганочки» и еще чего-то немецкого, вроде «Ах, майн либе Августин!».

Внезапно Алик прекратил пляску, разглядев в полумраке подступившую к костру фигуру Елифанова. Что-то смутило немца в поведении умноглазого, несуетливого русского, внешне простецкого, мешковатого увальня с лицом, освещенным не столько светом костра, сколько светом мысли.

— Русишь п-плен-нь... Фюнфцен ярэ... Пиатнадцатий ко-от! — засуетился дедушка Алик, выкладывая зачем-то молчаливому Елифанову про свое прошлое, скорей всего стараясь объяснить происхождение плясовых коленцев, примененных им только что.

— Ладненько, Алик... Теперь прощай — и ступай себе в сторожку заводскую, — сказал Бутырский.

Старик, попрощавшись ушел.

И тут Елифанов, ни слова не говоря, взялся за канистру; приподнял, как бы взвешивая, поставил емкость вплотную к спотам Сысоева.

— Здравия желаю, — приложил Елифанов в уставном приветствии короткопалую ладонь к правому уху. — Предъявите документы, капитан.

— Ты... Ты! — задохнулся было Зиновий, словно кипятка хлебнул. — Ты кто такой?!

Но вот Бутырский малость очухался от гнева, вздыбился на своих жилистых, пружинистых ножках, уткнулся острым носом в рыхлую широкую грудь Елифанова:

— Какие у тебя, товарищ очкарик, чрезвычайные полномочия документы проверять?

— Я заместитель начальника этого эшелона. Отсюда и полномочия. В данный момент изволите вы, капитан, находиться в расположении нашей части, которая хоть и на колесах, однако подразделение. И стоите вы, капитан, нетвердыми ножками своими на полоске отчуждения, которая в данный моментик нашему эшелону принадлежит.

— Заместитель, понимаешь ли! У командира у своего спроси, он тебе скажет про меня. И личность мою удостоверит. Не так ли, капитан Олежка?

— Так-то оно так... А документики предъявите.

— И ты... брат?! То есть Брут? Ну, гады. Сговорились, смотрите-ка! Да я, маму вашу!.. головы дурьи, попереди вас на рельсах стою! Глаза разуйте. У меня двадцать вагонов товару! Смекаете хоть? Да я в четыре ночи снимаюсь отсюда, проверятели хреновы! Вот, на! — сунул какую-то книжечку под нос Елифанову, затем из этой книжечки выдернул какую-то бумажку, вчетверо сложенную, печатями усыпанную.

— А почему тогда гулянку затеяли? Народ мне спавваает? Девушек хороших разлагаете?

— Чево, чево? Девушек? Говоришь, разлагаю?! А ты спроси у них, у этих хороших... Обидел я их чем? Или пригрел? Приголубил? Может, я — благодетель для них? Радую, может, а не разлагаю? Огонек жизни раздуваю? Своим угощением? Может, мероприятие провожу. И не на словах, а конкретно.

— Людям отдохнуть требуется... Кашку сварить, супик... Постирушку совершить, а вы их пойлом сомнительным травите. А ежели пакость, яд ежели?!

— Не пойлом, не пакостью, а ликером душистым! Под

названием бенедиктин. Монахи у них такое-то пьют, приемлют. Ясно? Да я, прежде чем девушек твоих угощать, на себе эксперимент произвел, пробу снял... По всем правилам. Небось и не слышал про такое «пойло»? Не то что там — пивал... Тоже мне «супик», понимаешь ли. Бдительные все, не приведи господь! И за канистру общественную не хватайся. Блюстителю, понимаешь ли... Тебе, капитан, только в женской гимназии классной дамой работать надо. Отдай сюда угощение! По-братски поделю. Эй, подходи, навались! Угощаю... Все, кто живой в данный момент!

— Ничего не выйдет, — заслонил Бутырскину путь к канистре непреклонный Епифанов. — Мы здесь командует. А нуте-ка, Сысоев, кликните Уполовникова.

Вскоре на шум слетелись двое с оружием из охраны эшелона, затем Уполовников с Померанцем вывернулись из темноты. А также количество девушек возле костра Бутырскина удвоилось.

— Вот, — протянул Епифанов канистру Померанцу. — Оприходуйте как трофейный продукт. На медицинские нужды. Тут, скорей всего, спирт. Или нечто в этом роде. Потому как запах специфический, алкоголем разит.

Померанец ухватисто перенял груз, врученный ему столь неожиданно.

— Да пойми ты, куриная твоя башка, это ликер! Какие там нужды медицинские?! Что им смазывать, «спиртиком» этим? Разве что голову твою дурью!

— А вот я прикажу тебя под конвоем взять и в тамбуре вагона запереть. Пока не посвежеешь. Ступай отсюда, капитан, не мутни воду. Расселся тут, зубами лязгает. Как мясорубка. Ежели у тебя эшелон, то и обретайся возле него. Возле товара драгоценного. А тут не лазай! Потому как руки у тебя, скорей всего, грязные, немытые. В ликере.

Бутырскин, уходя от костра в ночь, пошел, скособо-чась, напрямик на Епифанова и малость даже плечиком эстрым, занозистым замполита с дороги отпихнул, но тогда уж и Сысоев не сдержался, подставил Бутырскину бедро, и тот мячиком отскочил в объятия к угрюмому охраннику с автоматом...

«Добрый день, добрый час!

Здравствуй, дружок мой питерский, Олег Иванович дорогой! С наступающим тебя Новым годом! А главное — с новым счастьем — молодой супругой Викторией Викторовной! Вот и не верь в чудеса, в добро не верь... Намыкался бобылем, намаялась душенька, сиротинушкой по белу свету наблукалась, ах — теперь отдача пошла, в конце. И чем? Не денежкой, не хоромашками, не почетом-славушкой — радостью-милостью! Ликую за тебя, не переставая, дивлюсь доброте твоей.

А теперь о деле. Бывая у тебя в гостях, а также принимая тебя в деревенском нашем городке Зотове, до сих пор как-то не замечал в тебе, родименький, чрезмерной дурачности: мужик как мужик — поживший, повидавший, разве что — по убеждениям холостой, а дело к пенсии... Теперь и эта странность позади. Слава те, господи! Береги теперь, миленький, супружницу свою, не раздражай. На руках не можешь носить, в сердечко ее к себе посади, как в лукошко, и в добрый путь. Потому что ужасно тебе повезло, Сысоев, дорогуша. Но, прости, отклонился. Дурь твоя, как ты уже понял, не в женитьбе заключается, а в пожелании с Ленинграда-города съехать. Не знаю, кто тебя надоумил в этом направлении, только, сдается мне, облапошить тебя хотят. Какие-нибудь мерзавцы хитроумные за тебя взялись, не иначе.

Пишешь, будто воздуху тебе мало в городе большом. Будто исключительно воздухом тем питаешься. Ну, понятное дело, ежели человек на пенсию вышел, как говорится, отделился от общества, ровно от земли оторвался, хотя чем хочешь, тем и занимайся на своих квадратных метрах до сошествия в ямку, хоть стену лбом долби! А тебе-то, Иванович, горюшко, до пенсии годков, почитай, несколько! Нехватка у тебя с ними, с предпенсионными годочками. Это я семь гривенничков насобирал, а ты — молодой! И куда, неслух, надумал податься? Со свежей-то женщиной? В глухомань несусветную, нашенскую. Добро бы — в Киев или там в Липецк какой ни шло областной, а то к нам, в эту глухомань, на озериншко, раком-отшельником вроде меня проживать. И это с Викторией-женой! Не знаю, кто она там такая, может, прости господи, маленькая, угрюменькая, глупенькая вовсе, тихая или еще с какими приметами, только не от большого жизненного опы-

та соглашается она сейчас на твою заведомую промашку из Ленинграда бежать. Доживи, Олежечка, до пенсии, немного тебе до нее кряхтеть осталось, а там и приезжайте ко мне на каждое лето, да хоть бы и насовсем! Глупо, опять же, но уж тогда, при пенсии-то, вольный казак! А теперь не знаю, что и посоветовать? Ежели не очухаешься, то приезжайте, об чем речь?! Встречу, как деточек родных. И работенку подходящую тебе, конторскую, подыщу. Об жилье не беспокойся: у меня полдома пустует. Пропишу. И начинай новую жизнь. Только прежде сунь ты головушку свою разудалую, бесшабашную под струю ледяной водички. И минуток этак несколько поддержи. Вдруг да поостынешь мозгами-желаниями? А вообще — приезжай! Приезжайте оба — и прямиком ко мне. Адрес наминаю. Да и на конверте проставлен. Обстановочку, которая мебель, ежели надумаете везти, контейнером до Вологды оформляйте. А там видно будет. Остаюсь незабренным твоим товарищем и другом — Елифанов».

Такое вот разлюбезное послание нацарапал в ответ на мой призыв обосноваться в Зотове бывший замполит эшелона Елифанов, по прозвищу Супик. (Свое несерьезное прозвище получил Елифанов еще в бытность замполитом там, на путях железной дороги; и прилипло оно к нему не с легкой, а вот именно с тяжелой руки Бутырскина, съехидничавшего в горячке по поводу уменьшительных словечек Елифанова.)

Зачитав я сие провинциальное письмо супруге своей Скоропадской. Виктория иронически улыбулась и говорит:

— Он что у тебя, Супик этот, больной — не лечится? Или прикидывается пиджачком? Смотрите, добренький какой... Вежливый, аж скулы сводит.

— Больной, — отвечаю. — Есть такая болезнь редчайшая — добродетелью именуется. Или — блажью. Отсюда — блаженный...

— Во-во! Будь здоров, какая хворь уникальная... Мозги набекрень пострадавшим ставит. Послушай, Сысоев. Он, часом, не верующий у тебя, не баптист, не сектант какой? А может, монах?! Вот и в письме чего-то там такое про глухомань заикался.

— Учитель он. Педагог. Теперь, к сожалению, бывший. Потому что на пенсии.

— Во-во! Проповедник! Праведник, одним словом.

— Не болтай чепухи, ласточка. Елифанов — партиец. Со стажем. Персональный пенсионер.

— Может, старческое?..

— Такой не стареет.

— Это мозги-то не стареют?

— При чем тут мозги?..

— А чтобы в магазине хрен от редьки отличать, вот зачем. Ладно, притремся как-нибудь. К твоему блаженному. К его ласкательным-уменьшительным. Хуже, когда наоборот... Послушай, Сысоев, а вдруг он, Супик твой, матерится таким способом? От противного? При помощи нежных слов?

— Веселая вы женщина, Виктория Викторовна. Непотопляемая... в минуты жизни трудная. Ценю. И преклоняюсь перед этой вашей способностью. Стало быть, едем?! В Зотов?

— Обязательно едем, Сысоев. Едем к Супику. Рожать хочу там, возле его елейных речей старушечьих, на озере, в избушке душистой хвойной! Он и ребеночка примет, на-верняка сумеет, такой дедушка повивальный...

— Ро-жать... — прошептал я в полубормочном состоянии, и так при этом языком у себя во рту судорожно провел по нёбу, так в зубы вставные органом речи уперся, едва эти зубы, то есть мосты металлические, с пеньков, с оснований бетонированных напрочь не скрывнул!

— Конечно, рожать, Сысоев. Не сейчас, не сразу. Где-нибудь в июле, на солнышке... А что? Что здесь такого необычайного? Вот если б я ребеночка будущего, скажем, Ваню нашего или Маню, не рожать собиралась, а сконструировать или каким другим способом сочинить, скажем, в колбе, в рассоле питательном вырастить...

— Как же?.. Как же это? Да неужто?! — упадаю вдруг на колени перед Скорспадской и начинаю на коленях по комнате передвигаться, сперва вокруг Виктории Викторовны, а затем в сторону кухни, в направлении графинчика с лимонными корочками.

На дворе стояла зима. Не прежняя, расейская, с трескучими морозами, вьюгами-метелями, вихрями, смерчевыми столбушками снега, сугробами под самую крышу, нет. Теперешняя, городская зима напоминала о себе не столько хрустальными снежинками да узорами на стеклах, сколько простудными заболеваниями, разновидностями

гриппа, а главное, последствиями этого гриппа, когда простывший человек вместо насморка или там ломоты в костях-суставах получал в итоге, скажем, глухоту или начинал как бы задумываться, впадая в состояние транса.

Наверное, подсознательно опасаясь всего этого, переезжать в успокоительный Зотов решили мы поближе к весне, когда вокруг зотовского озера проталины первые в снегу пролысеют, а лед на пустынном пространстве обширного водоема синевой-темной набрякнет, постепенно из кристаллического в состояние полужидкого студеного соуса переходя.

Однако, прежде чем окончательно с места сниматься, необходимо было в Зотов наведаться, с участливым Супником конкретные меры, обсудив, предпринять. И, естественно, ехать туда в разгар коварной зимы на пару с не окрепшей от прежнего образа жизни, а теперь вдобавок ко всему еще и беременной Скоропадской было не разумно. Оставлять Викторию одну в квартирке на Карташхиной боялся я по причине неотвязного к нам внимания со стороны крутоплечего Фантика, последняя встреча с которым навела меня на мысль обратиться незамедлительно в органы милиции, да Скоропадская отговорила.

— Погоди ты, Сысоев, с милицией... Давай прежде выясним, куда этот паскудный чемоданишко запропастился? Никак не могу вспомнить, а вдруг да он и впрямь у меня где-нибудь спрятанный лежит? В какой-нибудь камере хранения? Хотя из камеры его давно бы уже забрали. Официальные представители. И все же повременим с Фантомасом в открытую воевать. Подлый он. И сильный. Поэтому что наполовину из Бутырскина состоит. Вот рожу, тогда и воюйте. А? Сысоев, миленький?

Естественно, согласился я мушкетером вокруг своей головы облеты Фантомаса потерпеть, хотя последняя встреча с ним взъерепенила меня сверх всякой меры. А получилось вот что.

Вечером, ближе к ночи, возвращаясь однажды к себе на Карташхину. А припозднился, потому как после отсижки в конторе заезжал на Петроградскую сторону в жилищное управление, хлопотал о перемещении Скоропадской с одного адреса на другой, заполнял многочисленные бланки, вторую неделю уже перевозил из одного района города в другой всевозможные справки, заявления, «несгивайки»,

фотокарточки. Словом, бумагой шелестел. Ко всему прочему добавлю, что незадолго до этих коммунальных тревожений успели мы со Скоропадской официальным образом брачный союз оформить и даже свадьбу сыграть. Правда, не такую, как принято у нормальных людей: без церемоний пышных. И все же, на мой взгляд, оригинально получилось. Ехали мы после «расписки» на двадцать шестом номере трамвая и вдруг на Исаакиевской площади, не сговариваясь, подхватываемся, из транспорта наружу вылезаем и напрямик в мемориальный Исаакиевский собор. А что? Зашли, постояли возле маятника, который там, едва не касаясь пола, раскачивается под куполом, подумали о быстротекущем времени. На шикарную роспись мифологического содержания глянули. Задумались о любви вечной, о добре, из нее вытекающем. Одним словом, за восемьдесят копеек шикарный обряд совершили. Причем вместе с народом, в оживленной толпе приезжих граждан. А дома — свадьба. Гуляли всю ночь. Правда, без гостей. Вдвоем. Пошире отметить событие решили по приезде в Зотов. Пригласив на торжество Епифанова-Супика.

Однако продолжу теперь о памятном возвращении моем домой, в точечную девятиэтажку на Карташихиной, поздним вечером по завершении жилищно-коммунального пробега. Нагруженный съестными припасами — обе руки в кошелках пластиковых — захожу в парадное и, естественно, к лифту суюсь, ибо хоть и на четвертом обретаюсь, однако пользуюсь средством подъема неукоснительно: влечет! Магическое свойство к себе притягивать имеет. Подъемничек сей. Особенно в отношении тех граждан, кому скоро шесть гривен набежит по календарю.

Кидаюсь к лифту, предварительно оттопыривая один из пальцев, спутанных кошелками, дабы кнопку вызова кабины нажать, и тут из-за моей спины рука чья-то высовывается и кнопку эту самую красным огнем зажигает! Нажатием... Створки дверей разъезжаются. «Ага, — думаю, — значит, кабина внизу, кем-то уже опущена».

Прохожу в кабину, в шахту подъемника замуровываюсь. Дверь захлопывается. И, как выяснилось позднее, — надолго захлопывается...

Человек, вошедший в кабину следом за мной, нажимает кнопку девятого этажа, оттеснив меня... литым, чугунным плечом от пульта управления. «Ага, — смекаю, — Фанто-

мас нарисовался! Что ж... Придется потолковать с юншей. В замкнутом пространстве. И не такое случилось. За годы промелькнувшей жизни». Подбадриваю себя, озираясь в шкафу подъемника с излишней восторженностью.

— Вот что, батя... Я к тебе с мирными предложениями. Велено передать: половина — вам, половина — нам. И — тишина. Как на кладбище. Где уже не хоронят. Иначе...

— Что иначе? Дурья твоя колобашка... «Иначе» означает: ни копейки! Вам. Особливо в случае нашей преждевременной... Смекаешь? Своей болванкой нешлифованной? Ежели у твоего шефа извилины до срока распрямило, так хотя бы ты ему растолковал, молодой-симпатичный... Про то, что нас теперь на руках необходимо носить, пуше глаза единственного, во лбу уцелевшего, беречь, почет и уважение оказывать, чтобы не рассердились мы, в нервное состояние не вошли и прежде времени не зажмурились в вечном сне. Кто вам тогда подскажет про чемоданчик? Про его местоположение? Вот так-то, милый ты мой мафиозо дворового масштаба. Нажимай четверку, мне пора, — указываю Фантомасу на табло пульта, меж тем как скрипучая кабина лифта в третий раз начинает подъем к девятому этажу.

— А вот... это? — показывает мне Фантик иголочку от шприца. — Уколю сейчас... и от натуральной кондрашки сподобишься, дед. Не одна экспертиза не определит, почему сосуд в башке лопнул. Хорошо, ежели сразу, то есть через полчаса, лапти откинешь... А ну как парализует? Пластом ляжешь годика на два. Кто тебя с ложечки поить будет, утку-парашу под тебя подкладывать, подсовывать, пролежни раствором промывать? Думаешь, Виктория займется? Ни в жисть. Она добрая, пока веселая. А заскучает — не то что параличом или святым духом — решеткой тюремной не удержишь. Упорхнет. В муху превратится и наружу, поближе к рюмочке, сквозанет, прорвется!

— Не агитируй, — ставлю я кошелки на пол кабины. — Ты мне лучше вот сюда посмотри, — указываю себе на глаза пальцем, затекшим от удержания продуктовой клади. — Видишь, — говорю, — какой я старый, уставший, сморщенный? А ты, разбойничек, поглубже, туда, за эти морщины, в даль непроглядную, то есть в душу ко мне, загляни. Видишь, светится?

— Чего еще там... светится? — презрительно хмыкает Фантик, ломая себе губы брезгливой гримасой. — Вот за-

свечу тебе по рогам как следует... Тогда увижу! Терпения моего нету, старичок, возиться с тобой!

— А любовь, — говорю, — светится! То, что в твоей кочерыжке никогда не ночевало даже.

— К этой, что ли, к мадаме чокнутой светится? Да у нее знаешь сколько таких, как ты?!

— Таких, как я? Вот и шалишь! А до других мне...

— И то верно: таких, как ты, дядя, поискать. Светится у него...

— Светится! И к мадаме, и к... собору Исаакиевскому! И к тебе, долбаку, тоже. Светится, ибо с некоторых пор возгорелось! В сердце. Милость мне такая на сердце упала. Слыхал про такое понятие? Милость в сердце? После одной встречи жизненной произошло. А коли у человека светится, ничего ему тогда не страшно. Понял? Сильнее его тогда нет, не смерть, сама только жизнь сильнее. Вечная. Не истребимая суетой. И денежками кровавыми в том числе. Денежками и рабами тех денежек. А чтобы, значит, в дурью твою башку достучаться хоть как-то... на вот, держи ты, сколь их тут у меня? Сотни полторы. Бери, бери... Сходишь в ресторан, посидишь, подумашь. А про нас забудь. И главное: себя пожалей. Не суетись. Хлопоты ваши — напрасные. Хошь, режь, хошь, ешь — нету чемоданчика. И никогда возле нас не было его. Веришь, сынок?

— Мало ли... Мое дело — сказать. А чемоданчик был! Сам видел. И руками шупал. Только не открывал... Потому как на «дипломате» замочек с секретом. Короче, я предупредил. Условия изложил. Какие будут дальнейшие указания, не знаю. Однако предчувствую для вас обоих большие неприятности.

С этими его словами кабина лифта чуть вздрогнула и остановилась. На первом этаже. Створки дверей разошлись. Фантомас, не оглядываясь, зашпешил в ночное пространство, предварительно тернув меня плечом в кабине так, что серая шапка из натурального кролика резко отпрянула на моей голове к затылку.

Виктория встретила меня вопросом, произнесенным хотя и насмешливо, в прежнем стиле, однако не без тревожной прерывистости в голосе, приобретенной в последнее время — вместе с беременностью.

— Живой-невредимый?

Стояла она в мизерной нашей прихожей возле дверей, словно ожидала меня с минуты на минуту. По части двер-

ных сигналов была у нас тайная договоренность: звончек электрический, сколько на его кнопку ни дави, безмолвствовал, ибо отсоединил я его от кнопки, цепь разомкнул. В дверь нужно было стучать. Причем ногой. И всего лишь два раза. И вся эта конспирация — на случай моего отсутствия. Что касается Виктории, то отсутствовала она чаще всего на пару со мной, гуляла, сидя на балконе, дыша прибалтийским влажным ветерком, не сходя на грешную землю, где ее, новую, трезвую, ждущую дитя, то есть чуда, мог напугать какой-нибудь бесцеремонный Фантомас.

На всякий случай в квартирении своем оборудовал я небольшой, портативный склад с провизантом, этакий запасец неприкосновенный продовольствия, рассчитанный на безбедный прокорм двух-трех существ обоего пола в течение одного месяца.

Сверх того в магазине культтоваров приобрел я пластинки с записями голосов животных и птиц, чтобы в мое отсутствие, если кто в дверь скрестись начнет, включала бы Скоропадская радиолу и голоса зверей демонстрировала: рык львиный, фырк тигровый, шакалий лай, а также смех обезьяний, хохот попугая, уханье филина и плач иволги...

Уехал я в Зотов на разведку в середине февраля, в разгар метельной кружилихи. Поезд до города Вологды пробивался сквозь пургу, словно сквозь нее прокладывал тоннель в огромном, в пол-России, сугробе. Вагоны обросли вначале инеем, затем и вовсе как бы запеленались в белохрустящие мантии, покрылись наметами, плоскими, обтекаемыми наростами и прочими, достаточно прочными, неотвязными от вагонной оболочки выпуклостями.

Нестареющий Супик-Епифанов выбрался из Зотова с оказией на бездеходном «газоне» встречать меня прямо на привокзальную площадь облцентра.

Бритый, розовощекий, хотя и в набежавших на кожу лица морщинах, Епифанов, пряча сиятельные взоры свои под нахлобученной лохматкой треуха, весело поскрипывал на заснеженном асфальте натуральными, полузабытыми мною валенками.

Поселил меня вдовствующий бездетный Супик у себя в доме, таком же, как валенки, несовременном, бревенчатом, однако прочном, звонкостенном и таком же, как щеки Епифанова — ухоженном, не залущенном. Кормил, поил, ублажал радостно, как и в прежние к нему наезды мои, только с еще большим азартом, вызванным, не иначе, моими «от-

важными намерениями» перебраться на жительство в захолустный Зотов. Знал бы он, что отнюдь не отвагой, а как раз наоборот — защитного свойства поползновениями вызвано мое предстоящее бегство из Ленинграда, бегство во спасение радости, обретенной в лице Виктории Скоропадской, небось тогда по-иному бы суетился... Хотя, как знать? Епифановская деловитая доброта поражала меня и прежде, во дни изначального с ним в приснопамятном эшелоне соприкосновения, не чем-то продуманно рассчитанным, обмозгованным досконально, а как раз опрометчивостью своей залихватской, и где, в чем? — в делах будничных, скучных, для проявления светлых качеств душевных как бы не приспособленных.

Водил меня Супик во все официальные зотовские щели за руку, не отпуская от себя ни на шаг. Дребезжал надтреснутым ласковым голоском, расхваливая мои помятые возможности, а также качества, напоминал о моем юридическом дипломе, военных будто бы заслугах... В результате взяли меня там на заметку, твердо пообещав подыскать к весне, то есть к нашему в Зотов окончательному переезду, что-либо путное в смысле службы-работы, а также — квадратных метров под проживание.

Возвнулся я на Васильевский остров через четыре дня, включая дорогу. Торопился, не приведи господь! Даже с Епифановым как следует не распрощался: в глаза ему не заглянул; в щеку бритую прохладную чмокнул, а глазами в глаза — не поцеловались... Покивал, стоя перед ним, головешкой механически, руками по костяку тощего Супика обхлопал и на подножку вагона целеустремленно полез. Будто альпинист, штурмующий вершину. Супик, глядя на мое бешенство, с которым я к молодой жене в Питер возвращался после трех дней разлуки, предложил устроить мне без очереди полет на аэроплане, от которого я благоразумно отказался: а вдруг гробанусь, и это при беременной жене? На кого я оставляю их — дитя свое грядущее и жену Викторию — на Бутырсина, которому в колонии еще неизвестно сколько загорать?

Поднимаюсь лифтом на четвертый, кидаюсь к двери своей, бью задником сапога по филенке два раза. За дверью — тишина.... Даже птицы не поют и звери не рычат. Граммофонные. Лихорадочно ключик от замка наружного ищу, карманы трещат! Нахожу, врываюсь в квартиру. Никого! Правда, на кухне малость накурено и фортка настесь. И окурки в пепельнице — в красных от-

метинах от помады губной. Викины. «Что за притча? — думаю. — Увели бабу?!»

И тут дверь распахивается, не закрыл я ее в горячке. Скоропадская собственной персоной! Сияет. Шалочку сдернула: на голове причесочка необычная, залихватская. А у меня уже ноги в коленях прогибаются от переживаний и по всему телу вибрация, мандраж — вот-вот вразнос пойду — куда болты, куда гайки с заклепками...

— Привет, Сысоев! Живой-невредимый? А я в парикмахерскую смоталась. Не утерпела... Малость причепуриться к твоему приезду.

И тут в квартире нашей что-то зазвенело. Звонок какой-то незнакомый раздался, задребезжал.

— Да, Сысоев... В твоё отсутствие телефон установили. Приходил мастер. Говорит, очередь подошла.

— А кто на очередь ставил? — спрашиваю зачарованно.

«Ну и ну... — соображаю. — Дела». А сам прислушиваюсь, и не нравится мне этот звоночек... К тому же аппарат попался с неприятным звуком, отвратного тембра: так и скребет душу, так и скребет!

20

Сысоев открыл глаза, и первое, что поразило сознание, — тишина и покой, не было нескончаемой вагонной тряски. И еще: ощущение чего-то непонятного в расположении тела...

Проснулся капитан Олечка на полу, меж диванами у себя в купе. Правда, лежал он довольно-таки удобно, ибо лежал сейчас на аккуратно положенном тюфяке, прикрытый шерстяным одеялом.

— Интересно девки пляшут... — пробормотал Сысоев, пытаясь при помощи воспоминаний объяснить случившееся.

«Вина с вечера не пил. Посторонних в купе не наблюдалось. Ах да, Ксюша приходила!» Сердце сладко заняло...

Низко, по самому полу настывшего за ночь вагона, тянуло откуда-то застарелым, привычным дымком... Скорей всего, снаружи, с улицы. И тут Сысоеву ночной «разбойничий» костерок Бутырскина во всех подробностях припомнился. И ярче всего финал возле кострового сидения в памяти нарисовался.

Когда Бутырскина силой от канистры с бенедиктином отъединили и от притихшей возле костра публики оттесни-

ни, далеко он тогда не ушел, возле своего вагона задержался, поджидая Сысоева, чтобы изъясниться с капитаном Олежкой без свидетелей.

— Ты что же это, гад, вздумал офицера унижать?! Перед этими?! — Взял Бутырский подкарауленного им растерявшегося Сысоева левой рукой за грудки; обжав на капитане Олежке этой своей «мертвой хваткой» гимнастерку, да так, что она барабанной кожей натянулась на молодых, упругих плечах Сысоева. Правой рукой Бутырский держал тяжелый «тетешник», который и пихал, беспорядочно тычась им в остоленевшего на какое-то время Олежку...

— Да какой вы офицер? Штрафная ваша душа... Просто хулиган...

— Ты что же, не понял, как я тебя... ненавижу?! Губошлеп принципиальный выискался. Чистенький. Не бреется еще. Ишь пушком покрылся, персик, мать твою за ногу! Да я... Да ты хоть смекаешь, скотина розовая, почему это я невзвешенный такой возле тебя, нервный такой, печальный? Потому что, свинья ты собачья, потому что я знаю, что такое настоящая жизнь! На земле! Единственная и неповторимая! Жизнь в свое удовольствие. Я нюхнул ее, лизнул краешек. И не язык обжег, а душу! И не хочу, гады... — отстранял Бутырский от себя Сысоева, отталкивал, не разжимая хватки пальцев, не отпуская от себя, и кричал страшным шепотом в глаза Олежкины, будто рехнулся внезапно, шипел, выплевывая ядовитые слова, — не желаю, не стану теперь ни за какие посулы жить иначе! Не уговорить, шалынь! Жить «солча», как все другие, не желаю-а-аю-ю! — Даже этак свистнуло в сведенных губах Зиновия последнее слово: не шел-лай-ю-ю! Затем, отдышавшись, но не ослабив хватки, добавил: — Хотя и знаю, уверен: другой... той, сладенькой, жизни не дадут мне никогда... А я возьму! Самолично. Хоть на миг!

И тут возле Сысоева с Бутырским запахло ночными фиалками:

Олежка, позабыв про обидчика, про его руку-клешню, не отпускаящую гимнастерку Сысоева, жадно потянул воздух затрепетавшим носом. Глаза его расширились, зрение напряглось, слух насторожился. Ксюша! Да, да. Где-то там, за его спиной, в полумраке ночном стояла именно она: ее запах! Олежка еще возле костра, сквозь завесу дыма, ощутил этот сладкий и одновременно возвышенный, грустный запах ночной фиалки.

— Что же ты не бьешь его? Почему терпишь? — донеслось до слуха Сысоева.

«Она! Ксения...» — мысленно подтвердил свою догадку. Правда, было ему не совсем ясно, кого она просит бить, ударять, к кому персонально обращается?

И вот, пока он соображал, пока прикидывал, «кому — сколько», естественно, с ударом запоздал, а Бутырский, подхлестнутый вмешательством девушки, отреагировал шустрее, врезав Сысоеву по лбу рукояткой «тетешника». Не со всего маху, однако с достаточной уверенностью.

Удар, полученный от Зиновия, словно воодушевил капитана Олежку, привел его тело в мобильное состояние, заставил мгновенно вспомнить некоторые знания, приобретенные в школе, на секции по вольной борьбе, а также на дорогах войны. Сысоеву повезло, что Бутырский, ударяя Олежку по лбу, держал пистолет не за рукоятку и не мог, даже случайно, выстрелить из поставленного на предохранитель ствола. Капитан Олежка, дерехватив эту вооруженную руку Зиновия, долго заламывал ее, выкручивая, и наконец одолел. По ходу борьбы опрокинулись оба в сухой придорожный кювет. «Тетешник» отлетел к ногам Ксюши. Она осторожно подняла оружие и так держала его на ладонях, словно на подносе, все те долгие минуты, пока сопели, скрипели зубами, матерились схлестнувшиеся мужчины. Сысоев был тяжелее Бутырскина, мощнее и менее в итоге запыхался, когда заломив желтоглазому Зиновию руки за спину, уселся на его тощие ягодицы, обжав коленями сердитое тело Бутырскина.

— Дай-ка ему как следует... — попросила бесстрастным, отстраненным голосом Ксюша. — Врежь-ка ему ради Христа. Чего ты молчишь, Олежка? У тебя синяк на лбу.

— Не стоит уже. Ни к чему, пожалуй. Свои, поди, русские. Вот поостынет и пусть уматывает отсюда. Ему эшелон сопровождать. Ну, как, товарищ капитан? Протрезвели?

— Пу-пусти... паскуда...

— Пущу. Когда остынешь.

— Пусти, остыл уже. Не глумись...

— Будешь руками махать, не отдадим оружие. Ксюша, спрячь игрушку.

— Не буду... махать.

Поднимался Бутырский с земли медленно, с невыплеснутой из сердца злобой. В его пружинистой фигурке было еще сколько угодно ярости, силы и памяти. Не было прини-

женности побежденного. Была посаженная на цепь ненависть.

Сысоев забрал с ладоней Ксюши «тетешник», разрядил его привычным движением, выкинув из ствола досланный патрон, отомкнул и выковырял из рукоятки магазин обойму.

— Отдай...

Сысоев вернул Бутырскину пистолет.

— Отдай обойму.

Сысоев быстро-быстро извлек подталкиваемые пружиной, желтоголовые патроны из магазина, отсчитал их большим пальцем, как бы денежки из кошелька, в ладонь нашибал. Пустую обойму протянул Зиновию.

— Учти, Сысоев. Буду тебе мстить. Необходимо, как ты сам понимаешь, по квитаться...

— Спасибо, что предупредили... — Олежка с явным уважением перешел в обращении к Бутырскину на «вы».

— Ты мне... оскорбление причинил.

— Я защищался.

— Все равно — глаз тебе, Сысоев, буду бить. На гражданке.

— Одумаетесь до той поры.

— Заткнись, персики! А девку твою в туфельках моденьких...

Сысоев ахнул, словно его под дых ударили, но этого «аханья» было достаточно, чтобы Зиновий слинял, окончательно стушевался в ночном непроглядье, занырнув, скорей всего, под близстоящий вагон и враз очутившись по другую сторону железнодорожной ветки.

— Ксюша. Пойдем со мной. В вагон. Не то этот сумасшедший... Поужинаем... Ты ведь поесть хочешь?

— А... А как же твоя Оксана? Что она про тебя подумает?

— Какая еще Оксана?! Ах, та... А ты и есть Оксана. Разве не так? Была мечта ребячья, которая стала явью. Так уж получилось.

— Ловко... получилось. — Ксюша помолчала. Потом голос ее, внезапно повеселевший, обронил: — Ясное дело — приду к тебе, Олежка, спасибо за предложение. Только сперва у себя в вагоне покажусь. А то всполошатся еще...

Лежа теперь на полу в купе, Сысоев вновь явственно ощутил ласкающий запах фиалки. Аромат... И тут над

ним, с высоты левого дивана, кто-то отчетливо всхрипнул! Вскрипнул и этак блаженно почавкал ртом, скорей всего во сне. И вдруг рука — округлая, мягкая, наверняка женская — наотмашь с дивана откинулась и над Сысоевым простерлась.

«Это как же понимать? — прихлынула в голову растерянность вместе с кровью... По сосудам ударила, поднажала. — Неужто Ксюша заночевала? Не, заперто. А Епифанов с Померанцем то и дело дверьми ошибаются. Особенно в дремотном состоянии, когда по нужде выходят».

Тогда Сысоев осторожно, чтобы постороннюю руку не задеть, верхнюю половину тела своего приподнял и на спящего человека, в утренней полутьме едва просматривавшегося, взглянул. И едва не закричал. От печали, мгновенно сковавшей сердце. На диване лежала не Ксюша. Кто-то другой лежал. С чужим, грубым, помятым, хотя и женским лицом! От которого, как ни странно, пахло Ксюшиными фиалками.

Сысоев из купе зайцем вылетел, тем самым зайцем, которому собака в охотничьей горячке на откинтое из-под куста ухо наступила. Не задерживаясь в коридоре вагона, капитан Олежка наземь по ступеням загремел и в открытое предутреннее пространство вынесся! Так бежал он по пересеченной местности, покуда не споткнулся и не упал в еще теплую золу одного из вчерашних кострищ. Перепаханный в золе и раздавленных угольках, откатился в пожухлую траву, где и затих примерно на полчаса. На полчаса раздумий, догадок, беспощадного самоистязания мысленного. Затем, когда все отчетливей на небе стало проступать утро, поднялся и, ничего не придумав в свое оправдание, поплелся к штабному вагону.

Когда он, опасливо оглядываясь по сторонам, приблизился к своему купе, на языке его вертелась целая лекция, которую он намеревался прочесть «беспринципной незнакомке» (и себе — в том числе), однако, распахнув дверь, никого в крошечном помещении не застал. За исключением вездесущего запаха фиалки...

Главным событием наступившего дня явилась всеобщая помывка. Организаторами бани, ее вдохновителями и осуществителями были старшина Уполовников с фельдшером Померанцем. Первым их помощником и координатором,

обеспечивающим водой, топливом и отчасти оборудованием, самоназначился расторопный немецкий дедушка Алик, Альфред Шумахер, прилепившийся со своим на первый взгляд непонятным рвением к необычному эшелону русских в абсолютно добровольном, бескорыстном порядке.

Его нарядная тирольская шляпка с экзотическим, цвета побежалости, перышком мелькала в невеселой, притомившейся за войну толпе девушек и солдат, словно таинственное, невеста откуда взявшееся существо, способное повергать в изумление отвыкшие от «телячьих восторгов» сердца.

Конечно же, перемыть за один день такое огромное количество людей, причем не в бане городской, а можно сказать, в чистом поле, — дело непростое. Как ни крутись, а главным «компонентом» мероприятия являлась горячая вода. От нее-то и решили танцевать. Нагреть как можно больше воды! А поливать ее на себя, не обязательно черпая из эмалированных тазов или оцинкованных шаек, не смертельно будет и ведерком на двоих обойтись, и просто баночкой консервной, кастрюлькой, котелком солдатским, кружкой, фарой автомобильной, гильзой снарядной — да хоть ты из сапога или галоши на голову себе поливай, было бы что поливать... А мыльце хозяйственное, кусок на четверых, выдано заранее.

Дедушка Алик Шумахер, служивший до войны у местного винокура механиком-машинистом в кочегарке, приспособил для кипячения воды один из уцелевших котлов отопительной системы, воду в который нужно было закачивать ручной помпой (электричеством развалины завода не обеспечивались). На «закачке» стояли хозвзводники Уполовникова, помогали им все, способные двигать «взад-вперед» рукоятку насоса, сменяли друг друга с весельем в глазах, без понуждения и понукания засасывали водичку сперва из местного, запущенного колодца, затем из пожарного водоема, трудиться вдохновенно не один час, пока из пожарного же шланга, прилаженного к выходному отверстию котла, не побежала в огромную солдатскую палатку, то есть непосредственно в «баню», горячая водичка.

Качали и после того, как началась помывка, добавляли в котел прохладную, дабы его не разорвало свистевшим из клапана паром, качали те, кто еще не мылся, а затем и некоторые из «чистых», хотя помывшиеся, как правило,

рассасывались по вагонам и прочим закуткам околобанной территории, стремясь ощутить обретенное блаженство наедине.

Стоял один из последних августовских предосенних дней, теплый, безветренный и даже безоблачный, прогретый сиятельными лучами банную палатку до сносной температуры.

Огромная палатка, в которой при желании, а точнее, по приказу могло разместиться на двухэтажных нарах целое войсковое подразделение, человек до пятидесяти, всех клиентов, мечтающих побаниться за один прием, удовлетворить не могла. За час палатка пропускала человек полтора, в среднем по двадцать минут на моющегося.

Управиться с баней торопились до захода солнца, при его благословенном подогреве, ибо с наступлением сумерек запросто можно было простудиться и вообще остаться без горячей воды. Поди узнай, сколько ее там у дедушки немецкого Шумахера?

Из положения выходили по-разному. Брели воду кто во что горазд, разводили до пригодности к употреблению, раздевались до пояса и прямо возле своих теплушек мыли головы; некоторые мылись, не отходя далеко от палатки, хоть и снаружки бани, однако на защищенной от ветра стороне; большинство из девушек и женщин объединялись в небольшие группы и с визгом, смехом блаженным (на миру и смерть красна!), с прибаутками обрабатывали себя и друг друга. Картина была впечатляющая. Там и тут мелькали совершенно обнаженные, из наиболее отчаянных, тела. Взлетали расшпиганные и опадали намоченные волосы всевозможной длины и расцветки, плескалась вода, чавкало мыло, текло над долиной густое испарение от раскученной, лишенной тряпичной брони плоти...

Взвинченный, раскрасневшийся Померанец разложил на застеленных простынями продуктовых ящиках аптечку и тут же, на скорую руку, обрабатывал всевозможные потертости, струпы и расчесы, попеременно то смазывая их йодом, то прижигая их йодом или зеленкой — на выбор, кому какой цвет более по нраву.

...Сысоев с Епифановым в разгар помывки находились в купе вагона, толкуя о происходящем каждый на свой манер: Епифанов — деловито, удовлетворенно, Сысоев — нервически-суматошно. Капитан Олежка в начале помывки находился среди беженек, помогал затем деду Алику в кочегарке подачу воды наладить, а когда «началось», за-

стеснялся и даже испугался: про него женщины, особенно которые постарше, вдруг совершенно забыли как бы; наступила банная суматоха, и его как мужчину, похоже, не брали уже в расчет: мелькали мимо, в непосредственной близости, почти нагие, разлохмаченные, ведьмopodobные.

А когда из палатки на свет божий вынеслась небезызвестная Ульяна, причем не только без своих пресловутых галифе, но и вообще без чего-либо, тут уж Сысоев Олежка с возмущением прикрыл ресницами глаза и так, сощурившись и одновременно сморщившись комичным образом, кинулся к своему вагону, где и застал утирающего полотенцем свою редковолосую, помытую в офицерском тапике головушку Епифанова.

Теперь сидели в купе у Сысоева и пили чай. Епифанов нет-нет да и выглядывал наружу, в окошко прокопченное, а Сысоев, чувствуя себя провинившимся, хотя и сообразивший, что Епифанов о ночевке непрошеной Ульяны, скорей всего, не знает, вел себя скованно, сидел этак набычившись, разговор с Епифановым поддерживал скупыми дозами слов, а в окошко и вовсе не смотрел, словно боялся увидеть там Ксению, сыгравшую с ним какую-то странную, цетски-жестокую шутку.

— Плещутся девоньки... То-то радость бабонькам! Сто пудов с фигурок своих хлипеньких поснимают. Душенькито и возликуют омытые. Я так понимаю: банька, она не только для телес, но и для духа живого. Взаимосвязь происходит. Особенно ежели с парком! — Епифанов отхлебнул горяченького из кружки, сахарком похрустел. — А ты, что же, Изаныч, головку себе не намылишь, не проветришь? Желаеть, пособлю? Водичы сдам? Ну-кась, я мигом слетаю. Принести ведерко? — приподнялся с дивана, готовый «слетать», замполит.

— Нет-нет! Я недавно мылся... В госпитале. В настоящей бане.

— Когда недавно-то? В мирное уже время? Или на войне?

— Да недавно... Под Ригой. Там такая баня мировая... С сухим паром.

— А здесь почему не помыться?

— А здесь не хочу. Что я, баба, что ли?! Мыться где попало?

— Вот те на...

Ближе к вечеру, когда банное действо подходило к финалу и остатние «девоньки» мылись, уместившиеся целиком в палатке, Сысоев выбрался из вагона, чтобы прогуляться в сторону разъезда для выяснения завтрашнего времени подачи локомотива их составу.

Сысоев нарочно, чтобы никого не видеть, не встретить, прыгнул по другую от банной суеты, нелюдную, сторону вагона и зашагал едва заметной тропочкой к голове эшелона, туда, где еще этой ночью стоял товарняк, сопровождаемый капитаном Бутырским, снявшийся на рассвете и укативший на восток.

Олежка топал уже мимо последнего вагона, когда из-за него вышла мокроволосая Ксюша. В руках ее поблескивал алюминиевый гребешок.

— Постой! — крикнула. — Может прогуляемся, капитан Олежка!

— Не зачем, — отвернулся от ее насмешливого лица Сысоев.

— Ну, и не надо. Я, может, тоже обиделась... — договорила глухо, как бы не разжимая зубов.

Сысоев взметнулся с тропы к насыпи, к стоящей в колее Ксюше. Схватил ее за руку, потащил обратно, вниз к тропе. И так, не размыкая рук, вначале довольно скользя, деревянным шагом повел девушку в сторону разъезда, на ходу «допрашивая» ее, полусерьезно.

— Почему не пришла?

— Пришла.

— Почему не ты?! Почему эта? Почему?

— Оксану вспомнила твою. Вот и не пришла. Не люблю занятые места.

— А почему тогда... эта, ну, которая твоими духами пахнет?! Фиалкой?

— Побрызгала я на нее... Вот и пахнет. Попросил человек, разве откажешь? К тому же и не духи вовсе, а туалетная вода.

— Значит, сговорились? Зачем она ко мне пролезла? Неужели, как ты, ночью по крышам прыгала?

— Запрыгаешь. Значит, понравился ты ей.

— А почему, черт возьми, она?! Я тебя ждал...

— Пошутить нельзя?

— Потешаешься? Разве тебе так весело? Дать бы тебе! Ну, смотри у меня, Ксения! — схватил за вторую ру-

ку неумело, притянул плотно к себе, губами обиженными, надутыми в лоб ее чистый, теплый уткнулся.

— Капитан Олежка, Сысоев, милый... Почему ты Зиновия не ударил? Ну, того, бешеного капитана? С ехидными глазами? Хватит об этом говорить.

— Ему и так хорошо... Коленом к земле прижали. Разве мало?

— Надо было врезать. На прощание.

— Зачем?

— Ну, тогда сказать ему что-нибудь позакovskyристей! Плюнуть вдогонку! Таких осаживать необходимо. Иначе он тебя за человека считать не будет.

— Будет. Одумавшись. А не будет — и черт с ним. Лишь бы ты считала. За человека.

— Я тебя, Олежка, очень считаю за человека. Так и знай.

21

Великое наше переселение из северной столицы в Зотов произошло в первые теплые, уже бесснежные денечки апреля. На жительство стали у Елифанова, в двух пустующих комнатах его большого бревенчатого пятистенка с мансардой. Могли, правда, и при заготконторе обосноваться. Тамешний домина еще больше. Имелась в нем и комната приличная на втором этаже. Но, что ни говори, казенное помещение, оно и есть казенное, нежилое. Дух у него не тот. Настоя житейского нету. А дом без домового — не дом, а казарма, гостиница, проходной постоялый двор. Вот и согласились на елифановских метрах проживать. С преобладающим удозольствием и благодарностью. Свой человек, он и есть свой. Близкий. Правда, близость наша с ним на расстоянии проживала... и как оно пойдет сейчас, в смысле совместного проживания, неизвестно: Успокаивало одичавшего в холостяцкой жизни Сысоева одно обстоятельство: из комнат, которые занял он с Викторией, имелся свой выход во двор. Елифанов же в свои комнаты попадал с «парадного» крыльца.

Внутренняя дверь, соединяющая обе половины избы, в данный момент была заколочена и оклеена газетами тысяча девятьсот тридцать девятого года, а поверх газет — еще и неразрезанными фантиками, листами типографского брака, с забавными изображениями довоенного производства различных сортов конфет: «Шантеклер», «Сливочная

тянучка», «Но пасаран», «Чно-чно-сан», «Мишка косолапый» и тот же «Мишка», только уже «на Севере»...

Короче говоря, устроились мы хорошо. Я в заготконтро обосновался, Виктория — дома. В ожидании дитя. Лето прошло под знаком рождения Вани. Все-таки Ваня родился, не Маня. В Зотове приличная больничка. Родильное отделение — каменное, в два этажа. Вокруг — садик. Воздух чистый. Потому как огромное рядом пространство водное — озеро Светлое. Ни тебе фабрик-заводов, ни бензина отработанного, только волны да изредка моторка возле берега затарахтит и, вдаль устремившись, затихнет.

Волнений, связанных с появлением на свет божий сыночка, хватало. Во-первых, непривычно. Ни я, ни Виктория до сей поры ничего подобного представить даже не могли. И вдруг — натуральным образом — живой Ваня, сынок! А мы со Скоропадской — родители... Руки трясутся... Ребеночка берешь, как мину неразряженную, с секретом. А в доме — писк, крик, суматоха! Елифанов-Супик на цыпочках ходит, языком щелкает от удовольствия, что в его доме жизнь человеческая продолжается; речи его целиком и полностью стали состоять из уменьшительных слов: «Ванечка», «лапочка», «кашка», «богатырек», «ангелочек писаный». А сам «ангелочек» и прее, и потеет, и животик у него в резях, и сыпь всякая разная. Хорошо еще молоко у Виктории не пропало, имелось. Свое, не покупное. И всякие там материнские нежности тоже при ней были: и «гули-гули», и «агу-агу». Откуда что взялось? Курить она бросила, как только мы в Зотов передислоцировались, месяца за три до рождения Вани. И хорошо бросила; удачно, то есть напрочь.

И еще одно обстоятельство веселило мне сердце: ни разу с тех пор, как мы город на городок поменяли, ни Фантомас, ни Бутырскин, ни одна тварь посторонняя, вредная о себе не напоминала. Даже больше: год и три месяца.

Сейчас, когда я пишу эти строки, на дворе июль, и нашему Ване завтра один год исполнится. Праздник! Отмечать будем. Елифанов с ночи в рыбные, ему только известные, места на моторке ходил, судаков-лещей из водоема порядочное количество извлек. Скоропадская жарит-фарширует. В доме земляничным вареньем пахнет. Пироги рыбные, а также с ягодами затеваются. Ваня первые шаги по елифановскому древесному замку делает. Притопал я

из конторы, нескучный, жадный до семьи. Ваню к потолку, потом к сердцу! В курносину «великолуцкую» чмокнул парня.

— Знаешь, Вйка. Пока ты вкуснятину свою стряпаешь, я с Иваном Олегычем на озеро в коляске съезжу. Освежмся малость. Жара — не продохнуть...

— Ступайте. Ваню в воде долго не держи. Дело к вечеру.

Посадил я наследника в коляску удобную, в такой стульчик на колесах, и покатались мы по деревенскому тротуару деревянному вниз, к набережной, к большой воде, на ее запах бодрящий.

Купающихся в Зотове — единицы; так называемого пляжа в городской черте нет. Есть старинная, времен Ивана Грозного, дамба насыпная, отгораживающая от озера полосу «тихой» воды, а точнее, образующая затон, больше напоминающий канал. На дамбу через канал ведет подвижной пешеходный мост плавучий. Там, с внешней стороны дамбы, и купайся сколько влезет, только в сторону подалее отойти, потому как здесь, в черте города, напротив моста, кое-где из воды торчат разрушенные волной и временем остовы разнокалиберных «плавсредств» — от деревянной баржи, ощерившей ребра-брусья над поверхностью озера, от допотопных, рыбацких стругов и прочих любительского изготовления нестандартных суденышек до конструкций из металла и пластика, — так что купаться рекомендовалось возле правой оконечности мола, отстоящей от «гавани» метров за пятьсот. Туда-то мы и направились.

По гребню дамбы, в основу которой пошли когда-то огромные валуны и валунчики поменьше, намертво обнявшиеся друг с другом, проходила вековая, не стираемая непогодами тропа, словно сточная канавка на лезвии клинка. Легкий ласкающий ветерок шевелил Ванины белые кудерки. На ближайший от нас серый валун выступающий из воды, чистый и гладкий, отшлифованный ветром, льдами и волнами, села бодренькая трясогузка, серая, в белых, снежных пометинах, так вот вся и танцующая крошечным тельцем, словно игрушка заводная. Ваня увидел птицу и благодарно ей улыбнулся. Так весь и просиял навстречу крылатой малявке.

Из воды, высоко поднимая ноги в ластах, выходил молодой мужчина мускулистый, то и дело приседающий на оклизлых камнях, усеявших дно озера возле насыпи. На

лице купальщика-ныряльщика оставалась неснятою маска для подводного плавания, такая с трубочкой для забора воздуха. Почему он ее не снял, выходя из воды? На такой-то жаре через трубочку дышать? Кому это надо?

Сей незначительный штришок в поведении незнакомца меня и насторожил. Моментально в повадках «плавунца» почудилось мне что-то знакомое. Что-то нехорошее, нежелательное для меня; какая-то настораживающая нарочитость выпирала из вынырнувшей фигуры и моментально состоянием моей психики завладела...

Фантомас! Стало быть, продолжается наша печаль. Не отпустила хворобушка, выражаясь языком Супика, не успокоилась, не смирилась с потерей чемоданчика изолированная душенька Бутырскина. Настигли, объявились даже здесь, в захудалом, тусклом Зотове. Ладно. Хорошо. Делать нечего, будем за счастье свое бороться. Не привыкать нам под таким нетускнеющим лозунгом во весь рост разгибаться и на врага, сомкнув ряды, а также губы, врукопашную идти. Благо есть, за что разгибаться. Благо счастьешко белобрысое из коляски на мир лазоревый, ликуя откровенно, посматривает!

И тогда обращаюсь я к замаскированному Фантомасу со словами, полными укоризны и справедливого гнева.

— Послушай, — говорю, — Фантомас-Карабас... Или как там тебя, нехристя, мама-женщина поименовала в свое время... Скажи ты мне, откройся: ну, кто ты такой на земле есть?! Что за создание? Понять мне тебя необходимо, парень. И прежде всего узнать: можешь ли ты, как все люди добрые, скажем, улыбаться? А плакать? Песни петь? В глаза вот этому кристальному существу безвинному смотреть? Ну-ка, милоч, разуй образину. Да не бойсь, не сфотографирую, даже не плюну. Просто любопытство берет: как ты не в городе каменном Питере, а здесь, у чистой воды, под натуральным солнышком, возле сыночка моего смотришься, выглядишь?

И вдруг слышу гнусавый ответ, донесшийся, словно из погребка — из-под маски пловца.

— Вы ко мне, что ли?

— Да, да... Именно к вам! Прямиком!

— Тогда считайте, что обознались, — и маску с лица вверх к волосам задирает. А лицо — чужое. То есть незнакомое совершенно. И потное, красное. Однако — не злое. — Я поначалу решил, что не ко мне. Потом, что заговаривает

тесь. Ну, там... выпивши человек, или припекло. А теперь вижу: обозначились. Бывает... — И опять маску на лицо — хлоп! — и на брюхо ложится, а затем — юрк! — скользит меж двух валунов огромных и мимо них на глубину уходит. Должно быть, раков ловит. А я, напичканный соками семейного счастья, гордостью запоздалой отцовства и, естественно, страхом за сохранность всего этого, — обладатель радости безмерной, выходит, что принял я постороннего человека за ненавистного в нашем семействе лиходея, за химеру злоторную, сочиненную моим воображением в связи с исчезновением пресловутого чемоданчика.

Епифанову про терзавший нас мифический чемоданчик хотел я поведать сразу же по переезде на жительство в Зотов, однако Виктория упросила меня помолчать временно, о ее туманном прошлом не распространяться, а значит, и обо всем, что с ним связано, языком не шуршать... Но миновал год, пережили зиму, к весне наши мысли, а также ощущения пришли в некую стройность, размеренность, и я, с согласия Скоропадской, рассказал Епифанову о постигшем меня счастье: подробнее, нежели рассказывал про это прежде, в письмах, и устно, за чаем гостевым, начиная с дождливой встречи на лавочке сквера, где у меня Скоропадская огонька попросила, до катания с Фантомасом в лифте на Карташихиной.

Епифанов, теперь совершенно лысый, с этакой «зубной» щеточкой седеньких и редких усов, с несколько раскоряченной, кавалерийской походкой, в каких-то военного образца галифе и сапожках на все еще крепеньких, хотя и деформированных ногах, утицей, вперевалочку закрипел по гулким, с облезшей краской половым доскам своей комнаты. Было заметно, как близко к сердцу принял он рассказанное мной и как хотелось ему, вчерашнему учителю, нравственному судье зотовского захолустья, что-то немедленно предпринять, не оставлять отшумевшие, а вернее, притихшие события в их исторической неприкосновенности, а дать им ход совершенно обратный ходу, заданному Бутырскиным-Фантомасом, то есть в направлении справедливости.

— Вот говорят — мир тесен, хотя нет ему пределов, в любую сторонущую; куда ни махни рученькой, пространство необозримое: хоть мыльен лет в ракетке проводи — до

края не долетишь. Не тесен мир, а чудесен! И каждое направление жизненное задано штурманом заранее. Суждено тебе с каким человечком трассами пересекнуться — обязательно ваши с ним пути-дорожки повстречаются. Стало быть, встреча сия необходима вам обоим и заранее как бы запланирована для выяснения главной жизненной правды, для воспитания душеньки в надлежащем ключе. Да-а... Какой-то Бутырский Зиновий, а поди ж ты, не отпускает. Говоришь, в капитанском звании был? Как и мы, грешные?

Супик довольно проворно развернулся на сто восемьдесят, как по команде «кр-ру-у-гом!», и со всевозрастающим возбуждением побежал по дому, против движения часовой стрелки.

— Нет, не припомню... Фамилиишки такой никогда не слышал. Про Фантомаса от соседских малолеточек в свое время доносилось. Как и про Тарзана... Говоришь, в эшелоне том, женском, познакомились?

— Он был сам по себе, мы — сами по себе. Просто в одном направлении следовали. И жуткий он был охотник до женского полу. Вот и прилип на одном разъезде к нашему народу. Сам-то он технику сопровождал. Баню помнишь? Помывку всеобщую в поле?

— Баньку-то?... Еще бы! Как ее, беспримерную, не помнить?

— А ликер бенедиктин у костра?! В канистре? Которым он улащавал-веселил?

— Вот теперь, кажись, всплывает... Ехидный такой офицеришко, остроносенький! Зубками все шелкал. Будто укусить норовил, хорек.

— Он самый. Цыганистый, верткий такой. Как та иголка, пронирыливый. Не удержать — ни руками, ни взглядом-зрением. Ликер-то у него конфисковали...

— Да неужто?! Вот это правильно, не лезь, не разлагай! Знал, проворный, с чем к женской душеньке подступит: ликерец раздобыл, сообразил!

— Вот именно... Тогда ликерец, нынче — чемоданчик с начинкой.

— Необходимо тебе, Олеженька, срочно про тот чемоданчик заявление в органы сделать. Садись и пиши. Зачем тебе ноша такая?

— Так ведь нету ее, ноши! Кабы была. Взял да и отнес. Сразу гора с плеч.

— А ты и отнеси ношу-то, — будто не понимает моих

откровений Супик. — Грузик тяжкий, в сердечный для тебя страх обратившийся, и отринь! Сбагри! На кой те лядвила такая посторонняя?! В органах разберутся. Там не такие подарки получали да разворачивали. И твою горячую кашку расхлебают.

Написал я подробное письмо в Ленинградский уголовный розыск, от своего имени и за подписью Скоропадской. На шести тетрадных страницах едва уместил историю своего любовного зигзага жизненного, связанного с обретением семьи, а также с возникновением легенды о криминальном чемоданчике.

ждать результата не стал. Быстренько так отвернулся от

Написал, в ящик опустил (необходимый адрес Епифанов в местном райотделе для меня раздобыл). Опустил и всего, изложенного в письме, и насущной жизнью зажил, благо она у меня весьма насыщенной с некоторых пор сделалась, и прежде всего — через Ваню! Ваниной жизненной линией озабочился. И, если не считать моей комической промашки, приключившейся на зотовской дамбе, на молу приозерном, когда я невинного человека за хулигана Фантика принял, а также возобновленных поисков в себе забытого слова, которые вспыхнули во мне после просмотра очередного беспокойного сна, почему-то отчетливо отпечатавшегося в мозгу, в памяти моей суетливой, если не считать вышеназванных отклонений от курса, жизнь моя, семьи моей вошла в прочную колею и обещала много неизведанных радостей. Рассказывая ниже про увиденный и незабываемый, запечатлевшийся сон, преследую цель исключительно частного порядка, ибо надеюсь, что, рассказав об этом сне на бумаге, постараюсь попутно и забытое слово за жабры ухватить! Ухватить и от сердца своего заботушку сию вежливо отбросить... Потому как достаточно. Напоминался, аж в мозгах рябит.

А сон приснился вот какой.

Незнакомая местность. Ложбинка открытая, не защищенная ни деревьями, ни буграми; ни камня вокруг приличного, ни пня хотя бы трухлявого поблизости. Впереди, по ходу моего движения, — а я таки твердо знал, что необходимо именно идти, чего-то достигнуть, проскочив эту ложбинку, — так вот, метрах в двадцати от меня, лежащего на белесой, выгоревшей осенней траве, торчал единственный кустик желтоперый, неизвестной породы растение —

то ли мирт экзотический, то ли лавр субтропический, а может, и попроще что, с наскоку, тем более во сне, не определишь. Образование не позволяет.

И валяюсь я таким несерьезным образом, потому что допинка эта или ложбинка, как хочешь называй, простреливается насквозь неизвестным мне снайпером, ясное дело — немецким, который на краю горизонта, доступного моему лежащему глазу, на высоком дереве сидит и меня, слившегося линиялым цветом гимнастерки и штанов с цветом сивенькой травки, на прицеле держит. Ждет, когда я пошевелюсь, чтобы пулю в меня послать. Один раз он уже стрелял, когда я в полный рост двигался. Сбил с моей головы фуражку пулей, так что головной убор аж на пару метров отлетел. Полет пули, которая тебя коснулась, заранее не расслышишь. Поют или ноют, визжат только пролетные, только те пули, которые миновали тебя стороной.

Фуражку он с меня скovyрнул благодаря тому, что задрал я ее на голове вверх, к затылку, чуть ли не стоймя поставил, от жары дневной августовской безветренной спасаясь. Руки, помню, заняты чем-то... Наверняка оружием. Или еще какой фронтовой кладью, а хоть бы и котелком с кашей. Вот я и задрал фуражечку, вздыбил ее, так как снять с головы и нести занятыми руками не мог.

Шпокнул он меня по фуражечке, я сразу сориентировался, смекнул, что кто-то голову мне продырявить вознамерился. Упал тотчас плашмя и бревном лежу. Пять минут лежу, пятнадцать... Полчаса. Впереди моего лица моя же рука с трофейными часами — черный циферблат с зелеными фосфорными числами — лежит, время показывает. И секундная стрелка невозмутимо круги свои магические описывает. Муравьи, чуя, под гимнастерку и в штаны пробрались, по голому телу горячему взад-вперед бегают. А некоторые из них, запутавшись, прижатые складками одежды, пускают в ход свое жгучее оружие химическое, жидкое, бессовестно так сикают мне на кожу. Лежу. Ни-ни. Даже губ не размыкаю. Очень жить хочется. Вдохновенно лежу, в полном молчании, хотя и в здравом уме. И вдруг начинаю мысленно к тому снайперу жестокому, беспощадному не с мольбой, а как бы с нотацией обращаться, внушая ему.

«Эх, дядя, — говорю, — почему ты такой нехороший,

неумолимый, фашистский такой? Опомнись. Я ведь не заяц, не волк, даже не обезьяна. Где-когда учили тебя, Ганс, в твоей Германии, что человека нужно обязательно уничтожать? Человек землю украшать, города разные красивые строить призван, машины изобретать, картинки красить... Опомнись! Разве ты забыл про все, природой нам заранее отпущенное, как вот зрение, нюх, слух и прочие радости земные? И милосердие в том числе.

И тут меня особенно яростно ожег какой-то свирепый муравей, и решил я... подняться. Невтерпеж стало. Плевать, думаю, стреляй, Ганс, ежели не расхотелось. А мне тут лежать неважно больше. Моченьки нету. Затекло мясо мое на костях, сомлело, кровь в жилах сварилась, остановилась почти. Всё! Ша... С меня довольно.

И поднимаюсь себе торчком. И кое-как стою, ловя приближение пули всеми нервами, каждым волоском на голове. Однако — тишина. И ничто по голове или куда пониже не ударяет. Замер. Пуле прежней, лежащей неподвижности, стоячую неподвижность соблюдаю. Не стреляет. «Отчего бы, — думаю, — так? Почему, гад, с пулькой своей медлит? Неужели за манекен меня принял? За отвлекающую куклу? Боятся, что на манекене лишним выстрелом себя обнаружить может? А ну как его уже... сняли? Наши снайперы? Или перекусить, позавтракать он надумал?

Размышляю так, а пошевелиться заставить себя не могу. Каменной бабой торчу. И вдруг какая-то сила подбрасывает меня с места, и я удивительный прыжок совершаю. В длину. Метров на десять! Мировой рекорд устанавливаю. А затем и второй прыжок делаю. И вот я уже под кустом. Оказалось, хлипенькие побегі березнячка молодого, родименького, расейского. И в самом центре куста — заяц. Рыжий такой, с желтыми глазами Зиновия Бутыркина, мелко-мелко шкуркой подрагивает. Губки серенькие открыл, мякоть, два желтых зуба-резца обнажил, выпятил как бы в усмешке ехидной. И вдруг скрипучим голоском заявляет: «Милосердия захотелось? А бенедиктин не желаешь, старый дурак?»

Товарняк бросало на стрелках, и пугливый керосиновый огонек на увернутом до минимума фитиле «летучей мыши», казалось, вот-вот сорвется с места, чтобы исчезнуть в густом беспросветном пространстве вагона. Боль

шинство из обитателей теплушки уже забылись молодым, хотя и неверным, исковерканным, тряским сном. Где-то, в дальнем от Ксюши углу вагона, на другой его половине, с верхних нар доносился едва различимый шепот каких-то неугомонных подружек. Иногда в грохочущую тишину мчащегося обиталища вонзался чей-то сонный крик или всхлип, дикое, пугливое бормотание. Кто-то в забытьи переворачивался с боку на бок, тревожа соседей, и на какое-то время в полумраке вагона возникала короткая перебранка. Несколько женщин спали, по-мужски всхрапывая, но к этим звукам уже привыкли, как к подвагонному колесному гулу.

Миновали Германию и сейчас катились по земле, все отчетливей напоминаящей Россию: польские мелькавшие рощицы берез, лошадка, запряженная в телегу, босоногие дети с голодными глазами и просыпающимися улыбками на скорбных губах, робкие взмахи ребячьих ручонок вслед поезду...

Приподнявшись на нарах, Ксюша привычно окинула спящих товарок дерзким взглядом, вызывающе прищурилась, готовая к ответу на любой бесцеремонный вопрос. Однако никто ей не перечил, никому до нее не было дела — спали... Во всяком случае, хотели спать. И тогда Ксюша откинула вентиляционную крышку бельгийского пульмана. В вагоне стало чуть свежее и громче. Ксюша скользнула на крышу, распластавшись на ней плашмя, и тут же хлопнула отверстие.

Ночь на крыше была краше и тревожней, нежели внутри помещения. Кой-где в пространстве можно было разглядеть живые огоньки, да и небо над землей висело, не сливавшееся с земным мраком; было оно хоть и занавешено облаками, однако сбежавшее за горизонт солнце оставило в нем как бы испарение света...

Ксюша знала, не раз ее предупреждали уже и соседки по нарам, и Сысоев о том, что передвигаться ночью по крыше необходимо, держась вплотную к поверхности поезда, голову высоко не задирать, ибо в ночи, особенно теперь, когда после недавнего фронтового развала на железных дорогах и огни оповещения не все зажжены, и некоторые конструкции покорежены и прежних габаритов не имеют, а значит, запросто можно приложиться о какой-нибудь мостик пешеходный, об эстакаду провисшую или еще о какие притаившиеся в ночи «сюрпризы».

Еще в первый свой «бросок» из теплушки к мягкому офицерскому Ксюша ползла по усыпанному гарью крышам, высоко отжимая грудь в белой шелковой кофтенке, боясь одновременно испачкать одежду и трахнуть головой... И неизвестно, чего больше боялась?

Сейчас она пробиралась к Сысоеву, одетая в серенький штопаный свитерок и тяжелую, шинельного сукна, юбку.

Три раза на ее пути возникали, казалось, совершенно непреодолимые препятствия: гремящие рельсовой сталью межвагонные просветы, повергающие в панику, едва различные провалы в жестяной ленте крыш состава. Каждый раз перед очередным прыжком Ксюша с минуту держалась за трубу вентиляции, набираясь решимости, а также до рези в глазах всматриваясь вперед, предугадывая расстояние до выступа следующего вагона, стараясь убедить себя, что в момент прыжка, когда она распрямится, над поездом не повиснет железная, каменная или деревянная (не все ли равно?) рука смерти. И разгибалась, и пружинисто отталкивалась от пройденной крыши, врубалась в свистящий встречный воздух. И перелетала эти жуткие полтора метра не закрывая глаз. И несся в лицо остывший, погребного настоя воздух, гарь из трубы паровозной под веки забиралась, язвя зрачки; радость удачи подбрасывала сердце чуть ли не до самых облаков, склонившихся к земле. Затем, после третьего прыжка, металлическая лестничка с крыши, к ступеням сысоевского вагона. Ключ, вынутый из-под свитера, обтянутого поясом юбки. Поворот трехгранника.

Они лежали теперь, каждый на своем диване, лицом друг к другу... На столе, на промасленном пергаменте лежал хлеб, тут же сало, нарезанное продолговатыми брусочками, помидоры огненные, огурцы свежепросоленные, яйца лушенные, пяток ароматных яблок. Поодаль — банка тушенки, круглая коробочка немецкого шоколада. Чай был уже выпит. Два тонких трофейных стакана, с кружевным, «морозным» узором на стекле, деликатно позванивали, соприкасаясь.

— Скоро домой приедем, Ксюша. Хочешь домой?

— Уже не хочу. Нет, хочу, конечно! Только боюсь.

— Кого тебе, чумушка, бояться? Ночью с вагона на вагон прыгаешь! Испугаешь тебя...

— Себя, Олечка, боюсь. Своих сомнений... Не приживусь я теперь дома. Так мне кажется. Меченая, стриженная... Заем себя поедом.

— Кто про тебя знать будет, про твои в Германнии приключения?

— Я. Понимаешь, постоянно буду знать, помнить и казнить себя. И не убежишь... От себя-то. И любить не смогу. Никого! Все мои силенки на доказательство уйдут... Доказывать буду, каждой курице встречной, что я—честная... советская! Что я любила и люблю... только свою Родину! Как маму!.. — выкрикнула Ксюша последние слова истерично и рот себе ладошкой прихлопнула, застеснялась. — Прости, Олечка... капитан. Наверно, Епифанова разбудила...

— Не страшно. Сулик — свой человек, — прошептал Сысоев, ласково проведя ладонью по Ксюшиной голове.

— А Померанец? Чужой?

— Нормально. Фельдшер ночью спит. У него снадобья всякие имеются. Примет, и хоть из пушки лупи!

— А... почему ты, Сысоев, правду мне... не рассказываешь?

— Я спал... вон там, на полу.

— Это утром. А ночью? До того, как ты лег на пол? Сознаясь, ты ведь тогда решил, что я пришла? Запах духов.

— Вот, вот! Даже не сомневался, не принюхивался. Я тебя ждал. Вот здесь сижу, ожидаю. В темноте. Потом, чуя, дверь отошла. И тыходишь. И сразу на свободный диван кидаешься. Будто сто верст прошла, устала. Я даже подивился, что молчком. Шепчу тебе: Ксюша... и так далее. А ты молчишь. Ну, я и поцеловал! И еще подумал: выпила небось для смелости. Этого самого... бенедиктину. Вот и сморилась... Вот и лег на полу...

— И все же ты на полу очутился? Неужто Ульяна так вот и взъерепенилась ни с того ни с сего? Не верится что-то.

— А потому и взъерепенилась, и прогнала, что я ее... Ксюшей назвал. «Ксюша, Ксюшенька, радость моя!» Любому доведись — заведется от зависти. Словами тебя трогают, а сердцем — не с тобой. Ты это от меня хочешь услышать? — зло спросил он. — Поверь же, ничего не было...

— А я, капитан Олечка, с Бутырским поближе познакомилась. Ужас какой дерзкий дядечка! Танцевал со

мной в поле под музыку кузнечика. И под кваканье лягушек. Чуть от поезда не отстала. Вот! С его товарняком чуть не уехала.

— Врешь.

— А ты не врешь?

Наступило тягостное молчание. Сысоеву хотелось накричать на Ксюшу и даже обругать ее как следует! «С Бутырским чуть не уехала! Может, разыгрывает». Сейчас даже необдуманное, механическое упоминание фамилий неугодного сердцу человека будило в Сысоеве злость небывалую, неизведанную, нечистую, именуемую в романах ревностью.

И вдруг Ксения как-то не так заговорила, иначе, чем прежде, будто в беспамятстве бредить начала. Вполголоса. Потом уж Сысоев догадался, что Ксюша стихи читала... Олечка от неожиданности весь напрягся, будто его огоньком лизнуло.

Вы любите себя,
а я люблю траву.
Попала к вам сюда
случайно — и живу,
как капелька росы,
как облака слеза.
Светлей моей любви
лишь сами небеса!

— Нравится?! Нет, конечно. Капитан Олечка стихов не любит. Он любит... Оксану. Или Ульяну?

— Не надо... Читай лучше стихи. У тебя складно выходит.

— Складно говоришь?! А ты знаешь, капитан, зачем они, стихи? Это чтобы в сердце боль гасить. Когда изнутри по тебе топчутся. В сапожищах. А пожаловаться некому. И нечем: голоса твоего не слышно. Комар жужжит — слышно, а ты кричишь — никому до тебя дела нет! А стихи — для себя, Олечка... Для своего слуха — себя слушать. Все легче: хоть сама себя выслушаешь. А тебе их читаю, потому что нет меня в мире больше! Вся к тебе перебралась в эту минуту.

Нас война, будто ночь, ослепила!

Я еще никогó не любила...

Никого не ждала, никому не клялась.

И «немецкой овчаркой» еще не звалась.

...Нас в неволе, как божьих овечек, стригут.

«Поклонись! — говорят мне. — Смирись. Будет гут!»

В небе солнце сияет, а в сердце темно.

Мне тебя никогда полюбить не дано.
Где ты есть на земле? Приходи, не робей,
поцелуем своим беспощадным убей.

— Нравится? Да ты никак загрустил? Капитан Олежка? Вот, смотри сюда... — Ксюша задрала рукав свитера. — Меточка. Лагерная. Метили, чтобы, значит, навеки им принадлежать. Так куда ж это я еду? Принадлежащая им?! Воровство получается! Себя краду у Блюмельши. За это по головке не погладят. Немцы ох как не любят воровства...

После Ксюшиных стихов сидели молча минут десять. Сысоев боялся ее боли, полыхнувшей стихами наружу из невеселого Ксюшиного прошлого. Ему сейчас нужна была девушка бодрая, светлая, зажигающая смехом, не страданиями незримыми. Однако же Сысоев и оттолкнуть от себя откровенно обиженную Ксюшу был сейчас неспособен. Он казнил себя за бессердечие. Он не был злым от рождения, этот Сысоев. И потому он, как это бывает изредка с непьющими, когда их всем столом начинают уговаривать сделать хотя бы один глоток, не устоял, сделал, всем существом содрогнувшись, в угоду чужой боли, чтобы она малость приутихла, сделал, глотнул, пригубил...

Потом они лежали — и вовсе уже как бы чужие. Отброшенные друг от друга неосмысленным порывом далеко-далеко...

— Женился бы ты на мне? Ну хоть из жалости?

— Женился бы...

— А не из жалости?

В это время машинист состава экстренно затормозил. Сысоев посунулся на Ксюшу неловко, задел ее локтем в грудь, довольно ощутимо. Со стола туда же, на девушку посыпались куски хлеба с салом, банка тушенки накренилась, стаканчики пискнули... Ответить Ксюше на ее последний вопрос Сысоев не успел. А сделать это потом, когда движение поезда выровнялось, было уже как-то неестественно. И капитан Олежка промолчал.

Ксюша выбралась из купе после того, как явственно расслышала забавное, невзрослое посаивание уснувшего Сысоева. На пергаменте, заменявшем салфетку, карандашиком, обнаруженном в планшете хозяина купе, Ксюша написала вслепую, на ощупь вода по бумаге рукой: «Прощай, милый капитан Олежка. Живи весело. Желаю тебе

повстречать свою Оксану. А главное, полюбить ее. Ксения».

Она выбралась на крышу сысоевского вагона и долго лежала вниз животом. Плакала.

Потом она распрямилась задумчиво и... прыгнула. На крышу соседнего вагона. Ветер подхватил ее, толкнув левенько в спину. Перемахивать с вагона на вагон в направлении, обратном движению, было несколько проще, сподручней как бы. И тут Ксюша отметила про себя, что не кланяется больше вагону, не прижимается к гудкой, прогибающейся под ее ногами жести, стоймя бежит по гремящим крышам, держась прямо, словно над Невой по Дворцовому мосту спешит. Она уже давно миновала свою теплушку и сейчас, все так же в полный рост, распрямившись, застыла недвижно где-то перед концом эшелона, вагона за три до обрыва, где только незримые рельсы да шпалы пахучие, просмоленные, летящие назад, да завихряющийся воздух ночной, да огонек красный на тормозной площадке последнего вагона.

Ксюша резко повернулась лицом на ветер, который мгновенно высушил ее слезы. Бесстрашно, с глухим отчаянием и детской обидой смотрела она в пространство, туда, в едва заметную просинь вызревающего исподволь рассвета, куда уносил ее поезд, этот железный змей, эта равнодушная многоножка, раскачивавшая свои сочленения, набитые живой, человеческой плотью. Не признаваясь себе, в последнем, отчаянном смиреннии поджидала удар долгожданный, спасительный, неизбежный, который ощутила как начало бескрайнего, беспечального всепоглощающего полета. Боли не было.

Утром, когда ее хватились на стоянке, Сысоев, поднявшись на крышу вагона, сам прошел по всей длине состава и на одном из последних вагонов, на жестяной с облупившейся краской кровле, обнаружил несколько капель крови. Уже залекшейся, как бы ледком схваченной, обветренной и осыпанной пылью шлачной. Он и прошел бы равнодушно мимо этих пятнышек, но не сейчас, когда искал их, не надеясь найти... И пальцем потрогал одну такую припорошенную капельку. А потом, поднеся к глазам палец, хотел закричать. Но сдержался. Не пожелал привлекать внимания посторонних.

В купе он тогда сразу же достал флягу со спиртом и, как говорится, не целясь рванул тонкий стакан неразбавленного.

Потом его долго успокаивал Епифанов, возился как с дитем малым... Сам, без участия Сысоева, составил акт на несчастный случай. За многими подписями... не очевидцев гибели, их не было, очевидцев трупа.

Тело девушки, за которым ездили на пристанционной полицейской машине Епифанов с Уполовниковым и Померанцем, обнаружили в сорока километрах от станции — под насыпью, в старой, отжившей траве. И здесь же, на станции, на маленьком чужом католическом кладбище, предали земле.

Вечером, ближе к ночи, в дверь Сысоева постучал Епифанов.

— Пришел с тебя спросить... За погибшую девочку Ксюшу. Душеньку загубили. Теперь давай-ка мы с тобой разберемся: кто виноват?

— Я виноват. Ко мне приходила. Вот и весь разбор.

— Ты ее к себе того... звал? Сюда, в купе? Заманивал?

— Нет... Сама. Да чего там! Какая-то она была не такая... Шибко нервная. Из интеллигентных. Вдобавок — мнительная. Германскую неволю, как дурную болезнь, в себе носила.

— Ты что это городишь, капитан? — Епифанов фуражку со своей головы снял, резко, напрочь отбросил на диван. — Какая такая болезнь?! Она... раненая была! Ужаленная. Гадом фашистским. А ты... что же ты такое о славной девоньке плетешь?! Наблюдал я за ней. Горела... изнутри. К тебе вот потянулась. А ты... Эх, парень! Недозрелое у тебя сердчишко. Зеленое. Твердое еще. И вообще — сероват с хвостка!

— Это как же понимать? — очнулся от печали-раскаяния Сысоев, готовый вновь постоять за себя.

— А так и понимай: сероват! Зверек в тебе, под котенка замаскированный, сидит, хищничек необузданный. И вообще, как бывший работник народного образования, скажу тебе: плохо начинаешь. Невнимательно... В смысле взаимоотношений с миром. Хотя опять же — что с тебя возьмешь? Мальчишка... Шпендрик. Это ежели по сердечной части. По гражданской линии — тут другое дело. Тут ты, можно сказать, старец: страшную, длиною в ужасную войну жизнь прожил. И мне тебя жалко, парнишечка. Похорошему печально за тебя. И — радостно! Что живым выбрался...

Миновал еще один год нашего проживания в Зотове. Маленькому Ване второй день рождения отмечать предстояло. Он уже твердо держался на своих двоих, разговаривал сносно, знал такие телевизионные слова, как «животноводство», «космонавт», «продукты питания», «война», «на пенсию». К примеру, загляну я к Ване в детсадик в обеденный перерыв (Виктория в Доме культуры библиотекаршей сидела), возьму сынка за руку, суну сероглазому в другую руку леденец на палочке (местного изготовления), а Ваня с серьезным видом и спросит:

— Папа, а тебе на пенсию скоро выходить?

— Скоро, — отвечаю. — Почему тебя этот вопрос интересует?

— А меня с собой возьмешь? Я тоже хочу на пенсию выходить.

— Хорошо, — говорю, — завтра съездим. На моторочке.

Назавтра — выходной. И мы всей семьей к Никандрову бывшему монастырю, что на острове Добром, подаемся. Остров, еще недавно чистенький, не затоптанный, сейчас, с возникновением модного крена к почитанию всевозможной старины, в том числе и всякой ее разновидности, заметно захламился привозными с «большой земли» бутылками, банками-жестянками, полиэтиленовой пленкой, бумагой и прочими плодами цивилизации. Развалины старого монастыря одни фотографируют, другие срисовывают, третьи — подрывают кирками-лопатами, что-то высматривая, вынюхивая, выщупывая.

И тут причаляю я моторочку к мосткам прогнившим, полуразобраннным на дрова для костров, а Ваня и спросит, глядя перед собой на дремучую хвойную гриву острова:

— Это пенсия, да? Приехали?

А сегодня Ванин день рождения. В гости к нам из Ленинграда прибыл писатель Аркашка Портнягин, любитель ухи, человек веселый, хотя и не очень молодой, лет сорока пяти. На голове у него смешная неразбериха по части волос: на первый взгляд растительности много, однако и лысина тут как тут! Тряхнет неаккуратно головой, особенно за рюмочкой, все его хитросплетение волосяное сразу же и рассыплется, обнажив местами голый череп. А чего мученику, маскироваться? Тверезый он голову этак неестест-

венно держит, лишней раз шесей не дрыгнет, отсюда и вид какой-то надменный, деревянный. Хотя лицо само по себе — добродушное, ласковое и усталое. Вон Супика взять, так и сверкает облезлой головой! А чем ему хуже? Башку себе каждый день под рукомойником ополаскивает, вид свежий, бодрый имеет. И к лысине его все привыкли, как зот к луне на небе.

Понятное дело, застолье пришлось организовывать. Не шибко размашистое, однако чем богаты, тем и рады. И не потому застолье, что повод отыскался, а что действительно радость: Ваня-сынок взрослеет, да и мамаша его, Виктория, преобразилась. Мягкая, добрая сделалась. Плавающая. Не скажу, что молодость они мне вторую подарили, чего уж там обманываться, но, по моим понятиям, куда больше я от них получил: утешение. И мудрость как бы, в которой весьма нуждался.

Аркашка Портнягин из Питера нам привез: колбасы твердой, пахучей, икры баночку, хороших конфет огромную коробку — такое, можно сказать, художественное изделие с изображением ленинградской панорамы. У нас уже земляника вовсю, парниковые помидорчики-огурчики, редиска, лук-чеснок, а рыбы! — как в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, чуть поменьше. Епифанов лично рыбаккой руководил. Целую неделю. Находилили битком холодильник, который на епифановской стороне которчиком вздрагивал, да так вздрагивал, что мы на своей половине от этих судорог по ночам просыпались, будто от вражеской глубоко эшелонированной бомбежки.

Торжествовать порешили днем, с обеда, чтобы пораньше с застольем разделаться и на остров Добрый на лодочке сбежать, костерок развести на берегу. А там и домой, Ваню спать укладывать засветло.

Стол накрыли на «семейной» половине, окна которой в сад выходят. Необходимо теперь заметить, что дверь, разгораживающая дом на две половины, вот уже полгода, а точнее, с предновогодней праздничной ночи была по просьбе одинокого Супика вскрыта, раскупорена, старинные фантики, которыми она оклеена, пошли на забаву Ване.

— Для чего мне от вас запирается? — умоляюще улыбался Епифанов. — Чего доброго, помру — никто не узнает. На помощь звать буду, холодильник расслышать не позволит, воплишки мои, а также просьбишки заглушит тархтеньцем своим. Уж лучше, братики мои, соопча, вместе. Не откажите уж, примите мое предложение.

Дверь на «холостяцкую» половину отколотили, почистили, от наслоений полувековых отмыли и, распахнув настежь, что-то такое сквозь ее проем увидели, чего ни в одну трубу подзорную, ни в один радиотелескоп современный не разглядишь, а именно: приятное расположение духа и даже как бы уважение к себе. И радость. Радость породнения. И повзросления мыслями радость ощутили. А также ласковость в сердце.

Сидим, значит, празднуем. Шампанское пробкой хлопнуло. Однако пить некому. Аркашка Портнягин, правда, норму осушил, а мы с замполитом только понюхали. Не до того. А главное, Виктория устояла! Я, грешным делом, подумал: накинется! Ан, шалишь. Спокойно так лизнула с краешка и прочь отставила. Ваней занялась. Сынка потчует. Разностоями городскими.

И тут будто в окошко постучали. А затем в дверь. На елифановской половине. С улицы, значит, Буденного. Мне еще подумалось: холодильник не своим голосом заверещал. Потом еще постучали. Настойчивей. Оказывается, гости...

Все мы в доме пользовались дворовым, более тихим, заветренным входом; дверь на улицу Буденного уже полгода оставалась запертой. Но именно в нее постучали сейчас, и довольно бесцеремонно. Отпирать пошел Елифанов, хозяин дома.

Узнать в пришельце Зиновия Бутырсина даже тем, кто видел его в пределах жизни всего лишь однажды, даже при условии, что с момента последнего с ним свидания прошла вечность, особого труда не составляло. И не внешние штрихи, не приметы ветшающей обложки сохраняли, консервировали в вашей памяти образ вздорного человека, мелькнувшего некогда перед глазами. Нет. Способствовали этому неповторимые повадки Бутырсина, интонация его движений, манера держаться независимо и одновременно ехидно, агрессивность в смеси с тщедушностью комплекции, вьедливость, всепроницаемость натуры, ее авантюрный заряд и величайшее презрение к нравственным, правовым и прочим ограничениям в общественном укладе бытия.

Хотя и внешне Бутырскин, если оглянуться в послевоенные времена, когда мы с ним контактировали, мало в чем изменился. Волосы не вылезли, правда, из черных сделались белыми, коротко стриженными. Лицо, понятно, изморщинилось, однако в его геометрии ничего не прибавилось овалного, округлого, размягчающего образа: все тот же

хищнический порыв, аскетическая впалощесть, бритая, сухая, смуглая кожа; все такой же жуткоглазый, зрачки цвета крепкой чайной заварки, окруженные вместо белков — «желтками» глазных яблок. И только зубы не сверкали прежним металлом, а фарфорово-выпукло распирали тощие, резиново-растянутые губы Зиновия.

— Дом Елифановых?! — спросил-приказал Бутырский, нетерпеливо переминаясь на крыльце еще весьма резвыми, в спортивные кеды зашнурованными ножками. На чреслах старичка Бутырсина довольно сноровисто сидели приличные импортные джинсы. Жилетистый, малость пригорбленный торсик обтягивала хлопчатобумажная тенниска с надписью «Привет вам, птицы!».

— А-а-а вам кого, собственно, м-молодой человек, извиняюсь, почтеннейший? — по-птичь, самоотверженно загордил Елифанов отверстие, ведущее в гнездо, интуитивно, а, может, всего лишь инстинктивно догадываясь о неблагоприятных намерениях незваного гостя.

Далее Супик, скорее всего чтобы плавно, не рывками прийти в себя, достал из штанов футляр-коробочку, вынул очки, нацепил их на нос и вдохновенно, с отвагой во взоре принялся рассматривать звонкоголосого дедушку.

— Мне гражданку Скоропадскую. Викторию. Или, на худой конец, ее теперешнего мужа. Надеюсь, это не вы Сысоев? По моим подсчетам, ему еще нету девяноста девяти...

Так объявился долгожданный Бутырский. Формально его не ждали. Однако все в доме как бы предчувствовали его постоянно. И Скоропадская, и я лично, и даже Супик, которого посвятили в тайну чемоданчика. Один только Аркашка Портнягин относился к легенде о Бутырсине чисто литературно и вместе с Ваней отреагировал на возникновение забавного, в спортивном облачении пожилого дядечки без «священного трепета».

В момент, когда Бутырский прорывался в заполняемый Супиком дверной проем, никак не реагируя на сдерживающие предложения Елифанова «повременить до выяснения ситуации», из-за стола, панически улыбаясь потускневшими губами, медленно поднялась Виктория Скоропадская и, овладев собой, твердо, однако не очень громко потребовала:

— Пропустите его, Елифанов. Это мой бывший муж Зиновий Ильич Бутырский. Пригласите его к столу. Пусть посидит, отдохнет. Не с Черноморского побережья прибыл... Вот ему рюмка чистая.

А когда Бутырскин, расшаркиваясь нервно и наверняка паясничая, прошел к столу и на стул опустился, Виктория молвила:

— Сбежали из тюрьмы, Зиновий Ильич? Или — выпустили?

— Освободили. За примерное поведение. На год раньше срока. Еще вопросы милицейского порядка будут? Я к вам не рассиживаться... Не знаю, по какому поводу шампанею хлещете... В свою очередь поинтересоваться хочу кое-чем. Притом лично у вас, Виктория Викторовна, конфиденциально.

— Здесь все свои. Спрашивайте на здоровье. Но прежде я спрошу: Фантомас, он что, небось снаружи торчит? На стреме? Под прищелом избу держит?

— Мой верный товарищ, которого по документам Геней зовут, кандидат в мастера по стрельбе... в тарелочки, находится в местной гостинице. Джинсы себе стирает. Они ему великоваты. Что еще? Я в отпуску нахожусь. Пожизненном. Пенсию выправляю. Хлопочу. А Гена Фантик в командировке здесь. По торговой части. Клюквой интересуется. А также брусничкой с грибочками. Вы-то небось думаете, за чемоданчиком я приехал? Нет, не за ним. Чемоданчик органы конфисковали. Как вам известно, на Кропоткиной в нашем доме капремонт производился. Вот чемоданчик и... обнаружили. Два козла. В строительных касках. Борматухи наглотались на радостях. Их и замели. Вместе с чемоданчиком. С моими кровными сбережениями. А все почему? Дурак. Это я о себе. Сколько пишут, по радио умоляют, по телевиденью просят: храните, граждане, денежки в сберкассе. Были бы целы. А я, как бабушка деревенская, в кубышку их сунул. В результате — гол как сокол.

— А зачем тогда приехали? — подал наконец-то и я свой голос.

— А приехал я, капитан Олежка (помню, все помню, гражданин Сысоев! «Полустанки-эшелоны... Две ладони на погоны...»). А приехал я, чтобы на любимую женщину посмотреть. Всего лишь. Посмотреть и попрощаться с нею. Навсегда. Можно? Не возбраняется?

— Отчего же...

— Ты, Зиновий Ильич, извини... — накапала себе в рюмку водочки Скоропадская и к губам уже было поднесла, да вдруг Ваню, на коленях у меня обосновавшегося, разглядела, его улыбку святую, к которой, казалось, ни одна

пылинка от мусора взрослых не пристанет, осыпнется моментально, — увидела, вспомнила про него, как бы застеснялась младенца и рюмку от себя отпихнула, постепенно успокаиваясь. — Ты, Зиновий Ильич, не крути, не финти... Знаю тебя. За красивые глаза, так просто ничего ты в жизни своей не делал. Говори, чего тебе от нас понадобилось. Чемоданчика нету. Общих с тобой интересов. — тоже. Может, откроешься?

— Денег дай. Хотя бы тыщонку. На обзаведение. Неужто не отщипнули от чемоданчика?

— Бог миловал. Одна-то я, может, и отначила бы... Не постеснялась. Да после травмы, которую мне нанесли, забыла я, где та щелочка с чемоданчиком? Потом... Сысоев меня подобрал. Сысоев-то разве позволил бы не своими денежками пользоваться? Три сотни у нас теперь в месяц. У обоих. Справляемся.

— И неужели... ни грамма оттуда?! Пощекотать бы вас как следует...

— Послушайте, дядя... — приподнялся из-за стола Арчашка Портнягин, предварительно глянув на меня и явственно подмигнув мне, этак залихватски. — Я корреспондент... одной очень популярной газеты. Вот мое удостоверение, — выхватил сочинитель красную книжечку писательскую, беря Бутырсина на пушку, так как никаким корреспондентом в данную минуту не являлся. — Предлагаю, товарищ Бутырский, из ваших тюремных походов интригующий матерьяльчик слепить! Для начала не согласились бы вы на небольшое интервью?

Бутырский внимательно, изучающим взглядом исследовал внешность Портнягина, затем понимающе ухмыльнулся, подтянул на тощей заднице джинсы, сунул руку в карман штанов, извлек оттуда бумажку, сложенную вчетверо. Протянул Портнягину:

— Это справка. Об освобождении. Так что все о'кэй, шеф. Паспортом обзаведусь на днях. Когда пропишусь... в Эрмитаже. Вы что, не хотите мне помочь? — обвел Бутырский насмешливым взглядом всю нашу компанию. Смотрю, Скоропадская как бы вспыхнула, покраснелась и жалким образом улыбается в мою сторону, как бы спрашивает: «Что делать будем?» И тогда я, не думавши долго, словно за язык меня дернули, выкладываю:

— Дадим ему, Вика, тыщонку, хрен с ним. В понедельник сниму с книжечки, — говорю так и вместе с Ваней на руках к серванту подхожу, где возле чайной посуды кни-

жечка серенькая лежит. Беру одной рукой книжечку и откровенно так Бутырскину ее протягиваю, словно у того ордер на обыск в моей квартире имеется. — Вот... взгляните. Все, что у нас... про черный день.

Бутырскин проворно выхватывает у меня книжечку, быстро раскрывает ее в нужном месте.

— М-м-мда-а, не густо. Две двести... И что же... это — все? Так я и поверил...

Скоропадская в свою очередь выхватывает у Бутырскина сберкнижку и сурово на меня смотрит. А я повторяю, как попугай:

— В понедельник, стало быть. Устроит вас в понедельник получить? До понедельника терпит дело?

— Терпит, капитан Олежка! Только неужели две двести? Всего-то и нажили? Без меня... А может, со мной? Может...

— Заткнись! — прошептала Скоропадская.

— Так что ротик свой закупорьте, дите нам не пугайте, гражданинчик хорошенький... — засуетился Супик, напирая своими ласкательными словечками на Бутырскина.

— Ладно, хорошо. До понедельника, капитан Олежка. Тогда бывайте. Мы люди не гордые, доживем и до понедельника, — выскользнул из-за стола Бутырскин и, смешно потрясая ногами в коленях, будто лошадь, которая таким способом кусачих слепней со своей шкуры сгоняет, потопал из дома наружу.

И тут я, словно последний глоток воздуха перед смертью, хватаю Зиновия Ильича за материю тенниски и малость торможу его уход.

— Погодите... — дышу ему в ухо. — Поговорить желательно. Необходимо тет-а-тет вопросик задать. В голову только что вступило...

И с этими словами выходим на крыльцо. Не знаю, какими глазами провожала меня Скоропадская, только не оглянувшись на нее в тот момент и про Ваню своего тоже забыл как бы, такая меня давнишняя, нездешняя сила подхватила и понесла к Бутырскину и — дальше, вместе с ним, — наружу из дома, к озеру, к дамбе.

Перебрались мы по плавучему мосту через канал, поближе к воде. Сели врозь на камушки, каждый на свой валун.

— Ну, что там у вас? Выкладывай, капитан Олежка.

— Деньги, которые вами... ваши... Скоропадская слала. В милицию. Вот бумага оттуда. Официальная. С благодарностью.

— С-сука...

— Нет, не сука. А человек хороший. Честный. Это вы, извиняюсь, барбос. А ее плохими словами не поливайте. Она очень правильно поступила с денежками. А вот вы ей... головку попортили — это, извиняюсь, свинство. Женщину по голове.

— Это Скоропадская-то... женщина?! Она...

— Стоп! — кричу, затыкаю Бутырскину рот словами. — Не позволю! Ни звука! Иначе, сами понимаете, силу применю. А вдобавок — никакой тыщонки в понедельник не бывать. Ежели плохими словами о женщине.

— Плевать я хотел! «Тыщо-онка»! У меня тысячи этих «тыщонок» перебивало! Тебе и не снилось, контора! Ну да... ладно. Что еще?

— А еще вот что... Эшелон помните? Наш, бабный? Который из Германии я сопровождал? Сами сказали, что все помните...

— Ну, помню. Чего такое? Дальше...

— А девушку Ксюшу? — прошептал я, цепенеющим языком еле ворочая во рту. — Такая не обычная? Зеленоглазая и прилично одетая по тем временам? В туфельках на каблучке венском?

— В туфельках? Нет, не помню. Мало ли девушек промелькнуло? Что я, эвеем, чтобы запоминать все подряд?

— Нет, эту бы не забыли. Такая... Помните, наши эшелоны возле немецкого спиртзавода разрушенного стояли? Ликер бенедиктин, целая канистра?! Старичок такой немецкий все возле костра вашего ошивался? А потом девушка подошла и вы ее к костру пригласили. Только она отказалась.

— Твоя, что ли, девушка? Так бы и рожал! Чокнутая такая. Ни на кого больше не смотрела, кроме как на тебя?

— Да, да! Она самая! Только никакая не чокнутая. Хорошая... Гордая очень. Так вот. Имеется вопросик деликатный. К вам, Зиновий Ильич. Не была ли она, извиняюсь, в ту ночь... ну как бы это — с вами? Под одной крышей?

— В какую такую ночь? Да ты что, капитан Олежка?! Разве упомнишь такое? Ночь?! Сколько их, ночей всевозможных, промелькнуло безвозвратно. Да и зачем тебе. Нашел про чего спрашивать...

— Не была, значит?!

— Может, и была. Кому какое дело. Знает только ночь глубокая, как поладили они! Распрями-и-ись ты... — пронзительным тенором пропел Бутырский.

— Врете... Не была. Иначе вспомнили бы мигом. Такое не забывается.

— А вот и была! Была, была! И не раз. Каждую ночь с тех пор приходила.

— Врешь, гад... Она погибла потом... сразу. Через пару дней.

— Погибла? Из-за тебя, что ли, из-за гниды такой?

— Да ты кого это грязью поливаешь, пакостник?! Мученицу погибшую во цвете лет?!

...Короче говоря, поцапались мы тогда. От души. Дал я ему по соплям, не стерпел. А Бутырский меня ногой лягнуть попытался. Однако промахнулся. Прием, шибзник, применил. Теперь это модно — лягаться. Кого ни тронь — все лягаются. Прикурить не дал, сейчас тебя и лягут. Хорошо на дамбе тогда никого народу не было. А то красней потом. Два старых мужика в песке валяются. У Бутырскина челюсть вставная выскочила. В общем срамота...

Однако в понедельник за денежками Зиновий пришел, не отказался. Отсчитал я ему там же, возле кассы, при свидетелях, и уже подальше послать хотел, порвав таким образом с мерзким человеком навсегда, как вдруг вижу... вздрогнуло в его лице что-то. Неужели, думаю, проняло? Благодарность ощутил, подлец? А Бутырский и говорит:

— Улетаю в среду. Помогите, капитан Олежка, на самолетик два билета достать. Мне и Фантомасу. Мне по справочке, у Генки паспорт имеется.

А с билетами в июле, сами знаете, туго. Тем более что самолет в Зотов летает маленький, биплан, карлик, одним словом, мест на десять.

— Ладно, — говорю. — Постараюсь. — Как-то, думаю, надо от гавриков избавляться. — Портнягин-писатель тоже в этот день отбывает. Что-нибудь придумаем.

Естественно, что ни на какой остров мы тогда, в день Ваниного рождения, не сплавали, костра не жгли. Бутырский из колеи выбил.

И только во вторник, то есть через два дня после визита к нам Зиновия Ильича, махнули мы в плавание, обещанную Ване радость доставили. Отдохнули отменно. Рыбку ловили удочкой, костер жгли. Уху хлебали. Про Бутырскина забыли почти...

Назавтра Аркашка Портнягин в Ленинград улетал. Пошел я его провожать. Улетали этим же самолетом и Бутырский с Фантомасом. Супик-Елифанов устроил им всем три «бронированных» билета.

Аркашка Портнягин перед этим прочел мне пару отрывков из эшелонной эпопеи. Довольно сносно накорябал. Сойдет, думаю, для начала. Бывает и хуже. Короче говоря, одобрил я портнягинскую писанину. А на прощанье писатель и спрашивает:

— А что, Олег Иванович, заглавие повести*прежнее оставляем? «Забытое слово»? Ну и ладненько. Хотя, опять же, заглавие заглавием, а как же по существу? Вспомнили словечко... как таковое? Неуловимое? Небось в стиле ретро, замшелое что-нибудь? Типа «благоговения» или «благодеяния»? «Благочиние-благовоние»? Не угадал? «Добромыслие-добросердие»?

— Милосердие?! — переспрашиваю. И как бы легкий удар по мозгам получаю. Кружение в мыслях происходит. — А что... — хихикаю удовлетворенно, — может, и оно... А почему бы и нет? Вот и сон был... с зайцем. Заяц приснился и тоже про милосердие что-то такое скрипел.

Усмехнулся Портнягин недоверчиво и вдруг просит:

— Не надо, не вспоминайте! Пусть оно забытым остается, утраченным. Так интереснее. Что-то в этом есть. Нестандартное...

Ну, ясное дело, обнялись мы с Аркадием. Руки другу пожали. И тут к самолету Бутырскин с Фантомасом вынеслись. Из будочки аэропортовой. Должно быть, из-за хитрой справочки заминка произошла. Увидел меня Бутырскин, хотел мимо проскочить, но замешкался. Самолетик уже пропеллером шевельнул, помотал. А Бутырскин, пропустив вперед Фантомаса, притормозил и кричит мне в ухо:

— Везучий ты, Сысоев! Затмило мне нынче мозги. Злобой-обидой! Хотел в камышах из ружья по тебе пальнуть! Думал: один ты рыбалишь на озере! Бекасинничком угостить порывался! Да спасибо кудряшу твоему гололопому, Ване: высунулся из лодки! Ну, я и отрезвел...

Бутырскин, ступив на подножку, исчез. Появился второй пилот. Убрал стремянку. Захлопнул дверь. Вырулив на взлетную полосу, двукрылая стрекоза разбежалась и, оторвавшись от земли, поплыла в сторону застывшей на краю аэродрома толпы деревьев.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Снег небесный | 8 |
| Вокзал | 110 |
| Мираж на Васильевском острове | 187 |
| Звонок на рассвете | 212 |
| Забывтое слово | 295 |

Глеб Яковлевич
Горбовский

ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ Повести

Редактор Г. Коледенкова
Художник Ю. Боярский
Художественный редактор А. Дианов
Технический редактор В. Юрченко
Корректор Т. Любарец

Сдано в набор 14.12.84. Подписано к печати 17.05.85. А13112. Формат
84X108/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 1.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. краск.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 26,43; Доп.
тираж 50 000 экз. Заказ 9375. Цена 2 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и
Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 69.

Отпечатано с матриц Дзержинской типографии Горьковского об-
ластного управления издательств, полиграфии и книжной торговли,
Дзержинск, пр. Циолковского, 15 в Рязанской областной типографии,
390012, Рязань, Новая, 69/12. Заказ 3235.